МОПАССАН

Ги де Мопассан

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ

2

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1958

Издание выходит
под общей редакцией
Ю И Данилина.

МАДМУАЗЕЛЬ ФИФИ

МАДМУАЗЕЛЬ ФИФИ

Майор, граф фон Фарльсберг, командующий прусским отрядом, дочитывал принесенную ему почту. Он сидел в широком ковровом кресле, задрав ноги на изящную мраморную доску камина, где его шпоры — граф пребывал в замке Ювиль уже три месяца — продолбили пару заметных, углублявшихся с каждым днем выбоин.

Чашка кофе дымилась на круглом столике, мозаичная доска которого была залита ликерами, прожжена сигарами, изрезана перочинным ножом: кончив иной раз чинить карандаш, офицер-завоеватель от нечего делать принимался царапать на драгоценной мебели цифры и рисунки.

Прочитав письма и просмотрев немецкие газеты, поданные обозным почтальоном, граф встал, подбросил в камин три или четыре толстых, еще сырых полена, — эти господа понемногу вырубали парк на дрова,— и подошел к окну.

Дождь лил потоками, то был нормандский дождь, словно изливаемый разъяренной рукою, дождь косой, плотный, как завеса, дождь, подобный стене из наклонных полос, хлещущий, брызжущий грязью, все затопляющий,— настоящий дождь окрестностей Руана, этого ночного горшка Франции.

Офицер долго смотрел на залитые водой лужайки и вдаль — на вздувшуюся и выступившую из берегов Андель; он барабанил пальцами по стеклу, выстукивая какой-то рейнский вальс, как вдруг шум за спиною за-

ставил его обернуться: пришел его помощник, барон фон Кельвейнгштейн, чин которого соответствовал нашему чину капитана.

Майор был огромного роста, широкоплечий, с длинною веерообразной бородою, ниспадавшей на его грудь подобно скатерти; вся его рослая торжественная фигура вызывала представление о павлине, о павлине военном, распустившем хвост под подбородком. У него были голубые, холодные и спокойные глаза, шрам на щеке от сабельного удара, полученного во время войны с Австрией, и он слыл не только храбрым офицером, но и хорошим человеком.

Капитан, маленький, краснолицый, с большим, туго перетянутым животом, коротко подстригал свою рыжую бороду; при известном освещении она приобретала пламенные отливы, и тогда казалось, что лицо его натерто фосфором. У него не хватало двух зубов, выбитых в ночь кутежа,— как это вышло, он хорошенько не помнил, — и он, шепелявя, выплевывал слова, которые не всегда можно было понять. На макушке у него была плешь, вроде монашеской тонзуры; руно коротких курчавившихся волос, золотистых и блестящих, обрамляло этот кружок обнаженной плоти

Командир пожал ему руку и одним духом выпил чашку кофе (шестую за это утро), выслушивая рапорт своего подчиненного о происшествиях по службе; затем они подошли к окну и признались друг другу, что им невесело. Майор, человек спокойный, имевший семью на родине, приспособлялся ко всему, но капитан, отъявленный кутила, завсегдатай притонов и отчаянный юбочник, приходил в бешенство от вынужденного трехмесячного целомудрия на этой захолустной стоянке.

Кто-то тихонько постучал в дверь, и командир крикнул. «Войдите!» На пороге показался один из их солдат-автоматов; его появление означало, что завтрак подан.

В столовой они застали трех младших офицеров: лейтенанта Отто фон Гросслинга и двух младших лейтенантов, Фрица Шейнаубурга и маркиза Вильгельма фон Эйрик, маленького блондина, надменного и грубого с мужчинами, жестокого с побежденными и вспыльчивого, как порох.

С минуты вступления во Францию товарищи звали его не иначе, как *Мадмуазель Фифи.* Этим прозвищем он был обязан своей кокетливой внешности, тонкому, словно перетянутому корсетом стану, бледному лицу с едва пробивавшимися усиками, а также усвоенной им привычке употреблять ежеминутно, дабы выразить наивысшее презрение к людям и вещам, французские слова «*fi*», «*fi donc*» [1], которые он произносил с легким присвистом.

Столовая в замке Ювиль представляла собою длинную, царственно пышную комнату; ее старинные зеркала, все в звездообразных трещинах от пуль, и высокие фландрские шпалеры по стенам, искромсанные ударами сабли и кое-где свисавшие лохмами, свидетельствовали о занятиях Мадмуазель Фифи в часы досуга.

Три фамильных портрета на стенах — воин, облаченный в броню, кардинал и председатель суда — курили теперь длинные фарфоровые трубки, а благородная дама в узком корсаже надменно выставляла из рамы со стершейся позолотой огромные нарисованные углем усы.

Завтрак офицеров проходил почти безмолвно. Обезображенная и полутемная от ливня комната наводила уныние своим видом завоеванного места, а ее старый дубовый паркет был покрыт грязью, как пол в кабаке.

Окончив еду и перейдя к вину и курению, они, как повелось каждый день, принялись жаловаться на скуку. Бутылки с коньяком и ликерами переходили из рук в руки; развалившись на стульях, офицеры непрестанно отхлебывали маленькими глотками вино, не выпуская изо рта длинных изогнутых трубок с фаянсовым яйцом на конце, пестро расписанных, словно для соблазна готтентотов.

Как только стаканы опорожнялись, офицеры с покорным и усталым видом наполняли их снова. Но Мадмуазель Фифи при этом всякий раз разбивал свой стакан, и солдат немедленно подавал ему другой.

[1] Французские междометия, выражающие укоризну, недовольство, презрение, отвращение

Едкий табачный туман заволакивал их, и они, казалось, все глубже погружались в сонливый и печальный хмель, в угрюмое опьянение людей, которым нечего делать

Но вдруг барон вскочил. Дрожа от бешенства, он выкрикнул.

— Черт побери! Так не может продолжаться. Надо, наконец, что-нибудь придумать!

Лейтенант Отто и младший лейтенант Фриц, оба с типичными немецкими лицами, неподвижными и глубокомысленными, спросили в один голос:

— Что же, капитан?

Он с минуту подумал, потом сказал:

— Что? Если командир разрешит, надо устроить пирушку!

Майор вынул изо рта трубку:

— Какую пирушку, капитан?

Барон подошел к нему:

— Я беру все хлопоты на себя, господин майор. *Слушаюсь* будет отправлен мною в Руан и привезет с собою дам; я знаю, где их раздобыть. Приготовят ужин, все у нас для этого есть, и мы по крайней мере проведем славный вечерок

Граф фон Фарльсберг улыбнулся, пожимая плечами:

— Вы с ума сошли, друг мой.

Но офицеры вскочили со своих мест, окружили командира и взмолились:

— Разрешите капитану, начальник! Здесь так уныло

Наконец майор уступил, сказав: «Ну, хорошо»,— и барон тотчас же послал за *Слушаюсь*. То был старый унтер-офицер; он никогда не улыбался, но фанатически выполнял все приказания начальства, каковы бы они ни были.

Вытянувшись, он бесстрастно выслушал указание барона, затем вышел, и пять минут спустя четверка лошадей уже мчала под проливным дождем огромную обозную повозку с натянутым над нею в виде свода брезентом.

Тотчас все словно пробудилось: вялые фигуры выпрямились, лица оживились, и все принялись болтать.

Хотя ливень продолжался с тем же неистовством, майор объявил, что стало светлее, а лейтенант Отто уверенно утверждал, что небо сейчас прояснится. Сам Мадмуазель Фифи, казалось, не мог усидеть на месте. Он вставал и садился снова. Его светлые, жесткие глаза искали, что бы такое разбить. Вдруг, остановившись взглядом на усатой даме, молодой блондин вынул револьвер.

— Ты этого не увидишь,— сказал он и, не вставая с места, прицелился. Две пули одна за другой пробили глаза на портрете.

Затем он крикнул:

— Заложим мину!

И разговоры вмиг смолкли, словно вниманием всех присутствующих овладел какой-то новый и захватывающий интерес.

Мина была его выдумкой, его способом разрушения, его любимой забавой.

Покидая замок, его владелец, граф Фернан д'Амуа д'Ювиль, не успел ни захватить с собою, ни спрятать ничего, кроме серебра, замурованного в углублении одной стены. А так как он был богат и любил искусство, то большая гостиная, выходившая в столовую, представляла собою до поспешного бегства хозяина настоящую галерею музея

По стенам висели дорогие полотна, рисунки и акварели. На столиках и шкафах, на этажерках и в изящных витринах было множество безделушек: китайские вазы, статуэтки, фигурки из саксонского фарфора, китайские уроды, старая слоновая кость и венецианское стекло населяли огромную комнату своею драгоценною и причудливою толпой.

Теперь от всего этого не осталось почти ничего. Не то, чтобы вещи были разграблены, — майор граф фон Фарльсберг этого никогда не допустил бы,— но Мадмуазель Фифи время от времени закладывал мину, и в такие дни все офицеры действительно веселились вовсю в течение нескольких минут.

Маленький маркиз пошел в гостиную на поиски того, что ему было нужно. Он принес крошечный чайник из китайского фарфора — семьи «розовых»,— насыпал в него пороху, осторожно ввел через носик длинный ку-

сок трута, поджег его и бегом отнес эту адскую машину в соседнюю комнату.

Затем он мгновенно вернулся и запер за собою дверь. Все немцы ожидали, стоя, с улыбкою детского любопытства на лицах, и как только взрыв потряс стены замка, толпою бросились в гостиную.

Мадмуазель Фифи, войдя первым, неистово захлопал в ладоши при виде терракотовой Венеры, у которой наконец-то отвалилась голова; каждый подбирал куски фарфора, удивляясь странной форме изломов, причиненных взрывом, рассматривая новые повреждения и споря о некоторых, как о результате предыдущих взрывов; майор же окидывал отеческим взглядом огромный зал, разрушенный, словно по воле Нерона, этой картечью и усеянный обломками произведений искусства. Он вышел первым, благодушно заявив:

— На этот раз очень удачно.

Но в столовую, где было сильно накурено, ворвался такой столб дыма, что стало трудно дышать. Майор распахнул окно; офицеры, вернувшиеся допивать последние рюмки коньяку, тоже подошли к окну.

Комната наполнилась влажным воздухом, который принес с собою облако водяной пыли, оседавшей на бородах. Офицеры смотрели на высокие деревья, поникшие под ливнем, на широкую долину, помрачневшую от низких черных туч, и на далекую церковную колокольню, высившуюся серой стрелой под проливным дождем.

Как только пришли пруссаки, на этой колокольне больше не звонили. То было, впрочем, единственное сопротивление, встреченное завоевателями в этом крае. Кюре ничуть не отказывался принимать на постой и кормить прусских солдат; он даже не раз соглашался распить бутылочку пива или бордо с неприятельским командиром, часто прибегавшим к его благосклонному посредничеству; но нечего было и просить его хоть раз ударить в колокол: он скорее дал бы себя расстрелять. То был его личный способ протеста против нашествия, протеста молчанием, мирного и единственного протеста который, по его словам, приличествовал священнику, носителю кротости, а не вражды. На десять лье в округе все восхваляли твердость и геройство аббата Шанта-

вуана, посмевшего утвердить народный траур упорным безмолвием своей церкви.

Вся деревня, воодушевленная этим сопротивлением, готова была до конца поддерживать своего пастыря, идти на все: подобный молчаливый протест она считала спасением народной чести. Крестьянам казалось, что они оказали не меньшие услуги родине, чем Бельфор и Страсбург, что они подали одинаковый пример патриотизма и имя их деревушки обессмертится; впрочем, помимо этого, они ни в чем не отказывали пруссакам-победителям.

Начальник и офицеры смеялись над этим безобидным мужеством, но так как во всей местности к ним относились предупредительно и с покорностью, то они охотно мирились с таким молчаливым выражением патриотизма.

Один только маленький маркиз Вильгельм во что бы то ни стало хотел добиться, чтобы колокол зазвонил. Он злился на дипломатическую снисходительность своего начальника и ежедневно умолял его дозволить один раз, один только разик, просто забавы ради, прозвонить «дин-дон-дон» Он просил об этом с грацией кошки, с вкрадчивостью женщины, нежным голосом отуманенной желанием любовницы, но майор не уступал, и Мадмуазель Фифи, для своего утешения, закладывал мины в замке Ювиль.

Несколько минут все пятеро стояли группой у окна, вдыхая влажный воздух. Наконец лейтенант Фриц, грубо рассмеявшись, сказал:

— Этим дефицам выпал дурной фремя для их прокулки.

Затем каждый отправился по своим делам, а у капитана оказалось множество хлопот по приготовлению обеда.

Встретившись снова вечером, они не могли не рассмеяться, взглянув друг на друга: все напомадились, надушились, принарядились и были ослепительны, как в дни больших парадов. Волосы майора казались уже не столь седыми, как утром, а капитан побрился, оставив только усы, пылавшие у него под носом.

Несмотря на дождь, окно оставили открытым; то и дело кто-нибудь подходил к нему и прислушивался.

В десять минут седьмого барон сообщил об отдаленном стуке колес. Все бросились к окну, и вскоре на двор влетел огромный фургон, запряженный четверкою быстро мчавшихся лошадей; они были забрызганы грязью до самой спины, дымились от пота и храпели.

И на крыльцо взошли пять женщин, пять красивых девушек, тщательно отобранных товарищем капитана, к которому *Слушаюсь* ходил с визитною карточкой своего офицера.

Они не заставили себя просить, зная наперед, что им хорошо заплатят; за три месяца они успели ознакомиться с пруссаками и примирились с ними, как и с положением вещей вообще. «Этого требует наше ремесло»,— убеждали они себя по дороге, без сомнения, стараясь заглушить тайные укоры каких-то остатков совести.

Тотчас же вошли в столовую. При свете она казалась еще мрачнее в своем плачевном разгроме, а стол, уставленный яствами, дорогой посудой и серебром, найденным в стене, где его спрятал владелец замка, придавал комнате вид таверны, где после грабежа ужинают бандиты. Капитан, весь сияя, тотчас же завладел женщинами, как привычным своим достоянием: он осматривал их, обнимал, обнюхивал, определял их ценность, как жриц веселья, а когда трое молодых людей захотели выбрать себе по даме, он властно остановил их, намереваясь произвести раздел самолично, по чинам, по всей справедливости, чтобы ничем не нарушить иерархии.

Во избежание всяких споров, пререканий и подозрений в пристрастии, он выстроил их в ряд, по росту и обратился к самой высокой, словно командуя:

— Твое имя?

— Памела, — отвечала та, стараясь говорить громче.

И он провозгласил:

— Номер первый, Памела, присуждается командующему.

Обняв затем вторую, Блондинку, в знак присвоения, он предложил толстую Аманду лейтенанту Отто, Еву, по прозвищу Томат,— младшему лейтенанту Фрицу, а самую маленькую из всех, еврейку Рашель, молоденькую брюнетку, с черными, как чернильные пятна, гла-

зами, со вздернутым носиком, не подтверждавшим правила о том, что все евреи горбоносы,— самому молодому из офицеров, хрупкому маркизу Вильгельму фон Эйрик.

Все женщины, впрочем, были красивые и полные; они мало отличались друг от друга лицом, а по причине ежедневных занятий любовью и общей жизни в публичном доме походили одна на другую манерами и цветом кожи.

Трое молодых людей хотели было тотчас же увести своих женщин наверх, под предлогом дать им умыться и почиститься; но капитан мудро воспротивился этому, утверждая, что они достаточно опрятны, чтобы сесть за стол, и что те офицеры, которые пойдут с ними наверх, захотят, пожалуй, спустившись, поменяться дамами, чем расстроят остальные пары. Его житейская опытность одержала верх. Ограничились многочисленными поцелуями, поцелуями ожидания.

Вдруг Рашель чуть не задохнулась, закашлявшись до слез и выпуская дым из ноздрей. Маркиз под предлогом поцелуя впустил ей в рот струю табачного дыма. Она не рассердилась, не сказала ни слова, но пристально взглянула на своего обладателя, и в глубине ее черных глаз вспыхнул гнев

Сели за стол. Сам командующий был, казалось, в восторге; направо от себя он посадил Памелу, налево Блондинку и объявил, развертывая салфетку:

— Вам пришла в голову восхитительная мысль, капитан.

Лейтенанты Отто и Фриц, державшиеся отменно вежливо, словно рядом с ними были светские дамы, стесняли этим своих соседок, но барон фон Кельвейнштейн, чувствуя себя в своей сфере, спял, сыпал двусмысленными остротами и со своей шапкой огненно-рыжих волос казался объятым пламенем. Он любезничал на рейнско-французском языке, и его кабацкие комплименты, выплюнутые сквозь отверстие двух выбитых зубов, долетали к девицам с брызгами слюны

Девушки, впрочем, ничего не понимали, и сознание их как будто пробудилось лишь в тот момент, когда барон стал изрыгать похабные слова и непристойности, искажаемые вдобавок его произношением Тогда они

начали хохотать, как безумные, приваливаясь на животы соседям и повторяя выражения барона, которые тот намеренно коверкал, чтобы заставить их говорить сальности И девицы сыпали ими в изобилии. Опьянев от первых бутылок вина и снова став самими собой, войдя в привычную роль, они целовали направо и налево усы, щипали руки, испускали пронзительные крики и пили из всех стаканов, распевая французские куплеты и обрывки немецких песен, усвоенные ими в ежедневном общении с неприятелем.

Вскоре и мужчины, опьяненные этим столь доступным их обонянию и осязанию женским телом, обезумели, принялись реветь, бить посуду, в то время как солдаты, стоявшие за каждым стулом, бесстрастно прислуживали им.

Только один майор хранил известную сдержанность.

Мадмуазель Фифи взял Рашель к себе на колени. Приходя в возбуждение, хотя и оставаясь холодным, он то начинал безумно целовать черные завитки волос у ее затылка, вдыхая между платьем и кожей нежную теплоту ее тела и его запах, то, охваченный звериным неистовством, потребностью разрушения, яростно щипал ее сквозь одежду, так что она вскрикивала. Нередко также, держа ее в объятиях и сжимая, словно стремясь слиться с нею, он подолгу впивался губами в свежий рот еврейки и целовал ее до того, что дух захватывало; и вдруг в одну из таких минут он укусил девушку так глубоко, что струйка крови побежала по ее подбородку, стекая за корсаж.

Еще раз взглянула она в глаза офицеру и, отирая кровь, пробормотала:

— За это расплачиваются.

Он расхохотался жестоким смехом.

— Я заплачу,— сказал он.

Подали десерт. Начали разливать шампанское Командующий поднялся и тем же тоном, каким провозгласил бы тост за здоровье императрицы Августы, сказал:

— За наших дам!

И начались тосты, галантные тосты солдафонов и пьяниц, вперемешку с циничными шутками, казавшимися еще грубее из-за незнания языка.

Офицеры вставали один за другим, пытаясь блеснуть остроумием, стараясь быть забавными, а женщины, пьяные вдрызг, с блуждающим взором, с отвиснувшими губами, каждый раз неистово аплодировали.

Капитан, желая придать оргии праздничный и галантный характер, снова поднял бокал и воскликнул:

— За наши победы над сердцами!

Тогда лейтенант Отто, напоминавший собою шварцвальдского медведя, встал, возбужденный, упившийся, и в порыве патриотизма крикнул:

— За наши победы над Францией!

Как ни пьяны были женщины, однако они разом умолкли, а Рашель, дрожа, обернулась:

— Ну, знаешь, видала я французов, в присутствии которых ты не посмел бы сказать этого!

Но маленький маркиз, продолжая держать ее на коленях, захохотал, развеселившись от вина:

— Ха-ха-ха! Я таких не видывал Стоит нам только появиться, как они улепетывают со всех ног!

Взбешенная девушка крикнула ему прямо в лицо:

— Лжешь, негодяй!

Мгновение он пристально смотрел на нее своими светлыми глазами, как смотрел на картины, холст которых продырявливал выстрелами из револьвера, затем рассмеялся:

— Вот как! Ну, давай потолкуем об этом, красавица! Да разве мы были бы здесь, будь они похрабрее?

Он оживился:

— Мы их господа! Франция — наша!

Рывком Рашель соскользнула с его колен и опустилась на свой стул. Он встал, протянул бокал над столом и повторил:

— Нам принадлежит вся Франция, все французы, все леса, поля и все дома Франции!

Остальные, совершенно пьяные, охваченные военным энтузиазмом, энтузиазмом скотов, подняли свои бокалы с ревом: «Да здравствует Пруссия!» — и залпом их осушили.

Девушки, вынужденные молчать, перепуганные, не протестовали. Молчала и Рашель, не имея сил ответить.

Маркиз поставил на голову еврейке наполненный снова бокал шампанского.

— Нам,— крикнул он,— принадлежат и все женщины Франции!

Рашель вскочила так быстро, что бокал опрокинулся, словно совершая крещение, он пролил желтое вино на ее черные волосы и, упав на пол, разбился. Ее губы дрожали; она с вызовом смотрела на офицера, продолжавшего смеяться, и, задыхаясь от гнева, пролепетала:

— Нет, врешь, это уж нет; женщины Франции никогда не будут вашими!

Он сел, чтобы вдоволь посмеяться, и, подражая парижскому произношению, сказал:

— Она прелестна, прелестна! Но для чего же ты здесь, моя крошка?

Ошеломленная, она сначала умолкла и в овладевшем ею волнении не осознала его слов, но затем, поняв, что он говорил, бросила ему негодующе и яростно:

— Я! Я! Да я не женщина, я — шлюха, а это то самое, что и нужно пруссакам

Не успела она договорить, как он со всего размаху дал ей пощечину; но в ту минуту, когда он снова занес руку, она, обезумев от ярости, схватила со стола десертный ножичек с серебряным лезвием и так быстро, что никто не успел заметить, всадила его офицеру прямо в шею, у той самой впадинки, где начинается грудь.

Какое-то недоговоренное слово застряло у него в горле, и он остался с разинутым ртом и с ужасающим выражением глаз.

У всех вырвался рев, и все в смятении вскочили; Рашель швырнула стул под ноги лейтенанту Отто, так что он растянулся во весь рост, подбежала к окну, распахнула его и, прежде чем ее успели догнать, прыгнула в темноту, где не переставал лить дождь.

Две минуты спустя Мадмуазель Фифи был мертв. Фриц и Отто обнажили сабли и хотели зарубить женщин, валявшихся у них в ногах Майору едва удалось помешать этой бойне, и он приказал запереть в отдельную комнату четырех обезумевших женщин под охраной двух часовых; затем он привел свой отряд в боевую готовность и организовал преследование беглянки, в полной уверенности, что ее поймают.

Пятьдесят человек, напутствуемые угрозами, были отправлены в парк; двести других обыскивали леса и все дома в долине.

Стол, с которого мгновенно все убрали, служил теперь смертным ложем, а четверо протрезвившихся, неумолимых офицеров, с суровыми лицами воинов при исполнении обязанностей, стояли у окон, стараясь проникнуть взглядом во мрак.

Страшный ливень продолжался. Тьму наполняло непрерывное хлюпанье, реющий шорох всей той воды, которая струится с неба, сбегает по земле, падает каплями и брызжет кругом.

Вдруг раздался выстрел, затем издалека другой, и в течение четырех часов время от времени слышались то близкие, то отдаленные выстрелы, сигналы сбора, непонятные слова, выкрикиваемые хриплыми голосами и звучавшие призывом.

К утру все вернулись. Двое солдат было убито и трое других ранено их товарищами в пылу охоты и в сумятице ночной погони

Рашель не нашли

Тогда пруссаки решили нагнать страху на жителей, перевернули вверх дном все дома, изъездили, обыскали, перевернули всю местность. Еврейка не оставила, казалось, ни малейшего следа на своем пути.

Когда об этом было доложено генералу, он приказал потушить дело, чтобы не давать дурного примера армии, и наложил дисциплинарное взыскание на майора, а тот, в свою очередь, взгрел своих подчиненных. «Воюют не для того, чтобы развлекаться и ласкать публичных девок»,— сказал генерал. И граф фон Фарльсберг в крайнем раздражении решил выместить все это на округе.

Так как ему нужен был какой-нибудь предлог, чтобы без стеснения приступить к репрессиям, он призвал кюре и приказал ему звонить в колокол на похоронах маркиза фон Эйрик.

Вопреки всякому ожиданию священник на этот раз оказался послушным, покорным, полным предупредительности. И когда тело Мадмуазель Фифи, которое несли солдаты и впереди которого, вокруг и сзади шли солдаты с заряженными ружьями,— когда оно покину-

ло замок Ювиль, направляясь на кладбище, с колокольни впервые раздался похоронный звон, причем колокол звучал как-то весело, словно его ласкала дружеская рука.

Он звонил и вечером, и на другой день, и стал звонить ежедневно; он трезвонил, сколько от него требовали. Порою он даже начинал одиноко покачиваться ночью и тихонько издавал во мраке два — три звука, точно проснулся неизвестно зачем и был охвачен странной веселостью. Тогда местные крестьяне решили, что он заколдован, и уже никто, кроме кюре и пономаря, не приближался к колокольне.

А там, наверху, в тоске и одиночестве, жила несчастная девушка, принимавшая тайком пищу от этих двух людей.

Она оставалась на колокольне вплоть до ухода немецких войск. Затем однажды вечером кюре попросил шарабан у булочника и сам отвез свою пленницу до ворот Руана. Приехав туда, священник поцеловал ее; она вышла из экипажа и быстро добралась пешком до публичного дома, хозяйка которого считала ее умершей.

Несколько времени спустя ее взял оттуда один патриот, чуждый предрассудков, полюбивший ее за этот прекрасный поступок; затем, позднее, полюбив ее уже ради нее самой, он женился на ней и сделал из нее даму не хуже многих других.

ГОСПОЖА БАТИСТ

Войдя в пассажирский зал вокзала в Лубэне, я первым делом взглянул на часы. До прихода скорого поезда из Парижа надо было ждать два часа десять минут.

Я вдруг почувствовал такую усталость, как будто прошел с десяток лье пешком; я оглянулся вокруг, словно надеясь прочитать на стенах о каком-нибудь способе убить время, а затем снова вышел и остановился у подъезда вокзала, напряженно стараясь придумать, чем бы мне заняться.

Улица, похожая на обсаженный тощими акациями бульвар, тянувшаяся между двумя рядами домов, разнокалиберных домов маленького городка, взбиралась на что-то вроде холма; в самом конце ее виднелись деревья, словно она заканчивалась парком.

Время от времени дорогу перебегала кошка, осторожно перепрыгивая через сточные канавки. Собачонка наскоро обнюхивала подножия деревьев, отыскивая кухонные отбросы Людей я не видел.

Мною овладело мрачное отчаяние. Что делать? Что делать? Я уже представлял себе нескончаемое и неизбежное сидение в маленьком железнодорожном кафе, перед стаканом пива, которое невозможно пить, с местной газетой в руках, которую невозможно читать, как вдруг увидел похоронную процессию: она сворачивала из переулка на ту улицу, где я находился.

Зрелище траурного шествия доставило мне облегчение. Я мог убить по крайней мере десять минут.

Но вскоре внимание мое удвоилось. Покойника со-

провождали всего-навсего восемь мужчин; один из них плакал, остальные дружески беседовали между собою. Священник не участвовал в похоронах. Я подумал: «Это гражданские похороны»,— но потом решил, что в таком городе, как Лубэн, вероятно, нашлось бы не менее сотни свободомыслящих и они почли бы своим долгом устроить манифестацию. Что же это тогда? Быстрота, с которой двигалась процессия, ясно, однако, говорила о том, что усопшего хоронили без всякой торжественности и, следовательно, без церковного обряда.

Моя праздная любопытствующая мысль пустилась в самые сложные предположения; но так как погребальная колесница проезжала мимо, то мне пришла в голову шалая идея — пойти следом за восемью мужчинами. Это заняло бы меня на добрый час времени, и я с печальным видом пустился в путь за другими провожавшими.

Двое мужчин, шедших последними, с удивлением оглянулись и стали шептаться Они, конечно, спрашивали друг друга, местный ли я житель. Затем они обратились за советом к двум, шедшим впереди, и те, в свою очередь, принялись меня разглядывать. Это пытливое внимание стало стеснять меня; желая положить ему конец, я подошел к моим соседям и, поклонившись им, сказал.

— Прошу извинить, господа, если я прерываю вашу беседу. Но, увидев гражданские похороны, я поспешил присоединиться к ним, не зная даже хорошенько, кто усопший, которого вы провожаете.

Один из мужчин произнес:

— Это — усопшая

Я удивился и спросил:

— Но ведь это все же гражданские похороны, не правда ли?

Другой господин, очевидно, жаждал разъяснить мне, в чем дело.

— И да, и нет,— сказал он.— Духовенство отказало нам в церковном погребении

На этот раз у меня вырвалось изумление: «Ах!». Я совсем уже ничего не понимал.

Мой обязательный сосед заговорил вполголоса:

— О, это целая история. Молодая женщина кончила жизнь самоубийством,— вот почему и нельзя было добиться, чтобы ее похоронили по религиозному обряду. Вон там, впереди, ее муж,— видите, тот, что плачет.

После некоторого колебания я сказал:

— Вы очень удивили и заинтересовали меня, сударь. Не будет ли нескромностью попросить вас поведать мне эту историю? Но если это вам неприятно, считайте, что я ни о чем не просил.

Господин дружески взял меня под руку.

— Ничуть, ничуть,— ответил он.— Давайте только немного отстанем Я расскажу вам эту историю; она очень печальна. У нас еще много времени, пока доберемся до кладбища, деревья его, видите, вон там, вверху, а подъем очень крут.

И он начал:

— Представьте себе, эта молодая женщина, госпожа Поль Амо, была дочерью богатейшего из местных купцов, господина Фонтанеля. Совсем ребенком — ей было всего одиннадцать лет — с нею случилось страшное происшествие: ее изнасиловал лакей. Она едва не умерла, изувеченная этим негодяем, а его изобличило собственное зверство. Начался ужасный процесс, и тут открылось, что маленькая мученица целых три месяца была жертвою гнусности этого животного. Его приговорили к бессрочным каторжным работам.

Девочка росла, заклейменная бесчестьем, одинокая, без подруг, едва удостоиваясь ласки со стороны взрослых; те как будто боялись замарать губы, целуя ее в лоб

Она сделалась каким-то чудищем и диковинкой для всего города «Знаете, это маленькая Фонтанель»,— говорили шепотом. На улице все оборачивались, когда она проходила. Не удавалось даже найти няньку, которая водила бы ее гулять· прислуги других семей сторонились этой служанки, точно девочка распространяла заразу, переходившую на всякого, кто к ней приближался.

Жалко было видеть эту бедную крошку на главной улице, куда ежедневно после полудня сходились играть

малыши. Она пребывала в полном одиночестве и, стоя возле няньки, печально смотрела на забавлявшихся детей. Иногда, уступая непреодолимому желанию присоединиться к ним, она робко делала шаг вперед и, боязливо двигаясь, украдкой подходила к какой-нибудь группе, словно сознавая, что она недостойна их. И тотчас со всех скамеек вскакивали матери, няньки, тетки, схватывали за руку порученных их надзору девочек и грубо уводили их. Маленькая Фонтанель оставалась одна, растерянная, ничего не понимая; сердце ее разрывалось от горя, и она начинала плакать. Затем она подбегала к няньке и, рыдая, прятала лицо в ее фартук.

Она подросла, и дело пошло еще хуже. Молодых девушек отдаляли от нее, как от зачумленной. Подумайте только, что этой юной особе уже нечего было узнавать, нечего; что она не имела больше права на символический померанцевый цветок; что она, еще и читать не научившись, проникла в ту ужасную тайну, на которую матери, трепеща, едва смеют намекнуть дочерям в самый вечер свадьбы.

Когда она проходила по улице в сопровождении гувернантки, с нее не спускали глаз, словно из непрестанной боязни какого-нибудь нового и ужасного приключения; когда она проходила по улице, всегда потупив глаза под гнетом таинственного позора, вечно ощущаемого ею, другие молодые девушки, менее наивные, чем принято думать, перешептывались, лукаво поглядывая на нее, втихомолку пересмеивались и быстро отворачивали головы с рассеянным видом, если случайно она взглядывала на них.

Ей едва кланялись. Только немногие мужчины при встрече с нею приподнимали шляпу. Матери делали вид, что не видят ее. Несколько уличных мальчишек прозвали ее «госпожою Батист» — по имени лакея, который ее опозорил и погубил.

Никто не знал тайных мук ее души, потому что она совсем не говорила и никогда не смеялась. Для самих ее родителей, казалось, было стеснительно ее присутствие, и они как будто всегда сердились на нее за какую-то ее непоправимую ошибку. Честный человек не подаст ведь с охотой руки освобожденному каторжнику, хотя бы то был его сын? Господин и госпожа Фон-

танель смотрели на свою дочь, как смотрели бы на сына, вернувшегося с каторги.

Она была хорошенькая, бледная, высокая, тонкая, изящная. Она мне очень пришлась бы по вкусу, сударь, не будь этого обстоятельства.

Года полтора тому назад, когда к нам назначили нового супрефекта, с ним приехал его личный секретарь, чудаковатый малый, который, по-видимому, основательно пожил в Латинском квартале.

Он увидел мадмуазель Фонтанель и влюбился в нее. Ему рассказали все. Он ограничился ответом:

— Ба, это как раз гарантия на будущее. Я уж предпочитаю, чтобы это случилось до, нежели после. С такой женой я буду спать спокойно

Он начал ухаживать за нею, попросил ее руки и женился. Затем, человек с характером, он, как ни в чем не бывало, сделал свадебные визиты. Некоторые ответили им, другие воздержались. Но в конце концов все стало забываться, и молодая женщина заняла свое место в обществе.

Надо вам сказать, что перед мужем она благоговела, как перед богом. Подумайте, ведь он возвратил ей честь, создал ей равное со всеми положение, он не побоялся ничего и пренебрег общественным мнением, пошел навстречу оскорблениям,— словом, совершил мужественный поступок, на который бы не многие отважились. И она полюбила его восторженной и мучительной страстью.

Она забеременела. Когда об этом стало известно, самые щепетильные особы раскрыли перед нею свои двери, словно материнство очистило ее. Это смешно, но это так .

Все шло как нельзя лучше, но вот на днях у нас случился местный храмовой праздник. Префект, окруженный чиновниками и властями, председательствовал на конкурсе хоровых обществ; когда он закончил свою речь, началась раздача наград, и его личный секретарь Поль Амо вручал медаль каждому, имевшему на нее право.

Вы знаете, что такие дела никогда не обходятся без зависти и соперничества, из-за которых люди теряют чувство меры

Все городские дамы находились там и сидели на эстраде

Подошел, в свою очередь, регент города Мормильона. Его хоровой кружок был удостоен медали второй степени. Нельзя же всем присуждать первую степень, не правда ли?

Когда секретарь вручил ему знак отличия, этот человек, представьте себе, бросил медаль ему в лицо и крикнул:

— Можешь приберечь ее для Батиста! Ты должен даже наградить его медалью первой степени, как и меня!

На торжестве присутствовала масса народу, раздался смех Люди жестоки и неделикатны; все взоры устремились на несчастную женщину.

О сударь, видели ли вы когда-нибудь, как сходит с ума женщина? Нет? А вот мы присутствовали при этом зрелище! Она трижды вставала и снова падала на стул, точно желая бежать и видя, что не сможет пройти сквозь окружавшую толпу.

Чей-то голос из публики крикнул еще раз:

— Эй, госпожа Батист!

Поднялся невообразимый гвалт, в котором слились насмешки и возгласы негодования.

Всех охватило волнение, суматоха; все головы задвигались. Передавали друг другу прозвище; тянулись, чтобы видеть выражение лица несчастной женщины; мужья поднимали на руки жен, чтобы показать ее; спрашивали друг у друга: «Которая? Та, в голубом?» Мальчишки кричали по-петушиному; оглушительные взрывы хохота раздавались то здесь, то там.

Она не двигалась, растерявшись, продолжая сидеть на своем праздничном кресле, словно ее выставили напоказ перед всей публикой. Она не могла ни исчезнуть, ни пошевелиться, ни спрятать лицо. Ее глаза быстро мигали, словно их слепил яркий свет, и она тяжело дышала, как взбирающаяся на гору лошадь.

Сердце надрывалось при взгляде на нее.

Господин Амо схватил грубияна за горло, и они покатились по земле, среди ужасающего шума.

Торжество было прервано

Час спустя, когда супруги Амо возвращались до-

мой, молодая женщина, не проронившая ни слова с момента оскорбления, но охваченная с головы до ног дрожью, словно какая-то пружина привела в сотрясение все ее нервы, вдруг перепрыгнула через перила моста, и не успел муж удержать ее, как она уже была в реке

Под сводами моста было очень глубоко. Прошло два часа, прежде чем удалось ее вытащить. Разумеется, она была мертва.

Рассказчик умолк, затем прибавил

— Быть может, это и лучшее, что ей оставалось сделать в ее положении. Есть вещи, которых не загладишь ничем.

Вы понимаете теперь, почему духовенство закрыло перед нею двери церкви О, если бы похороны были по религиозному обряду, пришел бы весь город! Но, понимаете, когда к старой истории прибавилось еще самоубийство, семейные люди воздержались; трудно к тому же у нас сопровождать похороны без священника.

Мы входили в ворота кладбища. Сильно взволнованный, я дождался минуты, когда гроб опустили в могилу, и затем подошел и крепко пожал руку несчастному молодому человеку, продолжавшему рыдать.

Он с удивлением взглянул на меня сквозь слезы и произнес:

— Благодарю вас, сударь.

И я уже не жалел о том, что последовал за этим похоронным шествием.

РЖАВЧИНА

У него в жизни была только одна неутолимая страсть: охота. Он охотился ежедневно, с утра до вечера, с неистовым увлечением. Он охотился зимой и летом, весной и осенью; охотился по болотам, когда закон воспрещал полевую и лесную охоту; охотился с ружьем, со сворой, с легавыми, с гончими, в засаде, с зеркалом, с хорьками. Он только и говорил, что об охоте, бредил охотой и повторял беспрестанно:

— Как, должно быть, несчастен человек, который не любит охоты!

Ему стукнуло пятьдесят лет, однако он был здоров, свеж, хотя и лыс, немного тучен, но силен; он подбривал снизу усы, обнажая губы и оставляя свободным весь рот, чтобы легче было трубить в рожок.

В округе его звали просто по имени: г-ном Гектором. Именовался же он бароном Гектором Гонтраном де Кутелье.

Он жил среди лесов, в маленькой, доставшейся ему по наследству усадьбе, и, несмотря на знакомство со всею аристократией департамента и встречи со всеми ее мужскими представителями на охотничьих сборах, был частым гостем только в одной семье — у Курвилей, своих милых соседей, связанных вековой дружбой с его родом.

В этом доме его любили, ласкали, баловали, и он говаривал:

— Не будь я охотником, я хотел бы навсегда остаться у вас.

Г-н де Курвиль был его другом и товарищем с детства. Дворянин и сельский хозяин, он спокойно жил с женою, дочерью и зятем, г-ном Дарнето, который под предлогом занятий историей не делал ровно ничего.

Барон де Кутелье часто обедал у своих друзей особенно потому, что любил рассказывать им о своих охотничьих приключениях. У него был огромный запас историй о собаках и хорьках, и он говорил о них, как о замечательных, хорошо ему знакомых существах. Он раскрывал их мысли и намерения, разбирал и пояснял их.

— Когда Медор увидел, что коростель заставляет его бегать понапрасну, он сказал себе: «Погоди же, голубчик, мы еще посмеемся». И, сделав мне знак стать в углу клеверного поля, он стал искать наискось, с намеренным шумом раздвигая траву, чтобы загнать дичь в угол, откуда она не могла бы уже ускользнуть. Все случилось, как он предвидел: коростель в один миг очутился на краю поля. Но дальше ему уже некуда деться, его заметят. «Попался,— сказал он себе,— дело дрянь!» И притаился. Тогда Медор делает стойку, поглядывая на меня; я подаю ему знак, он гонит. Брру!.. коростель взлетает... я прикладываюсь... бац!.. он падает, и Медор приносит его мне, махая хвостом и словно спрашивая: «Ну, как? Чисто сделано, господин Гектор?»

Курвиль, Дарнето и обе женщины хохотали до упаду над этими живописными рассказами, в которые барон вкладывал всю душу. Он оживлялся, размахивал руками, двигался всем телом, а описывая смерть дичи, смеялся оглушительным смехом и всегда спрашивал в виде заключения:

— Недурная история?

Едва только заговаривали о другом, он переставал слушать, отсаживался в сторону и насвистывал, подражая охотничьему рожку. И когда в промежутке между двумя фразами наступало молчание, в эти минуты внезапной тишины вдруг раздавался охотничий сигнал: «Тон-тон, тон-тэн, тон-тэн»; это напевал барон, раздувая щеки, словно трубил в рожок.

Он жил только для охоты и старился, не замечая.

не видя этого. Как-то вдруг у него сделался приступ ревматизма, уложивший его на два месяца в постель. Он чуть не умер с горя и тоски. Так как женской прислуги у него не было, а кушанье готовил ему старый слуга, он не мог добиться ни горячих припарок, ни всех тех мелких услуг, которые необходимы больным. Сиделкой у него был доезжачий, и этот оруженосец, скучая наравне с хозяином, день и ночь спал в кресле, в то время как барон выходил из себя и ругался на все лады, лежа в постели

Дамы де Курвиль приезжали иногда навестить барона, и это были для него часы покоя и блаженства. Они приготовляли ему лекарственную настойку, поддерживали в камине огонь, устраивали восхитительные завтраки у его постели, и когда они уезжали, он бормотал:

— Черт возьми! Вам следовало бы сюда совсем переселиться.

И они хохотали от всей души.

Он поправился, снова стал охотиться по болотам, и ему случилось однажды вечером зайти к своим друзьям, но прежней живости и веселости у него уже не было. Его мучила неотступная мысль — боязнь, что боли вернутся до открытия охоты. Когда он прощался и когда дамы закутывали его в шаль и повязывали ему шею фуляром — что он позволил сделать в первый раз за всю жизнь, — он прошептал с отчаянием в голосе:

— Если это снова начнется, то я конченый человек

Когда он ушел, г-жа Дарнето сказала матери:

— Нужно женить барона!

Все всплеснули руками. Как они не подумали до сих пор об этом? Весь вечер перебирали знакомых вдов, и выбор остановился на одной женщине лет сорока, г-же Берте Вилер, еще красивой, достаточно богатой, здоровой и с отличным характером.

Ее пригласили провести месяц в замке Ей было скучно дома, и она приехала. Она была подвижна и весела; г-н Кутелье понравился ей сразу. Он забавлял ее,

как живая игрушка, и она целыми часами лукаво выспрашивала его о чувствах кроликов, о кознях лисиц. Он с полной серьезностью различал несходные повадки разных животных и приписывал им хитрые планы и рассуждения, словно близко знакомым людям

Внимание, которое она ему оказывала, восхищало его, и однажды вечером, в знак особого уважения, он пригласил ее с собой на охоту, чего никогда еще не делал ни для одной женщины. Приглашение это показалось ей таким забавным, что она приняла его. Сборы на охоту превратились в праздник: все приняли участие в этом, каждый что-нибудь предлагал, и она появилась наконец, одетая под амазонку, в сапогах, в мужских штанах, в короткой юбке, в бархатной куртке, слишком узкой для ее груди, и в егерской фуражке.

Барон чувствовал себя до того взволнованным, как будто отправлялся охотиться в первый раз. Он объяснял ей во всех подробностях направление ветра, различные стойки собак, способ стрелять по дичи; затем выпустил ее в поле, следуя за ней по пятам с заботливостью кормилицы, наблюдающей за первыми шагами своего питомца.

Медор напал на след, пополз, сделал стойку, поднял лапу. Барон, стоя за своей ученицей, дрожал, как лист, и лепетал:

— Внимание, внимание, куро . куро .. куропатки!

Не успел он сказать, как сильный шум поднялся с земли — бррр, бррр, брр! — и выводок жирных птиц взлетел на воздух, хлопая крыльями.

Г-жа Вилер, растерявшись, зажмурилась, выпустила два заряда, отступила на шаг из-за отдачи ружья, и когда снова овладела собой, то увидела, что барон пляшет, как безумный, а Медор несет в зубах две куропатки.

С этого дня г-н Кутелье влюбился в нее.

— Какая женщина! — говорил он, возводя глаза к небу

Теперь он стал приходить каждый вечер, чтобы поболтать об охоте. Однажды г-н де Курвиль, провожая его домой и слушая восторженные восклицания по поводу новой приятельницы, неожиданно спросил:

— Почему бы вам на ней не жениться?

Барон был поражен.

— Я?.. мне?.. жениться на ней?.. но... но... в самом деле ..

И он умолк. Затем, торопливо пожав руку своего спутника, пробормотал: «До свидания, друг мой»,— и исчез в темноте, размашисто шагая.

Три дня он не показывался. Когда же пришел опять, то совсем побледнел от долгих раздумий и был серьезнее обыкновенного. Отведя в сторону г-на де Курвиль, он сказал:

— У вас тогда была великолепная мысль. Постарайтесь расположить госпожу Вилер в мою пользу. Черт возьми, такая женщина, можно сказать, создана для меня. Мы будем с ней охотиться круглый год.

Г-н де Курвиль, уверенный в том, что отказа не встретится, отвечал:

— Делайте предложение немедленно, друг мой. Хотите, я возьму это на себя?

Но барон внезапно смутился и пробормотал:

— Нет... нет... мне придется сперва совершить одно маленькое путешествие... маленькое путешествие, в Париж Как только вернусь, я сообщу вам окончательный ответ.

Никаких других объяснений от него нельзя было добиться, и он уехал на следующий день.

Поездка длилась долго. Прошла неделя, другая, третья, а г-н де Кутелье не возвращался. Супруги Курвиль, удивленные, обеспокоенные, не знали, что и сказать своей приятельнице; они уже предупредили ее о намерениях барона. Через день к нему посылали на дом за вестями, но никому из его слуг ничего не было известно.

Однажды вечером, когда г-жа Вилер пела, аккомпанируя себе на рояле, в комнату с великой таинственностью вошла няня, вызвала г на де Курвиля и сказала ему шепотом, что его спрашивает один господин. То был барон, постаревший, изменившийся, в дорожном костю-

ме. Едва завидев своего друга, он схватил его за руку и сказал усталым голосом:

— Я только что приехал, мой дорогой, и прибежал к вам, я больше не могу ждать.

Затем он замялся, видимо, смущенный:

— Я хотел вам сказать... тотчас же... что с этим... что с этим делом... ну, вы знаете.. ничего не вышло...

Г-н де Курвиль ошеломленно смотрел на него.

— Как? Ничего не вышло? Почему?

— О, не спрашивайте меня, пожалуйста, мне слишком больно говорить об этом, но будьте уверены, что я поступаю... как честный человек. Я не могу... Я не имею права, понимаете, не имею права жениться на этой даме. Я подожду, пока она уедет, и тогда приду к вам; видеть ее для меня слишком мучительно. Прощайте.

И он убежал.

Вся семья обсуждала его слова, спорила, строила тысячи предположений. Пришли к заключению, что в жизни барона была какая-то тайна, быть может, незаконные дети, а то и старая связь. Словом, дело было, по-видимому, серьезное; во избежание затруднительных осложнений г-жу Вилер осторожно предупредили, и она как приехала, так и уехала вдовой.

Прошло еще три месяца. Однажды вечером, плотно пообедав, немного выпив и закурив в обществе г-на де Курвиля трубку, г-н де Кутелье сказал ему:

— Если бы вы знали, как часто я вспоминаю о вашей приятельнице, вам бы стало меня жалко.

Тот, несколько задетый поведением барона в этом деле, высказался не без горячности:

— Черт возьми, друг мой, когда в жизни человека есть тайны, не заходят так далеко, как зашли вы. Могли же ведь вы в конце концов предвидеть причины своего отступления!

Барон, смутившись, перестал курить.

— И да, и нет. Словом, я не ожидал того, что случилось.

Г-н де Курвиль раздраженно возразил:

— Все надо предвидеть.

Но г-н де Кутелье, вглядываясь в темноту, чтобы увериться, что их никто не слышит, сказал шепотом:

— Я отлично понимаю, что обидел вас, и расскажу вам всю правду, чтобы заслужить прощение Вот уже двадцать лет, друг мой, как я живу только охотой. Я люблю только охоту, как вы знаете, и занимаюсь только ею В ту минуту, когда я должен был принять на себя обязательства по отношению к этой даме, одно сомнение взяло меня, одна беспокойная мысль. С тех пор, как я отвык от... от... любви, что ли, я не был уверен, способен ли... способен ли я .. вы понимаете... Подумайте-ка, вот уже ровно шестнадцать лет, как я... как я... как я в последний раз... ну, да это ясно. Здесь, в нашем краю, это не так легко... не так легко... вы согласитесь с этим. К тому же у меня были другие дела. Я предпочитаю стрелять из ружья. Короче говоря, в ту минуту, когда я должен был связать себя обязательствами перед мэром и священником насчет насчет того .. что вам известно... я испугался. Я сказал себе: «Дьявольщина! а что, если.. что, если вдруг... осечка?» Честный человек никогда не нарушает принятых на себя обязательств, а ведь я брал на себя священные обязательства по отношению к этой особе Словом, для очистки совести я решил поехать на неделю в Париж.

Неделя кончается — и ничего, ровно ничего! И не потому, чтобы я не пытался. Я брал все, что было самого лучшего и во всевозможных вкусах. Уверяю вас, они делали все, что могли... Да... уж, конечно, они ничего не упустили... Но что поделаешь? Они всегда отступались... ни с чем... ни с чем... ни с чем...

Я подождал еще две недели, затем три недели, продолжая надеяться Я проглотил в ресторанах множество острых блюд, чем окончательно расстроил себе желудок... и... и .. ничего .. всегда — ничего!

Вы понимаете, что при таких обстоятельствах, ясно все это установив, мне ничего не оставалось, как только только отступиться . Что я и сделал. .

Г-н де Курвиль напрягал все силы, чтобы не расхохотаться. Он значительно пожал руку барону, промолвив «Мне очень жаль вас»,— и проводил его полдоро-

ги Затем, очутившись наедине с женой, он рассказал ей все это, задыхаясь от смеха. Но г-жа де Курвиль не смеялась; она слушала внимательно и, когда муж кончил, ответила ему с глубокой серьезностью:

— Барон — глупец, друг мой, он просто испугался. Я напишу Берте, чтобы она приезжала, и поскорее.

А когда г-н де Курвиль сослался на длительные и безуспешные опыты своего друга, она сказала:

— Пустяки! Если только муж любит жену, понимаете, это .. возвращается.

И г-н де Курвиль, сам немного сконфузившись, не ответил ничего.

МАРРОКА

Друг мой, ты просил сообщать тебе о моих впечатлениях, о случающихся со мною происшествиях и, главное, о моих любовных историях в этой африканской стране, так давно меня привлекавшей. Ты заранее от души смеялся над моими будущими, по твоему выражению, черными утехами, и тебе уже представлялось, как я возвращаюсь домой в сопровождении громадной черной женщины, одетой в яркие ткани и с желтым фуляром на голове.

Конечно, очередь негритянок еще придет: я уже видел нескольких, и они внушали мне желание окунуться в эти чернила. Но для начала я напал на нечто лучшее и исключительно своеобразное.

Ты писал в последнем письме: «Если я знаю, как в данной стране любят, я сумею описать эту страну, хотя никогда ее и не видел». Знай же, что здесь любят неистово. Начиная с первых дней чувствуешь какой-то огненный трепет, какой-то подъем, внезапное напряжение желаний, какую-то истому, целиком охватывающую тело; и все это до крайности возбуждает наши любовные силы и все способности физических ощущений — от простого соприкосновения рук до той невыразимо-властной потребности, которая заставляет нас совершать столько глупостей.

Разберемся в этом как следует. Не знаю, может ли существовать под этим небом то, что вы называете слиянием сердец, слиянием душ, сентиментальным идеализмом, наконец платонизмом, я в этом сомне-

ваюсь. Но другая любовь, любовь чувственная, имеющая в себе нечто хорошее, и немало хорошего, в этом климате поистине страшна. Жара, это постоянно разжигающее вас пылание воздуха, эти удушливые порывы южного ветра, эти потоки огня, льющиеся из великой пустыни, которая так близка, этот тяжелый сирокко, более опустошительный, более иссушающий, чем пламя, этот вечный пожар всего материка, сожженного до самых камней огромным, всепожирающим солнцем, воспламеняют кровь, приводят в бешенство плоть, превращают человека в зверя.

Но подхожу к моей истории. Ничего не рассказываю тебе о первых днях моего пребывания в Алжире Побывав в Боне, Константине, Бискре и Сетифе, я приехал в Буджию через ущелья Шабе и по несравненной дороге через кабильские леса; дорога эта вьется над морем по извилинам гористого склона, на высоте двухсот метров, вплоть до восхитительного залива Буджии, столь же прекрасного, как Неаполитанский залив, как заливы Аяччо и Дуарнене, красивейшие из всех, мною виденных. Я исключаю из этого сравнения лишь невероятный залив Порто на западном берегу Корсики, опоясанный красным гранитом, с возвышающимися посреди него фантастическими окровавленными каменными великанами, именуемыми «Calanche de Piana».

Не успеешь обогнуть огромный залив с его мирно спящей водой, как уже издалека, еще очень издалека, замечаешь Буджию. Город построен на крутых склонах высокой, увенчанной лесом горы. Это — белое пятно на зеленом склоне, похожее, пожалуй, на пену свергающегося в море водопада.

Едва я вступил в этот маленький очаровательный городок, как понял, что останусь в нем надолго. Со всех сторон взор ограничен громадным кругом крючковатых, зубчатых, рогатых, причудливых вершин, замкнутых так тесно, что едва видно открытое море, и залив становится похожим на озеро. Голубая вода с молочным отливом восхитительно прозрачна, а лазурное небо, такой густой лазури, словно покрытое двойным слоем краски, простирает над нею свою изумительную красоту. Они словно любуются друг другом, взаимно отражая свои отсветы.

Буджия — город развалин. На пристани, подъезжая к нему, встречаешь такую великолепную руину, что ее можно принять за оперную декорацию. Это древние сарацинские ворота, сплошь заросшие плющом И в прилегающих горных лесах повсюду тоже развалины — части римских стен, обломки сарацинских памятников, остатки арабских построек.

Я снял в верхнем городе маленький мавританский домик. Ты знаешь эти жилища, их описывали так часто. Окон наружу у них нет, и они освещаются сверху донизу внутренним двором. Во втором этаже помещается большая прохладная зала, в которой проводят время днем, а наверху — терраса, где проводят ночи.

Я тотчас же усвоил привычки жарких стран, то есть стал делать после завтрака сьесту. Это удушливо-знойный час в Африке, час, когда нечем дышать, когда улицы, долины и бесконечные, ослепительные дороги пустынны, когда все спят или по крайней мере пытаются спать, оставляя на себе как можно меньше одежды

В моей зале с колоннами арабской архитектуры я поставил большой мягкий диван, покрытый ковром из Джебель-Амура. Я ложился на него приблизительно в костюме Гасана, но не мог отдыхать, так как был измучен своим воздержанием.

О друг мой, в этой стране есть две казни, которых не желаю тебе узнать· отсутствие воды и отсутствие женщин. Какая ужаснее? Не знаю. В пустыне можно пойти на всякую подлость из-за стакана чистой холодной воды. А чего только не сделаешь в ином прибрежном городе ради красивой, здоровой девушки? В Африке нет недостатка в девушках! Напротив, они там в изобилии; но, если продолжить сравнение, они так же вредоносны и гнилостны, как илистая вода источников Сахары.

И вот однажды, более обычного истомленный, я пытался задремать, но тщетно. Ноги мои дрожали, словно их кололо изнутри; беспокойная тоска заставляла меня то и дело вертеться с боку на бок по коврам. Наконец, не в силах выносить долее, я встал и вышел.

Это было в июле, в палящий послеполуденный час.

Мостовые были так раскалены, что на них можно было печь хлеб; рубашка, моментально взмокавшая, прилипала к телу; весь горизонт был затянут легким белым паром, тем горячим дыханием сирокко, которое подобно осязаемому зною.

Я спустился к морю и, огибая порт, пошел по берегу, вдоль небольшой бухты, где выстроены купальни. Крутые горы, поросшие кустарником и высокими ароматными травами с крепким запахом, кольцеобразно окружают бухту, где вдоль всего берега мокнут в воде большие темные скалы.

Кругом никого; все замерло; ни крика животных, ни шума крыльев птицы, ни малейшего звука, ни даже всплеска воды — так неподвижно было море, казалось, оцепеневшее под солнцем И мне чудилось, что в раскаленном воздухе я улавливаю гудение огня.

Внезапно за одной из этих скал, до половины тонувших в молчаливом море, я услыхал легкий шорох и, обернувшись, увидел, по грудь в воде, высокую голую девушку; она купалась и в этот знойный час, конечно, считала себя в полном одиночестве. Лицо ее было обращено к морю, и она тихо подпрыгивала, не замечая меня.

Ничего не могло быть удивительнее зрелища этой красивой женщины в прозрачной, как стекло, воде, под ослепительными лучами солнца. Она была необыкновенно хороша, эта женщина, высокая и сложенная, как статуя.

Вдруг она обернулась, вскрикнула и, то вплавь, то шагая, мгновенно скрылась за скалою.

Она должна выйти оттуда, поэтому я сел на берегу и стал ее ожидать. И вот она осторожно высунула из-за скалы голову с массою тяжелых черных волос, кое-как закрученных узлом. У нее был большой рот с вывороченными, как валики, губами, громадные бесстыдные глаза, а все ее тело, слегка потемневшее от здешнего климата, казалось выточенным из старинной слоновой кости, упругим и нежным, телом белой расы, опаленным солнцем негров.

Она крикнула мне:

— Проходите!

В ее звучном голосе, немного грубоватом, как вся

ее особа, слышались гортанные ноты. Я не шевелился. Она прибавила:

— Нехорошо оставаться здесь, сударь.

Звук «р» в ее устах перекатывался, как грохочущая телега. Тем не менее я не двигался Голова исчезла.

Прошло десять минут, и сначала волосы, затем лоб, затем глаза показались вновь, медленно и осторожно: так делают дети, играющие в прятки, желая взглянуть на того, кто их ищет.

Но на этот раз у нее было гневное выражение, и она крикнула:

— Из-за вас я захвораю! Я не выйду, пока вы будете там сидеть!

Тогда я поднялся и ушел, неоднократно оглядываясь.

Убедившись, что я достаточно далеко, она вылезла из воды, полусогнувшись, держась ко мне боком, и исчезла в углублении скалы, за повешенной юбкой.

На другой день я вернулся. Она снова была в воде, но на этот раз в полном купальном костюме. Она засмеялась, показывая мне свои сверкающие зубы.

Неделю спустя мы были друзьями. А еще через неделю наша дружба стала еще теснее.

Ее звали Маррока; наверно, это было какое-нибудь прозвище, и она произносила его, точно в нем было пятнадцать «р». Дочь испанских колонистов, она вышла замуж за некоего француза, по фамилии Понтабез. Ее муж был чиновником на государственной службе. Я так никогда и не узнал хорошенько, какую именно должность он занимал. Я убедился в том, что он очень занятой человек, и далее не расспрашивал.

Переменив час своего купания, она стала ежедневно приходить после моего завтрака — совершать сьесту в моем доме. И что это была за сьеста! Если бы только так отдыхали!

Она действительно была очаровательной женщиной, немного животного типа, но все же великолепной. Ее глаза, казалось, всегда блестели страстью; полураскрытый рот, острые зубы, самая улыбка ее таили в себе нечто дико-чувственное, а странные груди, удлиненные

и прямые, острые, как груши, упругие, словно на стальных пружинах, придавали телу нечто животное, превращали ее в какое-то низшее и великолепное существо, предназначенное для распутства, и пробуждали во мне мысль о тех непристойных божествах древности, которые открыто расточали свободные ласки на траве под листвой.

Никогда еще ни одна женщина не носила в своих чреслах такого неутолимого желания. Ее страстные ласки и объятия, сопровождавшиеся воплями, скрежетом зубов, судорогами и укусами, почти тотчас же завершались сном, глубоким, как смерть. Но она внезапно пробуждалась в моих руках и опять готова была к любви, и грудь ее взбухала в жажде поцелуев.

Ум ее к тому же был прост, как дважды два четыре, а звонкий смех заменял ей мысль.

Инстинктивно гордясь своею красотою, она питала отвращение даже к самым легким покровам и расхаживала, бегала и прыгала по моему дому с бессознательным и смелым бесстыдством. Пресытясь наконец любовью, измученная воплями и движениями, она засыпала крепким и мирным сном возле меня на диване; от удушливой жары на ее потемневшей коже проступали крошечные капельки пота, а ее руки, закинутые под голову, и все сокровенные складки ее тела выделяли тот звериный запах, который так привлекает самцов.

Иной раз она приходила вечером, когда муж ее был где-то на работе. И мы располагались на террасе, чуть прикрываясь легкими и развевающимися восточными тканями.

Когда, в полнолуние, громадная яркая луна тропических стран стояла на небе, освещая город и залив с его полукругом гор, мы видели вокруг себя, на всех других террасах, как бы целую армию распластавшихся безмолвных призраков, которые иногда вставали, переменяли место и укладывались снова в томной теплоте отдыхающего неба.

Невзирая на ясность африканских вечеров, Маррока упорно ложилась спать голою под яркими лучами луны; она нисколько не беспокоилась о всех тех людях, которые могли нас видеть, и часто, презирая мои мольбы

и опасения, испускала среди ночного мрака протяжные трепетные крики, в ответ на которые вдали раздавался вой собак.

Однажды вечером, когда я дремал под необъятным небосводом, сплошь усыпанным звездами, она стала на колени возле меня на ковре и, приблизив к моему рту свои большие вывороченные губы, сказала:

— Ты должен прийти ночевать ко мне.

Я не понял.

— Как это — к тебе?

— Ну, да. Когда муж уйдет, ты придешь спать на его место.

Я не мог удержаться и расхохотался.

— К чему это, раз ты приходишь сюда?

Она продолжала, говоря мне прямо в рот, обжигая меня своим горячим дыханием до самого горла и увлажняя мои усы

— Чтобы у меня сохранилась память о тебе.

И «р» слова *сохранилась* еще долго с шумом потока звучало в скалах.

Я никак не мог постичь ее мысль Она обвила руками мою шею.

— Когда тебе вскоре придется уехать,— сказала она,— я не раз буду думать об этом. И, прильнув к мужу, буду представлять, что это ты.

Все *ррре, ррри, ррра* казались в ее устах раскатами близкой грозы

Тронутый да и развеселившись, я прошептал:

— Но ты сумасшедшая Я предпочитаю ночевать дома.

У меня действительно нет ни малейшей склонности к свиданиям под супружеской кровлей,— это мышеловка, в которую постоянно попадаются дураки. Но она просила, умоляла и даже плакала, прибавляя.

— Ты посмотрррришь, как я буду тебя любить.

Посмотрррришь прозвучало наподобие грохота барабана, бьющего тревогу.

Ее желание показалось мне таким странным, что я не мог его ничем объяснить; затем, поразмыслив, я решил, что здесь примешалась какая-то глубокая ненависть к мужу, одно из тех тайных возмездий женщины, которая с наслаждением обманывает ненавистного че-

ловека и хочет вдобавок насмеяться над ним в его собственном доме, среди его обстановки, в его постели.

Я спросил ее:

— Твой муж дурно обращается с тобой?

Она рассердилась.

— О нет, он очень добр

— Но ты его не любишь?

Она вскинула на меня громадные изумленные глаза.

— Нет, напротив, я его очень люблю, очень, очень, но не так, как тебя, мое серррдце.

Я совсем уже ничего не понимал, и пока старался что-либо угадать, она запечатлела на моих губах один из тех поцелуев, силу которых отлично знала, прошептав затем:

— Ты прррридешь, не прррравда ли?

Однако я не соглашался Тогда она немедля оделась и ушла.

Восемь дней она не показывалась. На девятый появилась и, с важностью остановившись на пороге моей комнаты, спросила:

— Прррридешь ли ты сегодня вечеррром ко мне спать? Если нет, я ухожу.

Восемь дней — это много, мой друг, а в Африке эти восемь дней стоят целого месяца. «Да!» — крикнул я, протянул к ней руки, и она бросилась в мои объятия

Вечером она ждала меня на соседней улице и привела к себе.

Они жили близ пристани, в маленьком, низеньком домике. Я прошел сначала через кухню, где супруги обедали, и вошел в комнату, выбеленную известью, чистую, с фотографическими карточками родственников на стенах и с букетами бумажных цветов под стеклянными колпаками. Маррока казалась обезумевшей от радости; она прыгала, повторяя:

— Вот ты и у нас, вот ты и у себя.

Я действительно расположился, как у себя.

Признаюсь, я был немного смущен, даже неспокоен. Видя, что я не решаюсь в чужой квартире расстаться с некоторой принадлежностью моей одежды, без которой застигнутый врасплох мужчина становится столь же

смешным, сколь и неловким, неспособным к какому бы то ни было действию, она вырвала у меня силой и унесла в соседнюю комнату, вместе с ворохом остальной моей одежды, и эти ножны моего мужества.

Наконец обычная уверенность вернулась ко мне, и я изо всех сил старался доказать это Марроке, так что спустя два часа мы еще и не помышляли об отдыхе, как вдруг громкие удары в дверь заставили нас вздрогнуть, и громовой мужской голос прокричал:

— Маррока, это я!

Она вскочила.

— Мой муж! Живо, прячься под кровать!

Я растерянно искал свои штаны; но она, задыхаясь, толкала меня:

— Иди же, иди!

Я распластался на полу и скользнул, не говоря ни слова, под ту кровать, на которой мне было так хорошо.

Она прошла на кухню. Я слышал, как она отперла шкаф, заперла его, затем вернулась, принеся с собой какой-то предмет, которого я не видел, но который она живо куда-то сунула, и, так как муж терял терпение, она ответила ему громко и спокойно: «Не могу найти спичек»,— а затем вдруг: «Нашла, отпираю!» И отперла дверь.

Мужчина вошел. Я видел только его ноги, огромные ноги. Если все остальное было пропорционально, он, должно быть, был великаном.

Я услыхал поцелуи, шлепок по голому телу, смех; затем он сказал с марсельским выговором:

— Я забыл дома кошелек, и пришлось воротиться. Я думал, что ты уже спишь крепким сном.

Он подошел к комоду и долго искал в нем то, что ему было нужно; затем, когда Маррока легла на кровать, словно подкошенная усталостью, он подошел к ней и, без сомнения, попытался ее приласкать, так как она в раздраженной фразе выпалила в него картечью гневных «р».

Ноги его были так близко от меня, что мною овладело сумасбродное, глупое, необъяснимое искушение — тихонько дотронуться до них. Но я воздержался.

Потерпев неудачу в своих планах, он рассердился.

— Ты злющая сегодня,— сказал он.

Но примирился с этим·

— До свидания, крошка.

Снова раздался звонкий поцелуй; затем огромные ноги повернулись, блеснули передо мною крупными шляпками гвоздей, перешли в соседнюю комнату, и дверь на улицу захлопнулась.

Я был спасен Смиренный, жалкий, я медленно вылез из своего убежища, и пока Маррока, по-прежнему голая, плясала вокруг меня джигу, раскатисто смеясь и хлопая в ладоши, я тяжело упал на стул. Но тотчас же так и подпрыгнул: подо мной оказалось что-то холодное, и так как я был одет не лучше моей сообщницы, то вздрогнул от этого прикосновения. Я обернулся. Что же? Я сел на небольшой топорик для колки дров, острый, как нож. Как он попал сюда? Я не заметил его, когда входил

Маррока, увидев мой прыжок, задохнулась от хохота; она вскрикивала, кашляла, схватившись обеими руками за живот.

Я находил эту веселость непристойной, неуместной. Мы глупо рисковали жизнью, у меня еще до сих пор бегали мурашки по спине, и ее безумный смех немного задевал меня.

— А что, если бы я попался на глаза твоему мужу? — спросил я.

— Опасаться было нечего,— отвечала она.

— Как опасаться было нечего! Уж очень ты смела! Стоило ему только нагнуться, и он бы увидел меня.

Она перестала смеяться; она только улыбалась, глядя на меня громадными неподвижными глазами, в которых зарождались новые желания.

— Он не нагнулся бы.

Я настаивал:

— Сколько угодно! Урони он свою шляпу, ему пришлось бы ее поднять, и тогда... хорош бы я был в этом костюме!

Она положила мне на плечи свои сильные округлые руки и, понижая голос, словно говоря мне: «Я обожаю тебя», прошептала:

— Тогда он и не встал бы.

Я не понял.

— Почему же это?

Лукаво подмигнув, она протянула руку к стулу, на который я было сел, и ее вытянутый палец, складка у рта, полуоткрытые губы и острые зубы, блестящие и хищные,— все указывало мне на маленький, сверкавший лезвием топорик для колки дров.

Она сделала движение, словно собираясь его взять, затем, привлекая меня вплотную к себе левою рукой и прижавшись бедром к моему бедру, сделала правой рукой быстрое движение, как бы обезглавливая человека, стоявшего перед нею на коленях!..

Вот, мой дорогой, как понимают здесь супружеский долг, любовь и гостеприимство!

ПОЛЕНО

Гостиная была маленькая, сплошь затянутая темными обоями и чуть благоухавшая. Яркий огонь пылал в широком камине, а единственная лампа, стоявшая на углу каминной доски под абажуром из старинных кружев, озаряла мягким светом лица двух собеседников.

Она — хозяйка дома, седая старушка, одна из тех очаровательных старушек без единой морщины на лице, с атласистой, как тонкая бумага, и душистой кожей, пропитанной эссенциями, тонкие ароматы которых благодаря постоянным омовениям въелись сквозь эпидерму в самую плоть; целуя руку такой старушки, чувствуешь легкое благоухание, точно кто-то открыл коробку с пудрой из флорентийского ириса.

Он — старый друг, оставшийся холостяком, еженедельный гость, добрый товарищ на жизненном пути. Но и только.

На минуту они замолчали, и оба глядели на огонь, о чем-то мечтая, отдаваясь той паузе дружеского молчания, когда людям вовсе не надо говорить, когда им и так хорошо друг подле друга.

Внезапно обрушилась большущая головня, целый пень, ощетинившийся пылающими корнями. Перепрыгнув через решетку и вывалившись на пол гостиной, она покатилась по ковру, разбрасывая огненные искры.

Старушка вскочила с легким криком, словно собираясь бежать, но ее друг ударом сапога откинул обрат-

но в камин огромное обуглившееся полено и затоптал угольки, рассыпавшиеся кругом.

Когда все было кончено и распространился сильный запах гари, мужчина снова сел против своей приятельницы и взглянул на нее, улыбаясь.

— Вот почему я так и не женился,— сказал он, указывая на водворенную в камин головню.

Она взглянула на него в удивлении — тем любопытствующим взглядом желающей все узнать немолодой женщины, в котором сквозит обдуманное, сложное и нередко коварное любопытство. И спросила:

— Как это?

Он отвечал:

— О, это целая история, довольно грустная и гадкая!

Мои старые товарищи не раз удивлялись охлаждению, наступившему вдруг между Жюльеном, одним из моих лучших друзей, и мною. Они не могли понять, каким образом два закадычных, неразлучных друга сразу сделались почти чужими. Так вот какова тайна нашего расхождения.

Он и я в былые времена жили вместе. Мы никогда не расставались, и нас связывала такая крепкая дружба, что, казалось, ничто не в силах было ее разорвать.

Однажды вечером, воротясь домой, он объявил мне, что женится.

Я получил удар прямо в сердце: он меня словно обокрал или предал Когда один из друзей женится, то дружбе конец, навсегда конец. Ревнивая любовь женщины, подозрительная, беспокойная и плотская любовь, не терпит прямодушной, бодрой привязанности, той доверчивой привязанности и ума и сердца, какая существует между двумя мужчинами.

Видите ли, сударыня, какова бы ни была любовь, соединяющая мужчину и женщину, они умом и душою всегда чужды друг другу; они остаются воюющими сторонами; они принадлежат к разной породе; тут всегда нужно, чтобы был укротитель и укрощаемый, господин и раб; и так бывает то с одним, то с другим — они никогда не могут быть равны. Они стискивают друг другу трепещущие страстью руки, но никогда не пожмут их широким, сильным и честным рукопожатием, которое

словно открывает и обнажает сердца в порыве искренней, смелой и мужественной привязанности. Мудрым людям, вместо того чтобы вступить в брак и производить для утешения на старости детей, которые их покинут, лучше было бы подыскать доброго, надежного друга и стариться вместе с ним в той общности умственных интересов, какая возможна только между двумя мужчинами.

Словом, друг мой Жюльен женился. Его жена была хорошенькая, очаровательная маленькая кудрявая блондинка, живая и пухленькая; казалось, она обожала его.

Сначала я ходил к ним редко, боясь помешать их нежностям, чувствуя себя среди них лишним. Но они старались завлечь меня к себе, беспрестанно звали меня и, по-видимому, любили.

Мало-помалу я поддался тихой прелести этой общей жизни, нередко обедал у них и нередко, возвратившись домой ночью, мечтал последовать примеру Жюльена — тоже найти себе жену, так как мой пустой дом казался мне теперь очень печальным.

Они, по-видимому, обожали друг друга и никогда не расставались. Однажды вечером Жюльен написал мне, прося прийти к обеду. Я отправился.

— Милый мой,— сказал он,— мне необходимо отлучиться по делу сейчас же после обеда. Я не вернусь раньше одиннадцати, но ровно в одиннадцать буду дома. Я рассчитываю, что ты посидишь с Бертой.

Молодая женщина улыбнулась.

— Это я придумала послать за вами,— сказала она.

Я пожал ей руку.

— Как вы милы!

И почувствовал, что она пожимает мне пальцы дружески и длительно. Но я не придал этому значения. Сели за стол, и ровно в восемь Жюльен нас покинул.

Как только он ушел, между его женой и мной сразу же возникло чувство какого-то странного стеснения. Мы никогда еще не оставались одни, и, несмотря на возраставшую с каждым днем близость, очутиться наедине было для нас совершенной новостью. Я заговорил сначала о чем-то неопределенном, о тех ничего не значащих пустяках, которыми обычно заполняют

минуты затруднительного молчания. Она не отвечала, сидя против меня у другого угла камина, с опущенной головой и блуждающим взглядом, вытянув к огню ногу и погрузившись, казалось, в раздумье. Когда банальные темы иссякли, я умолк. Удивительно, до чего иногда трудно бывает найти, о чем говорить. И затем я снова почувствовал в воздухе нечто неосязаемое и невыразимое, некое таинственное веяние, которое предупреждает нас о тайных умыслах, добрых или злых, питаемых к нам другими лицами.

Некоторое время тянулось это томительное молчание. Затем Берта сказала:

— Подбросьте в камин полено, мой друг; видите, он гаснет.

Я открыл ящик для дров — он стоял совершенно, как у вас,— достал полено, самое толстое полено, и поставил его стоймя на другие поленья, почти уже сгоревшие.

Молчание возобновилось.

Через несколько минут полено запылало так сильно, что жар стал жечь нам лица. Молодая женщина взглянула на меня, и выражение ее глаз показалось мне каким-то особенным.

— Теперь здесь чересчур жарко,— сказала она,— перейдемте туда, на диван.

И вот мы сели на диван.

Вдруг, глядя мне прямо в глаза, она спросила:

— Что бы вы сделали, если бы женщина сказала вам, что она вас любит?

Совершенно опешив, я ответил:

— Право, это случай непредвиденный, а затем все зависело бы от того, какова эта женщина.

Она засмеялась сухим, нервным, дрожащим смехом, тем фальшивым смехом, от которого, кажется, должно разбиться тонкое стекло, и прибавила:

— Мужчины никогда не бывают ни смелыми, ни хитрыми.

Помолчав, она спросила снова:

— Вы когда-нибудь бывали влюблены, господин Поль?

Я признался, что бывал влюблен.

— Расскажите, как это было,— попросила она.

Я рассказал ей какую-то историю Она слушала внимательно, то и дело выражая неодобрение и презрение, и вдруг сказала:

— Нет, вы ничего не понимаете в любви Чтобы любовь была настоящей, она, по-моему, должна перевернуть сердце, мучительно скрутить нервы, опустошить мозг, она должна быть — как бы выразиться? — полна опасностей, даже ужасна, почти преступна, почти святотатственна; она должна быть чем-то вроде предательства; я хочу сказать, что она должна попирать священные преграды, законы, братские узы; когда любовь покойна, лишена опасностей, законна, разве это настоящая любовь?

Я не знал, что отвечать, а про себя философски воскликнул: «О, женская душа, ты вся здесь!»

Говоря все это, она напустила на себя лицемерный вид равнодушной недотроги и, откинувшись на подушки, вытянулась и легла, положив мне на плечо голову, так что платье немного приподнялось, позволяя видеть красный шелковый чулок, вспыхивавший по временам в отблесках камина.

Немного погодя она сказала:

— Я вам внушаю страх?

Я протестовал. Она совсем оперлась о мою грудь и, не глядя на меня, произнесла:

— А если бы я вам сказала, что люблю вас, что бы вы тогда сделали?

И не успел я ответить, как ее руки охватили мою шею, притянули мою голову, и губы ее прижались к моим губам.

Ах, моя дорогая, ручаюсь вам, что в ту минуту мне было далеко не весело! Как, обманывать Жюльена? Сделаться любовником этой маленькой, испорченной и хитрой распутницы, без сомнения, страшно чувственной, которой уже недостаточно мужа? Беспрестанно изменять, всегда обманывать, играть в любовь единственно ради прелести запретного плода, ради бравирования опасностью, ради поругания дружбы! Нет, это мне совершенно не подходило. Но что делать? Уподобиться Иосифу? Глупейшая и вдобавок очень трудная роль, потому что эта женщина обезумела в своем вероломстве, горела отвагой, трепетала от страсти

и неистовства. О, пусть тот, кто никогда не чувствовал на своих губах глубокого поцелуя женщины, готовой отдаться, бросит в меня первый камень!..

.. Словом, еще минута... вы понимаете, не так ли... еще минута, и... я бы... то есть она бы... Виноват, это случилось бы, или, вернее, должно было бы случиться, как вдруг страшный шум заставил нас вскочить на ноги.

Горящее полено, да, сударыня, полено ринулось из камина, опрокинув лопатку и каминную решетку, покатилось, как огненный ураган, подожгло ковер и упало под кресло, которое неминуемо должно было загореться.

Я бросился, как безумный, а пока водворял в камин спасительную головню, дверь внезапно отворилась Вошел Жюльен, весь сияя.

— Я свободен! — воскликнул он.— Дело кончилось двумя часами раньше!

Да, мой друг, если бы не это полено, я был бы застигнут на месте преступления. Можете представить себе последствия!

Понятно, я принял меры, чтобы никогда больше не попадать в такое положение, никогда, никогда! Затем я заметил, что Жюльен становится ко мне холоден. Жена, очевидно, подкапывалась под нашу дружбу; мало-помалу он отдалил меня от себя, и мы перестали видеться.

Я не женился. Теперь это не должно вас удивлять.

МОЩИ

Господину аббату Луи д'Эннемар в г Суассоне

Дорогой аббат!

Итак, свадьба моя с твоею кузиной расстроилась и притом самым глупым образом, из-за нехорошей шутки, которую я невольно сыграл с моею невестою.

Очутившись в затруднительном положении, прибегаю к твоей помощи, мой старый друг, потому что ты можешь вызволить меня из беды. Я буду тебе за это благодарен по гроб жизни.

Ты знаешь Жильберту, или, скорее, думаешь, что знаешь,— можно ли вообще знать женщин? Все их мнения, верования и мысли полны таких неожиданностей! Все это у них одни увертки, хитрости, непредвиденные, неуловимые доводы, логика наизнанку, а также упорство, которое кажется непреклонным и вдруг исчезает потому только, что какая-то птичка прилетела и села на выступ окна.

Не мне извещать тебя, что твоя кузина, воспитанная белыми или черными монахинями города Нанси, до крайности религиозна.

Тебе это лучше известно, чем мне. Но ты, без сомнения, не знаешь, что она восторженна во всем, как и в своем благочестии. Она увлекается, как листок, несомый ветром, и в то же время она в большей степени, чем кто бы то ни было, женщина или, вернее, молодая девушка, способная мгновенно растрогаться или рассердиться, вмиг вспыхнуть любовью или ненавистью

и так же быстро остыть; к тому же она красива... как ты знаешь, и до того очаровательна, что нельзя и выразить .. Но этого ты не узнаешь никогда.

Итак, мы были помолвлены; я обожал ее, как обожаю и до сих пор. Она тоже, по-видимому, любила меня.

Однажды вечером я получил телеграмму, вызывавшую меня в Кельн к больному на консультацию, за которой могла последовать серьезная и трудная операция. Так как я должен был ехать на другой день, то побежал проститься с Жильбертой и объяснить ей, почему я не смогу прийти обедать к моим будущим тестю и теще в среду, а приду только в пятницу, в день возвращения. Ох, берегись пятниц, уверяю тебя· это зловещие дни!

Когда я заговорил об отъезде, то заметил в ее глазах слезинки, но когда сказал о скором возвращении, она тотчас же захлопала в ладоши и воскликнула:

— Какое счастье! Привезите мне что-нибудь оттуда, какой-нибудь пустяк, просто что-нибудь на память, но только вещицу, выбранную для меня. Вы должны угадать, что доставит мне всего больше удовольствия, слышите? Я увижу, есть ли у вас воображение.

Она с минуту подумала, затем сказала:

— Я запрещаю вам тратить на это более двадцати франков. Мне хочется, сударь, чтобы меня тронуло ваше желание, ваша изобретательность, а вовсе не цена.

Затем, снова помолчав, она вполголоса сказала, опуская глаза:

— Если это вам обойдется недорого и если будет остроумно и тонко, я... я вас поцелую.

На другой день я был уже в Кельне. Дело касалось несчастного случая, ужасного случая, повергшего в отчаяние целую семью. Ампутация была необходима немедленно. Мне отвели помещение, где я жил почти взаперти; кругом я только и видел заплаканных людей, и это действовало на меня отупляюще; я оперировал умиравшего, который чуть не скончался у меня под ножом; я провел возле него две ночи, а затем, как только увидел некоторые шансы на выздоровление, приказал отвезти себя на вокзал.

Я ошибся временем, и мне предстояло целый час дожидаться. Я стал бродить по улицам, все еще думая о моем бедном больном, как вдруг ко мне подошел какой-то субъект.

Я не говорю по-немецки, а он не знал французского языка. Наконец я понял, что он предлагал мне мощи Мысль о вещице на память для Жильберты пронизала мне сердце; я вспомнил ее фанатическую набожность Вот мой подарок и найден! Я пошел за торговцем в магазин предметов церковного обихода и выбрал там «непольшой кусочек останков отиннадцати тысяч тефственниц».

Мнимые мощи были заключены в восхитительную коробочку под старинное серебро, которая окончательно и решила мой выбор.

Я положил вещицу в карман и сел в поезд.

Приехав домой, я захотел еще раз взглянуть на свою покупку. Достал ее.. Коробочка оказалась открытой, и мощи потерялись! Я как следует обшарил карман, вывернул его, но крошечная косточка, с половину булавки, исчезла.

Как тебе известно, дорогой аббат, особенно пылкой верой я не отличаюсь; у тебя хватает великодушия и дружбы относиться к моей холодности терпимо и не настаивать — в ожидании будущего, как ты говоришь; но уже в мощи, продаваемые торговцами благочестия, я безусловно не верю, и ты разделяешь мои решительные сомнения на этот счет. Итак, потеря этого крошечного кусочка бараньей косточки меня нисколько не опечалила; я без труда раздобыл точно такой же и тщательно приклеил его внутри моего сокровища.

И я отправился к невесте.

Едва увидев меня, она бросилась ко мне навстречу, робея и смеясь:

— Что же вы мне привезли?

Я притворился, что забыл об этом, она не поверила. Я заставил ее просить, даже умолять, и когда увидел, что она умирает от любопытства, подал ей священный медальон. Она замерла в порыве радости.

— Мощи! О, мощи!

И страстно поцеловала коробочку. Мне стало стыдно за свой обман.

Но вдруг ею овладело беспокойство, тотчас же перешедшее в ужасную тревогу. Глядя мне прямо в глаза, она спросила:

— А вы уверены в том, что они настоящие?

— Совершенно уверен.

— Почему?

Я попался. Признаться, что косточка была куплена у уличного торговца, значило погубить себя. Что же сказать? Безумная мысль пронеслась у меня в мозгу, и я ответил, понизив голос, с таинственной интонацией:

— Я украл их для вас.

Она взглянула на меня огромными глазами, изумленными и полными восторга.

— О, вы украли их!.. Где же?

— В соборе, из раки с останками одиннадцати тысяч девственниц,— сказал я.

Сердце ее сильно билось; от счастья она была почти без чувств и пролепетала:

— О, вы сделали это... ради меня... Расскажите же . расскажите мне все!

Все было кончено, отступать я не мог. Я сочинил фантастическую историю с точными и захватывающими подробностями. Я дал сто франков сторожу, чтобы осмотреть собор одному; раку в это время ремонтировали; но я попал в тот самый час, когда рабочие и причт завтракали; приподняв какую-то створку, которую я затем тотчас же тщательно приладил на место, я успел выхватить оттуда (о, совсем крошечную!) косточку из множества других (я говорю «множества», думая о том, сколько же должно быть останков у одиннадцати тысяч скелетов девственниц). Затем я отправился к ювелиру и купил достойную оправу для мощей.

Я не отказал себе в удовольствии упомянуть ей мимоходом, что медальон обошелся мне в пятьсот франков.

Но она и не думала об этом; она слушала меня, трепеща, в экстазе. Она прошептала: «Как я вас люблю!» — и упала в мои объятия.

Заметь: я совершил из-за нее кощунство — я украл; я осквернил церковь, осквернил раку; осквернил и украл святые мощи. За это она обожала меня, находила

меня нежным, идеальным, божественным. Такова женщина, дорогой аббат, такова вся женщина.

В течение двух месяцев я был самым восхитительным из всех женихов. Она устроила нечто вроде великолепной часовни, чтобы водворить там частицу котлетной косточки, побудившую меня, как она верила, пойти на такое дивное преступление во имя любви; и она ежедневно замирала в восторге перед ней утром и вечером.

Я просил ее хранить тайну, боясь, как я говорил, что меня могут арестовать, осудить, выдать Германии. Она сдержала слово.

Но вот в начале лета ее охватило безумное желание увидеть место моего подвига. Она так долго и так усердно упрашивала отца (не открывая ему тайной причины), что он повез ее в Кельн, скрыв от меня, по желанию дочери, эту поездку.

Мне нечего тебе говорить, что внутрь собора я и не заходил. Я не знаю, где находится гробница (если она только существует) одиннадцати тысяч девственниц. Увы! По-видимому, гробница эта неприступна.

Неделю спустя я получил от нее десять строк, возвращавших мне слово, и объяснительное письмо от отца, задним числом посвященного в тайну.

При виде раки она сразу поняла мой обман, мою ложь, но в то же время и мою истинную невиновность. Когда она спросила у хранителя мощей, не было ли тут когда-нибудь кражи, тот расхохотался, доказывая всю неосуществимость подобного покушения.

И вот, с той минуты, когда оказалось, что я не совершил взлома в священном месте, не погрузил богохульственной руки в чтимые останки, я более не был достоин моей белокурой и утонченной невесты.

Мне отказали от дома. Тщетно я просил, молил; ничто не могло растрогать набожную красавицу.

С горя я заболел.

На прошлой неделе ее кузина, которая одновременно приходится кузиной и тебе, г-жа д'Арвиль, попросила меня зайти к ней.

Я могу быть прощен на следующих условиях. Я должен привезти мощи какой-нибудь девственницы или му-

ченицы, но настоящие, доподлинные, засвидетельствованные нашим святейшим отцом папой.

Я готов сойти с ума от затруднений и беспокойства.

В Рим я поеду, если нужно. Но не могу же я явиться к папе и рассказать ему о своем дурацком приключении. Да я и сомневаюсь, чтобы подлинные мощи доверялись частным лицам.

Не можешь ли ты дать мне рекомендацию к кому-либо из кардиналов или хотя бы к кому-нибудь из французских прелатов, владеющих останками какой-либо святой? И нет ли у тебя самого в твоих коллекциях требуемого драгоценного предмета?

Спаси меня, дорогой аббат, и я обещаю тебе обратиться десятью годами раньше!

Г-жа д'Арвиль горячо принимает все это к сердцу, и она сказала мне

— Бедной Жильберте никогда не выйти замуж.

Мой старый товарищ, неужели ты допустишь, чтобы твоя кузина умерла жертвой глупой проделки? Умоляю тебя, помешай ей стать одиннадцать тысяч первой девственницей.

Прости меня, я недостойный человек; но я обнимаю и люблю тебя от всего сердца.

Твой старый друг
Анри Фонталь.

КРОВАТЬ

Однажды, прошлым летом, в знойный послеполуденный час, огромный аукционный зал, казалось, погрузился в дремоту, и оценщики объявляли о покупках умирающими голосами. В углу одного из зал второго этажа лежала куча старинных церковных облачений.

Там были торжественные мантии и очаровательные ризы с вышитыми вокруг символических букв на пожелтелом шелковом фоне гирляндами, который стал кремовым из белого, каким был когда-то.

Присутствовало несколько барышников, двое или трое мужчин с грязными бородами и дородная толстобрюхая женщина, одна из так называемых торговок нарядами, а на самом деле советчица и укрывательница запретной любви, торгующая столько же молодым и старым человеческим телом, сколько новыми и старыми тряпками.

Стали продавать прелестную ризу эпохи Людовика XV, красивую, как платье маркизы, хорошо сохранившуюся, с гирляндой ландышей вокруг креста, с длинными голубыми ирисами, поднимавшимися до самого подножия священной эмблемы, и венками роз по углам. Купив ризу, я заметил, что она еще хранит чуть слышное благоухание, словно пропитавшись ладаном или, вернее, еще тая в себе легкие и сладостные ароматы былого, которые кажутся уже не запахом, а воспоминанием о запахе, душою испарившихся благовоний.

Придя домой, я хотел накрыть ею маленький стул той же восхитительной эпохи, но, примеряя ее, ощутил

вдруг под пальцами шуршание бумаги. Когда я подпорол подкладку, к моим ногам упало несколько писем. Они пожелтели от времени, а выцветшие чернила казались ржавчиною. На сложенном по-старинному листе было начертано тонким почерком: «Господину аббату д'Аржансэ».

В первых трех письмах просто назначались свидания. А вот четвертое:

Друг мой, я больна, совсем изнемогаю и не встаю с постели. Дождь стучит мне в стекла, и, лежа в тепле согревающих меня пуховиков, я лениво мечтаю. Со мною одна книга, которую я люблю и которую как будто отчасти написала я сама. Назвать ли вам ее заглавие? Нет. Вы станете бранить меня. Почитав, я отдаюсь думам, и мне хочется вам кое о чем рассказать.

Под спину мне подложили подушки; они поддерживают меня, и я, сидя, пишу вам на том маленьком пюпитре, который вы мне подарили.

Так как я три дня не покидаю своей кровати, то о кровати я и думаю, продолжая возвращаться к ней мыслью даже во сне.

Кровать, друг мой,— это вся наша жизнь. На ней рождают, на ней любят, на ней умирают.

Если бы я обладала пером г-на де Кребильона, я написала бы историю какой-нибудь кровати. Сколько потрясающих, ужасных приключений, но зато сколько приключений красивых и нежных! Сколько назидательных уроков можно извлечь из нее, сколько поучительных рассказов для всех!

Вы знаете мою кровать, друг мой. Вы никогда не сможете представить себе, сколько всего открыла я в ней за эти три дня и как возросла моя любовь к ней. Она кажется мне обитаемой, посещаемой, если можно так выразиться, вереницею людей, о которых я и не подозреваю, но которые, тем не менее, оставили в ней нечто от самих себя.

О, я не понимаю тех, кто покупает кровати новые, кровати без воспоминаний! Моя, наша кровать, такая старая, такая подержанная и просторная, должна хранить память о стольких жизнях — от рожденья до мо-

гилы. Подумайте об этом, друг мой, подумайте обо всем; вспомните, сколько поколений прошло между этими четырьмя колонками, под этим балдахином, вышитым фигурками, натянутым над нашими головами и столько всего перевидавшим. Чему только не был он свидетелем за три века, пока он там!

Вот распростертая молодая женщина. Время от времени у нее вырывается вздох, потом она стонет; ее окружают старики, родные; и вот на свет появляется маленькое, скрюченное, сморщенное существо, мяукающее, как котенок. Так начинается человеческая жизнь. Она, молодая мать, чувствует себя страдающе-радостной; она замирает от счастья при первом крике ребенка и задыхается, и протягивает к нему руки; и все вокруг плачут от радости, потому что этот маленький комочек живого тела, отделившийся от нее,— это продолжение семьи, продолжение крови, сердца и души стариков, которые с трепетом глядят на него.

Вот впервые двое любящих очутились телом к телу в этой скинии жизни. Они трепещут, но, охваченные восторгом, сладостно упоены своей близостью, и уста их постепенно сближаются. Их соединяет поцелуй, божественный поцелуй — дверь в земной рай, поцелуй, который поет о людских наслаждениях, сулит их всегда, возвещая их и предвосхищая. И кровать колышется, как взволнованное море, вгибается и рокочет, и сама кажется одушевленной, радостной, ибо на ней свершается пьянящее таинство любви. Что может быть в нашем мире слаще, совершеннее этих объятий, сливающих воедино два существа и дарующих в этот момент каждому из них одну и ту же мысль, одно и то же ожидание, одну и ту же безумную радость, которая сходит на них, как всепожирающее небесное пламя!

Помните ли стихи, которые вы мне читали в прошлом году, стихи какого-то старого поэта, не знаю чьи, может быть, нежного Ронсара?

Если ляжем на кровать
И сплетемся,— нам под стать
Все восторги, как бывалым
Тем любовникам, чья страсть
Перепробует — и всласть —
Сто затей под одеялом.

Мне хотелось бы вышить эти стихи на балдахине моей кровати, с которого Пирам и Тисба без устали глядят на меня своими вытканными глазами.

А вспомните о смерти, друг мой, о всех тех, кто испустил последний вздох на этой кровати. Ведь она также и могила конченых надежд, все закрывающая дверь, после того как она была вратами, отверзающими мир. Сколько воплей, сколько страха, страданий, ужасного отчаяния, предсмертных стонов, простертых к былому рук, навеки смолкших призывов счастья, сколько судорог, хрипов, гримас, перекошенных ртов, закатившихся глаз видела эта кровать, где я вам пишу, сколько их видела она за три века, в течение которых простирала над людьми свой кров!

Кровать, вдумайтесь в это,— символ жизни; я догадалась об этом только три дня тому назад. Нет ничего более значительного, чем наша кровать

И не является ли сон лучшим из мгновений нашей жизни?

Но здесь также страдают! Ложе — прибежище больных, место страданий износившейся плоти.

Кровать — это человек. Господь наш Иисус Христос, дабы доказать, что в нем не было ничего человеческого, никогда, кажется, не нуждался в кровати. Он родился на соломе и умер на кресте, предоставив слабым существам, вроде нас, это ложе изнеженности и отдыха.

Сколько еще других мыслей пришло мне в голову! Но некогда их записывать, да разве все их вспомнишь! И потом я уже так устала, что хочу вытащить подушки из-за спины, протянуться всем телом и уснуть.

Приходите навестить меня завтра в три часа; быть может, я буду лучше себя чувствовать и смогу вам это доказать.

Прощайте, друг мой, вот вам для поцелуя мои руки; вот вам также и губы.

СУМАСШЕДШИЙ?

Сумасшедший ли я? Или только ревную? Не знаю, но я страдал жестоко Я совершил безумный поступок, акт яростного безумия. Это так; но душившая меня ревность, но восторженная, преданная и поруганная любовь, но отвратительная боль, которую я испытываю,— разве всего этого не достаточно, чтобы побудить нас совершать преступления и безумства, хотя бы мы и не были на самом деле преступниками ни сердцем, ни умом?

О, я страдал, страдал, страдал — долго, мучительно, ужасно. Я любил эту женщину с неистовой страстью... И, однако, верно ли это? Любил ли я ее? Нет, нет, нет! Она овладела моей душой и телом, захватила меня, связала. Я был и остался ее вещью, ее игрушкой. Я принадлежу ее улыбке, ее губам, ее взгляду, линиям ее тела, овалу ее лица; я задыхаюсь под игом ее внешности, но она, обладательница этой внешности, душа этого тела, мне ненавистна, гнусна, и я всегда ее ненавидел, презирал и гнушался ею. Потому что она вероломна, похотлива, нечиста, порочна; она женщина погибели, чувственное и лживое животное, у которого нет души, у которого никогда нет мысли, подобной вольному, животворящему воздуху; она человек-зверь и хуже того: она лишь утроба, чудо нежной и округлой плоти, в котором живет Бесчестие.

Первое время нашей связи было странно и упоительно. В ее вечно раскрытых объятиях я исходил яростью ненасытного желания. Ее глаза, как бы вызывая

во мне жажду, заставляли меня раскрывать рот. В полдень они были серые, в сумерки — зеленоватые и на восходе солнца — голубые. Я не безумец: клянусь, что у них были эти три цвета.

В часы любви они были синие, изнемогающие, с расширенными зрачками. Из ее судорожно трепетавших губ высовывался порою розовый, влажный кончик языка, дрожавший, как жало змеи, а ее тяжелые веки медленно поднимались, открывая жгучий и замирающий взгляд, сводивший меня с ума.

Сжимая ее в объятиях, я вглядывался в ее глаза и дрожал, томясь желанием убить этого зверя и необходимостью обладать ею непрерывно.

Когда она ходила по моей комнате, то каждый ее шаг потрясал мое сердце, а когда она начинала раздеваться, сбрасывала платье и появлялась, бесстыдная и сияющая, из волн белья, падавшего у ее ног, я ощущал во всех членах, в руках и ногах, в тяжко дышавшей груди, бесконечную и подлую порабощенность.

В один прекрасный день я увидел, что она пресытилась мною. Я заметил это по ее глазам при пробуждении. Склонившись над нею, я каждое утро с нетерпением ждал ее первого взгляда. Я ожидал его, полный злобы, ненависти, презрения к этому спящему зверю, невольником которого я был. Но когда показывалась бледная лазурь ее зрачков, льющаяся как вода, еще томная, еще усталая, еще измученная от недавних ласк, во мне мгновенно вспыхивало пламя, безудержно обостряя мой пыл. В этот же день, когда она раскрыла глаза, из-под ресниц на меня глянул угрюмый и безразличный взгляд, и в нем больше не было желания.

О, я увидел, почувствовал, узнал, тотчас же понял этот взгляд! Все было кончено, кончено навсегда. И доказательства этого попадались мне каждый час, каждое мгновение.

Когда я призывал ее объятиями и губами, она скучающе отворачивалась, шепча: «Оставьте же меня!» или: «Вы мне противны!» или: «Неужели мне никогда не будет покоя!»

Тогда я стал ревнивым. Но ревнивым, как собака, хитрым, недоверчивым, скрытным. Я отлично знал, что

она скоро опять возьмется за старое, что на смену мне явится другой и зажжет ее чувства.

Я ревновал бешено; но я не сошел с ума, нет, конечно, нет.

Я ждал; о, я шпионил за нею, она не обманула бы меня; но она по-прежнему была холодная, сонливая. Порою она говорила: «Мужчины внушают мне отвращение». И это была правда.

Тогда я стал ее ревновать к ней самой; ревновать к ее безразличию, ревновать к одиночеству ее ночей; ревновать к ее жестам, к ее мыслям, которые всегда казались мне бесчестными, ревновать ко всему, о чем я догадывался. И когда я порой замечал у нее по утрам тот влажный взор, который бывал когда-то после наших пылких ночей, словно какое-то вожделение опять всколыхнуло ее душу и возбудило ее желания, я задыхался от гнева, дрожал от негодования, от неутолимой жажды задушить ее, придавить коленом и, сдавливая ей горло, заставить покаяться во всех постыдных тайнах ее души.

Сумасшедший ли я? Нет.

Но вот однажды вечером я почувствовал, что она счастлива. Я почувствовал, что какая-то новая страсть трепетала в ней. Я был в этом уверен, непоколебимо уверен. Она вздрагивала, как после моих объятий; ее глаза горели, руки были горячие, от всего ее трепетавшего тела исходил тот любовный хмель, который доводил меня до безумия.

Я притворялся, что ничего не замечаю, но внимание мое опутывало ее, как сетью.

Тем не менее я ничего не открыл.

Я ждал неделю, месяц, несколько месяцев. Она расцветала непонятной страстью и замирала в блаженстве неуловимой ласки.

И вдруг я догадался! Я не сумасшедший! Клянусь, что я не сумасшедший!

Как это высказать? Как заставить себя понять? Как выразить эту отвратительную и непостижимую вещь?

Вот каким образом все стало мне известно.

Однажды вечером, как я сказал, вернувшись домой после длинной прогулки верхом, она упала на низкий стул против меня; ее щеки пылали, сердце сильно коло-

тилось, взор был изнемогающий, и она едва держалась на ногах. Я знавал ее такою! Она любила! Я не мог ошибиться!

Теряя голову и чтобы больше не смотреть на нее, я отвернулся к окошку и увидел лакея, отводившего под уздцы в конюшню ее сильного коня, вздымавшегося на дыбы.

Она также провожала взглядом горячего, рвавшегося жеребца А когда он исчез, она сразу же заснула.

Я продумал всю ночь, и мне показалось, что я проникаю в тайны, которых никогда не подозревал. Кто сможет измерить когда-нибудь всю извращенность женской чувственности? Кто поймет женщин, их невероятные капризы, странное утоление ими самых странных фантазий?

Каждое утро с рассвета она галопом носилась по долинам и лесам, и каждый раз возвращалась истомленная, словно после неистовств любви

Я понял! Я ревновал ее теперь к сильному, быстрому жеребцу; ревновал к ветру, ласкавшему ей лицо, когда она мчалась в безумном галопе; ревновал к листьям, целовавшим на лету ее уши; к каплям солнца, падавшим ей на лоб сквозь ветки деревьев; ревновал к седлу, на котором она сидела, плотно прижавшись к нему бедром.

Все это делало ее счастливой, возбуждало, насыщало, истомляло и затем возвращало ее мне бесчувственной и почти в обмороке.

Я решил отомстить. Я стал кроток и полон внимания к ней. Я подавал ей руку, когда она соскакивала на землю, возвращаясь после своих необузданных поездок. Бешеный конь бросался на меня, она похлопывала его по выгнутой шее, целовала трепетавшие ноздри, не отирая после этого губ, и аромат ее тела, всегда в поту, как после жаркой постели, смешивался в моем обонянии с острым звериным запахом животного.

Я ждал своего часа. Каждое утро она проезжала по одной и той же тропинке в молодой березовой роще, уходившей в лес.

Я вышел до рассвета, с веревкою в руке и парой спрятанных на груди пистолетов, словно собираясь драться на дуэли.

Я бегом направился к ее излюбленной тропинке, натянул веревку между двумя деревьями и спрятался в траве.

Припав ухом к земле, я услыхал его далекий галоп, затем вдали увидел и его самого, несшегося во весь опор под листвой, как бы в конце какого-то свода. Нет, я не ошибся это было то самое! Она казалась вне себя от радости, кровь прилила к ее щекам, во взоре было безумие; нервы ее трепетали в одиноком и неистовом наслаждении от стремительной быстроты скачки.

Животное зацепилось за мою преграду передними ногами и рухнуло на землю, ломая себе кости. Ее же я подхватил на руки. Я так силен, что могу поднять и вола. Затем, когда я спустил ее на землю, то приблизился к нему — а он глядел на нас — и в ту минуту, когда он попытался укусить меня, я вложил ему в ухо пистолет и застрелил его... как мужчину.

Но тут я тоже упал — и лицо мое рассекли два удара хлыста, и когда она снова бросилась на меня, я выпустил второй заряд ей в живот.

Сумасшедший ли я, скажите?

ПРОБУЖДЕНИЕ

Вот уже три года, как она вышла замуж и не покидала долины Сирэ, где у ее мужа были две прядильни. Она жила спокойно, счастливо, без детей, в своем домике, спрятавшемся под деревьями и прозванном рабочими «замком»

Муж, г-н Вассер, гораздо старше ее, был очень добр. Она любила его, и никогда ни одно преступное желание не проникало в ее сердце Мать ее приезжала каждое лето в Сирэ, а затем возвращалась обратно в Париж на зиму, когда начинали падать листья.

Каждую осень Жанна немного кашляла. Узкая долина, по которой змеилась речка, погружалась в туман на целых пять месяцев Сначала над лугами носился легкий пар, отчего долина становилась похожею на большой пруд с выплывавшими из него крышами домов. Затем это белое облако, поднимаясь подобно морскому приливу, охватывало все, превращало долину в страну призраков, обитатели которой скользили, как тени, не узнавая в десяти шагах друг друга. Окутанные туманом деревья высились, заплесневев от сырости

Но те, кому случалось проходить по соседним холмам и смотреть на белое углубление долины, видели, как из тумана, скопившегося на уровне холмов, высились две высокие трубы фабрик г-на Вассера, и из них день и ночь поднимались к небу две змеи черного дыма

Только одно это и указывало, что в этой впадине,

казалось, заполненной облаком ваты, все-таки жили люди.

И вот в этом году, когда наступил октябрь, доктор посоветовал молодой женщине провести зиму у матери в Париже: климат долины становился опасным для ее легких

Она уехала.

Первые месяцы она беспрестанно думала о покинутом доме, к которому уже так привыкла, где она любила свою обстановку и спокойное течение дней. Но мало-помалу она сжилась с новой жизнью и вошла во вкус праздников, обедов, вечеров и танцев

В ее манерах до сих пор сохранялось что-то девичье, что-то неопределенное и сонливое — немного вялая походка, немного усталая улыбка Теперь же она стала оживленной, веселой, всегда готовой к всевозможным удовольствиям. Мужчины ухаживали за нею. Она забавлялась их болтовнею, играла их поклонением, чувствуя себя способной противостоять им и немного разочарованной в любви, какой узнала ее в брачной жизни.

Мысль отдать свое тело грубым ласкам этих бородатых существ заставляла ее хохотать от жалости и слегка вздрагивать от отвращения Она с изумлением спрашивала себя, как могли женщины соглашаться на эти унизительные сближения с посторонними мужчинами, если их и без того принуждали к этому мужья Она любила бы своего супруга гораздо нежнее, если бы они жили как двое друзей, ограничиваясь целомудренными поцелуями, этими ласками душ

Но ее немало забавляли комплименты, загоравшиеся в глазах и не разделяемые ею желания, прямые нападения, нашептываемые на ухо любовные признания после тонкого обеда, когда переходят из столовой в гостиную; эти слова, произносимые так тихо, что их приходилось скорее угадывать, оставляли ее плоть холодной, а сердце спокойным и щекотали лишь ее бессознательное кокетство, но от них в ее душе загоралось пламя удовлетворения, расцветала на губах улыбка, блестел ее взгляд, трепетала ее женская душа, принимающая поклонение, как должное.

Она любила беседы с глазу на глаз, в сумерках, у

камина, когда в гостиной уже темнеет и мужчина делается настойчивым, лепечет, дрожит и падает на колени. Для нее было изысканною и новою радостью чувствовать эту страсть, которая ее не задевала, говорить «нет» головой и губами, отнимать руки, вставать и хладнокровно звонить, приказывая зажечь лампы, и видеть, как тот, кто дрожал у ее ног, поднимается в смущении и ярости, заслышав шаги лакея

Она умела смеяться сухим смешком, замораживавшим пылкие речи, знала жесткие слова, которые, как струя ледяной воды, обрушивались на жаркие уверения, знала интонации, заставлявшие человека, без памяти влюбленного в нее, думать о самоубийстве.

Двое молодых людей преследовали ее особенно упорно. Они ничем не походили друг на друга

Один из них, г-н Поль Перонель, был вполне светский молодой человек, любезный и смелый, человек удачи, умевший ждать и выбирать подходящий момент.

Другой, г-н д'Авансель, подходя к ней, трепетал, едва осмеливался признаться ей в любви, но следовал за нею, как тень, выражая отчаявшееся желание безумными взглядами и упорством своего присутствия возле нее.

Первого она прозвала «Капитан Фракас», а второго «Верный барашек» и превратила его в конце концов в своего раба, ходившего за нею по пятам и прислуживавшего ей точь-в-точь как слуга

Она расхохоталась бы, если бы ей сказали, что она сможет полюбить его.

А между тем она его полюбила, но по-особому. Видя его постоянно, она привыкла к его голосу, к его движениям, ко всем его манерам, как привыкают к тем, вблизи кого постоянно живут

Часто в сновидениях его образ посещал ее; она видела его таким, каким он был в жизни, мягким, деликатным, смиренно-страстным; она пробуждалась, преследуемая воспоминанием об этих снах, как бы продолжая слушать его и чувствовать около себя. Однажды ночью (быть может, у нее была лихорадка) она увидела себя с ним наедине, в маленькой рощице, где они сидели на траве.

Он говорил чарующие слова, сжимая и целуя ей руки. Она чувствовала теплоту его кожи, его дыхание и ласково гладила его волосы.

Во сне бываешь совсем иным, чем в жизни. Она ощущала в себе огромную нежность к нему, спокойную и глубокую нежность и была счастлива тем, что прикасается к его лбу и находится возле него.

Мало-помалу он обнимал ее, целовал ей щеки и глаза, и она ничуть не пыталась избежать этого; затем их губы встретились. Она отдалась.

То был миг (в жизни не бывает таких восторгов) сверхострого и сверхчеловеческого счастья, идеального и чувственного, пьянящего, незабываемого.

Она проснулась дрожа, взволнованная, и не могла заснуть, настолько чувствовала себя опьяненной и все еще в его объятиях.

Когда она снова увидала его, не ведающего о том, какое он вызвал волнение, она почувствовала, что краснеет, и пока он робко говорил ей о своей любви, она все время вспоминала, не будучи в силах избавиться от этого, сладостные объятия своего сна

Она полюбила его, полюбила странною любовью, утонченною и чувственною, создавшейся главным образом из воспоминаний об этом сне, и в то же время боялась пойти навстречу пробудившемуся в ее душе желанию.

Наконец он заметил это. И она призналась ему во всем, вплоть до того, как боялась его поцелуев. Она взяла с него клятву, что он будет ее уважать

И он уважал ее Они проводили вместе долгие часы в восторгах возвышенной любви, когда сливаются только души, и затем расставались распаленные, измученные, обессиленные.

Иногда губы их соединялись, и, закрыв глаза, они вкушали эту долгую, но целомудренную ласку.

Она поняла, что не сможет противиться долго, и, не желая пасть, написала мужу, что собирается вернуться к нему и возобновить свою спокойную, уединенную жизнь.

Он отвечал превосходным письмом, отговаривая ее

возвращаться в разгар зимы, чтобы не подвергнуть себя резкой перемене климата, ледяным туманам долины.

Она была подавлена и негодовала на этого доверчивого человека, не понимавшего, не почуявшего борьбу в ее сердце.

Февраль был ясный и теплый, и хотя она теперь избегала долго оставаться наедине с «Верным барашком», но порою соглашалась совершить с ним в сумерках прогулку в карете вокруг озера.

В этот вечер, казалось, пробудились все соки земли,— так теплы были дуновения воздуха. Маленькая карета ехала шагом, спускалась ночь, прижавшись друг к другу, они сплели руки. «Кончено, кончено, я погибла»,— твердила она себе, чувствуя, как в ней поднималось желание, властная потребность того последнего объятия, которое она так полно испытала во сне Их губы ежеминутно искали друг друга, сливались и размыкались, чтобы тотчас же встретиться вновь.

Он не посмел проводить ее к ней и оставил ее, обезумевшую и изнемогавшую, у дверей.

Г-н Поль Перонель ждал ее в маленькой неосвещенной гостиной.

Дотронувшись до ее руки, он почувствовал, что ее сжигала лихорадка Он заговорил вполголоса, нежно и любезно, баюкая эту истомленную душу прелестью любовных признаний. Она слушала его в какой-то галлюцинации, не отвечая, мечтая о том другом, думая, что слышит другого, представляла себе, что это он близ нее. Она видела лишь его, помнила, что на свете существует только он один, и когда ее слух затрепетал при этих трех словах: «Я люблю вас»,— то их говорил и целовал ее пальцы тот другой Это он сжимал ее грудь, как только что в карете, это он осыпал ее губы победными поцелуями, это его она обнимала, стискивала, призывала всем порывом своего сердца, всем неистовым пылом своего тела.

Когда она пробудилась от этого сна, у нее вырвался ужасный крик.

«Капитан Фракас», стоя на коленях перед нею, страстно благодарил ее, покрывая поцелуями ее распустившиеся волосы Она закричала:

— Уходите, уходите, уходите!

И так как он не понимал и пытался снова обнять ее талию, она вырвалась, лепеча:

— Вы низкий человек, я вас ненавижу, вы меня обокрали, уходите!

Он встал, ошеломленный, взял шляпу и вышел.

На другой день она вернулась в долину Сирэ. Изумленный муж упрекнул ее в упрямстве.

— Я не могла дольше жить вдали от тебя,— сказала она

Он нашел, что она изменилась, стала более печальной, чем прежде, и спросил:

— Что с тобою? У тебя несчастный вид. Чего бы тебе хотелось?

Она ответила:

— Ничего В жизни хороши только сны.

«Верный барашек» приехал навестить ее на следующее лето.

Она встретила его без волнения и без сожаления, поняв вдруг, что никогда его не любила, кроме одного мига во сне, от которого ее так грубо пробудил Поль Перонель

А молодой человек, по-прежнему продолжавший обожать ее, думал, возвращаясь домой: «Женщины — поистине причудливые, сложные и необъяснимые существа».

ХИТРОСТЬ

Старый доктор и молодая его пациентка болтали у камина. Она чувствовала лишь одно из тех легких недомоганий, какие нередки у хорошеньких женщин,— небольшое малокровие, нервы, намек на усталость, на ту усталость, которую испытывают иногда молодожены к концу первого месяца брака, если женятся по любви.

Лежа на шезлонге, она говорила:

— Нет, доктор, я никогда не пойму, как может женщина обманывать мужа Я допускаю даже, что она может не любить его и совершенно не считаться со своими обещаниями и клятвами! Но как посмеешь отдаться другому человеку? Как скрыть это от глаз света? Как можно любить среди лжи и измены?

Доктор улыбался·

— Ну, это нетрудно. Уверяю вас, об этих мелочах вовсе и не думают, когда охватывает желание пасть. Я уверен даже, что женщина созревает для настоящей любви, только пройдя через всю интимность и все отрицательные стороны брака, который, по выражению одного знаменитого человека, не что иное, как обмен дурными настроениями днем и дурными запахами ночью. Это очень верно Женщина может полюбить страстно, лишь побывав замужем. Если бы я посмел сравнить ее с домом, я бы сказал, что в нем можно жить лишь после того, как муж осушит там штукатурку. Что же касается умения притворяться, то женщинам этого не занимать стать Самые недалекие из них бывают изу-

мительны и гениально выпутываются из труднейших положений.

Но молодая женщина, казалось, не верила...

— Нет, доктор, женщины только потом соображают, что следовало бы им сделать в опасных обстоятельствах, и, разумеется, способны терять голову гораздо более, чем мужчины.

Доктор развел руками

— Только потом, говорите вы? Это у нас, у мужчин, вдохновение является только потом Но вы! Да вот я расскажу вам маленькое происшествие, случившееся с одной из моих пациенток, которой я мог бы, как говорится, дать причастие без исповеди.

Это случилось в одном провинциальном городе.

Однажды вечером, когда я спал тем глубоким и тяжелым первым сном, от которого так трудно пробудиться, мне показалось в каком-то неотчетливом сновидении, что на всех городских колокольнях бьют в набат.

Я сразу проснулся. то звонил, и отчаянно, колокольчик у моей входной двери. Так как слуга не отзывался, я тоже дернул шнурок, висевший у кровати, вскоре захлопали дверями, шум шагов нарушил тишину спавшего дома, и появился Жан, держа в руке записку, гласившую: «Г-жа Лельевр убедительно просит г-на доктора Симеона пожаловать к ней немедленно».

Несколько секунд я размышлял, но решил: «Что-нибудь вроде нервов, какой-нибудь каприз, какая-нибудь ерунда, нет, я слишком утомлен». И я ответил: «Чувствуя сильное нездоровье, доктор Симеон просит г-жу Лельевр позвать к себе его коллегу, г-на Бонне».

Затем я положил записку в конверт, отдал ее и снова заснул.

Полчаса спустя колокольчик с улицы затрезвонил снова, и Жан доложил:

— Там кто-то опять, не то мужчина, не то женщина — не разберу, уж очень закутан,— желает видеть вас, сударь, и немедленно. Говорит, что дело касается жизни двух людей.

Я приподнялся:

— Пусть войдут.

Я ждал, сидя в постели

Появился какой-то черный призрак, который тотчас по выходе Жана из комнаты открыл свое лицо. То была г-жа Берта Лельевр, молоденькая женщина, три года назад вышедшая замуж за крупного местного торговца, про которого пошла молва, что он женился на самой красивой девушке во всей округе.

Она была ужасно бледна, лицо ее подергивалось, как у человека, теряющего разум, руки дрожали; два раза собиралась она заговорить, но ни один звук не вылетал из ее рта. Наконец она пролепетала:

— Скорее, доктор... скорей... Едемте... Мой... мой . любовник умер у меня в спальне ..

Она замолчала, задыхаясь, затем добавила:

— А муж... должен сейчас. . вернуться из клуба ..

Я вскочил с постели, не подумав даже, что был в одной рубашке, и оделся в несколько секунд. Затем я спросил:

— Это вы сами только что приходили?

Окаменев от ужаса и стоя неподвижно, как статуя, она прошептала:

— Нет... это моя служанка . Она знает...

Затем, помолчав, прибавила:

— Я оставалась... подле него.

Вопль ужасной боли вырвался вдруг из ее уст, затем удушье сжало ей горло, и она заплакала, отчаянно и судорожно рыдая минуту или две; но слезы внезапно остановились, иссякли, словно осушенные внутренним огнем, и, снова став трагически спокойной, она сказала:

— Поедемте скорей!

Я был готов, но воскликнул:

— Черт возьми, я не приказал заложить карету!

Она отвечала.

— У меня его карета Она дожидалась его.

Она снова закутала себе все лицо. Мы поехали.

Очутившись рядом со мной во мраке экипажа, она резко схватила меня за руку, сжала ее своими тонкими пальцами и пролепетала запинаясь, словно ей мешали говорить перебои разрывающегося сердца:

— О, если бы вы знали, если бы вы знали, как я

страдаю! Я любила его, любила без памяти, как сумасшедшая, шесть месяцев.

Я спросил:

— Проснулся ли кто-нибудь у вас в доме?

Она отвечала:

— Никто, за исключением Розы, ей все известно.

Остановились у подъезда, в доме действительно все спали, мы вошли без шума, открыв дверь запасным ключом, и поднялись по лестнице на цыпочках. Служанка, растерянная, сидела на верхней ступеньке; возле нее, на полу, стояла зажженная свеча, она побоялась остаться возле покойника.

Я вошел в комнату. Все в ней было вверх дном, как после драки. Измятая, разваленная и неприбранная постель оставалась открытой и, казалось, кого-то ждала; одна простыня свесилась на ковер, мокрые салфетки, которыми молодому человеку терли виски, валялись на полу около таза и стакана Запах уксуса, смешанный с духами Любэна, вызывал тошноту уже на пороге комнаты.

Вытянувшись во весь рост, на спине, посреди комнаты лежал труп.

Я подошел, взглянул, потрогал его, открыл ему глаза, пощупал пульс; затем, обернувшись к обеим женщинам, дрожавшим, словно они замерзали, сказал:

— Помогите мне перенести его на кровать.

И его тихо положили туда. После этого я выслушал сердце, приблизил зеркало ко рту и прошептал:

— Все кончено, давайте поскорее оденем его

Это было ужасное зрелище!

Я брал одну за другой его руки и ноги, словно члены тела огромной куклы, и натягивал на них одежду, подаваемую мне женщинами Мы надели на него носки, кальсоны, брюки, жилет, затем сюртук; стоило немало труда просунуть его руки в рукава.

Когда надо было застегивать башмаки, обе женщины опустились на колени, а я светил им; ноги немного опухли, и обуть их было невероятно трудно. Не найдя крючка, женщины вынули из своих волос шпильки

Когда это страшное одевание было закончено, я взглянул на нашу работу и сказал:

— Надо его немного причесать.

Горничная принесла щетку и гребенку своей госпожи, но так как руки у нее дрожали и она непроизвольными движениями вырывала длинные спутанные пряди волос, то г-жа Лельевр выхватила у нее гребень и нежно пригладила прическу, словно лаская ее Она сделала заново пробор, расчесала щеткой бороду, затем не спеша намотала на палец усы, как, без сомнения, привыкла делать ему, живому, в минуту любовной близости.

И вдруг, выронив из рук гребень и щетку, она схватила неподвижную голову своего любовника и долго с отчаянием смотрела на это мертвое лицо, которое ей больше не улыбалось, затем, упав на мертвеца, она крепко обняла его и стала неистово целовать Поцелуи сыпались на его сомкнутый рот, на потухшие глаза, на виски, на лоб. Затем, приникнув к его уху, словно он еще мог ее слышать, и словно собираясь шепнуть слово, рождающее самые пылкие объятия, она раз десять повторила раздирающим голосом:

— Прощай, любимый!

Часы пробили полночь.

Я вздрогнул:

— Черт возьми! Полночь — это время, когда запирается клуб За дело, сударыня, поживее!

Она поднялась. Я приказал:

— Отнесем его в гостиную!

Мы подняли его втроем и перенесли, затем я посадил его на диван и зажег канделябры.

Наружная дверь отворилась и тяжело захлопнулась. То был *он*, уже! Я крикнул:

— Роза, принесите мне поскорее салфетки и таз и приберите спальню; скорей, скорей, ради бога! Господин Лельевр возвращается.

Я слышал, как шаги поднимались по лестнице, приближались. Руки в темноте шарили по стенам. Тогда я крикнул:

— Сюда, мой друг, у нас тут несчастье!

Ошеломленный муж появился на пороге с сигарой во рту.

— Что такое? Что случилось? Что тут происходит? — спросил он.

Я подошел к нему.

— Друг мой, вы застаете нас в большом затруднении. Я засиделся, болтая с вашей женой и нашим другом, который привез меня в своей карете Вдруг он сразу как-то сник и вот уже два часа, невзирая на все наши заботы, остается без сознания Мне не хотелось звать других. Помогите же мне вынести его, я займусь им, когда он будет у себя.

Муж, удивленный, но без малейшего недоверия, снял шляпу, затем взял под мышки своего соперника, отныне уже безопасного. Я впрягся между его ног, как лошадь в оглобли, и мы спустились по лестнице, освещаемой женою.

Когда мы были в дверях, я поставил труп на ноги и заговорил с ним, подбадривая его, чтобы обмануть кучера:

— Ну же, дорогой друг, это пустяки, вы уже чувствуете себя лучше, не так ли? Мужайтесь, ну же, мужайтесь, еще маленькое усилие — и все будет кончено

Чувствуя, что он сейчас упадет, что он выскальзывает у меня из рук, я сильно толкнул его плечом и таким образом продвинул его вперед, просунул в карету, куда затем вошел и сам.

Муж, обеспокоенный, спрашивал меня.

— Как вы думаете, это серьезно?

Я, улыбаясь, отвечал: «Нет» — и взглянул на жену.

Взяв под руку своего законного мужа, она пристально смотрела в темную глубину кареты.

Я пожал им руки и приказал кучеру ехать. Всю дорогу мертвец наваливался мне на правое плечо.

Когда мы приехали к нему, я объявил, что он по дороге потерял сознание. Я помог внести его в комнату, а затем констатировал смерть; мне пришлось разыграть целую новую комедию перед растерявшейся семьей Наконец я добрался до своей постели, проклиная всех влюбленных на свете.

Доктор умолк, продолжая улыбаться.

Молодая женщина недовольно спросила:

— Зачем рассказали вы мне эту ужасную историю?

Он любезно поклонился:

— Чтобы при случае предложить вам свои услуги

ВЕРХОМ

Бедные люди жили, перебиваясь кое-как, на скромное жалованье мужа. У них родилось двое детей, и стесненное положение первого времени превратилось в бедность, смиренную, скрытую и стыдливую бедность дворянской семьи, желающей, несмотря ни на что, сохранить известное общественное положение.

Гектор де Гриблен получил образование в провинции, в отцовском поместье, под руководством старого аббата Жили там небогато, но все же внешне старались поддерживать приличный тон.

Затем, когда он достиг двадцати лет, ему приискали место, и он поступил в Морское министерство на полуторатысячный оклад. И на этом подводном камне он потерпел крушение,— подобно всем тем, кто не подготовлен заблаговременно к жестокой жизненной борьбе, кто видит жизнь, как в тумане, кто незнаком ни со средствами успеха, ни со способами сопротивления, подобно всем тем, в ком не были развиты с детства особые дарования, или личные способности, или суровая энергия в борьбе, подобно всем тем, кому не вручили ни оружия войны, ни орудия труда.

Первые три года его службы были ужасны.

Разыскав некоторых друзей своей семьи, старых, отставших от жизни и тоже небогатых людей, которые проживали на дворянских улицах, на печальных улицах Сен-Жерменского предместья, он составил себе круг знакомых.

Чуждые современности, смиренные и гордые, эти

обедневшие аристократы ютились в верхних этажах уснувших домов Снизу доверху эти здания были населены титулованными жильцами, но деньги были, казалось, такою же редкостью во втором этаже, как и в седьмом

Вечные предрассудки, заботы о своем общественном положении, боязнь уронить свое достоинство неотвязно преследовали эти семьи, некогда блестящие, теперь же разоренные из за бездеятельности мужчин. В этом мирке Гектор де Гриблен встретил девушку, благородную и бедную, как он сам, и женился на ней

За четыре года у них родилось двое детей.

В течение четырех следующих лет эта семья, измученная нуждой, не знала иных развлечений, кроме прогулок в Елисейские поля по воскресеньям и одного — двух вечеров зимою в театре по даровым билетам, предложенным кем-нибудь из сослуживцев

Но вот однажды весной чиновнику была поручена начальником дополнительная работа, и он получил дополнительное вознаграждение в сумме трехсот франков

Принеся эти деньги домой, он сказал жене:

— Дорогая Аннетта, мы должны разрешить себе какое-нибудь удовольствие, ну хоть прогулку за город с детьми

После длинных обсуждений было решено отправиться в деревню завтракать.

— Ну, один раз куда ни шло! — воскликнул Гектор. — Мы наймем брэк для тебя, детей и няни, а я возьму в манеже лошадь Мне это будет очень полезно

Всю неделю только и говорили о предполагаемой прогулке.

Каждый вечер Гектор, вернувшись со службы, брал старшего сына, сажал его к себе верхом на колено и говорил, высоко подбрасывая его:

— Вот как твой папа поскачет галопом на прогулке в воскресенье

И мальчуган целый день садился верхом на стулья и возил их кругом по зале, крича:

— Это папа на лошадке.

Даже служанка смотрела на барина с восхищением

при мысли, что он будет сопровождать верхом их коляску, и в течение каждого обеда она слушала его рассуждения о верховой езде, рассказы о прежних его подвигах в доме отца О, он прошел хорошую школу, и раз уже сидит на лошади, то ничего не боится, ровно ничего!

Он повторял жене, потирая руки:

— Если бы мне дали лошадь немного погорячее, я был бы в восторге Ты увидишь, как я поскачу, и если хочешь, мы вернемся через Елисейские поля ко времени разъезда из Леса. Так как у нас будет вполне приличный вид, то я не прочь встретить кого-нибудь из министерства. Ничто так не вызывает уважения у начальства

В назначенный день экипаж и верховая лошадь одновременно были поданы к подъезду Гектор тотчас же спустился вниз, чтобы осмотреть своего коня. Он приказал подшить к брюкам штрипки и помахивал хлыстиком, купленным накануне.

Он поднял и ощупал одну за другой все четыре ноги животного, потрогал шею, круп, подколенки, испытующе провел рукой по бокам, открыл лошади рот, осмотрел зубы, определил возраст и, так как вся семья сошла вниз, прочел им маленькую теоретическую и практическую лекцию о лошадях вообще и, в частности об этой, которую он признавал отличной

Когда все уселись в экипаж, он осмотрел подпругу, а затем, поднявшись на одно стремя, грохнулся на спину лошади, которая запрыгала под его тяжестью и чуть не сбросила всадника.

Взволнованный Гектор пытался ее успокоить:

— Ну, ну, тихо, милая, тихо.

Когда наконец лошадь успокоилась, а к седоку возвратился его апломб, Гектор произнес:

— Готовы?

Все ответили в один голос:

— Да.

Тогда он скомандовал:

— В дорогу!

И кавалькада двинулась.

Все взгляды были обращены на Гектора Он ездил по-английски, преувеличенно подскакивая. Не успев

опуститься на седло, он уже подпрыгивал вновь, точно желая взлететь на воздух. Часто казалось, что он вот-вот упадет на шею лошади; он ехал, уставившись в одну точку, с искаженным лицом и побледневшими щеками

Жена его, держа одного из детей на коленях, и няня, у которой находился другой, беспрестанно повторяли:

— Смотрите на папу, смотрите на папу!

И оба мальчика, опьяненные движением, весельем и свежим воздухом, пронзительно визжали. Лошадь, испуганная этими криками, помчалась наконец галопом, и пока всадник старался ее остановить, шляпа его слетела на землю Кучеру пришлось слезать за ней с козел, и когда Гектор получил ее от него, он крикнул жене.

— Не давай детям так кричать, а то лошадь меня понесет!

Завтракали на траве, в роще Везине, провизией, привезенной в корзинах.

Хотя кучер и заботился о всех трех лошадях, но Гектор вставал каждую минуту, чтобы посмотреть, не нуждается ли в чем-нибудь его конь, гладил его по шее, кормил хлебом, пирожками и сахаром.

— Это бедовый скакун,— заявил он жене — Первое время он меня даже несколько порастряс, но ты видела, как скоро я оправился, он почуял хозяина и теперь больше дурить не будет.

Как и было решено, возвращались Елисейскими полями.

Широкая аллея кишмя кишела экипажами Гуляющих по обеим сторонам было так много, что казалось — от Триумфальной арки до площади Согласия развертывались две черные длинные ленты Потоки солнца изливались на всю эту толпу, играя на лакированных колясках, на металлических частях упряжи, на ручках дверец.

Это скопище людей, экипажей и животных было как будто охвачено каким-то безумием движения, опьянением жизнью. А вдали, в золотой дымке, высился обелиск.

Как только лошадь Гектора миновала Триумфальную арку, она снова загорячилась и помчалась крупной

рысью среди экипажей по направлению к конюшне, несмотря на все попытки всадника удержать ее

Коляска оставалась теперь уже далеко-далеко позади, и вот у Дворца промышленности, увидев перед собою свободное пространство, лошадь повернула направо и понеслась галопом.

Какая-то старуха в переднике спокойным шагом переходила через дорогу; она оказалась как раз на пути Гектора, скакавшего во всю прыть Не имея сил остановить лошадь, он стал кричать изо всей мочи:

— Эй! Эй! Берегись!

Старуха, должно быть, была глуха, она спокойно продолжала свой путь до той самой минуты, пока лошадь, легевшая, как локомотив, не ударила ее грудью и не отбросила на десять шагов в сторону, так что старуха трижды перекувырнулась с задравшимися юбками

Послышались голоса:

— Остановите его!

Обезумевшии Гектор вцепился в гриву лошади и вопил:

— Помогите!

От страшного толчка он, как мяч, перелетел через голову лошади и упал прямо в объятия полицейского, бросившегося ему навстречу.

В один миг вокруг него образовалась кучка разъяренных людей, жестикулирующих и вопящих. Один старый господин, с большим круглым орденом и длинными белыми усами, особенно казался вне себя. Он повторял:

— Черт побери, когда человек так неловок, он должен сидеть у себя дома. Нельзя же давить людей на улице, если не умеешь управлять лошадью!

Подошли четверо мужчин, несших старуху. Она казалась мертвой, лицо у нее было желтое, а сбившиися на сторону чепчик стал серым от пыли.

— Несите эту женщину в аптеку, — приказал старый господин, — а мы пойдем к полицейскому комиссару.

Гектор зашагал между двумя полицейскими. Третий вел его лошадь. Толпа следовала за ними, и вдруг появился брэк. Жена бросилась к мужу, няня потеряла

голову, а малыши принялись пищать Он объяснил, что скоро вернется, что сбил с ног какую-то женщину, что это пустяки. Перепуганная семья уехала.

Объяснение у комиссара было короткое Гектор назвал свое имя и сказал, что он чиновник Морского министерства; затем стали ждать известий о пострадавшей. Полицейский, посланный справиться, вернулся. Она пришла в себя, но жаловалась на страшные боли, по ее словам, где-то внутри. Это была поденщица, шестидесяти пяти лет, и звали ее г-жою Симон

Узнав, что она жива, Гектор ободрился и обещал уплатить издержки за ее лечение. Затем он побежал к аптекарю.

Шумная толпа обступила дверь. Старуха, бессильно свесив руки, с отупевшим лицом, стонала, развалясь в кресле Два доктора продолжали осматривать ее. Перелома нигде не нашли, но опасались какого-нибудь внутреннего повреждения.

Гектор обратился к ней:

— Вам очень больно?

— О да!

— Где же?

— В животе у меня словно огнем жжет.

Один из докторов подошел к Гектору.

— Это вы, сударь, виновник несчастья?

— Да.

— Нужно бы отправить эту женщину в лечебницу; я знаю такую, где ее поместят за шесть франков в день Если хотите, я об этом позабочусь.

Гектор с восторгом согласился и вернулся домой успокоенный.

Жена ждала его в слезах. Он утешил ее:

— Ничего; этой Симон уже лучше, через три дня все пройдет; я отправил ее в лечебницу; ничего!

Ничего!

На следующий день, возвращаясь со службы, он зашел узнать о здоровье г-жи Симон. Он застал ее в ту минуту, когда она с довольным видом ела жирный бульон

— Ну, что? — спросил он

— Ох, сударь, ничуть не легчает! Я так думаю: дело мое кончено. Нисколечко не лучше.

Доктор объявил, что нужно подождать: может случиться осложнение

Гектор подождал два дня, затем опять зашел в больницу. У старухи был свежий цвет лица и ясные глаза, но, увидев его, она застонала.

— Совсем не могу двигаться, сударь, совсем не могу Уж, видно, такой я и останусь до смерти.

Холод пробрал Гектора до мозга костей. Он спросил мнение доктора Тот только развел руками.

— Что поделаешь, сударь, я уж и сам не знаю. Она орет, когда пытаются ее поднять. Нельзя даже передвинуть ее кресло, чтобы она не начала отчаянно кричать. Я должен верить тому, что она говорит, сударь; не могу же я влезть в нее. Пока не увижу ее на ногах, я не имею права подозревать с ее стороны обмана.

Старуха слушала, не шевелясь, лукаво поглядывая на них.

Прошла неделя, другая, затем месяц. Г-жа Симон не покидала своего кресла. Она ела с утра до ночи, жирела, весело болтала с другими больными и, казалось, привыкла к неподвижности, словно это был справедливо заслуженный ею отдых за пятьдесят лет беготни вниз и вверх по лестницам, выколачивания матрацев, таскания углей с одного этажа на другой, работы метлой и щеткой

Гектор, в отчаянии, стал приходить каждый день; он заставал ее каждый день спокойной и счастливой, и она неизменно заявляла:

— Не могу двинуться, сударь, не могу.

Каждый вечер г-жа де Гриблен спрашивала, снедаемая волнением:

— Ну, как госпожа Симон?

И каждый раз он отвечал, убитый отчаянием:

— Никакой перемены, совершенно никакой!

Няню рассчитали, так как платить ей жалованье было уже слишком трудно. Стали еще более экономить, все наградные деньги были истрачены целиком.

Тогда Гектор созвал на консилиум четырех медицинских знаменитостей, и они собрались вокруг старухи. Она позволила им исследовать ее, трогать, щупать и лукаво поглядывала на них

— Нужно заставить ее пройтись,— сказал один из врачей.

Она закричала:

— Никак не могу, хорошие мои господа, не могу!

Тогда они схватили ее, приподняли и протащили несколько шагов, но она вырвалась у них из рук и рухнула на пол, испуская такие ужасные крики, что ее отнесли обратно в кресло с бесконечными предосторожностями.

Врачи высказывались сдержанно, однако засвидетельствовали ее неспособность к труду.

Когда Гектор принес эту новость жене, она упала на стул, пролепетав:

— Уж лучше было бы взять ее сюда к нам, это обошлось бы дешевле

Он так и привскочил:

— Сюда, к нам? О чем ты думаешь?

Но она, покорясь судьбе, ответила со слезами на глазах:

— Что же поделать, мой друг, ведь это не моя вина

СОЧЕЛЬНИК

Уже не помню точно, в каком это было году. Целый месяц я охотился с увлечением, с дикою радостью, с тем пылом, который вносишь в новые страсти.

Я жил в Нормандии, у одного холостого родственника, Жюля де Банневиль, в его родовом замке, наедине с ним, с его служанкой, лакеем и сторожем. Ветхое, окруженное стонущими елями здание в центре длинных дубовых аллей, по которым носился ветер; замок казался давно покинутым В коридоре, где ветер гулял, как в аллеях парка, висели портреты всех тех людей, которые некогда церемонно принимали благородных соседей в этих комнатах, ныне запертых и заставленных одною старинной мебелью.

Что касается нас, то мы просто сбежали в кухню, где только и можно было жить, в огромную кухню, темные закоулки которой освещались, лишь когда в огромный камин подбрасывали новую охапку дров. Каждый вечер мы сладко дремали у камина, перед которым дымились наши промокшие сапоги, а свернувшиеся кольцом у наших ног охотничьи собаки лаяли во сне, снова видя охоту; затем мы поднимались наверх в нашу комнату.

То была единственная комната, все стены и потолок которой были из-за мышей тщательно оштукатурены Но, выбеленная известью, она оставалась голой, и по стенам ее висели лишь ружья, арапники и охотничьи рога; стуча зубами от холода, мы забирались

в постели, стоявшие по обе стороны этого сибирского жилища.

На расстоянии одного лье от замка отвесный берег обрывался в море; от мощного дыхания океана днем и ночью стонали высокие согнутые деревья, как бы с плачем скрипели крыши и флюгера, и трещало все почтенное здание, наполняясь ветром сквозь поредевшие черепицы, сквозь широкие, как пропасть, камины, сквозь не закрывавшиеся больше окна

В тот день стоял ужасный мороз. Наступил вечер. Мы собирались усесться за стол перед высоким камином, где на ярком огне жарилась заячья спинка и две куропатки, издававшие вкусный запах.

Мой кузен поднял голову.

— Не жарко будет сегодня спать,— сказал он.

Я равнодушно ответил:

— Да, но зато завтра утром на прудах будут утки.

Служанка, накрывавшая на одном конце стола нам, а на другом — слугам, спросила:

— Знают ли господа, что сегодня сочельник?

Разумеется, мы не знали, потому что почти никогда не заглядывали в календарь. Товарищ мой сказал:

— Значит, сегодня будет ночная месса. Так вот почему весь день звонили!

Служанка отвечала:

— И да и нет, сударь; звонили также потому, что умер дядя Фурнель.

Дядя Фурнель, старый пастух, был местной знаменитостью. Ему исполнилось девяносто шесть лет от роду, и он никогда не хворал до того самого времени, когда месяц тому назад простудился, свалившись темной ночью в болото. На другой день он слег и с тех пор уже находился при смерти.

Кузен обратился ко мне:

— Если хочешь, пойдем сейчас навестим этих бедных людей.

Он разумел семью старика — его пятидесятивосьмилетнего внука и пятидесятисемилетнюю жену внука Промежуточное поколение давно уже умерло. Они ютились в жалкой лачуге, при въезде в деревню, направо.

Не знаю почему, но мысль о рождестве в этой глуши расположила нас к болтовне. Мы наперебой рассказывали друг другу всякие истории о прежних сочельниках, о наших приключениях в эту безумную ночь, о былых успехах у женщин и о пробуждениях на следующий день — пробуждениях вдвоем, сопровождавшихся удивлением по сему поводу и рискованными неожиданностями

Таким образом, обед наш затянулся Покончив с ним, мы выкурили множество трубок и, охваченные веселостью отшельников, веселой общительностью, внезапно возникающей между двумя закадычными друзьями, продолжали без умолку говорить, перебирая в беседе самые задушевные воспоминания, которыми делятся в часы такой близости.

Служанка, давно уже оставившая нас, появилась снова:

— Сударь, я ухожу на мессу.

— Уже?

— Четверть двенадцатого.

— Не пойти ли нам в церковь? — спросил Жюль.— Рождественская месса очень любопытна в деревне.

Я согласился, и мы отправились, закутавшись в меховые охотничьи куртки.

Сильный мороз колол лицо, и от него слезились глаза. Воздух был такой студеный, что перехватывало дыхание и пересыхало в горле. Глубокое, ясное и суровое небо было усеяно звездами, они словно побледнели от мороза и мерцали не как огоньки, а словно сверкающие льдинки, словно блестящие хрусталики. Вдали, по звонкой, сухой и гулкой, как медь, земле звенели крестьянские сабо, а кругом повсюду звякали маленькие деревенские колокола, посылая свои жидкие и словно тоже зябкие звуки в стынущий простор ночи

В деревне не спали. Пели петухи, обманутые всеми

этими звуками, а проходя мимо хлевов, можно было слышать, как шевелились животные, разбуженные этим гулом жизни.

Приближаясь к деревне, Жюль вспомнил о Фурнелях.

— Вот их лачуга,— сказал он,— войдем!

Он стучал долго, но напрасно. Наконец нас увидела соседка, вышедшая из дому, чтобы идти в церковь.

— Они пошли к заутрене, господа, помолиться за старика

— Так мы увидим их при выходе из церкви,— сказал мне Жюль.

Заходящая луна серпом выделялась на краю горизонта средь бесконечной россыпи сверкающих зерен, с маху брошенных в пространство А по черной равнине двигались дрожащие огоньки, направляясь отовсюду к без умолку звонившей остроконечной колокольне. По фермам, обсаженным деревьями, по темным долинам — всюду мелькали эти огоньки, почти задевая землю. То были фонари из коровьего рога. С ними шли крестьяне впереди своих жен, одетых в белые чепцы и в широкие черные накидки, в сопровождении проснувшихся ребят, которые держали их за руки.

Сквозь открытую дверь церкви виднелся освещенный амвон. Гирлянда дешевых свечей освещала середину церкви, а в левом ее приделе пухлый восковой младенец Иисус, лежа на настоящей соломе, среди еловых ветвей, выставлял напоказ свою розовую, жеманную наготу.

Служба началась. Крестьяне, склонив головы, и женщины, стоя на коленях, молились Эти простые люди, поднявшись в холодную ночь, растроганно глядели на грубо раскрашенное изображение и складывали руки, с наивной робостью взирая на убогую роскошь этого детского представления.

Холодный воздух колебал пламя свечей. Жюль сказал мне·

— Выйдем отсюда! На дворе все-таки лучше

Направившись домой по пустынной дороге, пока коленопреклоненные крестьяне набожно дрожали в церкви, мы снова предались своим воспоминаниям и говори-

ли так долго, что служба уже окончилась, когда мы пришли обратно в деревню.

Тоненькая полоска света тянулась из-под двери Фурнелей.

— Они бодрствуют над покойником,— сказал мой кузен.— Зайдем же наконец к этим беднягам, это порадует их.

В очаге догорало несколько головешек. Темная комната, засаленные стены которой лоснились, а балки, источенные червями, почернели от времени, была полна удушливого запаха жареной кровяной колбасы. На большом столе, из-под которого, подобно огромному животу, выпячивался хлебный ларь, горела свеча в витом железном подсвечнике; едкий дым от нагоревшего грибом фитиля поднимался к потолку. Фурнели, муж и жена, разговлялись наедине.

Угрюмые, с удрученным видом и отупелыми крестьянскими лицами, они сосредоточенно ели, не произнося ни слова. На единственной тарелке, стоявшей между ними, лежал большой кусок кровяной колбасы, распространяя зловонный пар. Время от времени концом ножа они отрезали от нее кружок, клали его на хлеб и принимались медленно жевать.

Когда стакан мужа пустел, жена брала кувшин и наполняла его сидром

При нашем появлении они встали, усадили нас, предложили «последовать их примеру», а после нашего отказа снова принялись за еду.

Помолчав несколько минут, мой кузен спросил:

— Так, значит, Антим, дед ваш, умер?

— Да, сударь, только что кончился.

Молчание возобновилось. Жена из вежливости сняла со свечи нагар. Тогда, чтобы сказать что-нибудь, я прибавил.

— Он был очень стар.

Его пятидесятисемилетняя внучка ответила:

— О, его время прошло, ему здесь больше нечего было делать!

Мне захотелось взглянуть на труп столетнего старика, и я попросил, чтобы мне его показали.

Крестьяне, до той минуты спокойные, неожиданно

взволновались Они вопросительно и обеспокоенно взглянули друг на друга и ничего не ответили.

Мой родственник, видя их смущение, настаивал.

Тогда муж спросил подозрительно и угрюмо.

— А на что вам это?

— Ни на что,— ответил Жюль.— Но ведь так всегда делается; почему вы не хотите показать его нам?

Крестьянин пожал плечами·

— Да я не отказываю, только в такое время это неудобно.

Множество догадок мелькнуло у каждого из нас. И так как внуки покойника по-прежнему не двигались и продолжали сидеть друг против друга, опустив глаза, с теми деревянными недовольными лицами, которые словно говорят «Проваливайте-ка вы отсюда»,— Жюль сказал решительно

— Ну, ну, Антим, вставайте и проводите нас в комнату старика.

Но крестьянин, хотя и покоряясь, хмуро ответил:

— Не стоит беспокоиться, его там уже нет, сударь.

— Где же он в таком случае?

Жена перебила мужа·

— Я вам скажу Мы положили его до завтра в хлебный ларь; больше нам некуда было его деть.

Сняв тарелку с колбасой, она подняла крышку со стола, нагнулась со свечой, чтобы осветить внутренность огромного ящика, и в глубине его мы увидели что-то серое, какой-то длинный сверток, из одного конца которого высовывалось худое лицо с всклокоченными седыми волосами, а из другого — две босые ноги.

То был старик, весь высохший, с закрытыми глазами, закутанный в свой пастушескии плащ и спавший последним сном среди старых черных корок хлеба, таких же столетних, как и он сам.

Его внуки разговлялись над ним!

Жюль, возмущенный, дрожа от гнева, закричал:

— Да почему же вы не оставили его на его кровати, мужичье вы эдакое?

Тогда женщина расплакалась и быстро заговорила

— Я все вам скажу, сударь; у нас только одна кровать в доме. Раньше мы спали на ней вместе с ним: ведь нас было всего трое. Когда он заболел, мы стали спать на земле, а в такие холода, как сейчас, это тяжело. Ну, а когда он помер, мы так и сказали себе: раз он теперь больше не страдает, зачем оставлять его в постели? Мы отлично можем убрать его до завтра в ларь, а сами ляжем на кровать, потому что ночь будет холодная! Не можем же мы спать с покойником, господа!..

Мой кузен, вне себя от негодования, быстро вышел, хлопнув дверью, а я последовал за ним, смеясь до упаду.

СЛОВА ЛЮБВИ

Дорогой мой толстый петушок!

Ты мне не пишешь, я тебя совсем не вижу, и ты никак не соберешься прийти. Разве ты разлюбил меня? За что же? Чем я провинилась? Скажи мне, умоляю тебя, моя любовь! А я тебя так люблю, так люблю, так люблю! Мне хотелось бы, чтобы ты вечно был со мною и чтобы я целый день могла тебя целовать и называть тебя, сердце мое, любимый мой котик, всеми нежными именами, какие только придут в голову Я обожаю, обожаю, обожаю тебя, мой чудный петушок!

Твоя курочка *Софи.*

Понедельник.

Дорогая, ты, вероятно, ровно ничего не поймешь из того, что я намерен сказать тебе. Все равно Если письмо мое случайно попадется на глаза какой-нибудь другой женщине, оно послужит ей, быть может, на пользу.

Если бы ты была глуха и нема, я, без сомнения, любил бы тебя долго-долго. Несчастие в том, что ты говоришь — вот и все Один поэт сказал:

Ты в лучшие часы, снося смычок мой ярый,
Была лишь скрипкою, банальной и простой,
И, точно ария в пустой груди гитары,
Моя жила мечта в твоей душе пустои

В любви, видишь ли, всегда поют мечты; но для того, чтобы мечты пели, их нельзя прерывать А когда между двумя поцелуями говорят, то всегда прерывают пьянящую мечту, созидаемую душою,— если только не произносят слова возвышенные; но возвышенные слова не рождаются в маленьких головках хорошеньких девушек.

Ты ничего не понимаешь, не правда ли? Тем лучше. Я продолжаю. Ты, несомненно, одна из самых прелестных, одна из самых очаровательных женщин, которых я только когда-либо встречал.

Есть ли на свете глаза, в которых было бы столько грезы, как в твоих, столько неведомых обещаний, столько бесконечной любви? Не думаю. Когда твой рот улыбается и пухлые губки открывают блестящие зубы, то кажется, что из этого очаровательного рта вот-вот польется невыразимая музыка, нечто неправдоподобно сладостное, нежное до рыданий.

А в эту минуту ты спокойно называешь меня: «Мой обожаемый жирный кролик» И мне кажется вдруг, что я проникаю в твою головку, вижу, как движется твоя маленькая душа маленькой хорошенькой женщины, прехорошенькой женщины, но . и это, понимаешь ли, меня страшно угнетает Я предпочел бы лучше этого не видеть.

Ты по-прежнему ничего не понимаешь, не так ли? Я на это и рассчитывал.

Помнишь ли, как ты пришла ко мне в первый раз? Ты вошла внезапно, внося с собою аромат фиалок, веявший от твоих юбок, мы молча долгим взглядом смотрели друг на друга, потом обнялись, как безумные... а потом . потом до следующего утра уже не говорили

Но когда мы расставались, наши руки дрожали, а глаза говорили то, то . чего нельзя выразить ни на одном языке.

По крайней мере я так полагал И, покидая меня, ты чуть слышно прошептала «До скорого свидания!» Вот все, что ты сказала, но ты никогда не сможешь себе представить ни того, какую дымку мечты ты оставила

во мне, ни того, что я предвидел и что, мне казалось, угадывал в твоей мысли

Понимаешь ли, бедное дитя мое, для мужчин неглупых, сколько-нибудь утонченных, сколько-нибудь выдающихся, любовь — инструмент столь сложный, что малейший пустяк его расстраивает. Вы, женщины, когда любите, не замечаете смешной стороны некоторых вещей, а чудовищность или смехотворность иных выражений ускользает от вас.

Почему слово, уместное в устах маленькой брюнетки, звучит совершенно фальшиво и смешно в устах полной блондинки? Почему шаловливый жест одной не подходит другой? Почему некоторые ласки прелестны, когда они исходят от одной женщины, и только стеснительны для нас со стороны другой? Почему? Потому что во всем, но главным образом в любви, нужна полная гармония, совершенное соответствие жестов, голоса, слов, изъявлений нежности — с внешностью той женщины, которая движется, говорит, выражает что-либо, с ее возрастом, станом, цветом ее волос, характером ее красоты.

Тридцатипятилетняя женщина, сохранившая в этом возрасте сильных и бурных страстей хоть сколько-нибудь той ласковой шаловливости, которою отмечена была любовь ее юности, и не понимающая, что она должна выражаться иначе, смотреть иначе, целовать иначе, что она должна быть Дидоной, а не Джульеттой, неминуемо отвратит от себя девять любовников из десяти, если бы даже они и не подозревали причины своего ухода

Понимаешь ли ты? Нет? Я так и думал

С того самого дня, как ты, словно из крана, начала выливать на меня поток твоих нежностей, для меня было все кончено, мой друг.

Случалось, поцелуй наш длился пять минут — бесконечный, страстный поцелуй, один из тех поцелуев, когда закрываешь глаза, словно боясь, чтобы он не ускользнул, спугнутый взглядом, когда хочешь сохранить его целиком в отуманившейся душе, которую он опустошает. Затем, когда наши губы отрывались друг от друга, ты говорила, звонко смеясь: «До чего вкусно,

жирный мой песик!» В такую минуту я готов был тебя побить!

Ведь ты наделяла меня последовательно всеми именами животных и овощей, которые знала благодаря *Домашней хозяйке, Образцовому Садовнику* и *Основам естественной истории для младших классов.* Но все это еще ничего.

Любовные ласки, если в них вдуматься, грубы, животны и даже хуже того. Мюссе сказал:

> Еще я помню их — мгновенья спазмы страстной—
> Пыланье мускулов, безмолвье диких ласк,
> Самозабвенье, зубов свирепый ляск
> Коль не божественны те миги, то ужасны —

или смешны!.. О бедное дитя, какой гений насмешки, какой извращенный дух мог подсказать тебе твои слова . в последнее мгновение?

Они все в моей памяти; но из любви к тебе я не повторяю их.

А кроме того, тебе, право, недоставало такта, и ты умудрялась вставить восторженное *люблю тебя* при некоторых столь неподходящих обстоятельствах, что я должен был сдерживать безумное желание расхохотаться. Бывают минуты, когда слова *люблю тебя* настолько неуместны, что становятся почти неприличными, запомни это хорошенько

Но ведь ты меня не понимаешь

Многие женщины тоже не поймут меня и назовут дураком. Впрочем, это не важно Голодные едят с жадностью, но люди с утонченным вкусом требовательны, и часто пустяк способен вызвать у них непреодолимое отвращение В любви то же, что и в гастрономии.

Не могу понять одного: как это некоторые женщины, знающие весь непреодолимый соблазн прозрачных и узорчатых шелковых чулок, все пленительное обаяние полутонов, все волшебство драгоценных кружев, скрытых в глубине интимных одежд, всю волнующую прелесть тайной роскоши изысканного белья и всех утонченных выдумок женского изящества,— как они не по-

нимают того непреодолимого отвращения, которое внушают нам неуместные или глупые нежности?

Грубое слово иногда делает чудеса, подстегивает тело, заставляет сердце встрепенуться. Эти слова в часы битвы допустимы Разве слово Камброна не возвышенно? Все, что вовремя,— не коробит. Но надо уметь также помолчать и в известные минуты избегать выражений в духе Поль де Кока.

И я целую тебя со всею страстью, но при условии, что ты не скажешь ни слова.

Ренэ.

ПАРИЖСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Найдется ли на свете чувство более острое, чем женское любопытство? О, узнать, увидеть, погрогать то, о чем мечталось! Чего только не сделает женщина ради этого! Когда ее нетерпеливое любопытство задето, она пойдет на какое угодно безумие, на какую угодно неосторожность, проявит какую угодно смелость, не отступит ни перед чем Я говорю о настоящих женщинах, о женщинах, ум которых представляет собою ящик с тройным дном, с виду это ум рассудительный и холодный, но три его потайных отделения наполнены: первое — вечно возбужденным женским беспокойством, второе — притворством под маской прямодушия, притворством, свойственным хапжам, полным софистики и весьма опасным; и, наконец, последнее — очаровательной наглостью, прелестным плутовством, восхитительным вероломством — всеми теми извращенными свойствами, которые толкают на самоубийство глупо доверчивых влюбленных и восхищают остальных мужчин.

Женщина, приключение которой я хочу рассказать, была до того времени скучно добродетельной провинциалочкой. Ее внешне спокойная жизнь проходила в семье, делясь между занятым мужем и двумя детьми, которым она была примерною матерью. Но сердце ее трепетало неудовлетворенным любопытством, жаждою неизвестного Она беспрестанно грезила о Париже и с жадностью читала великосветские журналы. От описаний празднеств, туалетов, развлечений ее

желания разгорались все больше и больше, но особенно таинственно волновали ее «отголоски», полные намеков, полуприкрытых искусными фразами, за которыми угадывались широкие просторы преступных и губительных наслаждений

Издали Париж представлялся ей в каком-то апофеозе великолепной и порочной роскоши И в долгие ночи, отдаваясь мечтам под мерное храпение мужа, который, повязав фуляром голову, спал на спине рядом с нею, она грезила о знаменитостях, чьи имена, как яркие звезды на темном небе, появлялись на первых страницах газет, она рисовала себе их безумную жизнь, полную постоянного разврата, сладострастных античных оргий и такой сложной и утонченной чувственности, что она даже не могла себе представить.

Парижские бульвары казались ей какими-то безднами человеческих страстей, а дома вдоль этих бульваров, несомненно, скрывали необычайные любовные тайны.

Между тем она чувствовала, что стареет. Она старела, ничего не узнав о жизни, кроме тех правильных, до отвращения однообразных и пошлых занятий, которые создают, как принято говорить, семейное счастье. Она была еще красива, потому что сохранилась в этой покойной обстановке, как зимний плод в запертом шкафу; но ее точили, снедали и будоражили тайные страсти. Она спрашивала себя: неужели ей так и придется умереть, не изведав всех этих проклятых упоений, не бросившись с головой хоть раз — один только раз! — в этот водоворот парижского сладострастия?

С большою настойчивостью подготовила она поездку в Париж, нашла предлог, добилась приглашения от парижских родственников и, так как муж не мог сопутствовать ей, уехала одна.

Тотчас по приезде она придумала такие поводы, которые позволяли бы ей в случае надобности отлучиться из дому дня на два, или, вернее, на две ночи, если б это понадобилось: она встретила, по ее словам, друзей, живших в окрестностях Парижа

И она принялась за поиски. Она обегала бульвары, но не увидела ничего, кроме бродячего и зарегистриро-

вашего полицией порока. Она испытующе заглядывала в большие кафе, внимательно прочитывала переписку в *Фигаро,* отдававшуюся в ее душе каждое утро, как звон набата, призывом к любви

Но ничто не наводило ее на след грандиозных оргий в мире художников и актрис; ничто не раскрывало перед нею храмов распутства, которые рисовались ей запечатленными магическим словом, как пещера *Тысячи и одной ночи* или как римские катакомбы, где скрытно свершались когда-то таинства преследуемой религии.

Ее родственники, мелкие буржуа, не могли познакомить ее ни с кем из тех знаменитостей, чьи имена жужжали в ее мозгу, и, отчаявшись, она думала уже об отъезде, как вдруг на помощь ей подоспел случай.

Однажды, проходя по улице Шоссе д'Антен, она остановилась у витрины магазина с японскими вещицами, расписанными столь ярко, что они веселили глаз. Она рассматривала комические фигурки из слоновой кости, высокие вазы с пламенеющей эмалью, причудливую бронзу, как вдруг внутри магазина увидела хозяина, почтительнейше показывавшего какому-то толстому, маленькому, лысому человечку с небритым подбородком большого пузатого фарфорового урода — уникальную вещицу, по его словам.

И в конце каждой фразы торговца звенело, как призыв рога, имя любителя, знаменитое имя. Остальные покупатели, молодые женщины, изящные господа, взглядывали искоса и быстро, но вполне благопристойно и с видимым почтением на прославленного писателя, увлеченно рассматривавшего фарфорового урода. Они были безобразны оба, безобразны, как два родных брата.

Торговец говорил:

— Только вам, господин Жан Варен, я уступлю эту вещь за тысячу франков; ровно столько я сам за нее дал. Для всех прочих цена будет тысяча пятьсот; но я особенно дорожу покупателями из мира художников и писателей, и для них у меня особые цены. Они все у меня покупают, господин Варен. Вчера господин Бюснах купил большой старинный кубок На днях я продал пару подсвечников в этом роде — не правда ли,

как они хороши? — господину Александру Дюма. Знаете, если бы эту вещицу, которую вы держите в руках, увидел господин Золя, то она была бы уже продана, господин Варен!

Писатель колебался в нерешительности: вещь его соблазняла, но он думал о цене, на взгляды окружающих он не обращал никакого внимания, словно был один в пустыне.

Она вошла в магазин, трепеща, глядя на писателя с неприличной пристальностью и даже не спрашивая себя, красив ли он, молод ли, изящен ли. То был Жан Варен, сам Жан Варен!

После долгой борьбы и скорбной нерешительности он поставил фигуру обратно на стол.

— Нет, это чересчур дорого,— сказал он.

Торговец удвоил свое красноречие:

— Вы говорите дорого, господин Жан Варен? Да за это не жалко две тысячи выложить, как одно су.

Писатель, не отрывая взгляда от урода с эмалевыми глазами, печально возразил:

— Я не говорю, что вещь не стоит этих денег; но для меня это дорого.

Тут, охваченная вдруг безумною смелостью, она выступила вперед

— А сколько вы возьмете с меня за этого человечка?

Торговец с удивлением ответил:

— Тысячу пятьсот франков, сударыня.

— Я беру его.

Писатель, до этого даже не заметивший ее, вдруг обернулся. Прищурив глаза, он окинул ее с головы до ног взглядом наблюдателя, а потом в качестве знатока оценил ее во всех подробностях.

Возбужденная, загоревшаяся внезапно вспыхнувшим пламенем, до тех пор дремавшим в ней, она была очаровательна. Да к тому же женщина, покупающая мимоходом вещицу за полторы тысячи франков, не первая встречная.

Вдруг она ощутила порыв восхитительной совестливости и, обернувшись к нему, сказала дрожащим голосом:

— Простите, сударь, я, должно быть, чересчур поспешила, вы, быть может, еще не сказали последнего слова

Он поклонился·

— Я сказал его, сударыня.

Но она взволнованно отвечала·

— Словом, сударь, если сегодня или позже вам захочется изменить решение, то эта вещица принадлежит вам Я только потому ее и купила, что она вам понравилась

Он улыбнулся, явно польщенный

— Откуда же вы меня знаете? — спросил он

Тогда она заговорила о своем преклонении перед ним, назвала его произведения, стала даже красноречивой

Чтобы удобнее было разговаривать, он облокотился на какой-то шкафик и, пронизывая ее острым взглядом, старался понять, что она собой представляет.

Время от времени владелец магазина, обрадованный этой живой рекламой, кричал с другого конца лавки, когда входили новые покупатели

— А вот взгляните, господин Жан Варен, разве это не прелестно?

И тогда все головы поднимались, и она дрожала от удовольствия, что ее видят в непринужденной беседе со знаменитостью

Наконец, совсем опьянев, она решилась на крайнюю дерзость, подобно генералу, приказывающему идти на приступ.

— Сударь,— сказала она,— сделайте мне большое, очень большое удовольствие. Разрешите мне поднести вам этого урода на память о женщине, страстно вам поклоняющейся и которая виделась с вами всего десять минут.

Он отказался. Она настаивала. Он противился, забавляясь и смеясь от всего сердца.

Тогда она сказала упрямо:

— Ну в таком случае я тотчас же отвезу его к вам Где вы живете?

Он отказался сообщить свой адрес, но она узнала его от торговца и, заплатив за покупку, бросилась к фиакру. Писатель побежал за нею вдогонку, не желая,

чтобы у присутствующих создалось впечатление, что он принимает подарок от незнакомого лица. Он настиг ее, когда она садилась в экипаж, бросился за ней и почти упал на нее — так его подбросило тронувшимся фиакром, затем уселся рядом с нею, весьма раздосадованный.

Сколько он ни упрашивал, ни настаивал, она оставалась непреклонной Когда они были у его подъезда, она изложила ему свои условия.

— Я согласна,— сказала она,— не оставлять у вас этой вещи, если вы сегодня будете исполнять все мои желания.

Это показалось ему настолько забавным, что он согласился

Она спросила:

— Что вы делаете обычно в этот час?

Поколебавшись, он сказал

— Прогуливаюсь.

Тогда решительным тоном она приказала:

— В Лес!

И они поехали

Она потребовала, чтобы он называл ей по именам всех известных, в особенности же — доступных женщин, со всеми интимными деталями их жизни, привычек, обстановки и пороков.

Вечерело

— Что вы обычно делаете в это время? — спросила она.

Он ответил смеясь:

— Пью абсент.

И она с полной серьезностью сказала:

— В таком случае поедемте пить абсент.

Они вошли в одно из известных кафе на больших бульварах, где он часто бывал и где встретил нескольких собратьев по перу. Он всех их представил ей Она была без ума от радости. И в ее голове беспрестанно раздавалось: «Наконец-то, наконец!»

Время бежало; она спросила

— В этом часу вы, вероятно, обедаете?

Он отвечал:

— Да, сударыня.

— В таком случае пойдемте обедать, сударь.

Выходя из ресторана Биньон, она сказала:

— Что вы делаете по вечерам?

Он пристально взглянул на нее.

— Смотря по обстоятельствам, иногда я отправляюсь в театр

— Отлично, сударь, поедемте в театр

Они пошли в Водевиль, где благодаря ему им предложили бесплатные места, и — о верх славы! — весь зал видел ее рядом с ним, в креслах балкона

Когда представление кончилось, он галантно поцеловал ей руку.

— Мне остается поблагодарить вас, сударыня, за восхитительный день...

Она прервала его

— А что вы обычно делаете ночью?

— Но... но... я возвращаюсь домой

Она нервно засмеялась.

— Ну, что ж, сударь, поедемте к вам домой.

И больше они не разговаривали. Порою она дрожала с головы до ног, желая и бежать и остаться, но все же твердо решив в глубине души идти до конца

На лестнице она цеплялась за перила, так сильно возрастало ее волнение, а он шел вперед, отдуваясь, с восковой спичкой в руке.

Очутившись в комнате, она быстро разделась, скользнула в постель, не говоря ни слова, и ждала, прижавшись к стене.

Но она была неопытна, как только возможно для законной жены провинциального нотариуса, а он был требовательнее трехбунчужного паши. Они не поняли друг друга, совершенно не поняли.

И он уснул. Ночь проходила, и тишину ее нарушало лишь тиканье стенных часов; неподвижно лежа, она думала о своих супружеских ночах и с отчаянием смотрела на этого, спавшего рядом с нею на спине, под желтым светом китайского фонарика, маленького, шарообразного человечка, чей круглый живот выпячивался из-под простыни, словно надутый газом баллон. Он храпел, как органная труба, с протяжным фырканьем и смешным клокотанием в горле. Два десятка волос, утомленные за день своим приглаженным положением на голом черепе, который они должны были прикры-

вать, воспользовались теперь его сном и топорщились во все стороны

Струйка слюны стекла из его полуоткрытого рта

Наконец сквозь опущенные занавески чуть проглянул рассвет Она встала, бесшумно оделась и уже приоткрыла было дверь, но скрипнула задвижкой, и он проснулся, протирая глаза.

Несколько секунд он не мог прийти в себя, затем припомнив все случившееся, спросил

— Как, вы уходите?

Она стояла, смущенная, и прошептала:

— Да, уже утро

Он сел на постели

— Послушайте,— сказал он,— я тоже хочу вас кое о чем спросить

Она молчала, и он продолжал:

— Вы крайне удивили меня вчера. Будьте откровенны, признайтесь, зачем вы все это проделали? Я ничего не понимаю.

Она тихонько подошла к нему, краснея, как молоденькая девушка.

— Я хотела узнать .. порок... ну, и . ну, и это совсем не забавно!

Она выбежала из комнаты, спустилась с лестницы и бросилась на улицу.

Целая армия метельщиков подметала тротуары и мостовые, сбрасывая с них весь сор в сточные канавы Одинаковым размеренным движением, напоминавшим движение косцов в поле, они гнали сор и грязь полукругом перед собою. Проходя улицу за улицей, она видела вновь и вновь, как они движутся тем же автоматическим движением, словно паяцы, заведенные одною пружиной.

Ей показалось, что и в ее душе сейчас вымели нечто, сбросили в сточную канаву, в канализационную трубу все ее экзальтированные мечты.

Она вернулась домой, запыхавшись, иззябнув и не ощущая в сознании ничего, кроме этого движения щеток, подметающих Париж по утрам.

И как только она очутилась в комнате, она зарыдала.

ДВА ПРИЯТЕЛЯ

Париж был осажден, голодал, задыхался. Воробьев на крышах становилось все меньше, сточные канавы пустели. Ели что попало.

Г-н Мориссо, часовщик по профессии и солдат в силу обстоятельств, уныло и с пустым желудком прогуливался в ясное январское утро вдоль внешнего бульвара, заложив руки в карманы форменных штанов; внезапно он остановился перед другим солдатом, узнав в нем своего старого приятеля. То был г-н Соваж, его знакомец по рыбной ловле.

До войны каждое воскресенье, на рассвете, Мориссо отправлялся по железной дороге в Аржантей с бамбуковой удочкой в руке и жестяною коробкою за спиной. Он доезжал до Коломба, оттуда пешком добирался до острова Марант и, достигнув этого места своих мечтаний, закидывал удочку и рыбачил до самой ночи.

Каждое воскресенье встречал он там другого рыболова-фанатика, г-на Соважа, веселого и дородного человечка, торговца галантереей с улицы Нотр-Дам-де-Лорет. Часто проводили они по полдня, сидя рядышком с удочкой в руке, свесив над водой ноги, и скоро между ними возникла тесная дружба.

Бывали дни, когда они совсем не разговаривали. Иногда же беседовали, но чудесно понимали друг друга и без слов, так как у них были общие вкусы и одинаковые переживания.

Весною, по утрам, часов в десять, когда помолодев-

шее солнце поднимало над спокойной рекою легкий пар, уносящийся вместе с водою, и славно припекало спины ярых рыболовов, Мориссо порою говаривал соседу.

— А? Какова теплынь!

На что г-н Соваж отвечал:

— Не знаю ничего приятнее.

И этого им было достаточно, чтобы понимать и уважать друг друга.

Осенью к концу дня, когда небо, окровавленное заходящим солнцем, отражало в воде очертания пурпуровых облаков, заливало багрянцем всю реку, воспламеняло горизонт, освещало красным светом обоих друзей и позлащало уже пожелтевшие деревья, трепетавшие ознобом зимы, г-н Соваж, глядя с улыбкой на г-на Мориссо, говорил

— Каково зрелище?

И Мориссо, восхищенный, отвечал, не отрывая глаз от поплавка·

— Это будет получше бульваров, не правда ли?

Узнав теперь друг друга, они обменялись крепким рукопожатием, взволнованные встречей при столь изменившихся обстоятельствах. Г-н Соваж, вздохнув, тихо сказал:

— Ну и дела!

Мориссо угрюмо простонал:

— Погода-то какова! Сегодня первый ясный день с начала года.

Небо действительно было совсем синее и залито светом.

Они пошли рядом задумчиво и печально. Мориссо снова заговорил:

— А рыбная ловля? А? Вот приятные воспоминания!

Г-н Соваж спросил:

— Когда только мы опять вернемся туда?

Они вошли в маленькое кафе, выпили абсенту и снова стали бродить по тротуарам.

Вдруг Мориссо остановился:

— Не пропустить ли еще стаканчик?

Г-н Соваж не возражал:

— К вашим услугам.

Они зашли в другой кабачок.

Когда они вышли оттуда, головы их были сильно отуманены, как бывает с людьми, основательно выпившими на пустой желудок. Было тепло. Ласковый ветерок порхал по их лицам.

Г-н Соваж, которого совсем развезло от теплого воздуха, остановился:

— А не отправиться ли нам туда?

— Куда?

— Ловить рыбу.

— Но куда же?

— Да на наш остров. Французские аванпосты стоят у Коломба Я знаю полковника Дюмулена; нас пропустят легко.

Морисо задрожал от желания.

— Хорошо. Я согласен!

И они расстались, чтобы захватить свои рыболовные снасти.

Час спустя они шагали рядом по большой дороге. Добрались до дачи, занимаемой полковником. Он улыбнулся, выслушав их просьбу, дал согласие на их каприз, и они отправились дальше, снабженные паролем.

Вскоре они оставили за собою аванпосты, прошли через покинутый жителями Коломб и очутились на краю маленького, спускавшегося к Сене виноградника. Было около одиннадцати часов утра.

Деревня Аржантей, напротив них, казалась вымершей. Высоты Оржемон и Саннуа господствовали над всей окрестностью. Широкая долина, идущая к Нантерру, с ее оголенными вишневыми деревьями и серою землей, была пуста, совершенно пуста.

Г-н Соваж, указывая пальцем на горы, прошептал:

— Пруссаки там наверху!

И беспокойство охватило обоих друзей при виде этой опустевшей местности.

«Пруссаки!» Они ни разу еще не видели, но уже несколько месяцев ощущали их вокруг Парижа — невидимых и всемогущих, разорявших Францию, грабивших, убивавших, моривших голодом людей. И нена-

висть, которую они питали к неизвестному и побеждавшему народу, соединялась у них со своего рода суеверным ужасом.

Мориссо пролепетал:

— А что, если мы их встретим?

Г-н Соваж отвечал с тем зубоскальством, которое, несмотря ни на что, всегда свойственно парижанину:

— Мы угостим их жареною рыбой!

Тем не менее они медлили идти дальше в поля, как бы пугаясь этого безмолвия окрестности.

Наконец г-н Соваж решился.

— Ну, идем! Но только осторожно!

Они спустились по винограднику ползком, согнувшись в три погибели, пользуясь для прикрытия каждым кустом, беспокойно оглядываясь и настороженно прислушиваясь.

Оставалось пройти лишь полосу пустой земли, чтобы достигнуть речного берега. Они пустились по ней бегом и, достигнув обрыва, притаились в сухих тростниках.

Мориссо приложил ухо к земле, прислушиваясь, не раздается ли поблизости шагов. Ничего не было слышно Они были одни, совсем одни.

И успокоившись, они принялись удить рыбу

Обезлюдевший остров Марант, находившийся против них, скрывал их от другого берега. Маленькое здание ресторана было заколочено и казалось заброшенным много лет тому назад.

Г-н Соваж выудил первого пескаря, Мориссо поймал второго, и они стали то и дело вытаскивать удочки, где на конце лесы трепетала серебристая рыбка; то была поистине чудесная ловля.

Они осторожно клали рыбу в веревочную сетку с мелкими петлями, мокнувшую в воде у их ног. Восторженная радость переполняла их, радость, охватывающая человека, когда он возвращается к любимому удовольствию, которого был долго лишен.

Ласковое солнце пригревало им спины; они ничего не слышали, ни о чем не думали, забыли весь мир; они удили.

Но внезапно глухой звук, словно подземный удар, потряс землю. Пушки начинали грохотать снова.

Мориссо повернул голову и над берегом, налево, увидел высокий силуэт Мон-Валерьена, вершина которого была украшена белым султаном — только что выпущенным пороховым облачком.

И тотчас над вершиною крепости взлетело второе облачко, а несколько секунд спустя прогремел новый выстрел.

Потом последовали другие. Гора ежеминутно изрыгала смертоносное дыхание, выбрасывая клубы молочного пара, и они медленно подымались в спокойном небе, образовывая над нею облако.

Г-н Соваж пожал плечами.

— Снова принимаются,— сказал он.

Мориссо, беспокойно следивший за ежеминутным нырянием своего поплавка, почувствовал вдруг, что его охватывает гнев миролюбивого человека против тех безумцев, которые никак не могли прекратить драку. И он проворчал:

— Какими надо быть идиотами, чтобы так убивать друг друга.

Г-н Соваж добавил:

— Это хуже, чем у зверей!

Мориссо поймал уклейку и заявил:

— И подумать только, что так будет всегда, пока будут существовать правительства!

Г-н Соваж остановил его:

— Республика не объявила бы войны ..

Но Мориссо продолжал.

— При королях война идет с внешним врагом, а при республике — внутри страны.

И они спокойно принялись спорить, разрешая важные политические вопросы с точки зрения здравого смысла мирных и ограниченных людей, сходясь на том, что люди никогда не будут свободны. А Мон-Валерьен грохотал без умолку, разрушая своими ядрами французские дома, обрывая жизни, уничтожая людей, кладя конец стольким мечтам, разрушая столько фантазий, столько лелеемых радостей, столько надежд на счастье, причиняя сердцам женщин, сердцам девушек, сердцам

матерей, здесь и в других странах, страдания, которым никогда не будет конца.

— Это жизнь,— заявил г-н Соваж.

— Скажите лучше. это смерть,— возразил, улыбаясь, Мориссо

Но они вздрогнули в испуге, отчетливо услыхав за собою шаги Обернувшись, они увидели над своими головами четырех мужчин, четырех вооруженных и бородатых мужчин, одетых как бы в ливреи, подобно лакеям, и с плоскими фуражками на головах; эти люди целились в них из ружей.

Удочки выскользнули из рук рыболовов и поплыли вниз по течению.

В несколько секунд их схватили, связали, понесли, бросили в лодку и перевезли на остров.

Позади дома, который им казался покинутым, они увидели десятка два немецких солдат.

Волосатый великан, куривший большую фарфоровую трубку, сидя верхом на стуле, спросил у них на чистейшем французском языке.

— Ну, как, господа, хорош ли улов?

Один из солдат положил к ногам офицера сетку, полную рыбы, которую он позаботился прихватить. Пруссак улыбнулся

— Эге, я вижу, что ловилось неплохо. Но дело не в этом Выслушайте меня и не волнуйтесь.

— На мой взгляд, вы — два шпиона, подосланные, чтобы выследить меня. Я вас захватил и расстреляю. Вы делали вид, что заняты рыбной ловлей, чтобы замаскировать свои планы. Однако вы попались мне в руки тем хуже для вас; такова война.

— Но вы шли через аванпосты, и у вас, конечно, имеется пароль, чтобы пройти обратно. Сообщите мне пароль, и я вас пощажу...

Оба друга, мертвенно-бледные, стоя рядом, молчали; их руки нервно подергивались.

Офицер продолжал

— Никто об этом никогда не узнает, вы мирно вернетесь к себе. Тайна исчезнет вместе с вами. Если же вы откажетесь, — немедленная смерть! Выбирайте.

Они стояли неподвижно, не раскрывая рта.

Пруссак, по-прежнему спокойный, продолжал, протянув руку по направлению к реке:

— Подумайте, что через пять минут вы будете там, на дне. Через пять минут! Наверное, у вас есть родные?

Мон-Валерьен продолжал греметь.

Оба рыболова стояли безмолвно. Немец отдал какой-то приказ на своем языке. Затем он перенес свой стул, чтобы поместиться подальше от пленных, и двенадцать солдат стали в двадцати шагах от них с ружьями к ноге.

Офицер продолжал.

— Даю вам одну минуту, ни секунды больше.

Затем он вдруг встал, подошел к обоим французам, взял под руку Мориссо, отвел его в сторону и сказал шепотом:

— Ну, живо, пароль! Ваш товарищ ничего не узнает; я сделаю вид, что смягчился.

Мориссо ничего не ответил.

Пруссак отвел г-на Соважа и сказал ему то же самое.

Г-н Соваж тоже не ответил.

Их снова поставили рядом.

Офицер скомандовал Солдаты вскинули ружья.

В эту минуту взгляд Мориссо случайно упал на сетку с пескарями, оставшуюся на траве, в нескольких шагах от него.

Луч солнца играл на куче рыбы, еще продолжавшей биться. И Мориссо охватила слабость Как ни старался он владеть собою, глаза его наполнились слезами.

— Прощайте, господин Соваж,— пролепетал он

Г-н Соваж ответил:

— Прощайте, господин Мориссо.

Они пожали друг другу руки, трясясь с головы до ног в непреодолимой дрожи.

Офицер крикнул.

— Огонь!

Двенадцать выстрелов слились в один.

Г-н Соваж упал сразу, лицом вниз. Мориссо, выше его ростом, качнулся, перевернулся и рухнул поперек своего товарища, лицом кверху; струйки крови бежали из его куртки, пробитой на груди.

Немец отдал новые приказания.

Солдаты разошлись и снова вернулись, с веревками и камнями, которые привязали к ногам убитых; затем отнесли тела на берег.

Мон-Валерьен не переставал грохотать, окутавшись теперь целой горой дыма.

Двое солдат взяли Мориссо за голову и за ноги, двое других таким же способом подняли г-на Соважа, сильно раскачали их и далеко бросили в воду; тела описали дугу и стоймя погрузились в реку, так как камни тянули их ноги вниз.

Вода брызнула, забурлила, закипела, но постепенно ее волнение улеглось, лишь мелкие волны расходились к берегам.

На поверхности плавало немного крови.

Офицер, неизменно спокойный, сказал вполголоса

— Теперь ими займутся рыбы.

И он направился к дому.

Вдруг он увидел на траве сеть с пескарями. Он поднял ее, осмотрел, улыбнулся и крикнул:

— Вильгельм!

Подбежал солдат в белом фартуке И, бросая ему улов двух расстрелянных, пруссак скомандовал

— Изжарь мне сейчас же этих рыбешек, пока они живы. Это будет восхитительное блюдо!

И он снова закурил трубку.

ВОР

— Да говорю же вам, что этому никто не поверит
— Все равно расскажите.

— Охотно Но прежде всего я должен уверить вас, что история эта правдива во всех своих подробностях, какой бы невероятной она ни казалась. Одни художники не удивились бы ей, особенно старые художники, знавшие эту эпоху безумных шаржей, эпоху, когда дух шутки свирепствовал до такой степени, что неотступно преследовал нас даже при самых серьезных обстоятельствах.

И старый художник сел верхом на стул.

Дело происходило в столовой гостиницы Барбизона.

— Итак,— продолжал он,— мы обедали в тот вечер у бедняги Сориеля, ныне умершего, самого отчаянного из нас Обедали только втроем: Сориель, я и, кажется, Ле Пуатвен; но не решаюсь утверждать, что это был он Говорю, разумеется, о маринисте Эжене Ле Пуатвене, также умершем, а не о пейзажисте, благополучно здравствующем в расцвете таланта

Сказать, что мы обедали у Сориеля,— значит удостоверить, что мы были пьяны. Только Ле Пуатвен сохранял еще разум, правда, слегка отуманенный, но еще ясный. В то время мы были молоды Растянувшись на коврах в маленькой комнатке, смежной с мастерской, мы вели сумасбродную беседу. Сориель, развалившись

на полу и положив ноги на стул, толковал о сражениях, разглагольствовал о мундирах времен Империи; внезапно он поднялся, достал из большого шкафа с бутафорскими принадлежностями полную форму гусара и надел ее на себя. Затем он принудил Ле Пуатвена переодеться гренадером. А так как тот противился, мы схватили его, раздели и всунули в огромный мундир, в котором он совершенно потонул.

Я оделся кирасиром. Сориель заставил нас проделать какое-то сложное передвижение. Затем он воскликнул:

— Так как сегодня мы рубаки, то будем и пить, как рубаки.

Пунш был зажжен и выпит; затем пламя вторично вспыхнуло над миской с ромом. Мы распевали во всю глотку старые песни, те самые песни, которые когда-то горланили солдаты великой армии.

Вдруг Ле Пуатвен, который, несмотря ни на что, еще владел собою, заставил нас умолкнуть и после нескольких секунд молчания сказал вполголоса:

— Я уверен, что кто-то прошел по мастерской.

Сориель, с трудом поднявшись, воскликнул:

— Вор! Какое счастье!

Потом затянул *Марсельезу:*

Сограждане, на бой!

И, устремившись к шкафу с оружием, он снарядил нас соответственно нашим мундирам. Я получил что-то вроде мушкета и саблю, Ле Пуатвен — огромное ружье со штыком, сам же Сориель, не находя того, что ему было нужно, захватил седельный пистолет, засунув его за пояс, и абордажный топор, которым стал размахивать.

После этого он осторожно открыл дверь мастерской, и армия вступила на подозрительную территорию.

Когда мы очутились посреди обширной комнаты, заставленной бесконечными холстами, мебелью, странными и неожиданными предметами, Сориель объявил нам:

— Я назначаю себя генералом. Будем держать военный совет. Ты, кирасирский отряд, отрежешь отступление неприятелю, то есть запрешь дверь на ключ Ты, отряд гренадер, будешь моим эскортом.

Я выполнил приказ, а затем присоединился к главным силам армии, совершавшим рекогносцировку.

В ту минуту, когда я их настиг, за высокой ширмой раздался страшный шум. Я бросился вперед, держа в руке свечу, Ле Пуатвен только что пронзил штыком грудь одного манекена, а Сориель рубил ему топором голову. Когда ошибка обнаружилась, генерал скомандовал: «Будем осторожны»,— и военные действия возобновились

Минут двадцать по крайней мере мы безуспешно обшаривали все углы и закоулки мастерской, когда Ле Пуатвену вздумалось открыть огромный шкаф Он был темен и глубок; я вытянул руку, в которой держал свечу, и отступил в изумлении: там стоял и смотрел на меня какой-то человек, живой человек.

Я немедленно запер шкаф двойным поворотом ключа, и мы снова устроили совет

Мнения разделились Сориель хотел поджечь вора, Ле Пуатвен говорил о том, чтобы взять его голодом. Я предлагал взорвать шкаф порохом

Мнение Ле Пуатвена одержало верх, и пока он стоял на карауле с ружьем, мы отправились за остатками пунша и за нашими трубками; затем уселись перед запертою дверью и выпили за здоровье пленного.

Спустя полчаса Сориель сказал:

— Была не была, мне хочется увидеть его вблизи. Не взять ли нам его силой?

Я крикнул. «Браво!» Каждый схватился за свое оружие, шкаф отперли, и Сориель, с незаряженным пистолетом в руке, первый бросился вперед.

Мы последовали за ним с громким воем В темноте поднялась ужасная драка, и после пяти минут невероятной борьбы мы вытащили на свет старого грабителя, седого, грязного и в лохмотьях

Ему связали руки и ноги, затем его посадили в кресло. Он не произнес ни слова.

Сориель обратился к нам с пьяной торжественностью:

— Теперь мы будем судить этого негодяя.

Я был настолько пьян, что это предложение мне показалось вполне естественным.

Ле Пуатвену было поручено представлять защиту, а мне — поддерживать обвинение.

Он был приговорен к смерти единогласно, за исключением голоса его защитника.

— Мы сейчас же казним его! — сказал Сориель Однако на него напало сомнение: — Да нет, нельзя ему умереть, он должен получить поддержку религии. Не позвать ли нам священника?

Я возражал, говорил, что уже поздно. Сориель предложил выполнить эту обязанность мне самому и призвал преступника исповедаться мне.

Человек этот минут пять вращал испуганными глазами, спрашивая себя, с кем же он имеет дело. Затем произнес глухим голосом пьяницы:

— Вы, конечно, шутите.

Но Сориель силой поставил его на колени и, опасаясь, что родители оставили его некрещеным, вылил ему на голову стакан рому.

Затем он сказал:

— Исповедуйся этому господину; твой последний час пробил.

Старый негодяй, обезумев, завопил: «Помогите!» — и так отчаянно, что пришлось завязать ему рот, чтобы он не разбудил соседей. Тогда он стал кататься по полу, брыкаясь, корчась, опрокидывая мебель, продырявливая холсты. В конце концов Сориель, потеряв терпение, крикнул:

— Прикончим его!

И, прицелясь в лежавшего на полу бродягу, нажал спуск пистолета. Собачка щелкнула с легким сухим стуком. Увлеченный примером, я также выстрелил. Мое кремневое ружье выбросило искру, которая меня удивила.

И тут Ле Пуатвен выразительно произнес следующие слова:

— А имеем ли мы на самом деле право убивать этого человека?

Сориель, пораженный, ответил:

— Да ведь мы же приговорили его к смерти!

Но Ле Пуатвен возразил:

— Штатских не расстреливают; его надо передать палачу. Отведем-ка его на гауптвахту.

Довод показался нам убедительным. Человека подняли, а так как он не мог идти, его положили на доску от стола для моделей и крепко привязали к ней; я понес его с Ле Пуатвеном, а Сориель, вооруженный до зубов, замыкал шествие

Перед гауптвахтой нас остановил часовой. Вызванный дежурный офицер узнал нас Он был ежедневным свидетелем наших шуток, проделок и невероятных выходок, а потому лишь расхохотался и отказал в приеме нашего пленника

Сориель попробовал настаивать, но офицер строго предложил нам вернуться домой и не шуметь.

Отряд пустился в путь и возвратился в мастерскую.

— Что же мы будем делать с нашим вором? — спросил я.

Ле Пуатвен, растрогавшись, уверял, что этот человек, наверно, страшно утомился В самом деле, с завязанным ртом и прикрученный к доске, он был похож на умирающего.

Я в свою очередь почувствовал к нему щемящую жалость, жалость пьяницы, и, вынув у него изо рта затычку, спросил:

— Ну, старина, как дела?

Он простонал:

— Довольно с меня, наконец, черт побери!

Тогда Сориель поступил по-отечески. Он развязал все веревки, усадил его, заговорил с ним на «ты». Мы решили подкрепить его и живо принялись втроем готовить новый пунш. Вор глядел на нас, спокойно сидя в кресле Когда напиток был готов, ему протянули стакан, и все чокнулись

Пленный пил, словно целый полк. Но так как начинало светать, то он встал и с полным спокойствием произнес:

— Я принужден вас покинуть, мне надо вернуться домой

Мы были в отчаянии, старались его удержать, но он отказался оставаться дольше.

Все мы пожали ему руку, а Сориель взял свечу, чтобы посветить в прихожей, и громко сказал:

— Будьте осторожны, в воротах ступенька.

Все слушатели хохотали Рассказчик встал, закурил трубку и, повернувшись к нам, прибавил:

— Но самое смешное в моей истории то, что она — истинное происшествие.

НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

— Сочельник! Сочельник! Ну, нет, я не стану справлять сочельник!

Толстяк Анри Тамилье произнес это таким разъяренным голосом, словно ему предлагали что-нибудь позорное

Присутствующие, смеясь, воскликнули:

— Почему ты приходишь в такую ярость?

— Потому, — отвечал он, — что сочельник сыграл со мной сквернейшую шутку, и у меня остался непобедимый ужас к глупому веселью этой дурацкой ночи.

— Но в чем же дело?

— В чем дело? Вы хотите знать? Ну, так слушайте.

Помните, какой был мороз два года тому назад в эту пору? Нищим хоть помирать было на улице. Сена замерзла; тротуары леденили ноги сквозь подошвы ботинок; казалось, весь мир готов был погибнуть

У меня была начата тогда большая работа, и я отказался от всех приглашений на сочельник, предпочитая провести ночь за письменным столом. Пообедав в одиночестве, я тотчас же принялся за дело Но вот, ча-

сов около десяти вечера, мысль о разлившемся по всему Парижу веселье, уличный шум, несмотря ни на что, доносившийся до меня, слышные за стеной приготовления к ужину у моих соседей,— все это стало действовать мне на нервы Я ничего уже не соображал, писал глупости и понял, что надо отказаться от надежды сделать что-либо путное в эту ночь

Некоторое время я ходил по комнате и то садился, то вставал. Я испытывал таинственное влияние уличного веселья, это было очевидно; оставалось покориться ему.

Я позвонил служанке и сказал·

— Анжела, купите что-нибудь для ужина на двоих: устриц, холодную куропатку, креветок, ветчины, пирожных Возьмите две бутылки шампанского, накройте на стол и ложитесь спать

Она исполнила приказание, хотя и не без удивления Когда все было готово, я надел пальто и вышел.

Оставалось решить самый главный вопрос: с кем буду я встречать сочельник? Мои приятельницы уже были приглашены в разные места: чтобы залучить какую-нибудь из них, надо было позаботиться об этом заранее. Тогда мне пришло в голову сделать заодно и доброе дело. Я сказал себе: «Париж полон бедных и прекрасных девушек, у которых нет куска хлеба; они бродят по городу в поисках великодушного мужчины Стану-ка я рождественским провидением одной из этих обездоленных Пойду поброжу, загляну в увеселительные места, расспрошу, поищу и выберу по своему вкусу»

И я пустился бродить по городу.

Разумеется, я встретил многое множество бедных девушек, искавших приключения, но они были так безобразны, что могли вызвать несварение желудка, или так худы, что замерзли бы, остановившись на улице.

Вы знаете мою слабость: я люблю женщин упитанных. Чем они плотней, тем привлекательней. Великанша сводит меня с ума.

Вдруг против театра Варьете я увидел профиль в моем вкусе Голова, затем два возвышения — очень

красивой груди, а ниже — восхитительного живота, живота жирной гусыни Задрожав, я прошептал: «Черт возьми, какая красотка!» Оставалось только увидеть ее лицо.

Лицо женщины — сладкое блюдо, остальное это жаркое

Я ускорил шаги, нагнал эту прогуливавшуюся женщину и под газовым фонарем обернулся.

Она была восхитительна — совсем еще молодая, смуглая, с большими черными глазами.

Я пригласил ее, и она согласилась без колебания

Спустя четверть часа мы сидели за столом в моей комнате

— Ах, как здесь хорошо! — сказала она, входя.

И огляпулась вокруг, радуясь, что нашла ужин и приют в эту морозную ночь Она была восхитительна так красива, что я удивился, и так толста, что навек пленила мое сердце.

Она сняла пальто и шляпу, села за стол и принялась есть; но, казалось, она была не в ударе, и порой ее немного бледное лицо дергалось, словно она страдала от тайного горя.

Я спросил.

— У тебя какие-нибудь неприятности?

Она ответила:

— Ба, забудем сбо всем!

И начала пить Она осушала залпом свой бокал шампанского, снова наполняла и опоражнивала, и так без конца.

Вскоре слабый румянец выступил у нее на щеках, и она стала хохотать.

Я уже боготворил ее, целовал и убеждался, что она не была ни глупа, ни вульгарна, ни груба, подобно уличным женщинам. Я пытался было узнать, как она живет, но она ответила:

— Милый мой, это уже тебя не касается!

Увы! Всего час спустя...

Наконец настало время ложиться в постель, и, пока я убирал со стола, стоявшего у камина, она быстро разделась и скользнула под одеяло.

Соседи за стеной шумели ужасно, смеясь и распе-

вая, как полоумные, и я говорил себе: «Я сделал вполне правильно, отправившись на поиски за этой красоткой; все равно я не мог бы работать»

Глубокий вздох заставил меня обернуться Я спросил.

— Что с тобою, моя кошечка?

Она не отвечала, но продолжала болезненно вздыхать, словно ужасно страдала

Я продолжал.

— Или ты нездорова?

И вдруг она испустила крик, пронзительный крик Я бросился к ней со свечою в руке.

Лицо ее было искажено болью, она ломала руки, задыхалась, а из ее горла вырывались хриплые, глухие стоны, от которых замирало сердце

Я спрашивал, растерявшись:

— Но что же с тобою? Скажи, что с тобою?

Не отвечая, она принялась выть

Соседи сразу умолкли, прислушиваясь к тому, что происходило у меня

Я повторял:

— Где у тебя болит? Скажи, где у тебя болит?

Она пролепетала·

— Ох, живот, живот!

Я вмиг откинул одеяло и увидел ..

Друзья мои, она рожала!

Тут я потерял голову; я бросился к стене и, колотя в нее изо всех сил кулаками, заорал·

— Помогите, помогите!

Дверь отворилась, и в мою комнату вбежала целая толпа: мужчины во фраках, женщины в бальных платьях, пьерро, турки, мушкетеры Это нашествие так ошеломило меня, что я не мог им объяснить, в чем дело.

Они же думали, что случилось какое-нибудь несчастье, быть может, преступление, и тоже ничего не понимали.

Наконец я выговорил·

— Дело в том... дело в том, что... эта . эта женщина . рожает ..

Тогда все стали ее осматривать, высказывать свои мнения. Какой-то капуцин притязал на особенную опытность в этих делах и хотел помочь природе.

Они были пьяны как стельки. Я решил, что они убьют ее, и бросился в чем был на лестницу, за старым доктором, жившим на соседней улице.

Когда я вернулся с доктором, весь дом был на ногах; на лестнице зажгли газ, квартиранты со всех этажей наводняли мою квартиру; четверо грузчиков сидели за столом, допивая мое шампанское и доедая моих креветок

При виде меня раздался громовой рев. Молочница поднесла мне на салфетке отвратительный комок сморщенного, съежившегося мяса, стонавший и мяукавший, как кошка, и объявила:

— Девочка!

Доктор осмотрел роженицу, признал ее положение опасным, так как роды произошли тотчас после ужина, и ушел, сказав, что немедленно пришлет ко мне сиделку и кормилицу.

Обе женщины прибыли через час и принесли сверток с медикаментами.

Я провел ночь в кресле и был слишком потрясен, чтобы раздумывать о последствиях

Утром доктор вернулся. Он нашел больную в довольно плохом состоянии.

— Ваша супруга, сударь .— начал он.

Я прервал его:

— Это не моя супруга.

Он продолжал:

— Ну все равно, ваша любовница.

И он перечислил все заботы, которые были ей необходимы,— уход, лекарства.

Что было делать? Отправить эту несчастную в больницу? Я прослыл бы за негодяя во всем доме, во всем квартале.

Я оставил ее у себя. Шесть недель пролежала она в моей постели

Ребенок? Я отослал его к крестьянам в Пуасси. Мне приходится ежемесячно платить за него пятьдесят франков. Заплатив раз, я принужден теперь платить за него до моей смерти.

А впоследствии он будет считать меня своим отцом.

В довершение всех несчастий, когда эта девушка

выздоровела она полюбила меня .. безумно полюбила, негодяйка!

— Ну, и что же?

— Ну, она исхудала, как приблудная кошка, и я выкинул ее за дверь. Теперь этот скелет поджидает меня на улицах, прячется при моем появлении, а вечером, когда я выхожу, останавливает меня, чтобы поцеловать мне руку, и в конце концов бесит меня до неистовства.

Вот почему я никогда больше не буду справлять сочельник.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

— Госпожа Бондеруа?

— Да, госпожа Бондеруа.

— Может ли это быть?

— У-ве-ряю вас!

— Госпожа Бондеруа, та самая пожилая дама в кружевных чепцах, ханжа и святоша? Та почтенная госпожа Бондеруа, у которой мелкие накладные кудряшки словно приклеены к черепу?

— Она самая.

— Послушайте, да вы с ума сошли!

— Кля-нусь вам!

— В таком случае, не расскажете ли все подробно?

— Извольте. При жизни господина Бондеруа, бывшего нотариуса, госпожа Бондеруа пользовалась, говорят, писцами своего мужа, для некоторых особых услуг. Это одна из тех почтенных буржуазных дам, каких много: с тайными пороками и непоколебимыми принципами. Она любила красивых юношей; что может быть естественнее? Разве мы не любим красивых девушек?

Когда папаша Бондеруа скончался, вдова его зажила жизнью тихой и безупречной рантьерши. Она усердно посещала церковь, презрительно говорила о своих ближних и не подавала никакого повода говорить о себе самой.

Затем она состарилась и превратилась в ту чопорную, прокисшую и злобную мещанку, которую вы знаете.

И вот в прошлый четверг случилось невероятное приключение.

Друг мой, Жан д'Англемар, как вам известно,— драгунский капитан, и он живет в казарме в предместье Ла Риветт.

Придя как-то утром в свою часть, он узнал, что два его солдата самым безобразным образом подрались У воинской чести свои суровые законы. Дело кончилось дуэлью. После нее солдаты помирились и, опрошенные капитаном, рассказали ему о причинах своей ссоры. Они дрались из-за госпожи Бондеруа.

— О!

— Да, друг мой, из-за госпожи Бондеруа! Но предоставлю слово кавалеристу Сибалю

— Вот какое дело, капитан Года полтора тому назад прогуливаюсь я по главной улице, часов в шесть или в семь вечера; вдруг подходит ко мне какая-то женщина И спрашивает меня так же просто, как попросила бы указать ей дорогу.

— Военный, не хотите ли честно зарабатывать десять франков в неделю?

Я чистосердечно отвечаю.

— К вашим услугам, сударыня.

Тогда она говорит мне.

— Вы застанете меня дома завтра в полдень. Я — госпожа Бондеруа и живу на улице Траншэ, дом номер шесть.

— Непременно приду, сударыня, будьте покойны.

После этого она оставляет меня и с довольным видом произносит:

— Очень вам благодарна, господин военный.

— Это я должен благодарить вас, сударыня.

Случай этот не давал мне покоя до следующего дня.

В полдень звоню у ее двери.

Отпирает мне она сама. А на голове у нее целая куча ленточек.

— Поспешим,— говорит она мне,— а то прислуга скоро должна вернуться.

Я отвечаю.

— За мною дело не станет. Что прикажете делать?

Она смеется и отвечает:

— А сам-то не понимаешь, толстый плут?

Но я все еще не понимал, капитан, честное слово.

Тогда она садится рядом со мной и говорит.

— Если ты хоть слово скажешь об этом, я засажу тебя в тюрьму. Побожись, что будешь молчать.

Я побожился, как она хотела. Но все еще ничего не понимал. Пот выступил у меня на лбу, и я снял каску, где у меня лежал носовой платок. Она берет этот платок и вытирает мне виски. Затем вдруг обнимает меня и шепчет на ухо.

— Значит, хочешь?

Я отвечаю:

— Я согласен исполнить все, что вы желаете, сударыня; для этого я и пришел.

Тогда она мне ясно дала понять, чего ей хотелось. А уразумев, в чем дело, я положил каску на стол и доказал ей, что драгуны никогда не отступают, капитан.

Не очень-то большое удовольствие я получил от этого: особа была не первой молодости. Но нельзя быть слишком разборчивым: монетки перепадают не часто. И потом есть семья, которую надо поддерживать. Я так и сказал себе: «Тут будет сто су для отца».

Отбыв свою повинность, капитан, я собрался восвояси. Понятно, ей хотелось, чтобы я не уходил так скоро. Но я сказал:

— У всего своя цена, сударыня. Рюмочка стоит два су, а две рюмочки — четыре су.

Она отлично поняла, что я прав, и сунула мне в руку маленький наполеондор в десять франков. Не очень-то подходящая эта монетка: в кармане она болтается, а если штаны неважно сшиты, ее находишь в сапогах, а то и совсем не находишь.

Я рассматриваю эту желтую облатку, думая об этом, а она смотрит на меня, краснеет и спрашивает — ее обмануло выражение моего лица:

— Что же, по-твоему, этого мало?

Я отвечаю:

— Не совсем так, сударыня, только если вам все равно, я предпочел бы две монеты по пяти франков.

Худ. Л. Валле. 1902 «МАРРОКА».

Худ. Л. Валле. 1902. «ПАРИЖСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

Она дала мне их, и я ушел.

И вот это тянется уже полтора года, капитан Я хожу к ней каждый вторник вечером, когда вы разрешаете мне отпуск Так она и предпочитает, потому что ее прислуга уже спит.

Но вот на прошлой неделе я расклеился, и пришлось мне понюхать госпиталя. Наступает вторник, выйти нельзя, и я прямо-таки грызу себе ногти из-за этих десяти кружочков, к которым уже привык.

Мне думалось: «Если к ней никто не пойдет, я пропал. Она, наверно, возьмет себе артиллериста». И это взбудоражило меня.

Тогда я попросил позвать Помеля, моего земляка, и рассказал ему обо всем деле:

— Ты получишь сто су, и мне сто су, ладно?

Он соглашается и уходит. Я все ему объяснил как следует. Он стучит; она отпирает и дает ему войти, не посмотрев ему в лицо и не заметив, что это другой.

Вы понимаете, господин капитан, все драгуны похожи друг на друга, когда они в касках.

Но вдруг она обнаруживает это превращение и сердито спрашивает:

— Кто вы такой? Что вам надо? Я вас не знаю.

Тогда Помель объясняется Выкладывает, что я нездоров и прислал его в качестве заместителя.

Она смотрит на него, также заставляет побожиться в сохранении тайны, затем соглашается принять его; сами понимаете, Помель тоже ведь недурен собой.

Но когда этот негодяй вернулся, он не пожелал отдать мне мои сто су. Будь они для меня, я ничего бы не сказал, но ведь это отцовские деньги, и тут уж было не до шуток.

Я ему говорю:

— Поступки твои неприличны для драгуна; ты позоришь мундир.

А он замахнулся на меня, господин капитан, говоря, что за такую тяжелую повинность надо получать вдвое.

Каждый судит по-своему, не так ли? Тогда нечего

было ему соглашаться. Я и ткнул его кулаком в нос Остальное вы знаете.

Капитан д'Англемар смеялся до слез, рассказывая мне эту историю. Но и он взял с меня клятву сохранить тайну, за которую ручался солдатам.

— Главное, не выдавайте меня; храните все это про себя, обещаете?

— О, не бойтесь. Но как же, в конце концов, все это уладилось?

— Как? Держу пари, не угадаете... Мамаша Бондеруа оставила обоих драгун, назначив каждому особый день. Таким образом, все остались довольны.

— О, она очень добрая, очень добрая!

— А старикам родителям обеспечено пропитание. И нравственность не пострадала.

ЖИЗНЬ

Госпоже Брэнн
дань уважения преданного друга
и в память о друге умершем

Ги де Мопассан

I

Уложив чемоданы, Жанна подошла к окну; дождь не переставал.

Всю ночь стекла звенели и по крышам стучал ливень. Нависшее, отягченное водою небо словно прорвалось, изливаясь на землю, превращая ее в кашу, растворяя, как сахар. Порывы ветра дышали тяжким зноем. Рокот разлившихся ручьев наполнял пустынные улицы; дома, как губки, впитывали в себя сырость, проникавшую внутрь и проступавшую испариной на стенах, от подвалов до чердаков.

Выйдя накануне из монастыря и оставив его навсегда, Жанна жаждала наконец приобщиться ко всем радостям жизни, о которых так давно мечтала; она опасалась, что отец будет колебаться с отъездом, если погода не прояснится, и в сотый раз за это утро пытливо осматривала горизонт.

Затем она заметила, что забыла положить в дорожную сумку свой календарь. Она сняла со стены листок картона, разграфленный на месяцы, с золотою цифрою текущего 1819 года в виньетке. Она вычеркнула карандашом четыре первых столбца, заштриховывая все имена святых вплоть до 2 мая — дня своего выхода из монастыря.

Голос за дверью позвал:

— Жанетта!

Жанна ответила:

— Войди, папа.

И в комнату вошел ее отец.

Барон Симон-Жак Ле Пертюи де Во был дворянином прошлого столетия, чудаковатым и добрым Восторженный последователь Жан-Жака Руссо, он питал нежность влюбленного к природе, лесам, полям и животным.

Аристократ по рождению, он инстинктивно ненавидел девяносто третий год; но, философ по темпераменту и либерал по воспитанию, он проклинал тиранию с безобидной и риторической ненавистью.

Его великой силой и великой слабостью была доброта, такая доброта, которой не хватало рук, чтобы ласкать, раздавать, обнимать,— доброта творца, беспорядочная и безудержная, подобная какому-то омертвлению волевого нерва, недостатку энергии, почти пороку.

Человек теории, он придумал целый план воспитания своей дочери, желая сделать ее счастливой, доброй, прямодушной и нежной.

До двенадцати лет она жила дома, а потом, несмотря на слезы матери, была отдана в монастырь Сакре-Кер.

Там отец держал ее в строгом заключении, взаперти, в безвестности и в полном неведении дел людских. Он желал, чтобы она возвратилась к нему семнадцатилетней целомудренной девушкой, и собирался затем сам погрузить ее в источник поэзии разумного, раскрыть ей душу и вывести из неведения путем созерцания наивной любви, простых ласк животных, ясных законов жизни.

Теперь она вышла из монастыря сияющая, полная сил и жажды счастья, готовая ко всем радостям, ко всем прелестным случайностям жизни, которые представлялись ее воображению в дни праздности, в долгие ночи.

Она походила на портрет Веронеза своими блестящими белокурыми волосами, как бы обесцветившимися на ее коже, аристократической, чуть розоватой коже, оттененной легким пушком, который напоминал бледный бархат и был чуть заметен под лаской солнца

Глаза Жанны были синие, той темной синевы, какою отличаются глаза голландских фаянсовых фигурок.

Около левой ноздри у нее была маленькая родинка; другая была справа на подбородке, где вилось несколько волосков, до того подходивших к цвету ее кожи, что их с трудом можно было различить. Она была высокого роста, с развитой грудью и гибкой талией. Ее чистый голос казался иногда чересчур резким, но искренний смех разливал кругом нее радость. Нередко привычным движением она поднесила руки к вискам, как бы желая пригладить прическу.

Она подбежала к отцу, обняла его и поцеловала.

— Ну что же, едем? — спросила она.

Он улыбнулся, тряхнул довольно длинными уже седыми волосами и протянул руку к окошку:

— Неужели тебе хочется отправиться в путь в такую погоду?

Но она молила его ласково и нежно:

— Поедем, прошу тебя, папа. После полудня погода разгуляется.

— Но мама ни за что не согласится.

— Согласится, обещаю; я беру это на себя

— Если тебе удастся ее уговорить, я не возражаю.

И она стремглав бросилась в комнату баронессы Ведь этого дня отъезда она ждала со все возрастающим нетерпением

С минуты поступления в Сакре-Кёр она не покидала Руана, потому что отец не разрешал ей никаких развлечений раньше установленного им срока Только два раза возили ее на две недели в Париж, но это был опять-таки город, а она мечтала лишь о деревне.

Теперь ей предстояло провести лето в их поместье «Тополя», в старом фамильном замке, стоявшем на скалистом побережье близ Ипора, и свободная жизнь на берегу моря сулила ей бесконечные радости Кроме того, было решено подарить ей этот замок, чтобы она постоянно жила в нем, когда выйдет замуж

Дождь, ливший непрерывно со вчерашнего вечера, был первым большим горем в ее жизни.

Но через три минуты она выбежала из комнаты матери, крича на весь дом:

— Папа, папа! Мама согласна; вели запрягать.

Ливень не прекращался; он даже, пожалуй, усилился, чуть только карета подъехала к крыльцу

Жанна собиралась уже сесть в экипаж, когда с лестницы спустилась баронесса, поддерживаемая с одной стороны мужем, а с другой — рослою горничной, хорошо сложенной и сильной, как парень. Это была нормандка из Ко, на вид ей можно было дать по меньшей мере двадцать лет, а ей еще только что минуло восемнадцать. В семье барона с ней обращались почти как со второй дочерью, потому что она была молочной сестрой Жанны. Ее звали Розали.

Главная обязанность Розали состояла в уходе за ее госпожой, непомерно располневшей за последние годы из-за расширения сердца, на которое она постоянно жаловалась

Баронесса, сильно задыхаясь, сошла на крыльцо старого особняка, взглянула на двор, по которому стремительно текла вода, и заметила:

— Право же, это неразумно.

Муж, по обыкновению улыбаясь, ответил:

— Но ведь вы так пожелали, мадам Аделаида.

Баронесса носила пышное имя Аделаиды, и муж прибавлял к нему всегда «мадам» с оттенком чуть насмешливого уважения.

Она снова двинулась вперед и с трудом поднялась в экипаж, рессоры которого сразу осели. Барон поместился рядом с нею, а Жанна и Розали уселись на скамейке напротив

Вслед за ворохом накидок — отъезжающие прикрыли ими себе колени — кухарка Людивина принесла две корзины и поставила их в ногах; затем она вскарабкалась на козлы рядом с дядей Симоном и укуталась большим пледом, совершенно ее закрывшим. Привратник с женою подошли проститься, захлопнули дверцу кареты и получили последние приказания по поводу багажа, который надлежало отправить следом на тележке; после этого тронулись в путь.

Кучер, дядя Симон, понурив голову и горбясь под дождем, совсем исчез в своей ливрее с тройным воротником Порывы ветра со стоном бились в стекла и заливали дорогу потоками воды.

Карета, запряженная парою лошадей, быстро спустилась к набережной и поехала вдоль ряда больших судов, мачты, реи и снасти которых печально поднимались, словно оголенные деревья в изливавшееся ручьями небо; затем она выехала на длинный бульвар горы Рибуде.

Вскоре дорога пошла лугами; время от времени сквозь водяной туман смутно вырисовывалась мокрая ива, ветви которой свисали с беспомощностью трупа. Чавкали подковы лошадей, а из-под колес летели брызги грязи.

Все молчали; самые мысли, казалось, пропитались сыростью, как и земля. Мать Жанны, откинувшись, прислонилась к стенке кареты и закрыла глаза. Барон хмуро рассматривал однообразные и залитые дождем поля Розали, с узлом на коленях, дремала животной дремотой простолюдинов. Но Жанна чувствовала, что оживает под этой теплой струящейся влагой, словно комнатное растение, которое вынесли на воздух; полнота радости, подобно листве, защищала ее сердце от грусти. Она молчала, но ей хотелось петь, высунуть наружу руку и, набрав воды, напиться; она наслаждалась и тем, что лошади бегут крупной рысью, и тем, что она видит, как печальны окрестности, и тем, что чувствует себя защищенной от этого потопа.

Под яростным дождем от блестящих крупов лошадей поднимался пар, словно от кипящей воды.

Баронесса мало-помалу начала засыпать. Ее лицо, обрамленное шестью правильно расположенными и колыхавшимися локонами, понемногу опускалось, мягко опираясь на три больших волны ее шеи, последние складки которой терялись в безбрежном море груди. Голова ее приподнималась при каждом вздохе и тотчас же падала снова, щеки надувались, а из полуоткрытых губ вырывалось звонкое похрапывание. Муж наклонился к ней и тихонько вложил ей в руки, скрещенные на полном животе, маленький кожаный бумажник.

Это прикосновение разбудило ее; она взглянула на бумажник затуманенным взором, с отупением человека, сон которого внезапно прервали. Бумажник упал и раскрылся. Золото и банковые билеты рассыпались по

полу кареты. Баронесса совсем проснулась, а веселое настроение дочери проявилось во взрыве хохота

Барон подобрал деньги и положил их жене на колени:

— Вот, мой друг, все, что осталось от моей фермы в Эльто. Я продал ее, чтобы восстановить «Тополя», где мы теперь будем жить подолгу.

Она сосчитала деньги — шесть тысяч четыреста франков — и спокойно положила их в карман.

Это была уже девятая проданная ферма из тридцати одной, оставленных им родителями Однако они еще обладали приблизительно двадцатью тысячами годового дохода с земель, которые при хорошем управлении могли бы легко приносить в год и тридцать тысяч.

Они жили скромно, и этого дохода было бы достаточно, не будь в доме бездонной пропасти, вечно разверстой их доброты. Из-за нее деньги испарялись в их руках, как испаряется вода в болоте под палящими лучами солнца. Деньги текли, бежали, исчезали. Как это происходило? Никто не знал. Каждую минуту кто-нибудь из них говорил:

— Не знаю, как это вышло, но я истратил сегодня сто франков, а не сделал ни одной крупной покупки.

Легкость, с которой они раздавали деньги, была, впрочем, одной из величайших радостей их жизни, и тут они прекрасно и трогательно понимали друг друга.

Жанна спросила:

— А красив теперь мой замок?

Барон весело ответил:

— Увидишь, дочурка.

Мало-помалу ярость ливня стихала, и вскоре от него осталось лишь нечто вроде тумана — тончайшая сеющаяся дождевая пыль Облачный свод как бы приподнялся, побелел, и вдруг сквозь какую-то невидимую щель длинный косой луч солнца упал на луга.

Тучи разошлись, показалась синяя глубина небосвода, потом просвет увеличился, как в разрывающейся завесе, и прекрасное лазурное небо, чистое и глубокое, развернулось над землей.

Пролетел свежий и легкий ветерок, словно счастливый вздох земли; когда проезжали мимо садов или ле-

сов, слышалось порою веселое пение птицы, сушившей свои перья.

Вечерело. Теперь в карете все спали, кроме Жанны. Два раза останавливались на постоялых дворах, чтобы дать передохнуть лошадям, покормить их овсом и напоить.

Солнце село; вдали зазвонили колокола В какой-то деревушке зажглись фонари; небо также засветилось бесчисленными звездами. То там, то здесь появлялись освещенные дома, пронизывающие мрак огненными точками; и вдруг за косогором, сквозь ветви сосен, показалась луна, огромная, красная и словно оцепеневшая от сонливости

Было так тепло, что окна кареты оставались опущенными Жанна, истомленная мечтами и пресытившаяся счастливыми видениями, теперь отдыхала Чувствуя онемение от долгого пребывания в одной и той же позе, она время от времени открывала глаза, смотрела в окно и различала в светлой ночи бегущие мимо деревья, фермы или нескольких коров, лежавших там и сям в поле и подымавших головы Она старалась найти другую позу и пробовала снова поймать нить прерванных грез, но непрестанный стук экипажа наполнял ей уши, утомлял ее мысль, и она вновь закрывала глаза, чувствуя, что ее ум так же устал, как и тело

Наконец остановились У дверец кареты стояли мужчины и женщины с фонарями в руках Приехали Жанна, сразу проснувшись, проворно выскочила из экипажа Отец и Розали, которым светил один из фермеров, почти вынесли баронессу, совершенно разбитую, жалобно стонавшую и без конца твердившую еле слышным, умирающим голосом:

— Ах, боже мой! Ах, дети мои!

Она не захотела ни пить, ни есть, легла в постель и тут же заснула.

Жанна и барон ужинали вдвоем

Они переглядывались и улыбались, брали друг друга через стол за руки, а потом, полные детской радости, вместе принялись за осмотр заново отделанного дома.

Это было одно из высоких и обширных нормандских

зданий, нечто среднее между фермой и замком, одно из зданий, построенных из белого камня, сделавшегося серым, и настолько просторных, что в них могло вместиться целое племя.

Очень обширная прихожая делила дом пополам, пересекая его насквозь; высокие двери вели из нее на обе его стороны. Двойная лестница, казалось, перешагивала через этот вход, оставляя середину прихожей пустою и соединяя во втором этаже оба своих подъема наподобие моста.

В нижнем этаже, направо, входили в огромную гостиную, обтянутую штофом с изображением птиц среди листвы Вся мебель, обитая вышитой крестиком материей, представляла собою иллюстрации к басням Лафонтена; Жанна затрепетала от радости при виде стула, который любила еще ребенком и на котором были изображены Лисица и Журавль.

Рядом с гостиной были расположены библиотека со старинными книгами и две комнаты, не имевшие определенного назначения; налево от входа была столовая с новой деревянной обшивкой, бельевая, буфетная, кухня и небольшое помещение, в котором находилась ванна

Все пространство второго этажа пересекал коридор. Десять дверей из десяти комнат тянулись одна за другой. В самой глубине, направо, была комната Жанны. Они вошли туда. Барон только что отделал ее заново, использовав обивку и мебель, валявшиеся на чердаке без употребления.

Старинные фламандские ткани населяли эту комнату причудливыми фигурами.

Увидев свою кровать, девушка вскрикнула от радости По четырем углам четыре большие птицы, выточенные из дуба, черные и блестящие от воска, поддерживали ложе и казались его хранителями. С боков находились две широкие гирлянды резных цветов и фруктов; четыре колонки с тонкими желобками, увенчанные коринфскими капителями, поддерживали карниз из роз и амуров

Кровать высилась величественно, но была в то же время легка и изящна, несмотря на мрачный вид дерева, потемневшего от времени.

Одеяло и полог кровати сверкали, как два небосвода. Они были сделаны из старинного темно-синего шелка, по которому, точно звезды, были разбросаны крупные цветы лилии, вышитые золотом

Налюбовавшись вдоволь кроватью, Жанна подняла свечу и стала рассматривать обивку стен, стремясь понять содержание рисунков.

Молодой вельможа и молодая дама, одетые в необыкновеннейшие костюмы зеленого, красного и желтого цвета, беседовали под голубым деревом, на котором зрели белые плоды. Большой кролик, тоже белый, пощипывал серую траву

Прямо над этими фигурами, в условной перспективе, виднелись пять круглых домиков с остроконечными крышами, а вверху, почти на небе,— красная ветряная мельница

Все это было заткано крупными разводами, изображавшими цветы

Два других панно были очень похожи на первое; только на них из домиков выходили четыре человечка, одетые по-фламандски, и простирали к небу руки в знак крайнего изумления и гнева

Последнее же панно изображало драму Неподалеку от кролика, который все еще продолжал щипать траву, был распростерт молодой человек, казавшийся мертвым Молодая дама, глядя на него, пронзала себе грудь шпагой, а плоды на дереве сделались черными.

Жанна уже отказалась было понять все это, как вдруг обнаружила в углу микроскопического зверька, которого кролик, будь он живой, мог бы проглотить, как травинку А между тем это был лев

Тогда она узнала злоключения Пирама и Тисбы, и хотя улыбнулась наивности рисунков, все же почувствовала себя счастливой, что ей придется быть лицом к лицу с этой любовной историей, которая будет постоянно твердить ей о дорогих надеждах, и что каждую ночь во время сна над ней будет витать эта любовь античного мифа.

Остальная мебель представляла собой собрание самых различных стилей Это была обстановка, которая остается в семье от каждого поколения и превращает

старинные дома во что-то вроде музеев, где смешивается решительно все. По бокам великолепного, окованного блестящими медными украшениями комода в стиле Людовика XIV стояли два кресла в стиле Людовика XV, еще хранившие свою прежнюю шелковую обивку с букетами цветов. Секретер розового дерева стоял против камина, на котором под круглым колпаком красовались часы в стиле ампир.

То был бронзовый улей, висевший на четырех мраморных колонках над садом из золоченых цветов. Тоненький маятник, спускавшийся из улья через длинную щель, непрестанно покачивал над этим цветником крохотную пчелку с эмалевыми крылышками

С одной стороны улья был вделан циферблат из расписного фаянса.

Часы пробили одиннадцать Барон поцеловал дочь и ушел к себе.

Тогда Жанна с чувством сожаления улеглась в постель.

В последний раз окинула она взглядом свою комнату и потушила свечу Но с левой стороны кровати, прислоненной к стене только изголовьем, было окно, через которое проникал поток лунного света, разливавшийся по полу прозрачной лужицей.

Бледные отблески отражались на стенах, слабо лаская любовь неподвижных Пирама и Тисбы.

В другое окно, приходившееся против ног кровати, Жанна видела высокое дерево, залитое кротким сиянием. Она повернулась на бок и сомкнула глаза, но через некоторое время снова открыла их

Ей чудилось, что ее все еще подбрасывают толчки экипажа, стук которого продолжал звучать в ее ушах. Она пробовала лежать неподвижно, надеясь, что спокойная поза позволит ей, наконец, заснуть; но волнение, которым был объят ее ум, передалось вскоре и ее телу.

У нее сводило ноги, лихорадка усиливалась. Тогда она встала и, босиком, с голыми руками, в длинной рубашке, придававшей ей вид призрака, перешагнула через лужу света, разлитую на полу, отворила окно и выглянула наружу.

Ночь была так светла, что все было видно, как

днем, девушка узнавала места, которые она любила еще в раннем детстве.

Против нее и всего ближе к ней расстилался широкий газон, который при ночном освещении казался желтым, как масло Два гигантских дерева возвышались перед замком по обеим сторонам его — платан на севере, липа на юге

Небольшая роща, расположенная на самом краю лужайки, окаймляла это имение, защищенное от морских бурь пятью рядами вековых вязов, искривленных, ободранных, растерзанных, верхушки которых были срезаны наклонно, как скат крыши, вечно бушевавшим морским ветром.

Это подобие парка было ограничено справа и слева двумя длинными аллеями громадных тополей, отделявшими господский замок от двух соседних ферм, в одной из которых жила семья Кульяров, а в другой — Мартены.

От этих тополей и получил свое имя замок. За пределами этого огороженного места расстилалась обширная невозделанная равнина, поросшая диким терновником, где ветер выл и метался день и ночь. Дальше берег сразу обрывался кручей в сто метров высоты, отвесной и белой, купавшей свое подножие в волнах

Жанна смотрела вдаль, на безбрежную, волнистую водную гладь, которая, казалось, дремала под звездами

В эти часы отдохновения природы после захода солнца в воздухе разливались все запахи земли Жасмин, обвивавший окна нижнего этажа, непрестанно струил свой резкий аромат, который смешивался с более легким благоуханием распускавшихся листьев. Медленные дуновения ветра приносили крепкий запах соленого воздуха и липкие испарения морских водорослей.

Девушка, сияющая от счастья, полной грудью вдыхала воздух, и деревенская тишина успокаивала ее, как свежая ванна

Все животные, просыпающиеся с наступлением вечера и таящие свою безвестную жизнь в тиши ночей, наполняли полутьму безмолвным оживлением. Огромные птицы беззвучно парили в воздухе, как пятна, как

тени, жужжание невидимых насекомых едва касалось уха, по росистой траве и по песку пустынных дорог мчались немые погони.

Лишь несколько меланхолических жаб посылали к луне свой короткий и однообразный стон

Жанне казалось, что сердце ее расширяется, что оно полно неясных звуков, как и этот светлый вечер, что оно вдруг закишело тысячью бродяжнических желаний, как у тех ночных животных, чей шорох ее окружал. Что-то роднило ее с этой живой поэзией; и в мягкой белизне ночи она ощущала нечеловеческий трепет, биение едва уловимых надежд, что-то похожее на дуновение счастья.

И она стала мечтать о любви.

Любовь! Уже два года, как ее приближение наполняло Жанну возраставшею тоскою Теперь она может любить, теперь ей остается только встретить Его!

Каков он будет? Она не представляла себе этого в точности и даже не спрашивала себя. Это будет Он — вот и все.

Она знала только, что будет обожать его всей душой и что он будет любить ее также всем своим существом. В такие вечера, как этот, они будут гулять под пепельным светом звезд Они пойдут рука об руку, прижавшись друг к другу, ощущая биение своих сердец, чувствуя теплоту плеч, сплетая свою любовь с нежной ясностью летних ночей, и станут такими близкими, что смогут легко, одной силой своей любви, проникать в самые сокровенные мысли друг друга.

И это будет длиться бесконечно в безмятежности невыразимой любви

Ей показалось вдруг, что она уже ощущает его здесь, возле себя; смутный трепет чувственности внезапно пробежал по ее телу с головы до ног Она прижала к груди руки бессознательным движением, словно обнимая свою мечту; на губах, протянутых к неизвестному, она ощутила нечто, заставившее ее почти лишиться чувств, словно дыхание весны запечатлело на них поцелуй любви.

Вдруг она услышала, что кто-то идет там, в ночи, по дороге, позади замка. И в безумном порыве, охвачен-

ная страстной верой в невозможное, в чудесные случайности, в божественные предчувствия и романтические пути судьбы, она подумала: «А что, если это он?» Она боязливо прислушивалась к мерным шагам прохожего и была уверена, что он сейчас остановится у решетки и попросит приюта

Когда он прошел, она почувствовала грусть, точно от разочарования. Но она поняла безрассудство своих надежд и улыбнулась своему безумию.

И вот, несколько успокоившись, она отдалась более разумным мечтаниям, стараясь проникнуть в будущее, строя планы жизни.

Она заживет с ним здесь, в этом тихом замке, над морем. У нее, конечно, будет двое детей — сын для него, а дочь для нее И она уже видела, как дети бегают по траве между платаном и липой, а отец и мать восхищенно следят за ними, обмениваясь друг с другом над их головами взором, полным страсти

И долго-долго еще грезилось ей, в то время как луна, заканчивая свой путь по небу, собиралась погрузиться в море. Воздух начал свежеть. Горизонт на востоке бледнел. Пропел петух на ферме справа, другие откликнулись с фермы налево Их охрипшие голоса, казалось, доносились откуда-то очень издалека сквозь стенки курятника; на громадном своде небес, незаметно побелевшем, стали исчезать звезды.

Где-то раздался птичий крик В листве послышалось щебетание, сначала робкое, затем оно стало более смелым, переливчатым, радостным и переходило с ветки на ветку, с дерева на дерево

Вдруг Жанна почувствовала себя залитою светом и, подняв лицо, которое она закрывала руками, зажмурилась, ослепленная блеском зари

Гора пурпуровых облаков, частью заслоненных старою аллеей тополей, бросала кровавые отблески на пробужденную землю

И медленно, разрывая сверкающие тучи, обрызгивая огнем деревья, долины, океан, весь горизонт, показался громадный пламенеющий шар.

Жанна почувствовала себя обезумевшей от счастья. Восторженная радость, бесконечное умиление перед величием природы переполнили ее замиравшее сердце. То

было ее солнце! Ее заря! Начало ее жизни! Восход ее надежд! Она протянула руки к лучезарному пространству, как бы желая обнять солнце, ей хотелось громко крикнуть что-то вдохновенно прекрасное, достойное рождения этого дня, но она оставалась недвижимой в бессильном экстазе Затем, положив голову на руки, она почувствовала, что глаза ее полны слез, и сладко заплакала.

Когда она снова подняла голову, величественная панорама рождающегося дня уже исчезла. Она чувствовала себя умиротворенной, немного усталой и словно озябшей Не закрывая окна, она легла в постель, вытянулась, помечтала еще несколько минут и заснула так крепко, что не слыхала, как в восемь часов ее позвал отец, и проснулась только, когда он вошел в комнату.

Он хотел показать ей отделку замка — *ее* замка

Фасад, выходивший внутрь усадьбы, был отделен от дороги широким двором, обсаженным яблонями Эта проселочная дорога, бежавшая вдоль крестьянских изгородей, соединялась в полулье отсюда с большой дорогой, которая вела из Гавра в Фекан

От опушки леса к крыльцу шла прямая аллея Службы, низкие строения из прибрежного камня, крытые соломой, тянулись в ряд по обеим сторонам двора вдоль рвов, отделяющих их от обеих ферм

Кровля дома была обновлена, вся деревянная отделка восстановлена, стены отремонтированы, комнаты обиты обоями, все внутри вновь окрашено. Новые ставни серебристо-белого цвета и свежая штукатурка сероватого фасада выделялись, как пятна на старинном потемневшем здании

Другая сторона дома, куда выходило одно из окон Жанны, была обращена к морю, которое виднелось поверх рощи и стены вязов, изглоданных ветром.

Жанна и барон, взявшись под руку, обошли все, не пропустив ни одного уголка; затем они медленно прогулялись по длинным аллеям тополей, окружавшим так называемый парк. Трава уже появилась под деревьями и расстилалась зеленым ковром Рощица поистине была очаровательна, и ее извилистые дорожки, разделенные изгородями листвы, перекрещивались друг с другом. Внезапно выскочил заяц, испугавший девушку,

прыгнул с откоса и удрал в морские тростники, к скалистому обрыву

После завтрака, ввиду того, что г-жа Аделаида еще чувствовала слабость и объявила, что желает отдохнуть, барон предложил Жанне пройтись до Ипора.

Они пустились в путь и миновали сначала деревушку Этуван, прилегавшую к «Тополям». Трое крестьян поклонились им, словно знали их давным-давно.

Затем они углубились в лес, спускавшийся к морю по склону извилистой долины.

Вскоре показалась деревня Ипор. Женщины, чинившие тряпье, сидя на пороге своих жилищ, смотрели им вслед. Покатая улица, с канавой посредине, с кучами отбросов у дверей домов, издавала сильный запах рассола. Темные сети, в которых там и сям виднелись застрявшие блестящие чешуйки, похожие на серебряные монетки, просушивались у дверей лачуг, откуда несся запах жилья скученной в одной комнате большой семьи.

Несколько голубей прогуливались вдоль канавы, отыскивая себе пропитание

Жанна осматривалась кругом, и все это казалось ей новым и занимательным, как театральная декорация

Но вдруг, обогнув какую-то стену, она увидела море, темно-синее и гладкое, уходившее вдаль, насколько мог видеть глаз.

Они остановились вблизи пляжа и стали смотреть. Паруса, белые, как крылья птиц, плыли по морскому простору. Справа и слева поднимались громадные скалы. С одной стороны нечто вроде мыса преграждало взгляд, а по другую сторону линия берега уходила в бесконечную даль, пока не превращалась в неуловимый штрих

В одном из ближайших разрывов этой линии виднелись гавань и домики; мелкие волны, образуя пенистую бахрому моря, с легким шумом прокатывались по гальке.

Лодки местных жителей, вытащенные на откос, усеянный галькой, отдыхали на боку, подставляя солнцу свои круглые щеки, блестевшие смолой. Несколько рыбаков готовили их к вечернему приливу.

Подошел матрос, предложивший рыбу, и Жанна купила камбалу, которую ей хотелось самой отнести в «Тополя».

Он предложил также свои услуги для прогулок по морю, повторив несколько раз кряду свое имя, чтобы оно лучше осталось в памяти:

— Лястик, Жозефен Лястик.

Барон обещал не забыть его.

Пошли обратно в замок

Огромная рыба утомляла Жанну, она продела ей сквозь жабры отцовскую палку, концы которой оба они взяли в руки; болтая, словно дети, они весело поднимались по берегу, с сияющими глазами, обвеваемые ветром, а камбала, все более и более оттягивавшая им руки, тащилась жирным брюхом по траве.

II

Для Жанны началась очаровательная, свободная жизнь. Она читала, мечтала и бродила в полном одиночестве по окрестностям. Медленно шагая, блуждала она по дорогам, вся погрузившись в мечты, или же вприпрыжку сбегала в извилистые лощинки, оба склона которых были покрыты, словно золотой ризой, руном цветов дикого терновника. Их острый и сладкий запах, особенно сильный в жару, опьянял ее, как ароматное вино, а отдаленный шум волн прибоя, катившихся по пляжу, убаюкивал ее мысли.

Порою, от ощущения какой-то слабости, она ложилась на густую траву, а когда иной раз на повороте лощинки она вдруг замечала в воронке зелени треугольник сверкавшего на солнце голубого моря с парусом на горизонте, ее охватывала необузданная радость, словно от таинственного приближения счастья, реявшего над ней. На лоне этой ласковой и свежей природы, среди спокойных, мягких линий горизонта ее обуяла любовь к одиночеству, и она так подолгу сиживала на вершине холмов, что маленькие дикие кролики принимались прыгать у ее ног.

Подгоняемая легким прибрежным ветром, она часто пускалась карабкаться по скалам и вся трепетала от

того изысканного наслаждения, что могла двигаться без устали, как рыбы в воде или ласточки в воздухе.

И как бросают в землю зерна, так она всюду сеяла воспоминания, те воспоминания, корни которых сохраняются до самой смерти Ей казалось, что в каждый изгиб этих лощинок она бросает частицу своего сердца

Она с увлечением принялась купаться. Сильная и смелая, Жанна не боялась опасности и уплывала так далеко, что скрывалась из виду. Она превосходно чувствовала себя в холодной прозрачной и голубой воде, которая покачивала ее на волнах. Отплыв от берега, она ложилась на спину, скрещивая на груди руки и устремив взор в глубокую лазурь неба, которую прорезывал быстрый полет ласточки или белый силуэт морской птицы Кругом не слышалось никакого шума, кроме отдаленного рокота валов, катившихся по гальке, да смутного гула с земли, еще скользившего над поверхностью воли, но неопределенного и почти неуловимого. Затем Жанна перевертывалась и в безумном порыве радости звонко кричала, хлопая по воде руками.

Несколько раз, когда она отваживалась уплывать слишком уж далеко, за ней посылали лодку.

Она возвращалась в замок, побледнев от голода, легкая, резвая, с улыбкой на устах, а глаза ее были полны счастья.

Барон же задумывал большие земледельческие предприятия: он собирался делать опыты, поднять производительность, испробовать новые орудия, акклиматизировать иноземные породы скота; он проводил часть дня в разговорах с крестьянами, которые покачивали головой, относясь недоверчиво к его замыслам

Часто он отправлялся в море с ипорскими матросами Когда все гроты, водопады и вершины гор в окрестности были осмотрены, он захотел заняться рыбной ловлей, как простой рыбак.

В ветреные дни, когда сильно надувшийся парус мчит по гребню волн пузатый кузов лодки и когда с каждой ее стороны тянется до самого дна длинная убегающая леса, преследуемая стаями макрели, он держал в дрожащих от волнения руках тонкую веревку, которая тотчас же дергалась, когда попавшаяся на крючок рыба начинала биться.

При свете луны он выезжал снимать расставленные накануне сети. Он любил слышать скрип мачты, любил вдыхать свистящие свежие порывы ночного ветра и, после долгих скитаний в поисках бакенов, находя дорогу по гребню скалы, крыше колокольни или маяку Фекана, испытывал наслаждение, неподвижно сидя под первыми лучами восходящего солнца, от которого сверкали на дне лодки клейкая спина широких веерообразных скатов и жирное брюхо палтуса.

Всякий раз за обедом он с восторгом рассказывал о своих прогулках, а мамочка сообщала ему, сколько раз она прошла по широкой аллее тополей, по аллее направо, выходившей к ферме Кульяров, потому что в другой аллее было мало солнца

Так как ей рекомендовали «двигаться», она упорно гуляла. Едва лишь рассеивалась ночная свежесть, она спускалась, опираясь на руку Розали, укутавшись в плащ и две большие шали и надев на голову черный капор, повязанный сверху красным платком.

И вот, волоча левую ногу, которая была тяжелее и оставляла следы по всей дороге — один туда, другой обратно — в виде двух пыльных борозд с вытоптанной травой, она начинала бесконечное странствование по прямой линии от угла замка до первых кустов рощи. На каждом конце этой дорожки она велела поставить по скамье и, останавливаясь через каждые пять минут, говорила бедной терпеливой служанке, поддерживавшей ее:

— Присядем-ка, милая, я немного устала

И при каждой остановке она оставляла на скамье то вязаный платок, который покрывал ей голову, то одну шаль, то другую, то капор, то плащ; из всего этого на обоих концах аллеи образовывались две большие кучи одежды, которые Розали уносила на свободной руке, когда возвращались к завтраку.

После полудня баронесса возобновляла прогулку, но уже более расслабленной походкой, с более длительными передышками, иногда она даже спала часок — другой на шезлонге, который выкатывали для нее из дома.

Она называла это: «мои упражнения», так же, как говорила: «моя гипертрофия»

Один доктор, к которому она десять лет тому назад обратилась за советом, потому что страдала удушьем, сказал, что у нее гипертрофия сердца. С тех пор это слово, смысл которого ей был не совсем понятен, засело в ее голове. Она настойчиво заставляла барона, Жанну и Розали выслушивать свое сердце, услышать которое никто не мог, до того глубоко было оно погребено под толщей ее груди, но она решительно отказывалась подвергнуться осмотру нового врача из боязни, чтобы он не открыл в ней еще других болезней; она говорила о «своей» гипертрофии при каждом случае и так часто, словно этот недуг был свойствен только ей одной, принадлежал ей как единственная в своем роде вещь, на которую никто больше не имел никакого права.

Барон говорил. «гипертрофия моей жены», а Жанна: «мамина гипертрофия», как сказали бы: «платье», «шляпа» или «зонтик».

В молодости она была очень хорошенькая и тонкая, как тростинка. Провальсировав некоторое время в объятиях всех мундиров Империи, она прочла *Коринну*, которая заставила ее плакать, и этот роман оставил на ней своеобразный отпечаток.

По мере того как грузнел ее стан, порывы ее души становились все поэтичнее, а когда непомерная тучность приковала ее к креслу, мысль ее уносилась к нежным приключениям, героиней которых она воображала себя У нее были свои излюбленные истории, к которым она часто возвращалась в мечтах, подобно тому, как заведенная шарманка бесконечно повторяет одну и ту же арию. Все томные романсы, в которых говорится о пленницах и ласточках, неизменно увлажняли ее ресницы, она любила даже некоторые гривуазные песенки Беранже из-за тех сожалений о минувшем, которые в них высказаны.

Часто она оставалась неподвижной по целым часам, уйдя в мечты; пребывание в «Тополях» ей бесконечно нравилось, так как давало декорацию для ее воображаемых романов: леса, пустынная ланда и близость моря напоминали ей романы Вальтера Скотта, которые она читала уже несколько месяцев

В дождливые дни она не выходила из своей комнаты и пересматривала то, что называла своими «реликвия-

ми». Это были старые письма, переписка ее родителей, письма барона, когда она была его невестой, и еще другие.

Она хранила их в секретере красного дерева с медными сфинксами по углам и говорила с особенной интонацией:

— Розали, деточка, принеси мне ящик воспоминаний

Молоденькая служанка отпирала секретер, вынимала ящик и ставила его на стул возле госпожи, которая принималась медленно, одно за другим читать эти письма, время от времени роняя на них слезу.

Иногда Жанна заменяла Розали и гуляла с мамочкой, которая рассказывала ей воспоминания своего детства В этих историях из далекого прошлого девушка узнавала себя, удивляясь сходству их мыслей и родству желаний, ведь каждое сердце воображает, что оно впервые бьется под наплывом тех ощущений, которые заставляли уже биться сердца первых людей и заставят еще трепетать сердца последних мужчин и последних женщин.

Их медленные шаги соответствовали медлительности рассказа, изредка на несколько секунд прерываемого одышкой, тогда мысль Жанны, минуя начатые приключения, уносилась в будущее, населенное радостями, и отдавалась надеждам.

Однажды после полудня, отдыхая на скамье, они заметили вдруг на другом конце аллеи толстого священника, который шел к ним

Он раскланялся издали, улыбаясь, а когда был уже в трех шагах от них, снова поклонился и воскликнул:

— Ну, баронесса, как мы поживаем?

Это был местный кюре.

Мамочка родилась в век философов и была воспитана в дни Революции отцом, равнодушно относившимся к вере, она почти не бывала в церкви, хотя любила священников в силу какого-то религиозного инстинкта, свойственного женщинам.

Баронесса совершенно забыла аббата Пико, своего кюре, и при виде его покраснела Она извинилась, что не возобновила знакомства первая Но старик не ка-

зался обиженным: он взглянул на Жанну, сделал комплимент ее цветущему виду, уселся, положил треуголку на колени и отер лоб. Он был очень толст, очень красен, и пот лил с него ручьями. Ежеминутно вытаскивал он из кармана громадный клетчатый платок, пропитанный потом, и проводил им по лицу и по шее; но не успевал влажный платок скрыться в недрах его черной одежды, как новые капли опять выступали на коже и, падая на сутану, вздувшуюся на животе, отмечали круглыми пятнышками приставшую дорожную пыль.

То был настоящий деревенский священник, веселый, терпимый, болтливый и добродушный. Он рассказал несколько историй, поговорил о местных жителях и сделал вид, будто не заметил, что его две прихожанки еще не удосужились посетить службу; причиною этого была леность, недостаток веры баронессы и слишком большая радость Жанны, избавившейся от монастыря, где ее чересчур пресытили благочестивыми обрядами.

Появился барон. Он придерживался пантеистических воззрений и был совершенно равнодушен к религиозной догме. Он любезно отнесся к аббату, с которым был слегка знаком, и оставил его обедать.

Священник умел нравиться благодаря той бессознательной хитрости, которая развивается от постоянного общения с человеческими душами даже у самых посредственных натур, призванных стечением обстоятельств властвовать над себе подобными.

Баронесса была с ним ласкова, и, быть может, ее влекло к нему родство, сближающее сходные натуры: ей, тучной и прерывисто дышащей, нравилось красное лицо и одышка толстяка.

Во время десерта он одушевился, как и полагалось подвыпившему за пирушкой кюре, и приобрел непринужденность, свойственную концу веселых обедов.

И вдруг он воскликнул, точно осененный счастливой идеей:

— А ведь у меня есть новый прихожанин, которого надо вам представить,— виконт де Лямар!

Баронесса, знавшая как свои пять пальцев весь провинциальный гербовник, спросила:

— Он не из семьи де Лямар де л'Эр!

Священник поклонился:

— Да, сударыня; он сын виконта Жана де Лямара, умершего в прошлом году.

Г-жа Аделаида, любившая дворянство больше всего на свете, засыпала священника вопросами и узнала, что после уплаты отцовских долгов и по продаже фамильного замка молодой человек обосновался в одной из трех ферм, которыми он владел в коммуне Этуван. Эти владения приносили всего-навсего от пяти до шести тысяч ливров дохода, но виконт, человек благоразумный и экономный, рассчитывал скромно прожить два — три года в этом простом убежище и скопить немного денег, чтобы получить возможность бывать в свете и выгодно жениться, не делая долгов и не закладывая своих ферм

Кюре прибавил:

— Это очаровательный молодой человек; такой порядочный, такой тихий Но не слишком-то ему весело в деревне.

— Так приводите его к нам, господин аббат,— сказал барон,— время от времени это сможет его развлечь.

И заговорили о другом.

Когда после кофе все перешли в гостиную, священник попросил позволения пройтись по саду, так как привык совершать легкий моцион после еды. Барон сопровождал его. Они медленно прогуливались взад и вперед вдоль белого фасада замка. Их тени, одна худая, другая шарообразная, с грибом на голове, тянулись то спереди, то сзади них, смотря по тому, шли ли они лицом к луне, или повертывались к ней спиной. Кюре посасывал что-то вроде папироски, которую достал из кармана. Он объяснил ее назначение с откровенностью деревенского жителя·

— Это чтобы вызвать отрыжку, а то у меня довольно скверное пищеварение.

Затем вдруг, взглянув на небо, по которому совершало свой путь ясное светило, он произнес:

— Вот зрелище, на которое никогда не наскучит смотреть.

И вернулся попрощаться с дамами.

III

Из деликатной почтительности к своему кюре баронесса и Жанна отправились на мессу в следующее воскресенье

Они подождали его после службы, чтобы пригласить в четверг к завтраку. Он вышел из ризницы с высоким элегантным молодым человеком, который дружески держал его под руку. Заметив женщин, священник с приятным изумлением воскликнул:

— Как это кстати! Прошу у вас позволения, баронесса и мадмуазель Жанна, представить вам вашего соседа, виконта де Лямара.

Виконт поклонился, сказал, что он уже давно мечтает об этом знакомстве, и завязал разговор с легкостью бывалого и благовоспитанного человека У него была та счастливая внешность, о которой грезят женщины, но которая противна любому мужчине Черные вьющиеся волосы обрамляли гладкий смуглый лоб; большие, правильные, точно искусственно выведенные брови придавали глубину и нежность его темным глазам, белки которых казались слегка голубоватыми.

Благодаря густым и длинным ресницам его взгляд приобретал ту страстную выразительность, которая вызывает волнение в высокомерной салонной красавице и заставляет оборачиваться на улице девушку в чепце, которая несет корзину

Томная прелесть его взгляда заставляла верить в глубину его мысли и придавала значительность самым ничтожным его словам

Густая борода, блестящая и выхоленная, скрывала чересчур развитую нижнюю челюсть

Обменявшись любезностями, они расстались.

Два дня спустя г-н де Лямар сделал первый визит.

Он появился как раз в ту минуту, когда осматривали садовую скамейку, поставленную в это утро под платаном, против окон зала. Барон хотел поставить еще другую напротив, под липой, но мамочка, враг симметрии, не желала этого. Виконт, мнение которого пожелали узнать, согласился с баронессой.

Затем он заговорил об этом крае и находил его

очень «живописным», так как во время своих одиноких прогулок встречал много очаровательных «уголков». Время от времени его глаза, словно нечаянно, встречались с глазами Жанны, и она испытывала странное ощущение от этого внезапного, быстрого взгляда, в котором светились ласковое восхищение и пробуждающаяся симпатия.

Г-н де Лямар — отец, умерший год тому назад, был знаком с близким другом г-на де Кюльто, мамочкиного отца; открытие этого знакомства дало повод для бесконечной беседы о браках, датах и родственных отношениях. Баронесса обнаруживала чудеса памяти, устанавливая восходящие и нисходящие линии других семей и прогуливаясь без малейшего затруднения по сложному лабиринту генеалогии.

— Скажите, виконт, вы не слыхали о семье Сонуа де Варфлер? Их старший сын, Гонтран, женился на мадмуазель де Курсиль, из рода Курсиль-Курвиль, а младший — на одной из моих кузин, мадмуазель де Ля Рош-Обер, доводившейся родственницей Кризанжам. Ну, так вот господин де Кризанж был близким другом моего отца и, следовательно, должен был знать вашего отца.

— Да, сударыня. Ведь это тот самый господин де Кризанж, который эмигрировал и сын которого разорился?

— Он самый. Он сделал предложение моей тетке после смерти ее мужа, графа д'Эретри; но она не согласилась выйти за него, потому что он нюхал табак. Не знаете ли вы, кстати, что сталось с Вилуазами? Около 1813 года, вскоре после своего разорения, они покинули Турень, чтобы обосноваться в Оверни, и с тех пор я о них ничего больше не слыхала.

— Насколько я помню, сударыня, старый маркиз умер от падения с лошади; одна его дочь замужем за каким-то англичанином, а другая за неким Бассолем, коммерсантом,— как говорили, богатым, который ее обольстил.

Всплывали имена, знакомые и сохранившиеся в памяти с детства из разговоров старых родственников. Браки в этих семьях, одинаково родовитых, принимали в умах собеседников значение крупных общественных

событий Они говорили о людях, которых никогда не видали, словно о хороших знакомых, а те люди, жившие в других краях, говорили о них так же; все они издали чувствовали себя близкими, почти друзьями, даже родственниками, благодаря только тому обстоятельству, что принадлежали к одному классу, к одной касте, к одной и той же благородной крови.

Барон, порядочный дикарь от природы и вдобавок получивший воспитание, не имевшее ничего общего с верованиями и предрассудками людей его круга, почти не знал окрестных дворянских семей и спросил о них виконта

— О, в наших местах живет мало знати,— отвечал г-н де Лямар таким тоном, словно заявлял, что на склонах холмов водится мало кроликов И он сообщил подробности Всего три семьи жили в более или менее близком соседстве. маркиз де Кутелье, нечто вроде главы нормандской аристократии, виконт де Бризвиль с супругой, люди безупречного рода, но державшиеся особняком, наконец граф де Фурвиль, какое-то пугало· по слухам, он доводил свою жену до отчаяния, слыл завзятым охотником, они жили в своем замке де ла Врильет, выстроенном на берегу пруда.

Несколько выскочек, пролезших в их общество, купили себе кое-где по соседству поместья Но виконт не водил с ними знакомства

Наконец он простился, и его последний взгляд был обращен к Жанне, словно он посылал ей особое, более сердечное и нежное *прости.*

Баронесса нашла его очаровательным, а главное — вполне светским человеком Папочка отвечал.

— Да, конечно, молодой человек прекрасно воспитан

Его пригласили на следующей неделе к обеду С тех пор он стал бывать постоянно

Всего чаще он приезжал к четырем часам дня, присоединялся к мамочке в «ее аллее» и предлагал ей руку, чтобы помочь ей «совершать моцион». Когда Жанна бывала дома, она поддерживала баронессу с другой стороны, и все трое медленно и непрестанно прохаживались взад и вперед по прямой аллее из конца в конец Он совсем не разговаривал с Жанной. Но его

глаза, казавшиеся бархатно-черными, часто встречались с ее глазами, похожими на голубой агат

Несколько раз молодые люди отправлялись в Ипор с бароном.

Однажды вечером, когда они были на пляже, к ним подошел дядя Лястик; не выпуская изо рта трубки, отсутствие которой изумило бы всех, может быть, даже больше, чем исчезновение его носа, он промолвил:

— По такому ветру, господин барон, одно удовольствие было бы завтра утром проехаться в Этрета и обратно.

Жанна сложила руки·

— О папа, согласись!

Барон обернулся к г-ну де Лямар:

— Что вы думаете об этом, виконт? Мы могли бы поехать туда завтракать.

И прогулка была тотчас же решена.

С зарей Жанна была на ногах. Ей пришлось подождать отца, который одевался не так проворно; они отправились по росе и пересекли сначала поле, а потом лес, весь звеневший птичьими голосами. Виконт и дядя Лястик сидели на кабестане

Два других моряка помогали им при отъезде Мужчины, упираясь плечами в борта лодки, толкали ее изо всех сил. Она с трудом подвигалась по гладкой поверхности, усеянной галькой Лястик подкладывал под киль деревянные катки, смазанные салом, потом, становясь на свое место, протяжно выводил бесконечное: «Огегоп!» — для согласования общих усилий.

Но когда добрались до склона, лодка двинулась сразу и скользнула по круглым камням с треском разрываемого холста. Она остановилась вблизи пены, образуемой мелкими волнами; все заняли места на скамьях; затем два матроса, оставшиеся на берегу, спустили лодку на воду.

Легкий и непрестанный ветер с открытого моря касался поверхности воды и рябил ее. Парус был поднят, слегка надулся, и лодка спокойно поплыла, чуть покачиваясь на волнах.

Сначала удалились от берега. Небо, нисходя на горизонте, сливалось с океаном. Со стороны земли высокая отвесная скала отбрасывала длинную тень у

своего подножия, а ее склоны, поросшие травой, местами были ярко освещены солнцем. Там, позади, из-за белого мола Фекана виднелись темные паруса, а впереди поднималась скала необыкновенного вида, круглая и со сквозным отверстием; она напоминала собою фигуру громадного слона, погрузившего хобот в волны. То были малые ворота Этрета.

Жанна, у которой от качки слегка кружилась голова, глядела вдаль, держась руками за борт лодки, и ей казалось, что во всем мире существует только три истинно прекрасных вещи: свет, простор и вода

Никто не говорил. Дядя Лястик, управляя рулем и шкотом, время от времени потягивал из бутылки, спрятанной под его скамьей, и без устали курил огрызок трубки, казавшейся неугасимой Из нее постоянно выходила тонкая струйка синего дыма, между тем как другая такая же струя сочилась из угла его рта. Никто и никогда не видел, чтобы матрос набивал табаком или разжигал эту свою глиняную печурку, которая была чернее черного дерева. Иногда он вынимал ее изо рта, сплевывая в море тем самым углом губ, из которого выходил дым, длинную струю темной слюны

Барон сидел впереди и следил за парусами, заменяя матроса. Жанна и виконт помещались рядом, оба немного смущенные. Неведомая сила заставляла встречаться их глаза, поднимавшиеся одновременно, словно по приказу какой-то родственной воли, между ними уже возникала та тонкая и неопределенная нежность, которая быстро образуется между молодыми людьми, когда юноша не безобразен, а девушка красива. Они чувствовали себя счастливыми друг возле друга, потому, быть может, что думали один о другом.

Солнце поднималось словно для того, чтобы полюбоваться с высоты огромным морем, которое раскинулось внизу и, как бы кокетничая, подернулось легкой дымкой и закрылось от его лучей. Это был прозрачный, низко нависший золотистый туман, который не скрывал ничего, но смягчал даль. Солнце метало свои лучи, растопляя ими это блестящее облако, и когда оно поднялось во всей силе, мгла рассеялась, исчезла, а море, гладкое, как зеркало, заблистало в сиянии дня

Взволнованная Жанна прошептала:

— Как красиво!

Виконт ответил:

— О да, очень красиво!

Ясная прозрачность этого утра словно пробуждала эхо в их сердцах.

Вдруг показалась большая аркада Этрета, похожая на две ноги громадной скалы, шагающие по морю и настолько высокие, чтобы служить аркой для кораблей; верх белой остроконечной скалы возвышался перед ней.

Причалили; пока барон, сошедши первым, удерживал лодку у берега, притягивая ее к себе за веревку, виконт взял на руки Жанну, чтобы перенести ее на землю, не дав ей замочить ног; затем они стали рядом на твердую, покрытую галькой отмель, еще взволнованные минутным объятием, и вдруг услыхали, как дядя Лястик говорил барону:

— Вот была бы хорошая парочка.

Завтрак в маленькой гостинице, вблизи пляжа, был восхитителен. Океан, заглушая голоса и мысли, делал всех молчаливыми; но после завтрака они стали болтать, словно школьники на каникулах.

Самые простые вещи бесконечно веселили их.

Дядюшка Лястик, садясь за стол, бережно спрятал в свой берет еще дымившуюся трубку; все засмеялись. Муха, привлеченная, без сомнения, его красным носом, несколько раз усаживалась на него; когда он сгонял ее взмахом руки, слишком неповоротливой, чтобы поймать насекомое, муха перелетала на кисейную занавеску, уже засиженную множеством ее сородичей, и, по-видимому, жадно сторожила румяный нос матроса, потому что немного погодя садилась на него снова.

При каждом полете насекомого раздавался неистовый хохот, а когда старик, которому надоело это щекотание, проворчал: «Она-таки чертовски упряма»,— Жанна и виконт уже чуть не плакали от смеха, извиваясь, задыхаясь, зажимая салфетками рот, чтобы не кричать.

Когда кончили кофе, Жанна сказала:

— Хорошо бы пройтись.

Виконт встал, но барон предпочел понежиться под солнцем на камушках.

Худ. К. Рудаков. 1936 «ЖИЗНЬ».

Худ. А. Л е р у. 1903. «ЖИЗНЬ».

— Ступайте, дети; через час я буду здесь.

Они миновали по прямой линии ряд домиков и, пройдя мимо маленького замка, походившего скорее на большую ферму, вышли в открытое поле, расстилавшееся перед ними.

Морская качка обессилила их, нарушив привычное равновесие; резкий соленый воздух возбудил аппетит, завтрак опьянил, а веселье разволновало. Они были теперь в несколько взбалмошном настроении, и им хотелось, ни о чем не думая, бегать по полям. У Жанны шумело в ушах: она была возбуждена новыми нахлынувшими на нее ощущениями.

Палящее солнце изливало на них свои лучи. По обе стороны дороги клонились к земле спелые хлеба, поникшие от жары. Бесчисленные, как стебли трав, неумолчно заливались кузнечики, и повсюду — в хлебах, в овсе, в морских тростниках раздавался их сухой и оглушительный треск.

Никаких других звуков не было слышно под раскаленным небом, сверкающая лазурь которого отсвечивала желтизной, точно собираясь внезапно покраснеть, подобно металлу, брошенному в огонь.

Заметив вдали, направо, лесок, они пошли к нему.

Под высокими, непроницаемыми для солнца деревьями вилась узкая аллея, стиснутая двумя откосами. При входе в нее на них пахнуло свежестью плесени, той сыростью, которая вызывает ощущение озноба и проникает в легкие. Трава здесь давно исчезла, так как ей не хватало света и воздуха; почву прикрывал только мох.

Они пошли вперед.

— Здесь мы можем немного посидеть, — сказала она.

В этом месте стояли два старых сухих дерева, и, пользуясь просветом в листве, сюда падал поток света, согревая землю, пробуждая к жизни семена травы, одуванчиков и павилики, помогая распуститься маленьким белым цветочкам, нежным, как пыльца, и наперстянке, похожей на пряжу. Бабочки, пчелы, приземистые шершни, огромные комары, походившие на скелеты мух, тысячи летающих насекомых, розоватые с пятнышками божьи коровки, бронзовые жучки с зеле-

ными отливами или черные рогачи населяли этот светлый и жаркий колодец, вырытый в холодном сумраке густой листвы.

Они уселись; их головы были в тени, а ноги на солнце. Они смотрели на всю эту кишащую ничтожно-мелкую жизнь, вызванную на свет всего одним солнечным лучом; растроганная Жанна повторяла:

— Как чудесно! Как хорошо в деревне! Бывают минуты, когда я хотела бы быть мухой или бабочкой, чтобы спрятаться в цветах.

Они рассказывали друг другу о себе, о своих привычках, вкусах тем пониженным, задушевным тоном, каким делаются признания. Он говорил, что чувствует отвращение к свету и устал от его пустой жизни; там всегда одно и то же; никогда не встретишь ничего правдивого, ничего искреннего.

Свет! Ей очень хотелось бы узнать, что это такое; но она была убеждена заранее, что он не стоит деревни.

Чем больше сближались их сердца, чем чаще они церемонно называли друг друга «мосье» и «мадмуазель», тем больше улыбались друг другу, сливались их взгляды; им казалось, что в них проникает какое-то новое чувство доброты, какая-то бьющая через край симпатия и интерес к тысяче мелочей, о которых они никогда не заботились.

Они вернулись; но барон отправился пешком до «Девичьей комнаты» — грота, находящегося на гребне скалы, и они стали поджидать его в гостинице.

Он явился только к пяти часам вечера, после долгой прогулки по берегу моря.

Снова сели в лодку. Она неслышно отплывала по ветру, без малейшей качки, как будто вовсе не двигаясь. Ветер набегал тихими и теплыми дуновениями, которые на секунду надували парус, бессильно падавший затем вдоль мачты. Непроницаемая водная гладь казалась мертвой; солнце, истощив весь свой жар и завершая круг, тихо приближалось к морю.

Дремота моря снова заставила всех притихнуть.

Наконец Жанна сказала:

— Как бы хотелось мне путешествовать!

Виконт возразил:

— Да, но путешествовать одной грустно, надо быть

по меньшей мере вдвоем, чтобы было с кем делиться впечатлениями.

Она задумалась:

— Это правда . однако я люблю гулять в одиночестве... так хорошо мечтать одной. .

Он поглядел на нее долгим взглядом·

— Можно мечтать и вдвоем.

Она опустила глаза. Был ли это намек? Может быть. Она внимательно рассматривала горизонт, словно желая заглянуть еще дальше, а затем медленно произнесла:

— Я бы хотела поехать в Италию.... и в Грецию. . о да, в Грецию . и на Корсику! . Это, должно быть, так дико и так прекрасно!

Он предпочитал Швейцарию — за ее горные хижины и озера.

Она говорила:

— Нет, я люблю совсем новые страны, как Корсика, или уж очень старые, полные воспоминаний о прошлом, как Греция Так приятно отыскивать следы народов, историю которых мы знаем с детства, и видеть места, где происходили великие события.

Виконт, менее восторженный, объявил:

— А меня сильно привлекает Англия: это чрезвычайно поучительная страна.

И тут они перебрали всю вселенную, обсуждая прелести каждой страны, от полюса до экватора, восхищаясь воображаемыми пейзажами и необычными нравами некоторых народов, вроде китайцев или лапландцев, но в конце концов все же пришли к заключению, что лучшей страной в мире является Франция, благодаря ее умеренному климату, прохладному лету и мягкой зиме, ее роскошным полям, зеленым лесам, большим спокойным рекам и благодаря тому культу искусства, которого больше не существовало нигде со времен великого века Афин.

Затем они смолкли.

Солнце, спустившись ниже, казалось кровавым; широкий светлый след, ослепительная дорога бежала по воде от края океана до струи за кормой лодки.

Последние дуновения ветра замерли, рябь исчезла, и неподвижный парус стал багровым. Пространство,

казалось, оцепенело в беспредельном покое, словно стихнув при виде этой встречи двух стихий, выгибая под небом свое сверкавшее текучее лоно, море, как гигантская возлюбленная, ожидало огненного любовника, опускавшегося к ней. Он ускорял свое падение, рдея пурпуром, как бы в жажде объятий. Наконец он соединился с ней, и мало-помалу она его поглотила.

Тогда с горизонта повеяло свежестью; легкий трепет тронул подвижное водное лоно, точно поглощенное светило посылало миру вздох успокоения

Сумерки были коротки, быстро распростерлась ночь, усеянная звездами. Дядя Лястик взялся за весла, и тут заметили, что море засветилось фосфорическим светом. Жанна и виконт, сидя рядом, смотрели на этот мерцающий свет, который лодка оставляла позади себя. Они почти ни о чем больше не думали, отдавшись рассеянному созерцанию, вдыхая тишину вечера в блаженном удовлетворении. Рука Жанны опиралась о скамейку, и палец соседа как бы случайно коснулся ее пальцев; она не смела двинуться, изумленная, счастливая и смущенная этим легким прикосновением

Войдя вечером в свою комнату, она почувствовала себя странно взволнованной и настолько растроганной, что все вызывало в ней желание плакать Взглянув на часы, она подумала, что пчелка бьется, как сердце, как сердце друга, что она будет свидетелем всей ее жизни, что все радости и горести ее будут сопровождаться этим проворным и размеренным тиканьем; и она остановила золотую пчелку, чтобы поцеловать ее крылышки. Она готова была расцеловать весь мир. Ей вспомнилось, что в глубине одного из ящиков комода спрятана ее старая кукла; она отыскала ее, обрадовалась, словно вновь обрела обожаемого друга, и, прижимая игрушку к груди, осыпала жаркими поцелуями ее крашеные щечки и взбитые кудри.

И, не выпуская ее из рук, задумалась.

Неужели это *он,* супруг, обещанный ей тысячью тайных голосов, ниспосланный на ее пути всеблагим провидением? Не то ли он существо, созданное для нее, которому она посвятит всю свою жизнь? Не те ли они избранники, нежность которых должна соединить их друг с другом, слить неразрывно и породить *любовь*?

Она вовсе еще не ощущала тех бурных порывов всего существа, тех безумных восторгов, тех величайших подъемов, которые считала присущими страсти, но ей казалось все-таки, что она начинает любить его, потому что порою она вся замирала, думая о нем,— а думала она о нем постоянно Его присутствие волновало ей сердце: она то краснела, то бледнела, встречая его взгляд, замирала в трепете, услышав его голос.

Она очень мало спала в эту ночь.

С этих пор волнующее желание любви захватывало ее изо дня в день все более и более. Она постоянно спрашивала себя об этом, гадала по полевым маргариткам, облакам, монеткам, подброшенным кверху.

Однажды вечером отец сказал ей:

— Принарядись завтра получше.

Она спросила:

— Зачем, папа?

Он ответил:

— Секрет.

На следующее утро, когда она сошла вниз, сияя свежестью, в светлом платье, то увидела на столе в гостиной коробки с конфетами, на стуле громадный букет

Во двор въехала повозка. На ней была надпись «Лера, кондитер в Фекане. Свадебные обеды». Людивина с помощью поваренка вытаскивала сквозь открытые задние дверцы тележки большие плоские корзины, от которых шел приятный запах.

Явился виконт де Лямар. На нем были брюки в обтяжку и изящные лакированные сапоги, облегавшие его маленькую ногу. Вырез на груди длинного сюртука, стянутого в талии, открывал кружево жабо. Изящный галстук, несколько раз обернутый вокруг шеи, заставлял его высоко и с оттенком благовоспитанной серьезности держать свою прекрасную темноволосую голову. У него был другой вид, чем обычно, тот особый вид, который парадная одежда неожиданно придает даже хорошо знакомым лицам. Жанна смотрела на него в изумлении, точно никогда его не видала; она находила его совершенным джентльменом, вельможей с головы до ног.

Он с улыбкой поклонился:

— Итак, кума, вы готовы?

Она пролепетала:

— В чем дело? Что случилось?

— Сейчас узнаешь,— сказал барон.

Подъехала запряженная коляска; г-жа Аделаида спустилась из своей комнаты в парадном платье, поддерживаемая Розали, которая, казалось, была так поражена изяществом г-на де Лямара, что папочка сказал вполголоса·

— Знаете, виконт, вы, кажется, пришлись по вкусу нашей служанке.

Он покраснел до ушей, сделал вид, что не слышит, и, схватив большой букет, поднес его Жанне. Она взяла его, недоумевая все больше и больше. Они уселись вчетвером в коляску, и кухарка Людивина, принесшая баронессе для подкрепления холодный бульон, сказала:

— Право, сударыня, подумаешь, что свадьба.

Доехав до Ипора, они пошли пешком, и, пока проходили по деревне, матросы в новых куртках, на которых еще были видны складки, появлялись из своих домиков, клацялись, жали барону руку и присоединялись к ним, словно следуя за процессией

Виконт предложил руку Жанне и шел с нею впереди.

Подойдя к церкви, все остановились; появился большой серебряный крест, который нес мальчик из хора, стараясь держать его прямо; за ним шел другой мальчик, в красной с белым одежде, держа в руках сосуд со святой водой и кропилом.

Затем вышли трое старых певчих, один из которых хромал, за ним музыкант с серпентом и, наконец, кюре в золотой, скрещивающейся вверху епитрахили, вздувавшейся над его огромным животом. Он поздоровался улыбкой и кивком головы; затем, полузакрыв глаза, молитвенно зашевелил губами и, надвинув свою шапочку на самый нос, проследовал к морю со своим штабом, облаченным в стихари.

На пляже ожидала толпа, собравшаяся вокруг новой лодки, увитой гирляндами цветов. Ее мачта, парус и снасти были убраны длинными лентами, развеваю-

щимися по ветру, а на корме золотыми буквами было выведено название *Жанна.*

Дядя Лястик, хозяин лодки, построенной на средства барона, двинулся навстречу шествию. Все мужчины одновременно обнажили головы, а ряд богомолок в широких черных платках, ниспадавших на плечи крупными складками, опустился полукругом на колени при виде креста.

Кюре с двумя мальчиками по бокам прошел к одному концу лодки, а у другого конца трое старых певчих в белой одежде, но неопрятных и небритых, устремив глаза в сборник церковных песен, торжественно зафальшивили во всю глотку в ясном утреннем воздухе.

Каждый раз, когда они переводили дыхание, только тот, что играл на серпенте, продолжал свой рев, причем его серые глазки совсем исчезали между раздувавшихся щек. Он так надсаживался, что, казалось, кожа у него на шее и даже на лбу отставала от мяса.

Неподвижное, прозрачное море как будто тоже сосредоточенно участвовало в крещении лодки и лишь медленно катило мелкие волны с легким шумом грабель, скребущих по камням. Большие белые чайки, расправив крылья, пролетали, описывали кривую линию в голубом небе, удалялись и снова возвращались плавным полетом над коленопреклоненной толпой, словно желая посмотреть, что такое здесь происходит.

Но вот после «аминь», которое завывали в течение пяти минут, пение закончилось и священник глухим голосом прокудахтал несколько латинских слов, где можно было различить лишь звучные окончания

Затем он медленно обошел вокруг лодки, кропя ее святой водой, потом снова забормотал молитвы, остановившись у борта лодки напротив крестного отца и крестной матери, которые стояли неподвижно, держась за руки.

Красивое лицо молодого человека было по-прежнему торжественно, но девушка, задыхаясь от внезапного волнения, почти теряя сознание, стала так дрожать, что зубы ее стучали. Мечта, которая преследовала ее неотвязно с некоторого времени, вдруг, точно в какой-то галлюцинации, начинала приобретать видимость ре-

ального Говорили о свадьбе, присутствовал дававший благословение священник, люди в стихарях гнусавили молитвы; уж не ее ли это венчают?

Трепетали ли в нервной дрожи ее пальцы? Передалось ли по ее жилам сердцу соседа то наваждение, под властью которого находилось ее сердце? Понял ли он, угадал ли, был ли так же, как она, охвачен опьянением любви? Или же он уже по опыту знал, что ни одна женщина не устоит перед ним? Она заметила вдруг, что он сжимает ее руку, сначала легко, потом все сильнее, сильнее, чуть не ломая ее. И, не меняясь в лице, так что никто ничего не заметил, он сказал, да, конечно, он сказал ей очень отчетливо:

— О, Жанна, если бы вы захотели, это было бы нашим обручением!

Она опустила голову замедленным движением, которое могло означать «да» Священник, все еще кропивший святой водой, брызнул им на пальцы несколько капель.

Церемония окончилась. Женщины поднялись. Возвращались в беспорядке. Крест, который нес мальчик из хора, утратил величавость; он двигался быстро, качаясь вправо и влево, то наклоняясь вперед, то едва не падая на несущего. Кюре, больше уже не молившийся, торопливо бежал сзади; певчие и музыкант с серпентом исчезли в каком-то переулке, чтобы поскорее переодеться, а матросы спешили, разбившись на группы. Одна и та же мысль, наполнявшая их головы как бы ароматом кухни, удлиняла их шаг, возбуждала аппетит и проникала до самого живота, вызывая в кишках целые рулады.

В «Тополях» их ожидал хороший завтрак

На дворе, под яблонями, был накрыт большой стол Шестьдесят человек уселись за ним: моряки и крестьяне. В центре сидела баронесса с двумя кюре по сторонам — из Ипора и из «Тополей». Барон, напротив нее, был зажат между мэром и его женой, сухопарой, уже пожилой деревенской жительницей, рассылавшей во все стороны множество поклонов. У нее было узкое лицо, стиснутое громадным нормандским чепцом,— настоящая голова курицы с белым хохлом и совершенно круглыми, вечно изумленными глазами; она глотала ма-

ленькими быстрыми глотками, словно клевала носом тарелку.

Жанна, рядом с крестным отцом, утопала в блаженстве. Она ничего больше не видела, ничего не понимала и сидела молча; ее голова была отуманена радостью.

Она спросила у него:

— Как ваше имя?

Он сказал:

— Жюльен. Разве вы не знали?

Она ничего не ответила, подумав: «Как часто буду я повторять это имя!»

Когда завтрак был окончен, двор предоставили матросам и перешли на другую сторону замка. Баронесса начала свой «моцион», опираясь на руку барона и в сопровождении обоих священников. Жанна и Жюльен пошли в рощу по узким, заросшим тропинкам. Вдруг он схватил ее руки.

— Скажите, хотите быть моей женой?

Она снова опустила голову; и так как он продолжал лепетать: «Отвечайте, умоляю вас!»,— она медленно подняла на него глаза, и он прочел ответ в ее взгляде.

IV

Однажды утром барон вошел в комнату Жанны, когда она еще не вставала, и сказал, садясь в ногах ее кровати:

— Виконт де Лямар просит твоей руки.

Ей захотелось спрятать лицо в простыни.

Отец продолжал:

— Мы пока отложили ответ.

Она задыхалась, волнение душило ее. Минуту спустя барон добавил, улыбаясь:

— Мы не хотели ничего предпринимать, не поговорив с тобой. Мы с мамой не против этого брака, но и не хотим принуждать тебя. Ты гораздо богаче его, но, когда дело идет о счастье жизни, не следует думать о деньгах. У него нет родных, если ты выйдешь за него, он войдет в нашу семью как сын, тогда как с другим тебе самой, нашей дочери, придется войти

в чужую семью. Он нравится нам. Нравится ли он.. тебе?

Она прошептала, покраснев до корней волос

— Я согласна, папа.

Папочка, внимательно заглянув ей в глаза и все еще смеясь, пробурчал:

— Я в этом почти не сомневался, мадмуазель

Она жила до вечера, словно в каком-то опьянении, не сознавая, что делает, машинально брала одни предметы вместо других, и ноги ее совсем ослабели от усталости, хотя она никуда не ходила.

Около шести часов, когда она сидела с мамочкой под платаном, явился виконт.

Сердце Жанны бешено забилось. Молодой человек подходил к ним, не обнаруживая никакого волнения. Приблизившись, он взял пальцы баронессы и поцеловал их, затем приподнял дрожащую руку девушки и прильнул к ней долгим, нежным и признательным поцелуем.

Наступило радостное время помолвки. Они беседовали одни в уголках гостиной или сидя в глубине рощи, на пригорке, перед пустынной ландой. Иногда они прогуливались по мамочкиной аллее, причем он говорил о будущем, а она шла, рассматривая пыльный след от ноги баронессы.

Раз дело было решено, закончить его желали поскорее; условились, что венчание состоится через полтора месяца, 15 августа, и что молодые немедленно отправятся в свадебное путешествие. Когда Жанну спросили, куда она хочет поехать, она избрала Корсику, где можно быть в большем уединении, нежели в городах Италии.

Они ожидали дня, назначенного для свадьбы, не испытывая особого нетерпения, и чувствовали себя овеянными, убаюканными восхитительной нежностью, наслаждаясь тонким очарованием невинных ласк, рукопожатий и страстных взглядов, столь долгих, что их души, казалось, сливались в одну; неясное вожделение томило их еще смутно.

Было решено никого не приглашать на свадьбу, за исключением сестры баронессы, тети Лизон, жившей пенсионеркой в версальском монастыре.

После смерти отца баронесса хотела оставить сестру у себя, но старая дева, преследуемая мыслью, что она всех стесняет, что она никому не нужна и может только надоедать, удалилась в один из монастырских приютов, сдающих помещения людям, жизнь которых печальна и одинока.

Время от времени она проводила месяц или два в семье

То была маленькая женщина, которая почти не разговаривала, всегда стушевывалась, появлялась, только когда садились за стол, а затем тотчас же уходила в свою комнату, где и оставалась все время взаперти.

Она казалась добродушной старушкой, хотя ей было всего только сорок два года; глаза у нее были добрые и печальные; в семье с ней совершенно не считались. Ребенком ее почти не ласкали, так как она не отличалась ни резвостью, ни хорошеньким личиком и смиренно, кротко сидела в углу. С тех пор она была навсегда обречена. Никто не заинтересовался ею, когда она стала девушкой.

Она была чем-то вроде тени или хорошо знакомого предмета, живой мебелью, которую привыкли видеть ежедневно, но о которой никто никогда не беспокоился

Сестра, по привычке, усвоенной еще в родительском доме, смотрела на нее как на неудачное и совершенно незначительное существо. С ней обращались фамильярно и бесцеремонно, скрывая под этим презрительное добродушие. Ее звали Лизой, но это молодое и кокетливое имя, казалось, стесняло ее. Когда увидели, что она не выходит замуж и, без сомнения, не выйдет, Лизу превратили в Лизон. Со времени рождения Жанны она стала «тетей Лизон», скромной родственницей, чистенькой, страшно застенчивой даже в обращении с сестрой и зятем, которые, однако, ее любили, но какою-то неопределенной любовью, включавшей в себя безразличную нежность, бессознательное сострадание и инстинктивное расположение.

Иной раз, когда баронесса рассказывала об отдаленных событиях своей молодости, она говорила, чтобы отметить дату:

— Это было в год безрассудного поступка Лизон.

Больше об этом ничего не говорилось, и этот «без-

рассудный поступок» так и оставался в каком-то тумане.

Однажды вечером Лиза, которой было тогда двадцать лет, неизвестно почему бросилась в воду. Ничто в ее жизни и в поведении не давало повода предвидеть эту безумную выходку. Ее вытащили в полумертвом состоянии, а родные, негодующе воздымавшие руки, вместо того, чтобы доискаться таинственной причины этого обстоятельства, удовольствовались разговорами о «безрассудном поступке» так же точно, как говорили о несчастном случае с лошадью Коко, незадолго перед тем сломавшей себе ногу в колее, вследствие чего пришлось ее прикончить.

С тех пор Лизу, а потом Лизон, стали считать как бы слабоумной Добродушное пренебрежение, которое она внушала к себе близким, постепенно просачивалось в сердца всех ее окружавших. Даже маленькая Жанна, с присущей детям догадливостью, совсем не интересовалась ею, никогда не забиралась к ней на кровать приласкаться, никогда не прокрадывалась в ее комнату. Горничная Розали, убиравшая ее комнату, казалось, одна только и знала, где эта комната находится.

Когда тетя Лизон входила в столовую к завтраку, «малютка» по привычке подставляла ей лоб, и этим все ограничивалось.

Если кто-нибудь желал поговорить с нею, то за ней посылали лакея; когда же ее не было, ею совсем не занимались, о ней вовсе не думали, и никогда никому не пришло бы в голову побеспокоиться, задать вопрос:

— Как же это я сегодня с самого утра не видел Лизон?

Она как бы совсем не занимала места: то было одно из тех существ, которые остаются чужими даже для своих близких, как бы неведомыми им и чья смерть не оставляет в доме ни трещин, ни пустоты, одно из существ, которые не умеют занять места ни в жизни, ни в привычках, ни в любви людей, живущих рядом с ними.

Когда говорили «тетя Лизон», эти два слова не пробуждали никакой привязанности ни в чьей душе. Это было все равно, что упомянуть о кофейнике или сахарнице.

Она постоянно ходила торопливыми и неслышными шажками, никогда не шумела, никогда ни за что не задевала, и казалось, благодаря ее влиянию предметы приобретали свойство быть беззвучными. Ее руки были словно из ваты, так легко и осторожно она обращалась со всем, к чему притрагивалась

Она приехала в половине июля, страшно взбудораженная мыслью об этой свадьбе Она привезла кучу подарков, которые почти не обратили на себя внимания, потому что были получены от нее.

На следующий день по ее приезде никто уже не замечал, что она тут.

Она же была охвачена необычайным душевным волнением, и глаза ее не отрывались от жениха и невесты Она с особой энергией и лихорадочной деловитостью занялась приданым, работая, как простая швея, в комнате, куда никто к ней не заглядывал.

Она ежеминутно подносила баронессе платки, самолично подрубленные ею, или салфетки, на которых она вышивала вензеля, и спрашивала:

— Хорошо ли так, Аделаида?

И мамочка, небрежно взглянув, отвечала

— Только не надрывайся слишком, бедняжка Лизон.

Как-то вечером, в конце месяца, после тягостного знойного дня взошла луна; была одна из тех светлых и теплых ночей, которые волнуют, умиляют, заставляют восторгаться и словно будят всю затаенную поэзию души. Легкое дыхание полей проникало в тихую гостиную.

Баронесса и ее муж вяло играли партию в карты в освещенном кругу, который отбрасывал на стол абажур лампы, тетя Лизон вязала, сидя возле них, а молодые люди, опершись о раму раскрытого окна, смотрели в сад, залитый лунным светом.

От липы и платана ложились тени на широкий луг, белесый и блестящий, который тянулся до самой рощи, казавшейся совсем черной.

Неотразимо завороженная нежной прелестью этой ночи, туманного освещения деревьев и зелени, Жанна обернулась к родителям:

— Папочка, мы пойдем погуляем по траве перед замком.

Барон ответил, не отрывая взгляда от карт:

— Ступайте, дети!

И продолжал игру.

Они вышли и стали медленно ходить по большой белой лужайке до леска в глубине.

Время шло, а они не думали возвращаться. Утомленная баронесса собралась идти к себе.

— Надо позвать влюбленных,— сказала она.

Барон окинул взглядом огромный освещенный сад, где тихонько бродили две тени.

— Оставь их,— ответил он,— там так хорошо! Лизон подождет их; не правда ли, Лизон?

Старая дева подняла испуганные глаза и робко сказала.

— Конечно, подожду.

Папочка помог баронессе подняться и, чувствуя утомление от дневной жары, сказал:

— Я тоже лягу.

И ушел вместе с женой.

Тогда тетя Лизон встала и, оставив на ручке кресла начатую работу, шерсть и большую спицу, облокотилась на подоконник, любуясь чарующей ночью.

Жених и невеста без конца прохаживались по лужайке от рощи к крыльцу и обратно. Они сжимали друг другу руки и молчали, словно отрешившись от самих себя и целиком сливаясь со всею той поэзией, которой дышала земля.

Вдруг Жанна заметила в четырехугольнике окна силуэт старой девы, обрисованный светом лампы.

— Взгляните,— сказала она,— тетя Лизон смотрит на нас.

Виконт поднял голову и повторил безразличным тоном, каким говорят не думая:

— Да, тетя Лизон смотрит на нас.

И они продолжали мечтать, медленно прогуливаясь, отдавшись своей любви.

Но траву покрывала роса, и от ее свежести они почувствовали легкую дрожь.

— Теперь вернемся,— сказала Жанна.

И они возвратились в дом.

Когда они вошли в гостиную, тетя Лизон уже снова вязала; ее голова низко склонилась над работой, а худые пальцы немного дрожали, словно от сильной усталости.

Жанна подошла к ней.

— Уже пора спать, тетя,— сказала она.

Старая дева подняла глаза; они были красны, будто от слез. Влюбленные не обратили на это внимания, но молодой человек заметил вдруг, что тонкие ботинки Жанны совсем мокры. Охваченный беспокойством, он спросил с нежностью:

— Не озябли ли ваши милые ножки?

И вдруг тетины пальцы задрожали так сильно, что работа выпала из ее рук, а клубок шерсти далеко покатился по паркету; стремительно прикрыв лицо руками, она разразилась судорожными рыданиями.

Жених и невеста смотрели на нее в изумлении, не двигаясь с места. Жанна, страшно взволнованная, бросилась на колени и, отводя ее руки от лица, твердила:

— Что с тобой, что с тобой, тетя Лизон?

Тогда бедная женщина, согнувшись от страдания, пролепетала едва слышным от слез голосом:

— Да вот он спросил тебя... не озябли ли ва... а... а... ши милые ножки... Мне... никогда не говорили так... никогда... никогда...

Жанна, изумленная и исполненная жалости, все же почувствовала желание рассмеяться при мысли о влюбленном, расточающем нежности тете Лизон, а виконт отвернулся, чтобы скрыть улыбку.

Но тетя порывисто вскочила, оставив клубок на полу, а вязанье на кресле, и взбежала без свечи, ощупью, по темной лестнице в свою комнату.

Оставшись одни, молодые люди переглянулись: это позабавило их и умилило. Жанна прошептала:

— Бедная тетя!..

Жюльен ответил:

— Она сегодня вечером, должно быть, немного помешалась.

Они держали друг друга за руки, не решаясь расстаться, и тихо, совсем тихо, обменялись первым поцелуем у пустого кресла, только что покинутого тетей Лизон.

На другой день они уже и не помнили о слезах старой девы.

Последние две недели перед свадьбой Жанна была тиха и спокойна, словно утомившись от пережитых сладостных волнений.

У нее не было времени для раздумья и в самое утро решающего дня. Она испытывала лишь сильное чувство пустоты во всем теле, словно вся ее плоть, вся кровь и все кости растаяли под кожей; касаясь предметов, она замечала, что пальцы ее сильно дрожат.

Она пришла в себя только перед алтарем во время обряда.

Замужем! Итак, она замужем! Последовательное чередование вещей, движений, событий, происшедших с утра, казалось ей сновидением, настоящим сновидением Бывают минуты, когда все кажется изменившимся вокруг нас: самые жесты приобретают какое-то новое значение, даже время как будто изменяет своему обычному ходу.

Она чувствовала себя рассеянной, а главное, удивленной. Еще накануне не было никаких изменений в ее существовании, только заветная мечта ее жизни сделалась более близкой, почти ощутимой. Она заснула девушкой, а теперь уже была женщиной.

Итак, она переступила порог, казалось, таивший за собой будущее со всеми его радостями и счастьем, о котором она столько мечтала. Перед ней словно открылась дверь; ей предстояло вступить в *Ожидавшееся.*

Обряд кончился. Перешли в ризницу, почти пустую, так как приглашенных не было; затем стали выходить.

Когда они появились в дверях церкви, раздался страшный грохот, от которого новобрачная подскочила, а баронесса громко вскрикнула: то был ружейный залп, произведенный крестьянами; звуки выстрелов доносились до самых «Тополей»

Была подана закуска для семьи, для местного кюре и кюре из Ипора, для мэра и для свидетелей из числа зажиточных местных фермеров.

Затем в ожидании обеда прошлись по саду. Барон, баронесса, тетя Лизон, мэр и аббат Пико прогуливались по мамочкиной аллее, а по аллее напротив расха-

живал крупными шагами другой священник, читая требник.

По ту сторону замка слышалось шумное веселье крестьян, пивших сидр под яблонями Все местное население, разодевшееся по-праздничному, наполняло двор. Парни и девушки гонялись друг за другом.

Жанна и Жюльен прошли через рощу, поднялись по склону и в молчании стали смотреть на море. Становилось немного свежо, хотя была только середина августа, дул северный ветер, и яркое солнце холодно светило с голубого неба.

Молодые люди в поисках убежища пересекли ланду и повернули направо, желая достигнуть волнистой и заросшей лесом долины, спускающейся к Ипору. Когда они добрались до перелеска, ни малейшее дуновение не касалось их более, и они свернули с дороги на узкую тропинку, уходившую в чащу под навесом листвы Они с трудом пробирались вперед, как вдруг Жанна почувствовала руку, тихонько обвившую ее стан.

Она молчала; сердце ее учащенно билось, дыхание захватило. Низкие ветви ласкали ей волосы, и нередко приходилось наклоняться, чтобы пройти. Она сорвала лист, под ним притаились две божьи коровки, похожие на хрупкие красные раковинки.

Немного успокоившись, она простодушно сказала.

— Смотрите, какая парочка.

Жюльен чуть коснулся губами ее уха:

— Сегодня вечером вы станете моей женой.

Хотя она и многому научилась во время своих скитаний по полям, она все же думала только о поэзии любви и поэтому была удивлена. Его женой? Да разве она уже не была ею?

Тогда он принялся осыпать быстрыми поцелуями ее висок и шею, там, где вились первые волоски. Застигнутая врасплох этими поцелуями мужчины, к которым она не привыкла, она всякий раз инстинктивно наклоняла голову в другую сторону, чтобы избежать ласки, которая, однако, приводила ее в восхищение.

Неожиданно они очутились на опушке леса Она остановилась, смущенная тем, что они забрались в такую даль. Что о них подумают?

— Возвратимся,— сказала она.

Он отнял руку, которой держал ее за талию; повернувшись, они очутились друг против друга вплотную, так что чувствовали на лицах свое дыхание, и обменялись взглядом Они обменялись одним из тех пристальных, острых, проникающих вглубь взглядов, в которых как бы сливаются души. Они искали друг друга в глазах и глубже — в непроницаемом, неведомом человеческого существа; они измеряли себя немым и упорным вопросом. Чем будут они друг для друга? Какова будет эта жизнь, которую они начинают вместе? Какие радости, какие счастливые минуты или разочарования готовят они друг другу в этом долгом совместном неразрывном брачном союзе? И им показалось обоим, что они видят друг друга в первый раз.

Вдруг Жюльен, положив руки на плечи жены, поцеловал ее прямо в губы таким глубоким поцелуем, какого она никогда еще не получала. Этот поцелуй наполнил все ее существо, проник в ее жилы и до самого мозга костей; она испытала такое таинственное потрясение, что растерянно оттолкнула Жюльена от себя обеими руками и чуть не упала навзничь.

— Уйдем! Уйдем! — лепетала она.

Он не отвечал, но взял ее руки и уже не выпускал их.

До самого дома они не обменялись больше ни словом. Остаток дня тянулся бесконечно.

За стол сели, когда наступил вечер.

Обед был простой и довольно короткий, вопреки нормандским обычаям. Какая-то неловкость связывала гостей. Только у священников, мэра да четверых приглашенных фермеров прорывалось кое-что от той грубой веселости, которой полагается сопровождать свадьбы.

Смех, казалось, угас, и только мэр оживлял его своими словечками. Было около девяти часов; собрались пить кофе. На первом дворе под яблонями начался сельский бал. В открытое окно был виден весь праздник. Фонари, развешанные на ветвях, придавали листьям серо-зеленый оттенок. Крестьяне и крестьянки водили хоровод и горланили мотив какой-то дикой пляски, которой слабо аккомпанировали два скрипача и кларнетист, примостившиеся на кухонном столе вместо

эстрады. Шумное пение крестьян иногда совсем заглушало звук инструментов; слабая музыка, прерываемая неистовыми голосами, казалось, падала с неба обрывками, клочками рассеянных нот.

Два больших бочонка, окруженных пылающими факелами, утоляли жажду толпы. Две служанки были заняты тем, что неустанно полоскали в ушате стаканы и чашки и подставляли их, еще мокрые от воды, под краны, откуда текла или красная струя вина, или золотая струя прозрачного сидра. И разгоряченные танцоры, спокойные старики, вспотевшие девушки — все толкались, протягивали руки, чтобы схватить какую-либо посудину и, закинув голову, выпить крупными глотками тот напиток, который они предпочитали.

На одном столе лежали хлеб, масло, сыр, колбаса. Каждый время от времени проглатывал кусок. И этот здоровый, бурный праздник под сводом освещенных листьев пробуждал в угрюмых гостях зала желание также танцевать и пить из утробы этих больших бочек, закусывая ломтем хлеба с маслом и головкой лука.

Мэр, отбивавший такт ножом, воскликнул:

— Черт возьми! Вот весело, прямо как на свадьбе Ганаша.

Пробежал сдержанный смешок. Но аббат Пико, прирожденный враг светской власти, возразил:

— Вы, вероятно, хотели сказать: как на свадьбе в Кане?

Но мэр стоял на своем:

— Нет, господин кюре, я знаю, что говорю; если я сказал Ганаш, так значит Ганаш.

Все встали и перешли в гостиную. Затем отправились побродить немного среди подвыпившего простонародья. Потом гости разошлись.

Барон и баронесса говорили о чем-то, понизив голос, и как будто ссорились. Г-жа Аделаида, задыхаясь больше, чем когда-либо, видимо, отказывала в какой-то просьбе мужу; наконец она произнесла почти вслух:

— Нет, друг мой, не могу; я не знаю, как и взяться за это.

Тогда папочка быстро отошел от нее и приблизился к Жанне:

— Не желаешь ли пройтись со мной, дочурка?

Она взволнованно ответила:

— Как хочешь, папа.

Они вышли.

Когда они очутились за дверью, со стороны моря их охватил резкий ветер Один из тех холодных летних встров, в котором уже чувствуется осень.

По небу неслись облака, заволакивая и вновь открывая звезды.

Барон прижимал к себе руку девушки и нежно поглаживал ей пальцы. Так они шли несколько минут. Барон, казалось, был в нерешительности и смущении. Наконец он заговорил:

— Крошка моя, я приступаю к трудной задаче, которая должна была бы достаться на долю твоей матери, но из-за ее отказа мне приходится заменить ее в этом деле. Я не знаю, насколько ты осведомлена в житейских делах. Существуют тайны, которые старательно скрывают от детей, от дочерей, особенно от дочерей, так как они должны остаться чистыми помыслом, безупречно чистыми до того часа, когда мы передадим их в руки человека, который возьмет на себя заботу об их счастье. Этому-то человеку и надлежит приподнять завесу, наброшенную на сладкую тайну жизни. Но девушки, если в них до той поры не пробудилось никакого подозрения, бывают часто возмущены той немного грубой реальностью, которая скрывается за мечтами. Раненные душевно, раненные даже телесно, они отказывают супругу в том, что закон, человеческий закон и закон природы, предоставляет ему в качестве его абсолютного права. Больше этого я не могу тебе сказать, дорогая, но не забывай только одного, что ты целиком принадлежишь мужу.

Но что, в самом деле, могла она знать? О чем могла догадываться? Она задрожала под гнетом тяжелой и мучительной печали и словно какого-то предчувствия

Они вернулись. Неожиданная сцена остановила их в дверях гостиной Баронесса рыдала на груди Жюльена. Ее всхлипывания — шумные всхлипывания, словно испускаемые кузнечными мехами,— казалось, вырывались у нее сразу из носа, изо рта и из глаз; смущенный молодой человек неловко поддерживал толстую женщину, которая билась в его объятиях, препоручая

ему свою дорогую девочку, свою крошку, свою обожаемую дочурку.

Барон кинулся на помощь.

— О, пожалуйста, без сцен, без чувствительности, прошу вас

И, подхватив жену, он усадил ее в кресло, пока она вытирала себе лицо

Потом он обернулся к Жанне.

— Ну, малютка, поцелуй скорее мать и ступай ложиться.

Готовая также расплакаться, она стремительно поцеловала родителей и убежала.

Тетя Лизон уже ушла к себе. Барон и его жена остались наедине с Жюльеном. Все трое были так смущены, что не находили слов; мужчины во фраках, стоя, растерянно глядели перед собой, а баронесса подавленно сидела в кресле; последние рыдания еще душили ее Общее замешательство становилось нестерпимым, и барон заговорил о путешествии, которое молодые должны были предпринять через несколько дней.

Жанна в своей комнате предоставила раздевать себя Розали, плакавшей в три ручья. Руки служанки двигались наугад, не находили ни завязок, ни булавок, и она казалась взволнованной, право, гораздо более своей госпожи Но Жанна не замечала слез служанки; ей казалось, что она перешла в другой мир, перенеслась на другую планету и оторвана от всего, что знала, от всего, что было ей дорого. В ее жизни, в ее сознании как будто произошел полный переворот; ей даже пришла в голову странная мысль: любит ли она своего мужа? Теперь вдруг он представился ей совершенно чужим человеком, которого она почти не знает. Три месяца тому назад она и не ведала о его существовании, а теперь стала его женой. Как это случилось? Зачем так скоро выходить замуж, словно бросаясь в пропасть, открывшуюся под ногами?

Окончив ночной туалет, она скользнула в постель; прохладные простыни, вызвавшие в ней дрожь, еще усилили ощущение холода, одиночества и грусти, которое уже два часа тяготило ее.

Розали скрылась, продолжая всхлипывать; Жанна ждала. Тоскливо, со стесненным сердцем ждала она то-

го, чего хорошенько не знала, но что угадывала и о чем в неопределенных словах сообщил ей отец,— страшного откровения великой тайны любви.

Три раза легко стукнули в дверь, хотя она и не слышала шагов по лестнице. Она страшно задрожала и не ответила. Постучали снова, затем заскрежетал замок. Она спряталась с головой под одеяло, словно к ней проник вор. По паркету тихонько проскрипели ботинки, и вдруг кто-то коснулся ее постели.

Она нервно вздрогнула и слабо вскрикнула: высвободив голову, она увидела Жюльена, стоявшего перед ней и смотревшего на нее с улыбкой.

— О, как вы меня испугали! — сказала она

Он спросил:

— Так вы меня совсем не ждали?

Она не ответила. Он был во фраке, и его красивое лицо, как всегда, было серьезно; ей стало страшно стыдно, что она лежит перед столь корректным человеком.

Они не знали, что говорить, что делать, и не смели даже взглянуть друг на друга в эту важную и решительную минуту, от которой зависело интимное счастье всей их жизни.

Он, быть может, смутно чувствовал, какую опасность представляет эта борьба, сколько гибкого самообладания, сколько лукавой нежности требуется, чтобы не оскорбить нежную чистоту и бесконечную деликатность этой души, девственной и воспитанной одними мечтами.

Он тихонько взял ее руку, поцеловал и, преклонив колена перед кроватью, как перед алтарем, прошептал голосом, легким, как дуновение:

— Будете вы меня любить?

Сразу успокоившись, она приподняла с подушки голову, покрытую, как облаком, кружевами, и улыбнулась:

— Я уже люблю вас, мой друг.

Он взял в рот маленькие тонкие пальчики жены, и благодаря этому голос его изменился, когда он сказал.

— Согласны ли вы доказать, что любите меня?

Снова заволновавшись, она отвечала, не понимая хорошенько того, что говорит, и все еще находясь под свежим воспоминанием слов отца:

— Я ваша, мой друг.

Он покрыл кисть ее руки влажными поцелуями и, медленно выпрямляясь, приближался к ее лицу, которое она пыталась снова спрятать.

Внезапно, закинув руку через постель, он обнял жену сквозь простыни, а другую руку просунул под изголовье, приподнял подушку вместе с головой и тихо-тихо спросил:

— Так вы уступите мне крошечное местечко рядом с вами?

Ей стало страшно, инстинктивно страшно, и она пролепетала:

— О, не теперь, прошу вас.

Он, казалось, был озадачен, слегка обижен и возразил тоном, по-прежнему умоляющим, но уже более резким:

— Почему же не теперь, раз мы все равно кончим этим?

Ей стало досадно на него за эти слова; но, покорная и смирившаяся, она во второй раз повторила:

— Я ваша, мой друг.

Тогда он быстро прошел в туалетную комнату, и она ясно слышала его движения, шорох снимаемой одежды, звяканье денег в кармане, падение ботинок одного за другим.

И вдруг он быстро прошел в носках и кальсонах через комнату, чтобы положить часы на камин. Затем вернулся бегом в соседнюю комнату, где возился еще некоторое время; Жанна быстро повернулась на другой бок и закрыла глаза, почувствовав, что он пришел.

Она привскочила, словно желая броситься на пол, когда по ее ноге скользнула другая нога, холодная и волосатая; закрыв лицо руками, растерявшись, готовая кричать от страха и смятения, она зарылась в самую глубь постели.

Он тотчас же схватил ее в свои объятия, хотя она и повернулась к нему спиной, и стал жадно целовать ее шею, развевавшиеся кружева чепчика и вышитый край сорочки.

Она не двигалась, застыв в ужасной тревоге, чувствуя сильную руку, которая искала ее грудь, спрятанную между локтями Она задыхалась, потрясенная этим

грубым прикосновением; ее охватило сильнейшее желание спастись, бежать по дому, запрятаться куда-нибудь подальше от этого человека.

Он перестал двигаться. Она чувствовала своею спиной теплоту его тела. Тогда ее ужас стал проходить, и она вдруг подумала, что ей стоит только повернуться, чтобы поцеловать его

Наконец терпение его как будто истощилось, и он сказал опечаленным тоном

— Так вы не хотите стать моей женушкой?

Она пролепетала, все еще закрывая лицо ладонями:

— А разве я уже не жена вам?

Он отвечал с оттенком раздражения:

— Ну, милая моя, не смейтесь же надо мной.

Она была смущена его недовольным голосом и вдруг обернулась к нему, чтобы попросить прощения

Он схватил ее тело, яростно, как бы изголодавшись по ней, и принялся осыпать быстрыми поцелуями, жгучими поцелуями, безумными поцелуями все ее лицо и верхнюю часть груди, оглушая ее ласками. Она раскинула руки и оставалась пассивной под этим напором, не отдавая себе более отчета в том, что делается с нею, что делает он, и испытывая такое смятение мыслей, что ничего не понимала. Но вдруг острая боль пронизала ее; она застонала, извиваясь в его объятиях, пока он неистово овладевал ею

Что произошло потом? Она совсем не помнила этого, потому что потеряла голову; ей казалось только, что он осыпает ее губы градом благодарных поцелуев

Потом, вероятно, он говорил с нею, и она, должно быть, ему отвечала. Потом он делал новые попытки, которые она отвергала с ужасом; отбиваясь, она почувствовала на его груди ту же густую шерсть, которую уже ощутила на ноге, и в испуге отодвинулась от него

Устав наконец безуспешно домогаться, он неподвижно лежал на спине.

Тогда она задумалась; отчаявшись до глубины души, разочаровавшись в опьяняющих восторгах, которые мечта рисовала ей совсем иными, разочаровавшись в упоительном ожидании, теперь разрушенном, в блаженстве, ныне разбитом, она говорила себе. «Так вот что он называет быть его женой. Вот что! Вот что!»

И она долго пролежала так, в полной безутешности, блуждая взором по обивке стен, по старинной любовной легенде, окружавшей комнату с четырех сторон.

Так как Жюльен больше не говорил и не двигался, она медленно перевела на него взгляд и увидела, что он спит! Он спал с полуоткрытым ртом, со спокойным лицом! Он спал!

Она не могла этому поверить, чувствуя себя возмущенной, еще более оскорбленной этим сном, нежели его грубостью, чувствуя, что с нею обошлись, как с первой встречной. Как мог он спать в такую ночь? Значит, то, что произошло между ними, не представляло для него ничего удивительного? О, лучше бы уж ее избили, еще раз изнасиловали, замучили отвратительными ласками до потери сознания!

Опершись на локоть, склонившись к нему, она неподвижно прислушивалась к легкому свисту, вырывавшемуся из его губ и иногда походившему на храпение.

Наступил день, сначала тусклый, затем светлый, затем розовый, затем сверкающий. Жюльен открыл глаза, зевнул, потянулся, взглянул на жену, улыбнулся и спросил:

— Хорошо ли ты спала, дорогая?

Она заметила, что он говорит ей «ты», и ошеломленно ответила:

— Да. А вы?

Он сказал:

— О, прекрасно!

И, повернувшись к ней, он ее поцеловал, а затем стал спокойно разговаривать. Он развивал ей свои планы жизни, построенной на основе бережливости; это слово, повторенное им несколько раз, удивило Жанну Она слушала мужа, не улавливая смысла слов, смотрела на него и думала о тысяче других мимолетных вещей, мелькавших, едва задевая ее сознание.

Пробило восемь часов.

— Однако надо вставать,— сказал он,— мы покажемся смешными, если долго останемся в постели.

Он встал первым. Одевшись, он любезно помог жене во всех мельчайших деталях туалета, не разрешая позвать Розали.

В ту минуту, когда они выходили из спальни, он остановил ее:

— Знаешь, наедине мы можем теперь говорить друг другу «ты», но перед родителями лучше еще подождать. Вот когда вернемся из свадебного путешествия, это будет вполне естественно.

Она вышла лишь к завтраку. И день прошел, как обычно, словно ничего нового не случилось. Только в доме стало одним человеком больше.

V

Четыре дня спустя приехала берлина, которая должна была отвезти их в Марсель.

После тоски, испытанной в первую ночь, Жанна уже привыкла к близости Жюльена, к его поцелуям, к его нежным ласкам, хотя отвращение к более интимным их отношениям не уменьшилось.

Она находила его красивым, любила его и снова чувствовала себя счастливой и веселой.

Прощание было кратким и не печальным. Только баронесса казалась взволнованной; в момент отъезда экипажа она сунула в руку дочери толстый кошелек, тяжелый, как свинец.

— Это на мелкие расходы молодой дамы,— сказала она.

Жанна положила его в карман, и лошади тронулись.

К вечеру Жюльен сказал:

— Сколько положила тебе мать в кошелек?

Она уже позабыла о нем и высыпала содержимое себе на колени. Полился поток золота: две тысячи франков! Она захлопала в ладоши:

— О, теперь я наделаю глупостей!

Затем она убрала деньги.

После недели пути по страшной жаре они приехали в Марсель.

А на другой день маленький пакетбот *Король Людовик,* отправлявшийся в Неаполь через Аяччо, увозил их на Корсику.

Корсика! Маки! Разбойники! Горы! Родина Напо-

леона! Жанне казалось, что она покидает действительность и, все еще бодрствуя, погружается в сон

Стоя рядом на палубе корабля, они глядели, как бегут мимо скалы Прованса. Неподвижное море, ярко-голубое, словно сгустившееся, словно затвердевшее в жгучем свете солнца, расстилалось под беспредельным небом почти неестественно синего цвета.

Она сказала.

— Помнишь нашу прогулку в лодке дяди Лястика?

Вместо ответа он быстро поцеловал ее в ухо.

Колеса парохода били по воде, нарушая ее глубокий сон, а позади тянулся прямой линией, отмечая путь судна и теряясь из виду, длинный вскипающий след, широкая бледная полоса взбаламученных волн, пенившихся, как шампанское.

Вдруг у носа корабля, на расстоянии всего нескольких саженей, выскочил из воды громадный дельфин, затем он нырнул головой вниз и исчез. Жанна, объятая испугом, вскрикнула и бросилась на грудь Жюльену. Потом рассмеялась над своим страхом и боязливо взглянула, не появится ли животное опять. Через несколько секунд оно снова выскочило, как большая заводная игрушка. Потом опять нырнуло и вновь выплыло; потом их стало двое, потом трое, потом шестеро; они, казалось, резвились вокруг тяжелого судна и конвоировали своего чудовищного собрата — деревянную рыбу с железными плавниками. Они плыли то слева от корабля, то появлялись справа, иногда все вместе, иногда один за другим, весело преследуя друг друга, точно в игре, и подпрыгивали в воздух сильным прыжком, описывая кривую линию, а затем вновь гуськом погружались в воду.

Жанна хлопала в ладоши, трепетала от восторга при каждом появлении громадных и ловких пловцов Подобно им, сердце ее прыгало в безумной, детской радости.

Но вдруг они исчезли. Их заметили еще раз, но уже очень вдалеке, в открытом море, а потом их не стало видно, и Жанна в течение нескольких секунд испытывала огорчение оттого, что они уплыли.

Наступил вечер, тихий, кроткий, лучезарный вечер залитый светом и полный блаженного покоя. Ни малей-

шего волнения не было ни в воздухе, ни на воде; бесконечный покой моря и неба передавался их оцепеневшим душам,— в них также замерло всякое волнение.

Огромное солнце тихо спускалось к Африке, к невидимой Африке, и жар ее раскаленной почвы как будто уже ощущался; но какая-то ласкающая свежесть, нисколько не походившая, однако, на морской ветер, слегка овеяла их лица, когда светило исчезло.

Им не захотелось возвращаться в свою каюту, куда долетали все ужасные запахи пакетбота; они растянулись на палубе, рядом, завернувшись в плащи. Жюльен заснул тотчас же, но Жанна лежала с открытыми глазами, возбужденная новыми впечатлениями. Однообразный стук колес укачивал ее, и она рассматривала над своей головой на чистом южном небе легионы звезд, таких ясных, с резким, мерцающим и как бы влажным сиянием.

К утру, однако, она забылась. Ее разбудили шум и голоса. Матросы с песнями прибирали корабль. Она растолкала неподвижно спавшего мужа, и они поднялись.

С восторгом упивалась она соленым вкусом тумана, пропитавшего ее всю, вплоть до кончиков ногтей. Кругом — только море. Однако впереди на волнах покоилось что-то серое, еще неясное в свете зари, какое-то нагромождение странных, заостренных, изрезанных облаков.

Затем оно стало более определенным; очертания выступили резче на просветлевшем небе, появилась длинная линия острых, причудливых гор: то была Корсика, словно окутанная легкой вуалью.

За нею взошло солнце, разрисовывая все выступы хребтов черными тенями; затем запылали вершины, пока остальная часть острова еще оставалась в дымке тумана.

Капитан, маленький старичок с бурым лицом, высохший, сморщенный, заскорузлый, съежившийся под резкими и солеными ветрами, появился на палубе и сказал Жанне голосом, охрипшим от тридцатилетнего командования, сорванным из-за крика во время бурь:

— Чувствуете, как пахнет эта негодяйка?

Действительно, Жанна почувствовала сильный и своеобразный запах растений, какие-то дикие ароматы.

Капитан продолжал.

— Так пахнет Корсика, сударыня; это ее запах, запах красивой женщины После двадцати лет отсутствия я узнал бы его за целые пять миль Я сам отсюда. Тот, что на острове святой Елены, говорят, всегда вспоминал запах родины. Он мне сродни.

Капитан, сняв шляпу, поклонился Корсике и поклонился еще туда, за океан, великому пленному императору, с которым он был в родстве.

Жанна была до того растрогана, что чуть не заплакала.

Моряк протянул руку к горизонту:

— «Кровавые горы»! — сказал он.

Жюльен стоял возле жены, обняв ее за талию, и оба они глядели вдаль, стараясь отыскать указанную точку

Наконец они увидели несколько скал пирамидальной формы, которые корабль вскоре обогнул, входя в широкий спокойный залив, окруженный цепью высоких гор, отлогие склоны которых казались покрытыми мхом.

Капитан указал на эту зелень:

— Это маки!

По мере приближения круг гор как будто замыкался за кораблем, медленно плывшим по лазоревому озеру, такому прозрачному, что иногда можно было видеть дно.

И вдруг показался город, сплошь белый, в глубине залива, у подножия прибрежных скал.

Несколько небольших итальянских судов стояли в порту на якоре. Четыре — пять лодок шныряли около *Короля Людовика* в ожидании пассажиров

Жюльен, собиравший багаж, спросил шепотом у жены:

— Довольно двадцати су носильщику?

Всю неделю он ежеминутно задавал ей все тот же вопрос, каждый раз вызывавший в нем неприятное чувство.

Она ответила с легким нетерпением:

— Если кажется, что этого недостаточно, нужно прибавить

Он без конца препирался с хозяевами и лакеями гостиниц, с извозчиками, с разными торговцами, и когда

с помощью всяческих уловок ему удавалось добиться какой-нибудь уступки, он говорил Жанне, потирая руки:

— Не люблю, чтобы меня обкрадывали.

Она дрожала при виде поданного счета, так как была уверена наперед, что муж станет возражать по поводу каждой цифры; она чувствовала себя униженной этим торгашеством и краснела до корней волос под презрительными взглядами лакеев, которыми они провожали ее мужа, держа в руке ничтожные чаевые.

Теперь у него опять вышел спор с лодочником, который перевез их на сушу.

Первое дерево, которое увидела Жанна, была пальма!

Они остановились в большой пустой гостинице на углу огромной площади и заказали завтрак

Когда они кончили десерт и Жанна встала, чтобы пойти побродить по городу, Жюльен заключил ее в объятия и нежно прошептал ей на ухо:

— А не прилечь ли нам немножко, моя кошечка?

Она удивилась:

— Прилечь? Но я совсем не устала.

Он обнял ее

— Я хочу тебя. Понимаешь? Ведь уже два дня!.

Она покраснела и стыдливо пролепетала.

— О, теперь! Но что скажут о нас? Что подумают? Как ты попросишь комнату среди бела дня? Жюльен, умоляю тебя...

Но он прервал ее:

— Плевать мне на то, что скажет и подумает прислуга. Думаешь, меня это стесняет?

И он позвонил.

Она не возразила больше ни слова и опустила глаза, возмущаясь душою и телом против этого непрестанного желания мужа, желания, которому она повиновалась с отвращением, смиряясь, но чувствуя себя униженной, видя в этом нечто животное, постыдное и, наконец, просто грязное.

Ее чувства еще не проснулись, а муж обращался с ней, как будто она уже вполне разделяла его пыл.

Когда пришел лакей, Жюльен попросил его проводить их в комнату. Слуга, настоящий корсиканец, об-

росший волосами до самых глаз, не понимал его и уверял, что комната будет приготовлена к ночи.

Жюльен с нетерпением пояснил:

— Нет, сейчас. Мы устали с дороги и хотим отдохнуть.

Тогда лакей чуть усмехнулся, а Жанне захотелось убежать.

Когда они спустились часом позже, она боялась проходить мимо встречных лакеев, так как была убеждена, что они станут смеяться и перешептываться за ее спиной. Она сердилась в глубине души на Жюльена за то, что он не понимает этого и совершенно лишен тонкой стыдливости и врожденной деликатности; она чувствовала между ним и собою словно какую-то завесу, какое-то препятствие и в первый раз заметила, что два человека никогда не могут проникнуть друг другу в душу, в самую глубь мыслей, что они могут идти всю жизнь рядом, иногда тесно сплетаясь в объятиях, но никогда не сливаясь окончательно, и что нравственное существо каждого из нас остается вечно одиноким.

Они прожили три дня в этом городке, спрятавшемся в глубине голубой бухты и раскаленном, как горнило, за грядой холмов, которая не пропускала к нему ни малейшего дуновения ветра.

Потом был выработан маршрут их путешествия, и для того, чтобы не отступать перед трудными переходами, они решили нанять лошадей. Они взяли двух маленьких, худых, неутомимых корсиканских жеребцов с бешеным взглядом и отправились ранним утром в дорогу. Их сопровождал проводник верхом на муле; он вез провизию, потому что в этой дикой стране нет трактиров.

Дорога шла сначала по берегу залива, а затем спускалась в неглубокую лощину, которая вела к высоким горам. Часто приходилось пересекать почти высохшие потоки; чуть заметный ручей еще шелестел кое-где под камнями, как притаившийся зверек, и робко журчал.

Невозделанная страна казалась совсем голой. Береговые склоны были покрыты высокой травой, уже пожелтевшей в это палящее время года. Изредка попа-

дались горцы, то пешком, то на маленькой лошадке, то верхом на осле ростом с собаку. И у каждого из них висело за плечом заряженное ружье, старое и ржавое, но опасное в их руках.

От острого запаха душистых растений, покрывавших остров, воздух, казалось, сгущался; дорога медленно поднималась посреди длинных горных извилин.

Розовые или голубые гранитные вершины придавали пустынному пейзажу что-то волшебное; леса громадных каштанов на более низких склонах походили на зеленый кустарник, до того колоссальны подъемы почвы в этой стране.

Иногда проводник, протягивая руку в сторону крутых высот, произносил какое-либо название. Жанна и Жюльен, всматривались, сначала ничего не видели, но наконец открывали что-то серое, подобное куче камней, упавших с вершины. То была какая-нибудь деревушка, маленький поселок из гранита, уцепившийся, повиснувший, как настоящее птичье гнездо, и почти неразличимый на громадной горе.

Длинное путешествие шагом стало раздражать Жанну.

— Поскачем немного,— предложила она.

И она пустила лошадь. Потом, не слыша рядом с собой лошади мужа, обернулась и расхохоталась, как сумасшедшая, увидев, что он едет бледный, держась за гриву лошади и странно подпрыгивая. Самая его красота и фигура прекрасного всадника лишь усугубляли смехотворность его неуклюжести и трусости.

Тогда они поехали тихой рысью. Теперь дорога тянулась лесом, который, как плащом, одевал все побережье

То были маки́, непроходимые маки́, образовавшиеся из зеленых дубов, можжевельника, толокнянок, мастиковых деревьев, колючей крушины, вереска, самшита, мирта и букса, причем между ними переплетались и спутывались, как волосы, вьющиеся ломоносы, чудовищные папоротники, жимолость, розмарины, лаванда, терновники, покрывавшие склоны гор какой-то сваляв шейся шерстью.

Они проголодались. Проводник догнал их и провел к одному из тех очаровательных источников, которые так часто встречаются в гористых странах; то была тонкая и круглая струйка ледяной воды, выходившая из отверстия в скале и стекавшая по листу каштана, положенному каким-то прохожим так, чтобы подвести струйку как раз ко рту.

Жанна была так счастлива, что с трудом удерживалась, чтобы не закричать от радости.

Они снова тронулись в путь и начали спускаться, объезжая Сагонский залив.

К вечеру они проехали Каргез, греческую деревню, основанную тут когда-то колонией беглецов, изгнанных с родины. Несколько высоких и красивых девушек с изящными очертаниями стана, с длинными руками, с тонкой талией, своеобразно грациозных, стояло около фонтана. Жюльен крикнул им: «Добрый вечер»,— и они отвечали певучими голосами на благозвучном языке своей покинутой страны.

По приезде в Пиана им пришлось просить гостеприимства, как в стародавние времена, как в глухих странах. Жанна дрожала от радости, ожидая, пока отворится дверь, в которую постучал Жюльен. О, это было настоящее путешествие со всеми неожиданностями неизведанных дорог!

Они попали в семью молодоженов. Их приняли так, как, должно быть, патриархи принимали гостя, посланного богом, их уложили на матрацах из маисовой соломы в старом, полусгнившем домишке, весь сруб которого, источенный червями и пронизанный длинными ходами шашеней, пожирающих бревна, был полон шороха и словно жил и вздыхал.

Они выехали с рассветом и вскоре остановились против леса, настоящего леса из пурпурового гранита. Это были острия, колонны, колоколенки, поразительные фигуры, изваянные временем, разъедающим ветром и морским туманом.

Доходя высотою до трехсот метров, эти поразительные утесы, тонкие, круглые, искривленные, изогнутые, бесформенные, неожиданно причудливые, казались деревьями, растениями, животными, памятниками, людьми, монахами в рясах, рогатыми чертями, громадными

птицами, целым племенем чудовищ, зверинцем кошмаров, окаменевших по воле какого-то сумасбродного божества.

Жанна молчала и, чувствуя, как сжимается ее сердце, взяла и стиснула руку Жюльена, охваченная страстным желанием любви при виде такого великолепия.

Выйдя из этого хаоса, они обнаружили вдруг новый залив, опоясанный кровавой стеной красного гранита. И в синем море отражались эти пурпуровые скалы.

Жанна прошептала: «О, Жюльен!» — не находя других слов, умиляясь от восхищения, чувствуя, что у нее перехватывает горло. И две слезинки покатились из ее глаз Он изумленно смотрел на нее.

— Что с тобой, моя кошечка?

Она вытерла щеки, улыбнулась и сказала слегка дрожащим голосом·

— Ничего, это нервы... Не знаю... Я поражена. Я так счастлива, что любой пустяк перевертывает мне все сердце.

Он не понимал этой женской нервности, потрясений чуткой души, которая способна доходить до безумия от пустяка, которую энтузиазм волнует, точно катастрофа, а едва уловимое ощущение потрясает, сводит с ума от радости или погружает в отчаяние

Эти слезы казались ему нелепыми и, всецело озабоченный плохою дорогой, он сказал:

— Смотри-ка лучше за лошадью.

По дороге, почти что непроходимой, они спустились к заливу, затем повернули направо, чтобы начать подъем по мрачной долине Ота.

Но тропинка оказалась ужасной, Жюльен предложил:

— Не подняться ли нам пешком?

Она ничего лучшего не желала и была в восхищении от возможности пройтись и побыть с ним наедине после недавнего волнения.

Проводник проехал вперед с мулом и лошадьми, а они двинулись неторопливым шагом.

Гора, расколотая сверху донизу, осела. Тропинка уходила в образовавшуюся брешь и вилась между двумя громадными стенами; могучий поток бежал по это-

му ущелью. Воздух был ледяной, гранит казался черным, а кусок голубого неба там, наверху, изумлял и вызывал головокружение.

Жанна вздрогнула от внезапного шума. Она подняла глаза; огромная птица вылетела из какого-то отверстия: это был орел. Его распростертые крылья почти касались обеих стен расселины, напоминавшей колодец. Он поднялся в лазурь и исчез.

Далее трещина горы раздваивалась; тропинка вилась крутыми зигзагами между двух пропастей. Жанна легко и беззаботно шла впереди; под ее ногами скатывались мелкие камни, но она не страшилась и наклонялась над безднами. Он следовал за нею, слегка запыхавшись, и, боясь головокружения, глядел под ноги.

Вдруг их затопило солнечными лучами; казалось, они выходили из ада. Им хотелось пить; мокрый след провел их через хаотическое нагромождение камней к крохотному источнику, отведенному в выдолбленную колоду и служившему водопоем для коз. Мшистый ковер покрывал кругом землю. Жанна стала на колени, чтобы напиться; то же сделал и Жюльен.

И так как она слишком уже смаковала свежую воду, он охватил ее за талию, стараясь отстранить ее от деревянного стока. Она противилась; их губы боролись, встречались, отталкивали друг друга. В этой борьбе они схватывали поочередно тонкий кончик трубки, из которой текла вода, и закусывали его, чтобы не выпустить. Струйка холодной воды, беспрестанно подхватываемая и бросаемая, прерывалась и снова лилась, обрызгивая лица, шеи, платья, руки. Капли, подобные жемчужинам, блестели на их волосах. И поцелуи уносились бежавшей водой.

Внезапно Жанну осенило вдохновение любви. Наполнив рот прозрачной жидкостью и надув щеки, как два бурдюка, она показала жестом Жюльену, что хочет дать ему напиться из уст в уста.

Он подставил рот, улыбаясь, откинув назад голову, раскрыв объятия, и выпил залпом из этого живого источника, влившего в его тело жгучее желание.

Жанна опиралась на него с необычайной нежностью, ее сердце трепетало, груди вздымались, взор стал

мягким, словно увлажнился водой. Она чуть слышно шепнула: «Жюльен... люблю тебя!» — и, притянув его к себе, опрокинулась на спину, закрывая руками зардевшееся от стыда лицо.

Он упал на нее и обнял с исступлением. Она задыхалась в нервном ожидании и вдруг испустила крик, пораженная, как молнией, тем ощущением, которого желала.

Они долго добирались до вершины горы,— так была потрясена и разбита Жанна, и только к вечеру прибыли в Эвиза к Паоли Палабретти, родственнику их проводника.

То был человек высокого роста, немного сгорбленный, с мрачным видом чахоточного. Он провел их в комнату, в жалкую комнату из голого камня, считавшуюся, однако, красивой в этой стране, где изящество совершенно неизвестно; на своем языке, на корсиканском наречии, смеси французского с итальянским, он сказал, что рад принять их, но вдруг был прерван звонким голосом: маленькая брюнетка с большими черными глазами, загорелой кожей, тонкой талией, сверкая зубами, обнаженными в беспрестанном смехе, бросилась к ним, обняла Жанну и пожала руку Жюльену, повторяя:

— Здравствуйте, сударыня, здравствуйте, сударь, как живете?

Она взяла у них шляпы, шали и убрала все это одной рукой, так как носила другую на перевязи; затем она всех выпроводила, сказав мужу:

— Ступай погуляй с ними до обеда.

Г-н Палабретти тотчас же повиновался и повел молодых людей осматривать деревню. Он еле волочил ноги, еле говорил, беспрестанно кашляя, и ежеминутно твердил:

— Это холодный воздух Валя повлиял на мою грудь.

Он повел их заглохшей тропинкой под высокими каштанами. Вдруг он остановился и произнес своим монотонным голосом.

— Вот здесь Матье Лори убил моего двоюродного брата, Жана Ринальди. Взгляните, я стоял тут, около Жана, когда Матье показался в десяти шагах от нас.

«— Жан,— крикнул он,— не ходи в Альбертаччо; не ходи туда, Жан, а то я убью тебя; это уж я тебе говорю.

«Я взял Жана за руку и сказал:

«— Жан, не ходи туда, ведь он сделает это.

«Все это было из-за девушки, Паулины Синакупи, за которой оба они ухаживали.

«Но Жан крикнул:

«— Я пойду туда, Матье; не ты мне помешаешь!

«Тогда Матье прицелился, прежде чем я успел схватиться за свое ружье, и выстрелил.

«Жан высоко подпрыгнул, словно ребенок, скачущий через веревочку,— именно так, сударь,— и грохнулся на меня всем телом, так что ружье выскочило у меня из рук и отлетело вон к тому каштану.

«Рот у Жана был открыт, но он так и не произнес ни слова; он был мертв».

Молодые люди смотрели, пораженные, на спокойного свидетеля преступления. Жанна спросила:

— А убийца?

Паоли Палабретти долго кашлял, затем сказал:

— Он скрылся в горы. Мой брат убил его в следующем году. Знаете, мой брат, Филипп Палабретти,— разбойник.

Жанна вздрогнула:

— Ваш брат — разбойник?

У невозмутимого корсиканца блеснула в глазах гордость:

— Да, сударыня, он был знаменитый разбойник. Он уложил шестерых жандармов. Он погиб вместе с Никола Морали после шестидневной схватки, когда их окружили в Ниоло и когда им грозила голодная смерть.

И он прибавил: «Таков обычай в нашей стране»,— тем же тоном, каким говорил: «Воздух с Вале холодный».

Они вернулись к обеду, и маленькая корсиканка обращалась с ними так, словно знала их уже лет двадцать.

Но беспокойство не покидало Жанну. Испытает ли она еще раз в объятиях Жюльена то странное и бур-

ное потрясение чувств, которое она ощутила на мху у ручья?

Когда они оказались одни в комнате, ее охватила боязнь остаться бесчувственной под его поцелуями. Но она быстро уверилась в противном, и то была ее первая ночь любви.

На следующий день, когда настал час отъезда, она долго не решалась покинуть этот скромный домик, где для нее, казалось ей, началась новая, счастливая жизнь.

Она зазвала в свою комнату маленькую жену хозяина и, уверяя, что вовсе не хочет ей делать подарка, в то же время настояла, даже досадуя на самое себя, что пришлет ей из Парижа после возвращения что-нибудь на память; этому подарку она придавала какое-то особое, почти суеверное значение.

Молодая корсиканка долго противилась, не желая ничего получать. Наконец согласилась.

— Хорошо,— сказала она,— тогда пришлите мне маленький пистолет, совсем маленький.

Жанна широко раскрыла глаза. А та тихонько шепнула ей на ухо, будто доверяя дорогую и сокровенную тайну:

— Чтобы убить деверя.

Смеясь, она быстро смотала с руки, которую носила на перевязи, покрывавшие ее повязки; Жанна увидела на пухлом и белом теле сквозную рану, нанесенную ударом стилета и уже почти зарубцевавшуюся.

— Не будь я такой же сильной, как он,— сказала она,— он убил бы меня. Мой муж не ревнив и знает меня; кроме того, он болен, как вам известно, а это смиряет ему кровь. Впрочем, я честная женщина, сударыня; но деверь слушает все, что ему болтают. Он ревнует меня вместо мужа и, наверно, начнет снова. Когда у меня будет пистолет, я буду спокойна и уверена, зная, что смогу отомстить.

Жанна пообещала прислать оружие и, нежно обняв свою новую приятельницу, отправилась в дорогу

Конец путешествия был для нее сплошным сном, бесконечным объятием, пьянящею лаской. Она ничего

не видела — ни пейзажей, ни людей, ни мест, где они останавливались. Она смотрела только на Жюльена.

Тогда между ними возникла детская, восхитительная интимность, полная любовных дурачеств, глупых и очаровательных словечек, нежных прозвищ каждого изгиба и контура, каждой складочки на их теле, которыми наслаждались их уста.

Жанна спала обычно на правом боку, и ее левая грудь при пробуждении часто оказывалась не покрытой одеялом. Жюльен, заметив это, прозвал ее «беглянкой», а другую прозвал «неженкой» за то, что розовый ее кончик казался более чувствительным к поцелуям.

Глубокая дорожка между ними стала «мамочкиной аллеей», потому что он беспрестанно по ней прогуливался; другая дорожка, более сокровенная, была прозвана «путем в Дамаск» в память о долине Ота.

По приезде в Бастиа надо было расплатиться с проводником. Жюльен пошарил у себя в карманах. Не находя того, что ему было нужно, он обратился к Жанне.

— Раз ты совсем не пользуешься двумя тысячами твоей матери, давай я буду их носить. У меня за поясом они в большей безопасности; кроме того, это избавит меня от размена денег.

Она протянула ему кошелек.

Они приехали в Ливорно, побывали во Флоренции, в Генуе, на всем побережье.

Однажды утром, когда дул мистраль, они снова очутились в Марселе.

Прошло два месяца со времени их отъезда из «Тополей». Было 15 октября.

Под впечатлением холодного ветра, который дул, казалось, из далекой Нормандии, Жанну охватила грусть. Жюльен с некоторых пор словно изменился; он был усталый, безразличный, и она боялась, сама не зная, чего.

Еще на четыре дня отложила она отъезд домой, не решаясь покинуть эту прекрасную солнечную страну. Ей казалось, что она завершила круг своего счастья.

Наконец они уехали.

В Париже они должны были купить все необходимое для окончательного устройства в «Тополях», и Жанна радовалась при мысли о чудесных вещах, которые привезет с собой благодаря подарку мамочки; но первое, о чем она подумала, был пистолет, обещанный молодой корсиканке из Эвиза.

На другой день после приезда она сказала Жюльену:

— Милый, дай мне мамины деньги, я хочу сделать кое-какие покупки.

Он обернулся к ней с недовольным лицом:

— Сколько тебе нужно?

Пораженная, она пролепетала:

— Да... сколько хочешь.

Он ответил:

— Вот тебе сто франков — только не транжирь их.

Она не знала, что сказать, чувствуя себя растерянной и сконфуженной.

Наконец она произнесла запинаясь:

— Но... я.. я ведь дала тебе эти деньги лишь затем..

Он перебил ее

— Ну да, разумеется Лежат ли они в твоем, или в моем кармане, не все ли равно, раз у нас общий кошелек? Ведь я же тебе не отказываю, не правда ли, раз даю сто франков.

Она взяла пять золотых, не прибавив ни слова, но не осмелилась попросить у него больше и купила только пистолет.

Неделю спустя они уехали обратно в «Тополя».

VI

У белой ограды с кирпичными столбиками новобрачных ожидали родители и слуги. Почтовая карета остановилась; начались нескончаемые объятия. Мамочка плакала; Жанна, растроганная, отерла две слезинки; отец в волнении ходил взад и вперед.

Затем у камина в гостиной последовало описание путешествия, пока выгружали багаж. Слова потоком неслись из уст Жанны, и все было рассказано в каких-

нибудь полчаса, за исключением подробностей, забытых в таком быстром изложении.

Потом молодая женщина отправилась распаковывать чемоданы. Розали, также взволнованная, помогала ей. Когда все было кончено, когда белье, платья и туалетные принадлежности были разложены по местам, горничная оставила свою госпожу. Чувствуя себя несколько утомленной, Жанна опустилась на стул.

Она спрашивала себя, что ей делать теперь, и искала занятия для ума, работы для рук. Ей не хотелось идти в гостиную к дремавшей матери, и она подумала о прогулке, но местность казалась такой печальной, что при одном взгляде из окна она почувствовала на сердце тоскливую тяжесть

Тогда она поняла, что у нее нет и больше никогда не будет никакого дела. Все свои юные годы в монастыре она была занята мыслями о будущем, суетными мечтами. Ее волновали неясные надежды, настолько заполняя время, что она не замечала, как проходили дни. Затем, как только она покинула суровые стены, среди которых расцвели ее мечты, ожидаемая ею любовь тотчас же осуществилась Человек, которого она ждала в мечтах, которого встретила, полюбила и за которого спустя несколько недель уже вышла замуж, как выходят обыкновенно при таких внезапных решениях, унес ее в своих объятиях, не давая ей опомниться.

Но вот сладкая действительность первых дней должна была стать повседневной действительностью, закрывавшей двери ее неясным надеждам, ее трепетным ожиданиям неизвестного Да, ожиданиям пришел конец

Теперь ей нечего было больше делать, ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо. Она смутно ощущала все это, как некое разочарование, как угасание грез.

Она встала и прислонилась лбом к холодному стеклу окна. Поглядев некоторое время на небо, по которому неслись мрачные тучи, она решила выйти из дома

Неужели это те же места, та же трава, те же деревья, что были в мае? Что сталось с солнечной радостью листьев, с поэтической зеленью лужайки, где горе-

ли одуванчики, где краснели кровью цветы мака, где сияли маргаритки, где трепетали словно привязанные к невидимым нитям фантастические желтые бабочки? И не было уже более того пьянящего воздуха, полного жизни, ароматов, оплодотворяющих сил.

Аллеи, размякшие от постоянных осенних дождей, покрытые толстым ковром опавших листьев, тянулись под тощими, озябшими и почти обнаженными тополями. Тонкие ветви дрожали под ветром, и на них трепетали последние листья, ежеминутно готовые сорваться и улететь куда-то. И эти последние листья, теперь уже совсем желтые, похожие на пластинки золота, весь день беспрестанно отрывались, кружились, летели по ветру и падали, подобно непрерывному дождю, такому унылому, что хотелось плакать.

Она дошла до рощи. Роща была печальна, как комната умирающего. Зеленые стены, которые разделяли и укрывали прелестные извилистые аллейки, разлетелись. Перепутанные кустарники, похожие на тонкое деревянное кружево, цеплялись друг за друга тощими веточками; шелест сухих, опадающих листьев, которые ветер кружил, гнал и сбивал в кучу, казался мучительным предсмертным вздохом.

Птички прыгали с места на место в поисках убежища, издавая слабый, зябкий писк.

Только платан и липа, защищенные от морского ветра густой завесой вязов, стоящих впереди них, сохраняли еще свой летний убор и казались одетыми — один в красный бархат, другая в оранжевый шелк — так окрасили эти деревья первые холода соответственно их природе.

Жанна медленно ходила взад и вперед по мамочкиной аллее вдоль фермы Кульяров Что-то тяготило ее, словно предчувствие долгой скуки, которую готовила ей начинавшаяся однообразная жизнь.

Затем она села на откос, где Жюльен в первый раз признался ей в любви; она сидела, как в забытьи, почти ни о чем не думая, с тоской в сердце, с желанием лечь и уснуть, чтобы избавиться от печали этого дня.

Вдруг она увидела чайку, пересекавшую небо и подхваченную шквалом; ей вспомнился орел, которого она видела там, на Корсике, в мрачной долине Ота. Сердце

ее вздрогнуло, как от воспоминания о чем-то прекрасном и миновавшем, и она вдруг снова увидела сверкающий остров, напоенный диким ароматом, его солнце, под которым зреют апельсины и лимоны, его горы с розоватыми вершинами, его лазоревые заливы и лощины, по которым катятся потоки.

Тогда окружавший ее сырой и угрюмый пейзаж, заунывный шелест падавших листьев, серые тучи, гонимые ветром, наполнили ее такою глубокой и безысходной тоской, что она вернулась домой, боясь разрыдаться.

Мамочка дремала, сидя неподвижно у камина, привыкнув к тоскливости таких дней и перестав ее ощущать. Отец и Жюльен, увлекшись разговором о своих делах, пошли прогуляться. Наступила ночь, разливая хмурый мрак в обширной гостиной, освещенной только отблесками вспыхивавшего огня.

На дворе, за окнами, в свете угасавшего дня еще можно было различать грязную осеннюю природу и сероватое небо, тоже словно вымазанное грязью.

Скоро явился барон в сопровождении Жюльена; войдя в полутемную комнату, он позвонил и закричал.

— Скорей, скорей огня! Здесь так уныло.

Он уселся перед камином. Пока его мокрая обувь дымилась у огня и высыхавшая грязь отваливалась от подошв, он весело потирал руки.

— Мне кажется,— говорил он,— что будет мороз; небо на севере проясняется; сегодня полнолуние; основательно подморозит этой ночью!

Затем он повернулся к дочери.

— Ну что, малютка, довольна ли ты, что вернулась на родину, домой, к старикам?

Этот простой вопрос страшно взволновал Жанну. Глаза ее наполнились слезами; она бросилась в объятия отца и порывисто поцеловала его, словно прося у него прощения, потому что, несмотря на все усилия быть веселой, чувствовала себя невыразимо грустной. Она думала о том, с какой радостью ждала свидания с родителями, и удивлялась холодности, сковывавшей теперь всю ее нежность; так, если думаешь слишком много о любимых людях вдали от них и теряешь при-

вычку видеть их ежечасно, то при встрече с ними чувствуешь отчужденность до тех самых пор, пока узы совместной жизни не закрепятся снова.

Обед тянулся долго, почти в полном молчании. Жюльен, казалось, позабыл о жене.

Затем она подремала в гостиной перед камином, против мамочки, которая уже совсем спала. Разбуженная на минуту голосами споривших мужчин, Жанна мысленно спрашивала себя, стараясь стряхнуть сон, неужели и ее захватит эта мрачная, ничем не прерываемая летаргия обыденности.

Пламя камина, слабое и красноватое днем, теперь, потрескивая, пылало ясным, живым огнем. Оно бросало яркие полыхающие отблески на полинявшую обивку кресел, на Лисицу и Аиста, на меланхолическую Цаплю, на Кузнечика и Муравья.

Барон приблизился к камину, улыбаясь и протягивая растопыренные пальцы к пылающим головням.

— Ах, хорошо горит сегодня. Морозит, дети, морозит!

Он положил руку на плечо Жанне и, указывая на огонь, промолвил:

— Видишь ли, дочурка, самое лучшее, что есть на свете,— это очаг, очаг и кругом него близкие. С этим ничто не сравнится. Но не пора ли спать? Вы, должно быть, утомились, дети?

Придя в свою комнату, молодая женщина задала себе вопрос, каким образом два ее возвращения в столь любимые ею места могли быть до такой степени различны? Почему она чувствует себя совершенно разбитой, почему этот дом, этот милый родной край, все, от чего до сих пор волновалось ее сердце, кажется ей сегодня таким убийственно скучным?

Но вот ее взгляд упал на часы. Крохотная пчелка все еще порхала слева направо и справа налево тем же быстрым и непрерывным движением над позолоченными цветами. И Жанну охватил внезапный порыв нежности; она растрогалась до слез при виде этого маленького механизма, казавшегося живым, отбивавшим время и трепетавшим, как грудь.

Конечно, она далеко не так была растрогана, когда

обнимала отца с матерью. У сердца есть свои тайны, которые не постичь рассудку.

В первый раз за время замужества она была одна в постели. Жюльен под предлогом усталости занял другую комнату. Впрочем, было решено, что у каждого из них будет своя комната.

Она долго не могла уснуть, удивляясь, что не чувствует около себя другого тела, отвыкнув засыпать в одиночестве, растревоженная порывистым северным ветром, злобно бушевавшим на крыше.

Утром ее разбудил яркий свет, который словно кровью окрасил ее кровать; стекла, разрисованные инеем, были красны, точно оттого, что пылал весь горизонт.

Набросив на себя широкий пеньюар, она подбежала к окну и открыла его.

Ледяной ветер, свежий и возбуждающий, ворвался в комнату и обжег ее острым холодом, вызвавшим на глаза слезы; посередине пурпурового неба из-за деревьев выглядывало огромное солнце, багровое и раздутое, как лицо пьяницы. Земля, покрытая белой изморозью, твердая и теперь подсохшая, гулко звучала под ногами рабочих с фермы. За одну эту ночь все ветви тополей, еще сохранявшие листья, оголились, а за лавдой виднелась широкая зеленоватая гряда волн, испещренная белыми полосами.

Платан и липа быстро обнажились под порывами ветра. Всякий раз как подымался леденящий вихрь, целые тучи листьев опадали от внезапного мороза, разлетаясь по ветру, словно стаи птиц. Жанна оделась, вышла и, чтоб хоть чем-нибудь заняться, отправилась навестить фермеров.

Мартены всплеснули руками, и хозяйка расцеловала ее в обе щеки; затем ее заставили выпить рюмочку настойки. И она пошла на другую ферму Кульяры всплеснули руками, хозяйка клюнула ее в оба уха, и ей пришлось проглотить рюмочку черносмородиновой.

Она вернулась домой к завтраку.

И день прошел совершенно так же, как вчерашний, только он был холодный, а не серый. И остальные дни недели были похожи на эти два дня, и все недели месяца походили на первую неделю.

Мало-помалу, однако, ее тоска по далеким странам ослабела. Привычка наложила на ее жизнь отпечаток покорности, подобно тому как некоторые воды отлагают на предметы слой извести. И в ее сердце снова родилось нечто вроде интереса к тысяче незначительных мелочей обыденной жизни, забота о простых, обыкновенных, повседневных занятиях. Она была охвачена какой-то созерцательной меланхолией, смутным разочарованием жизнью. Что ей было нужно? Чего она желала? Она и сама не знала этого. Ее не томила жажда светской жизни; у нее не было потребности удовольствий, не было даже влечения к доступным радостям; да каковы они, впрочем? Подобно старым креслам гостиной, полинявшим от времени, все понемногу обесцвечивалось в ее глазах, все стиралось, все принимало бледный и тусклый оттенок.

Ее отношения с Жюльеном совершенно изменились. Он казался совсем иным после возвращения из свадебного путешествия, словно актер, который, сыграв свою роль, принимает обычное выражение лица. Он почти не обращал на нее внимания и даже почти не говорил с нею; всякий след его любви к ней внезапно исчез, и редки были те ночи, когда он входил в ее спальню

Он взял на себя управление имением и домом, проверял счета, допимал крестьян, сокращал расходы и, приобретая манеры дворянина-фермера, совершенно утратил лоск и изящество времен жениховства.

Он не вылезал больше из старой охотничьей бархатной куртки с медными пуговицами, отысканной им среди своего холостяцкого платья, хотя она и была вся в пятнах; с небрежностью человека, которому не нужно больше нравиться он перестал даже бриться; отросшая, плохо подстриженная борода невероятно его безобразила. Он не заботился больше о своих руках, а после каждой еды выпивал по четыре, по пять рюмок коньяку.

Жанна пробовала было сделать ему несколько нежных упреков, но он резко ответил ей: «Оставишь ты меня в покое или нет?» — и она не рискнула больше что-либо ему советовать.

Ее удивило то, как она сама отнеслась к происшед-

шей перемене. Он стал ей чужим, и путь к его душе и сердцу для нее закрылся. Она часто думала об этом, спрашивая себя, как могло случиться, что после того, как они встретились, полюбили друг друга и женились в порыве страсти, они вдруг оказались совсем чуждыми друг другу, словно никогда не спали рядом.

И почему она не так уж остро страдает от того, что покинута? Или такова жизнь? Или они ошиблись?

Неужели же ей нечего больше ждать от будущего?

Останься Жюльен по-прежнему красивым, изящно одетым, элегантным и обольстительным, быть может, она страдала бы сильнее?

Было решено, что после нового года новобрачные останутся одни, а отец с мамочкой проведут несколько месяцев в своем доме в Руане. В эту зиму молодожены не должны покидать «Тополей», чтоб окончательно устроиться тут, привыкнуть и приспособиться к тем местам, где должна протечь вся их жизнь. Впрочем, у них было несколько соседей, которым Жюльен собирался представить жену. Это были Бризвили, Кутелье и Фурвили.

Молодые люди еще не могли начать визитов, потому что до сих пор никак не удавалось залучить живописца, который бы переменил гербы на карете.

Дело в том, что барон уступил зятю старый семейный экипаж, но Жюльен ни за что на свете не согласился бы показаться в соседних замках, пока герб Ламаров не соединен с гербом Ле Пертюи де Во.

Во всей же округе остался только один специалист по части геральдических украшений: то был живописец из Больбека, по имени Батайль, которого приглашали по очереди во все нормандские замки для украшения дверец экипажей драгоценными орнаментами.

Наконец в одно декабрьское утро, после завтрака, увидели какого-то человека, который отворил калитку и пошел по дорожке направо. За спиной у него был ящик. Это был Батайль.

Его провели в зал и подали ему закусить, как человеку своего круга, потому что его специальность, его беспрерывные сношения с аристократией всего депар-

тамента, его основательное знание гербов, сакраментальной терминологии и всех эмблем делало из него нечто вроде ходячей геральдики, и дворяне подавали ему руку.

Было тотчас же приказано принести карандаш и бумагу, и, пока он ел, барон и Жюльен сделали наброски своих гербов, щиты которых делились на четыре части. Баронесса, встрепенувшаяся, как случалось с ней всякий раз, когда речь заходила об этих предметах, высказывала свое мнение, и сама Жанна приняла участие в споре, словно в ней внезапно проснулся какой-то непонятный интерес.

Завтракая, Батайль высказывал свою точку зрения, брал иногда карандаш, набрасывал проекты, приводил примеры, описывал все дворянские кареты в округе; казалось, он принес с собой в своей манере рассуждать и даже в тембре голоса что-то от аристократизма.

То был маленький человек с седыми, коротко остриженными волосами; его руки были перепачканы краской, и от него пахло политурой. Поговаривали, что в прошлом у него была какая-то неблаговидная история; но уважение, которым он пользовался в среде всех титулованных семейств, давно уже смыло с него это пятно.

Как только он допил кофе, его повели в каретный сарай; с кареты был снят клеенчатый чехол. Батайль осмотрел ее и авторитетно высказался по поводу размеров, которые он считал необходимым придать рисунку; после обмена мнениями он приступил к работе.

Несмотря на холод, баронесса приказала принести себе кресло, чтобы наблюдать за работой; затем она потребовала грелку для зябнувших ног и тогда принялась спокойно болтать с живописцем, расспрашивая его о свадьбах, которые были еще неизвестны ей, о смертях и рождениях последнего времени, пополняя благодаря его сообщениям сведения по родословным, которые она хранила в своей памяти.

Жюльен сидел тут же верхом на стуле, возле тещи. Он курил трубку, сплевывал на пол, слушал и внимательно следил за тем, как расписывали красками знаки его дворянского достоинства.

Вскоре и дядя Симон, отправлявшийся на огород с заступом на плече, остановился взглянуть на работу; затем слух о прибытии Батайля проник на фермы, и обе фермерши не замедлили явиться сюда. Став по сторонам кресла баронессы, они восторгались, повторяя:

— Какую же ловкость надо, чтобы сработать такие штучки!

Гербы на дверцах удалось закончить только на следующий день к одиннадцати часам. Все тотчас же собрались, и кареты выкатили на двор, чтобы удобнее было судить.

Это было великолепно. Батайля осыпали похвалами, и он ушел со своим ящиком за спиной. Барон, его жена, Жанна и Жюльен единодушно решили, что живописец — человек с большими дарованиями и если бы позволили обстоятельства, из него, без сомнения, вышел бы настоящий художник.

В видах экономии Жюльеном были проведены некоторые реформы, которые, в свою очередь, потребовали новых перемен.

Старик-кучер был превращен в садовника, править же отныне взялся сам виконт, решив продать выездных лошадей во избежание расходов на корм.

Но так как нужно же было кому-нибудь присматривать за лошадьми, когда господа выйдут из экипажа, то на должность лакея Жюльен определил пастушонка по имени Мариюс.

Наконец, чтобы обеспечить себя лошадьми, он ввел в арендный договор с Кульярами и Мартенами специальную статью, обязывавшую каждого из фермеров раз в месяц, в установленные Жюльеном числа, приводить ему по одной лошади; вместо этого они освобождались от обязанности доставлять живность.

И вот однажды Кульяры привели большую рыжую клячу, а Мартены маленькую белую лохматую лошадку; лошади были впряжены бок о бок в коляску, и Мариюс, утопая в старой ливрее дядюшки Симона, подвел к крыльцу замка этот выезд.

Жюльен, почистившийся, стройный, отчасти вернул себе прежнее изящество; но длинная борода все же придавала ему вульгарный вид.

Он окинул взглядом упряжь, карету, маленького лакея и нашел все удовлетворительным, потому что для него имели значение только заново нарисованные гербы.

Баронесса вышла из комнаты под руку с мужем, она с трудом влезла в экипаж и уселась, откинувшись на подушки. Появилась и Жанна Сначала ее рассмешило сочетание лошадей, по ее словам, белая приходилась внучкой рыжей. Когда же она заметила Мариюса, лицо которого было погребено под шляпой с кокардой, так что только нос мешал ей спуститься ниже; когда она увидела, как его руки исчезают в глубине рукавов, а вокруг ног болтаются наподобие юбки фалды ливреи и из-под этих фалд внизу причудливо торчат огромные башмаки; когда она увидела, как мальчик запрокидывает голову, чтобы что-либо видеть, как он на каждом шагу поднимает ноги, словно собираясь перешагнуть через ручей, как он суетится, точно слепой, бросаясь выполнять приказания и прямо-таки пропадая, совсем исчезая в необъятности своих одежд,— ею овладел смех, безудержный смех, которому не было конца.

Барон обернулся, посмотрел на ошеломленного мальчугана и, заражаясь смехом Жанны, тоже захохотал, взывая к жене и еле произнося слова:

— По... по... смотри на Ма... Ма .. Мариюса! Какой он смешной! Боже, какой смешной!

Тогда и баронесса нагнулась к дверце, взглянула на Мариюса, и ею овладел такой приступ веселости, что вся карета заплясала на рессорах, точно от сильной тряски.

Но Жюльен, побледнев, спросил:

— Что же тут смешного? Да вы с ума сошли!

Жанна, испытывая судороги от смеха, не в силах успокоиться, опустилась, совсем ослабев, на ступеньку крыльца. Барон последовал ее примеру, а из кареты неслось судорожное чиханье, что-то вроде непрерывного клохтанья, свидетельствовавшего о том, что баронесса задыхается. И вдруг ливрея Мариюса также затрепетала. Он, очевидно, понял, в чем дело, и сам хохотал изо всей мочи под своей огромной шляпой.

Вне себя Жюльен бросился вперед. Пощечиной он

сбил с головы мальчика гигантскую шляпу, которая покатилась по траве, а затем, обернувшись к тестю, дрожащим от гнева голосом процедил:

— Мне кажется, не вам бы смеяться. Мы не были бы в таком положении, если бы вы не промотали состояния и не проели своего имущества. Кто виноват, что вы разорены?

Вся веселость сразу исчезла, точно всех сковало льдом. Никто не проронил ни слова. Жанна, готовая теперь расплакаться, бесшумно села рядом с матерью. Барон, пораженный и безгласный, уселся против двух дам, а Жюльен расположился на козлах, втащив за собою заплаканного ребенка с опухшей щекой.

Дорога была невесела и показалась длинной. В карете молчали Мрачные и смущенные, все трое не хотели признаться в том, что их занимало. Они чувствовали, что не могут говорить ни о чем другом, настолько завладела ими эта мучительная мысль, и они предпочитали печально молчать, чем затронуть тягостную тему.

Лошади бежали неровною рысью, и карета катила вдоль дворов ферм, нагоняя страх на черных кур, которые улепетывали со всех ног, ныряя и прячась за изгороди; иногда за каретой с лаем неслась волкодав, а затем, возвращаясь домой, оборачивался еще раз, чтобы полаять вдогонку экипажу. Длинноногий парень в забрызганных грязью сабо, беззаботно шагая, засунув руки в карманы синей блузы, надувавшейся у него на спине от ветра, сторонился, чтобы пропустить экипаж, и нескладно стаскивал картуз, обнажая прямые, слипшиеся на лбу волосы.

В промежутках между фермами тянулась равнина, на которой там и сям, вдали, мелькали другие фермы

Наконец въехали в широкую еловую аллею, примыкавшую к дороге. В глубоких грязных выбоинах карета накренялась, и мамочка каждый раз вскрикивала от испуга. В конце аллеи белые ворота оказались закрытыми, и Мариюс побежал отворять их; пришлось обогнуть широкую лужайку по дороге, чтобы подъехать к высокому, большому и унылому зданию, ставни которого были заперты.

Средняя дверь внезапно отворилась, и престарелый,

параличный слуга в красном жилете с черными полосками, часть которого прикрывал фартук, сошел по ступенькам крыльца мелкими неровными шагами. Он спросил фамилии гостей и ввел их в просторную гостиную, с трудом отворив ставни, остававшиеся постоянно закрытыми Мебель стояла в чехлах, часы и канделябры были затянуты белым холстом, а затхлый воздух былых времен, холодный и сырой, казалось, пропитывал печалью и легкие, и сердце, и кожу.

Все уселись и стали ждать. Шаги, раздавшиеся по коридору наверху, свидетельствовали о необычайной суете. Обитатели замка, застигнутые врасплох, одевались на скорую руку. Это продолжалось долго. Несколько раз звенел колокольчик. Кто-то сновал вверх и вниз по лестнице.

Баронесса, продрогнув от пронизывающего холода, беспрестанно чихала. Жюльен расхаживал взад и вперед. Жанна угрюмо сидела рядом с матерью. А барон, прислонившись спиной к мраморной доске камина, стоял опустив голову.

Наконец одна из высоких дверей распахнулась, и появились виконт и виконтесса де Бризвиль. Они шествовали подпрыгивающей походкой, маленькие, худенькие, неопределенных лет, церемонные и несколько смущенные. Жена была в шелковом платье с разводами, в черном вдовьем чепце из лент, говорила она очень быстро, кисловатым голоском.

Ее муж, облаченный в парадный сюртук, кланялся, сгибаясь в коленях. Его нос, глаза, торчащие зубы, его волосы, словно навощенные, и великолепный торжественный костюм блестели, как блестят вещи, о которых очень заботятся.

После первых приветствий и обычных соседских любезностей никто уже не знал, о чем говорить. С обеих сторон без всякой причины начали выражать удовольствие по поводу знакомства. Высказывалась уверенность, что эти прекрасные отношения будут поддерживаться и впредь. Когда живешь круглый год в деревне, так отрадно видеться друг с другом!

Но леденящая атмосфера гостиной пронизывала до мозга костей и вызывала хрипоту в горле. Баронесса теперь кашляла, не переставая в то же время и чихать.

Тогда барон подал знак к отъезду. Бризвили стали удерживать:

— Как? Так скоро? Останьтесь же еще хоть немножко!

Жанна поднялась, несмотря на знаки Жюльена, который находил визит слишком коротким.

Хотели позвонить лакею, чтобы подали карету. Звонок не действовал. Хозяин дома поспешно вышел и, вернувшись, сообщил, что лошадей поставили на конюшню.

Пришлось ждать. Каждый старался подыскать подходящие слова и фразы. Заговорили о дождливой зиме. С невольной дрожью Жанна спросила, что делают хозяева одни весь год. Но Бризвили удивились ее вопросу, потому что они были постоянно заняты, проводя все дни в писании множества писем — своей аристократической родне, рассеянной по всей Франции, и в тысяче других микроскопических занятий, причем они строго соблюдали церемонные отношения друг с другом, точно с посторонними, и предавались напыщенным разговорам по поводу самых незначительных вещей.

Под высоким почерневшим потолком огромной необитаемой гостиной, где все стояло в чехлах, эти супруги, такие маленькие, чистенькие и приличные, показались Жанне мумифицированным дворянством.

Наконец карета с разномастными лошадьми проехала под окнами. Но Мариюс исчез. Считая себя свободным до вечера, он, вероятно, отправился прогуляться по деревне.

Взбешенный Жюльен попросил, чтобы его отослали домой пешком. И после прощальных пожеланий с обеих сторон они отправились обратно в «Тополя».

Едва захлопнулись дверцы кареты, Жанна и отец, несмотря на гнетущую тяжесть, вызванную грубостью Жюльена, принялись смеяться, передразнивая жесты и интонации Бризвилей. Барон изображал мужа, Жанна представляла жену, но баронесса, немного задетая в своих аристократических симпатиях, заметила:

— Напрасно вы смеетесь над ними, это очень почтенные люди, принадлежащие к лучшим семьям.

Они умолкли, чтобы не прекословить мамочке, но время от времени, несмотря ни на что, возобновляли игру, переглядываясь. Барон кланялся церемонно и произносил торжественным тоном:

— В вашем замке в «Тополях», мадам, должно быть, очень холодно по причине сильного ветра, который ежедневно дует с моря?

Жанна принимала обиженный вид, жеманилась и слегка подергивала головой, точно плавающая утка:

— О, мосье, у меня здесь столько занятий круглый год. Затем, у нас так много родственников, которым надо писать. К тому же господин де Бризвиль все дела предоставил мне. Он занят с аббатом Пелль научными исследованиями. Они пишут вместе историю религии в Нормандии.

Баронесса, против воли, добродушно улыбалась, но повторяла:

— Нехорошо так высмеивать людей нашего круга.

Вдруг карета остановилась, и Жюльен кому-то закричал, обернувшись назад. Жанна и барон, наклонившись к дверцам, заметили странное существо, которое словно катилось в их сторону. Путаясь ногами в широких фалдах ливреи, плохо видя из-за огромной шляпы, постоянно надвигающейся на глаза, размахивая руками, словно мельничными крыльями, шлепая сломя голову по глубоким лужам, спотыкаясь о каждый камень на дороге, торопясь и подпрыгивая, Мариюс, весь облепленный грязью, запыхавшись, бежал за каретой.

Как только он добежал до них, Жюльен, нагнувшись, схватил его за шиворот, притянул к себе и, выпустив вожжи, принялся дубасить кулаками по шляпе мальчика, опустившейся до самых его плеч и звучавшей, как барабан. Мальчуган вопил внутри ее, пытаясь вырваться и соскочить с козел, в то время как хозяин, удерживая его одной рукой, другою наносил удары.

Жанна, растерянная, лепетала:

— Папа... О! Папа!..

Баронесса, задыхаясь от негодования, сжимала руку мужа:

— Но останови же его, Жак!

Тогда барон порывисто опустил переднее стекло кареты и, схватив зятя за рукав, крикнул дрожавшим голосом:

— Скоро вы перестанете бить ребенка?

Жюльен, ошеломленный, обернулся:

— Разве вы не видите, во что превратил этот негодяй свою ливрею?

Но барон, высунутая голова которого приходилась как раз между ними, настаивал:

— Все равно, нельзя быть таким жестоким.

Жюльен снова рассердился:

— Оставьте меня, пожалуйста, в покое, это вас не касается!

И он снова занес руку, но тесть, схватив ее, дернул и пригнул вниз с такой силой, что она ударилась о деревянные козлы; затем барон крикнул в бешенстве:

— Если вы сейчас же не перестанете, я сойду и заставлю вас это прекратить!

Виконт сразу притих, ничего не ответил и, пожав плечами, хлестнул лошадей, которые побежали крупной рысью.

Женщины, мертвенно-бледные, не двигались; можно было ясно расслышать тяжелое биение сердца баронессы.

За обедом Жюльен был любезнее обычного, словно ничего и не случилось. Жанна, ее отец и г-жа Аделаида, быстро прощавшие благодаря своей обычной безмятежной благожелательности, были тронуты его предупредительностью и охотно поддавались веселью с радостным чувством выздоравливающих, а когда Жанна завела речь о Бризвилях, муж тоже принял участие в шутке, но тут же прибавил:

— Как-никак, у них манеры настоящих аристократов.

Других визитов не делали, потому что каждый боялся коснуться вопроса о Мариюсе. Было только решено послать соседям в Новый год визитные карточки, а с визитами подождать до первых теплых весенних дней.

Настало рождество. На обеде присутствовали кюре

и мэр с женой. Их пригласили и на Новый год. Это были единственные развлечения, нарушившие однообразное чередование дней.

Отец с мамочкой должны были покинуть «Тополя» девятого января. Жанна хотела их удержать, но Жюльен не очень настаивал на этом, и барон, чувствуя возраставшую холодность зятя, велел выписать из Руана почтовую карету.

Накануне их отъезда Жанна и отец, покончив с укладкой багажа, решили воспользоваться ясным морозным днем и отправиться в Ипор, где она не была после своего возвращения с Корсики.

Они пересекли лес, по которому Жанна гуляла в день свадьбы, сливаясь душою с тем, чьей подругой она стала на всю жизнь, лес, где она получила первый поцелуй, затрепетала в первый раз, предчувствуя ту сладострастную любовь, вполне познать которую ей было суждено лишь в дикой долине Ота, вблизи источника, из которого они пили, мешая с водой свои поцелуи

Не было уже ни листьев, ни вьющихся растений; слышался только шорох голых сучьев и сухой шелест, пробегающий зимои по обпаженной поросли.

Они вошли в деревушку. В пустых и безмолвных улицах стоял запах моря, водорослей и рыбы. Просмоленные длинные сети, развешенные у дверей или же растянутые на валунах, все так же сушились. Холодное серое море с его вечной рокочущей пеной начинало спадать, обнажая со стороны Фекана зеленоватые скалы у подножия обрывистого берега. А вдоль побережья лежали, поваленные набок, большие лодки, казавшиеся огромными уснувшими рыбами. Приближался вечер, и рыбаки, с шерстяными шарфами на шее, группами сходились к берегу, тяжело ступая огромными морскими сапогами, держа литр водки в одной руке и лодочный фонарь в другой. Они долго возились около лодок, укладывая с нормандской медлительностью сети и снасти, краюхи хлеба, горшок с маслом, стакан и бутылку. Затем, приподняв лодку, они толкали ее к воде, и она с шумом скатывалась по гальке, рассекала пену, поднималась на волнах, покачивалась несколько мгновений, раскрывала свои темные крылья и исче-

зала в ночном мраке с огненной точкой на верхушке мачты

Рослые худые рыбачки, кости которых выступали под тонкими платьями, стояли на берегу до отъезда последнего рыбака и затем возвращались в уснувшую деревню, нарушая крикливыми голосами тяжелый сон темных улиц.

Барон и Жанна неподвижно следили за исчезновением в ночной тьме этих людей, которые уезжали так каждую ночь, рискуя жизнью, чтобы только не подохнуть с голода, и все же оставались столь бедными, что никогда не ели мяса.

Барон, восхищенный океаном, воскликнул:

— Это страшно и прекрасно Как величественно это окутанное сумраком море, на котором столько жизней подвергаются смертельной опасности! Не правда ли, Жанетта?

Жанна ответила с застывшей улыбкой:

— Ему далеко до Средиземного моря!

Отец возмутился:

— Средиземное море! Какое-то прованское масло, подслащенная водица, синеватая вода в лоханке. Посмотри на это море, до чего оно грозно, все покрытое пенистыми гребнями! И подумай обо всех этих уехавших людях, которых уже и не видно.

Жанна со вздохом согласилась:

— Пожалуй, ты прав.

Но от слов «Средиземное море», слетевших с ее губ, ее сердце снова сжалось, и все мысли ее снова устремились к далеким странам, где остались ее мечты.

Вместо того чтобы возвращаться лесом, отец и дочь вышли на дорогу и медленно стали подниматься вдоль берега. Опечаленные предстоящей разлукой, они молчали.

Когда они порою проходили мимо ферм, им ударял в лицо то запах растертых яблок — аромат свежего сидра, который в это время года словно носится над нормандской деревней, то жирный запах стойла, приятный и теплый запах коровьего навоза. Маленькое освещенное окошечко в глубине двора указывало на жилище.

И Жанне казалось, что душа ее словно ширится и начинает постигать невидимое, а эти рассеянные среди полей огоньки вдруг вызвали в ней острое ощущение одиночества всех живых существ, которых все разъединяет, все разлучает, все уносит далеко от тех, кого они хотели бы любить.

И покорным голосом она сказала:

— Не всегда-то весела жизнь.

Барон вздохнул:

— Что делать, деточка; это зависит не от нас.

На следующий день отец с мамочкой уехали; Жанна и Жюльен остались одни.

VII

С этих пор обычным занятием молодых людей стали карты Каждый день после завтрака Жюльен принимался играть с женой в безик, покуривая трубку и потягивая коньяк, которого он выпивал по шесть — восемь рюмок в день. Затем Жанна уходила в свою комнату, садилась у окна и, пока в стекла стучал дождь или ветер, старательно вышивала отделку к юбке. Иногда, утомившись, она поднимала глаза и всматривалась в даль, в темное море, покрытое барашками. После нескольких минут этого рассеянного созерцания она снова принималась за работу.

Впрочем, ей больше нечего было делать, потому что Жюльен взял на себя все управление домом, дабы полнее удовлетворить свою жажду власти и страсть к бережливости. Действительно, он проявлял дикую скупость, никогда не давал на чай и свел расходы по столу к самому необходимому. Со времени своего приезда в «Тополя» Жанна каждое утро заказывала булочнику маленькую нормандскую лепешку; он сократил и этот расход, осудив ее на один поджаренный хлеб.

Она не говорила мужу ни слова во избежание объяснений, споров и ссор, но страдала от каждого нового проявления его скупости, как от укола иглы. Это казалось низким и мерзким ей, воспитанной в семье, где

деньги считались ни во что. Как часто ей приходилось слышать от мамочки: «Ведь деньги для того и существуют, чтоб их тратить». Жюльен же только и твердил: «Ты никогда, кажется, не отвыкнешь швырять деньги на ветер?» И всякий раз, когда ему удавалось урезать несколько су на жалованье или поданном счете, он произносил с улыбкой, опуская монету в карман:

— Из ручейков образуются реки

Но в иные дни Жанна вновь принималась мечтать. Она тихо выпускала работу из ослабевших рук, взор ее угасал, и она снова начинала сочинять романы, как в дни девичества, когда она уносилась в мир чарующих приключений. Однако голос Жюльена, отдававшего приказания дяде Симону, внезапно отрывал ее от этих баюкающих грез, и она снова бралась за бесконечную работу, говоря про себя: «Со всем этим кончено навсегда», и слеза падала на пальцы, державшие иглу.

Розали, прежде такая веселая и всегда что-нибудь напевавшая, также изменилась. Ее круглые щеки потеряли яркий румянец, осунулись и принимали порой землистый оттенок.

Жанна нередко спрашивала ее:

— Ты не больна ли, милая?

Горничная отвечала всегда одно и то же:

— Нет, сударыня!

Слабый румянец вспыхивал на ее щеках, и она быстро исчезала.

Вместо того чтобы бегать, как бывало, она едва волочила ноги, утратила даже прежнюю кокетливость и ничего не покупала у проезжих торговцев, напрасно выкладывавших перед нею шелковые ленты, корсеты и различные парфюмерные товары.

И, казалось, звенел пустотою весь этот громадный и мрачный дом, фасад которого дожди испещрили длинными серыми полосами.

В конце января выпал снег. Вдали показались огромные тучи, плывущие с севера над хмурым морем, и посыпались белые хлопья За ночь вся равнина была погребена под ними, а деревья к утру покрылись инеем.

Жюльен, в высоких сапогах, весь всклокоченный, проводил время в глубине леска, спрятавшись во рву, выходившем к ланде, и подстерегая перелетных птиц. Время от времени ружейный выстрел разрывал ледяное молчание полей, и стаи вспугнутых черных ворон взлетали с высоких деревьев, кружась в воздухе.

Жанна, изнемогая от скуки, выходила иногда на крыльцо. Шумы жизни, отраженные сонным спокойствием бледного и унылого покрова снегов, издалека доносились до нее.

Затем она уже переставала слышать что-либо, кроме рокота отдаленных волн и неясного несмолкавшего шороха беспрерывно сыпавшейся ледяной пыли.

И снежный покров поднимался все выше и выше из-за этого бесконечно падавшего густого и легкого мха.

В одно такое тусклое утро Жанна сидела, грея ноги у камина, в своей комнате, пока Розали, с каждым днем все более и более менявшаяся, медленно оправляла постель. Вдруг Жанна услыхала позади себя болезненный вздох. Не поворачивая головы, она спросила:

— Что с тобой?

Горничная, как всегда, отвечала:

— Ничего, сударыня.

Но голос ее казался надтреснутым, угасшим.

Жанна начала уже думать о чем-то другом, как вдруг заметила, что девушки больше не слышно в комнате.

Она позвала:

— Розали!

Девушка не откликнулась. Тогда, думая, что она незаметно вышла, Жанна крикнула громче:

— Розали!

Жанна уже хотела протянуть руку к звонку, когда глубокий стон, раздавшийся рядом с ней, заставил ее вскочить в испуге.

Служанка, мертвенно-бледная, с блуждающими глазами, сидела на полу, вытянув ноги и прислонясь к деревянной спинке кровати.

Жанна бросилась к ней:

— Что с тобой? Что с тобой?

Та не произнесла ни слова и не шевелилась; она устремила на госпожу безумный взгляд и задыхалась, словно ее раздирала нестерпимая боль. Затем, внезапно вытянувшись всем телом, она соскользнула на спину, стискивая зубы, чтобы заглушить мучительный крик.

Под платьем, облегавшим ее раздвинутые ляжки, вдруг что-то зашевелилось. И тотчас же оттуда послышался странный шум, какое-то клокотание, хрипение сдавленного горла, а затем внезапно раздалось протяжное кошачье мяуканье, слабая и уже скорбная жалоба, первый страдальческий крик ребенка, вступающего в жизнь.

Жанна вдруг все поняла и, потеряв голову, бросилась к лестнице, крича:

— Жюльен, Жюльен!

Он ответил снизу:

— Что тебе?

Она с трудом произнесла:

— Это... это Розали... Она ..

Жюльен кинулся наверх, шагая через несколько ступенек, влетел в комнату, одним взмахом поднял платье девушки и обнаружил ужасный комочек мяса, сморщенный, пищавший, скрюченный и весь покрытый слизью, шевелившийся между ее обнаженными ногами.

Он выпрямился с злобным выражением лица и вытолкнул из комнаты растерявшуюся жену:

— Это тебя не касается. Уходи. Пошли ко мне Людивину и дядю Симона.

Жанна, дрожа всем телом, спустилась в кухню, а затем, не решаясь подняться к себе, вошла в гостиную, которую не отапливали с самого отъезда родителей, и тревожно стала ждать, что будет.

Скоро она увидела, что слуга торопливо выбежал из дому. Через пять минут он вернулся с местной повивальной бабкой, вдовой Дантю.

Затем на лестнице началось шумное движение, будто несли раненого, и Жюльен пришел сказать Жанне, что она может вернуться к себе.

Она дрожала, словно ей пришлось присутствовать при каком-то ужасном несчастье. Она снова села у камина и спросила:

— Как она себя чувствует?

Жюльен, озабоченный, взволнованный, ходил по комнате взад и вперед; в нем, казалось, клокотал гнев. Сначала он ничего не ответил, но спустя несколько секунд произнес:

— Что ты намерена сделать с этой девушкой?

Она не поняла вопроса и смотрела на мужа:

— Как? Что ты хочешь сказать? Я не понимаю.

И вдруг он закричал, выйдя из себя:

— Не можем же мы держать незаконного ребенка у себя в доме!

Жанна была крайне смущена; после продолжительного молчания она сказала:

— Но, мой друг, быть может, его можно отдать на воспитание?

Он перебил ее:

— А кто за это будет платить? Ты, конечно?

Она долго раздумывала еще, отыскивая выход, и, наконец, сказала:

— Но отец позаботится о нем, об этом ребенке, и если он женится на Розали, все будет улажено.

Жюльен, видимо, теряя терпение, закричал в бешенстве:

— Отец!.. Отец!.. Знаешь ли ты его... отца-то?.. Нет? Не правда ли? Так что же тогда ..

Жанна, взволнованная и растроганная, ответила.

— Но ведь он не оставит девушку в таком положении. Это будет подло! Мы узнаем его имя, разыщем его, и он должен будет объясниться.

Жюльен успокоился и снова зашагал по комнате.

— Дорогая моя, Розали не хочет назвать имени этого человека; она тебе не признается, как и мне... А если он ее больше не хочет? Но мы-то не можем оставить у себя в доме девушку с ее незаконным ребенком, понимаешь?

Жанна упрямо повторяла:

— Значит, этот человек — негодяй, но надо во что бы то ни стало узнать, кто он, и ему придется иметь дело с нами.

Жюльен, сильно покраснев, продолжал сердиться:

— Ну... а пока?..

Она не знала, что решить, и спросила:

— Что же ты предлагаешь?

Он тотчас же высказал свое мнение:

— По-моему, очень просто. Я дам ей немного денег и пусть убирается к черту вместе со своим мальчишкой.

Молодая женщина пришла в негодование и возмутилась

— Ну, уж это никогда! Эта девушка — моя молочная сестра; мы выросли вместе. Она сделала ложный шаг, очень жаль; но за это я не выброшу ее на улицу, и если нужно, то даже воспитаю ее ребенка.

Тогда Жюльен вспылил·

— Хороша же будет репутация у нас с нашим именем и с нашими связями! Всюду будут говорить, что мы покровительствуем разврату, что мы даем приют потаскушкам, порядочные люди к нам ногой не ступят! О чем ты в самом деле думаешь? Ты просто сумасшедшая!

Она спокойно возражала:

— Я ни за что не позволю выбросить Розали на улицу, и если ты не хочешь оставить ее у нас, моя мать возьмет ее к себе; нам же надо во что бы то ни стало узнать об отце ее ребенка.

Тогда он, вне себя от гнева, вышел, хлопнув дверью и крикнув:

— До чего глупы женщины со своими рассуждениями!

После полудня Жанна пошла в роженице. Под присмотром вдовы Дантю горничная неподвижно лежала на кровати, широко раскрыв глаза, а сиделка укачивала на руках новорожденного.

Едва Розали увидела свою госпожу, как принялась рыдать, пряча лицо в простыни, вся сотрясаясь от отчаяния. Жанна хотела поцеловать ее, но та сопротивлялась, закрывалась одеялом. Тогда вмешалась сиделка и открыла ей лицо; Розали подчинилась, продолжая плакать, но уже тише.

Слабый огонь тлел в камине; было холодно; ребенок кричал. Жанна не решалась заговорить о малютке из боязни вызвать новый приступ слез и только взяла горничную за руку, машинально повторяя:

— Ну, ничего, ну, ничего.

Бедная девушка украдкой поглядывала на сиделку и вздрагивала, когда кричал ребенок; по временам ее сдерживаемая скорбь прорывалась в конвульсивных всхлипываниях, а подступавшие слезы клокотали в горле.

Жанна еще раз поцеловала ее и едва слышно шепнула на ухо:

— Мы позаботимся о нем, дорогая.

Тут начался новый приступ слез, и Жанна поспешила уйти.

Каждый день она приходила к Розали, и каждый раз при виде хозяйки служанка начинала рыдать.

Ребенка отдали по соседству кормилице.

Жюльен между тем едва разговаривал с женой, словно затаил против нее сильную злобу с тех пор, как она отказалась прогнать горничную. Как-то раз он снова вернулся к этой теме, но Жанна в ответ вытащила из кармана письмо баронессы, в котором та требовала, чтоб ей немедленно прислали девушку, если не хотят оставить ее в «Тополях». Жюльен в бешенстве крикнул:

— Твоя мать такая же сумасшедшая, как и ты.

Но больше он уже не настаивал.

Через две недели роженица смогла встать с постели и снова принялась за работу.

Однажды утром Жанна усадила ее, взяла за руки и, пристально глядя на нее, сказала:

— Слушай, милая, расскажи мне все.

Розали начала дрожать и пролепетала:

— Что, сударыня?

— От кого ребенок?

Тогда горничною снова овладело страшное отчаяние; она растерянно старалась высвободить руки и закрыть ими лицо.

Но Жанна насильно поцеловала ее и попыталась утешить:

— Это, конечно, несчастье, дорогая, но что же делать? Ты не устояла, это случается и с другими. Если отец ребенка женится на тебе, все забудется, и мы сможем взять его вместе с тобою на службу.

Розали стонала, словно ее пытали, и время от времени порывалась вырваться и убежать.

Жанна продолжала:

— Я понимаю, что тебе стыдно, но ты же видишь: я не сержусь и говорю с тобой ласково. Если я спрашиваю имя этого человека, то для твоего же блага; ведь я чувствую по тому, как ты страдаешь, что он тебя бросил, и хочу помешать этому. Жюльен найдет его, и знай, мы заставим его жениться на тебе, а так как вы оба останетесь у нас, то мы также заставим его сделать тебя счастливой.

На этот раз Розали дернулась так сильно, что вырвала свои руки из рук госпожи, и убежала как помешанная.

Вечером за обедом Жанна сказала Жюльену:

— Я хотела заставить Розали открыть мне имя ее обольстителя. Мне это не удалось. Попробуй ты; надо же принудить этого негодяя жениться на ней.

Но Жюльен сразу же вспылил:

— Знаешь, я не желаю больше и слышать об этой истории. Ты захотела оставить у себя эту девушку, пусть так и будет; но не надоедай мне с этим делом.

Казалось, со дня родов Розали он стал еще раздражительнее; он усвоил привычку разговаривать с женой не иначе, как крича, точно он всегда был взбешен на нее, хотя она, напротив, понижала голос и говорила ласково, в примирительном тоне, чтобы избежать всяких пререканий; лежа в постели, по ночам, она теперь нередко плакала.

Несмотря на постоянное раздражение против жены, муж вернулся снова к обязанностям любви, совершенно забытым со времени их возвращения, и редко проходило подряд три вечера, чтоб он не переступал порога супружеской спальни.

Розали вскоре совсем оправилась и стала менее печальной, хотя все еще оставалась какой-то подавленной и словно преследуемой непонятным страхом.

Еще два раза убегала она от Жанны, когда та снова пыталась расспрашивать ее.

Жюльен сделался вдруг также более приветливым, и у молодой женщины вновь зашевелились неясные надежды; к ней вновь вернулось веселое настроение, хотя она и чувствовала по временам какое-то странное недомогание, о котором никому не говорила.

Оттепели еще не было, и в продолжение почти пяти недель небо, днем ясное, как голубой кристалл, а ночью все усеянное звездами, которые можно было принять за иней — до того морозно было все это огромное пространство,— расстилалось над однообразным, твердым, сверкающим покровом снегов.

Фермы, огороженные квадратными двориками, заслоненные громадными деревьями, напудренными инеем, казалось, уснули в белых рубашках. Ни люди, ни животные не выходили наружу, и только трубы хижин свидетельствовали о скрытой жизни тонкими струйками дыма, поднимавшимися прямо ввысь в морозном воздухе.

Равнина, изгороди, вязы у заборов — все, казалось, было мертво, убито холодом. Время от времени слышался треск деревьев, словно их деревянные конечности ломались под корой; иногда отрывалась и падала толстая ветка: это от сильной стужи застывал древесный сок и разрывались волокна.

Жанна с тоской ждала возвращения теплого ветра, приписывая мучившие ее необъяснимые недомогания суровости климата этого времени года.

То она не могла ничего есть, чувствуя отвращение ко всякой пище; то ее пульс начинал безумно биться; то самое легкое кушанье вызывало у нее расстройство пищеварения; вдобавок из-за вечно натянутых нервов она волновалась по любому поводу и жила в постоянном, нестерпимом возбуждении.

Однажды вечером термометр упал еще ниже. Жюльен, выходя из-за стола и дрожа (зал никогда не бывал достаточно натоплен из-за экономии дров), пробормотал, потирая руки:

— Хорошо будет сегодня спать вдвоем, не правда ли, кошечка?

Он засмеялся своим прежним добрым, детским смехом, и Жанна бросилась к нему на шею; но именно в этот вечер ей было так не по себе, так нездоровилось, она чувствовала себя такой нервной, что, целуя мужа в губы, чуть слышно попросила его оставить ее спать одну. В нескольких словах она сказала ему о своем недомогании.

— Прошу тебя об этом, милый, уверяю тебя, мне очень нехорошо; завтра мне, наверно, будет лучше.

Он не настаивал:

— Как хочешь, дорогая: если ты больна, то надо поберечься.

И они заговорили о другом.

Она легла рано. Жюльен, против обыкновения, приказал затопить камин в своей комнате. Когда ему сказали, что «разгорелось хорошо», он поцеловал жену в лоб и ушел.

Весь дом, казалось, был во власти холода: стены, пронизанные им, слегка потрескивали, точно от озноба, и Жанна дрожала в своей постели.

Два раза она вставала, чтобы подложить в камин дров и достать все свои платья, юбки, старую одежду, и навалливала все это на постель. Ничто не могло ее согреть: ноги у нее онемели, а по икрам до самых бедер пробегала дрожь, заставлявшая ее беспрестанно ворочаться, волноваться и нервничать до последней степени

Скоро у нее начали стучать зубы, руки дрожали, грудь сжимало; замиравшее сердце билось глухими толчками и порою как будто готово было остановиться; она задыхалась, точно ей не хватало воздуха.

Мучительная тоска охватила ее душу, и в то же время непреодолимый холод пронимал ее до мозга костей. Никогда еще не испытывала она ничего подобного, жизнь словно покидала ее; она готова была испустить последнее дыхание

Она подумала: «Я умру... Умираю...»

Полная ужаса, она вскочила с постели, позвала Розали, подождала, позвонила снова и опять стала ждать, дрожа и леденея.

Служанка не являлась. Она, без сомнения, спала тем крепким первым сном, от которого не пробудишь, и Жанна, теряя голову, бросилась босиком на лестницу.

Она бесшумно, ощупью поднялась, отыскала дверь, отворила ее, позвала: «Розали!»,— двинулась дальше, наткнулась на кровать, провела по ней рукой и убедилась, что она пуста. Она была пуста и холодна, словно никто в нее и не ложился.

Жанна подумала в удивлении: «Как! Она ушла из дому в такую погоду!»

Но сердце ее вдруг бурно заколотилось и запрыгало, и она, задыхаясь, кинулась разбудить Жюльена; ноги отказывались ей служить.

Она порывисто вбежала к нему, в уверенности, что сейчас умрет, и желая увидеть его раньше, чем потеряет сознание.

При свете потухавшего огня она увидела на подушке рядом с головой мужа голову Розали.

От крика, вырвавшегося у нее, оба они вскочили. Секунду она стояла неподвижно, пораженная своим открытием. Затем бросилась вон, вбежала к себе в комнату; растерявшийся Жюльен позвал ее: «Жанна!» — и ее охватил невыразимый ужас при мысли о том, что она увидит его, услышит его голос, его объяснения, его ложь, встретится с ним лицом к лицу; и она снова стремительно бросилась на лестницу и побежала вниз.

Она мчалась теперь в темноте, рискуя скатиться с каменных ступенек и разбиться о них. Она летела куда глаза глядят, гонимая властной потребностью убежать, ничего не слышать, ничего не видеть.

Сбежав вниз, она села на ступеньку, по-прежнему в одной рубашке, босиком, и замерла, перестав что-либо соображать.

Жюльен, вскочив с постели, наспех одевался. Услышав его движения и шаги, она поднялась снова, чтобы бежать от него.

Он уже сходил с лестницы и кричал:

— Послушай, Жанна!

Нет, она не хотела его слушать, не хотела, чтоб он коснулся до нее хоть пальцем, и бросилась в столовую, точно спасаясь от убийцы. Она искала выхода, тайника, темного угла, какого-нибудь средства избавиться от него. Она забилась под стол. Но он уже отворял дверь, со свечой в руках, все еще повторяя: «Жанна!» — и она снова понеслась, как заяц, бросилась в кухню и обежала ее два раза, словно загнанный зверь, и так как он настигал ее опять, она внезапно отворила наружную дверь и выбежала из дому.

Ледяное прикосновение снега, в который ее голые ноги уходили порой по колени, придало ей вдруг отчаян-

ную силу. Она не чувствовала холода, хотя была раздета; она ничего больше не чувствовала, до такой степени душевная боль усыпила восприимчивость ее тела, и она бежала белая, подобно земле.

Она направилась по большой аллее, миновала рощу, перепрыгнула ров и бегом пустилась по равнине.

Луны не было; звезды сверкали на темном небе, словно россыпь искр, но равнина, застывшая в неподвижности, в бесконечном молчании, все же светилась тусклой белизной.

Жанна бежала, не переводя дыхания, ничего не сознавая, ни о чем не думая. И вдруг очутилась на краю обрыва. Она сразу инстинктивно остановилась и присела на корточки, без мысли, без воли.

В темной бездне перед нею невидимое и немое море дышало соленым запахом водорослей, выброшенных приливом.

Она долго сидела так, застыв душою и телом; затем вдруг начала дрожать отчаянной дрожью, как парус, терзаемый ветром. Ее руки, плечи, ноги, сотрясаемые неудержимой силой, судорожно дергались; и вдруг к ней вернулось сознание, ясное и мучительно острое.

Потом перед ее глазами поплыли видения прошлого: прогулка с Жюльеном в лодке дядюшки Лястика, их беседа, зарождение ее любви, крестины лодки; ее мысли ушли еще дальше, к той ночи, убаюканной мечтами, когда она приехала в «Тополя». А теперь! Теперь! О! Вся жизнь разбита, все радостное миновало, ждать больше нечего; ужасное будущее, полное мучений, измен, отчаяния, встало перед ней. Лучше умереть, тогда всему конец.

Но вдали послышался голос:

— Здесь, здесь! Вот следы! Скорей, скорей сюда!

То был Жюльен, искавший ее.

О! Она не хотела его видеть. Там, перед собой, в бездне она услышала теперь легкий шум, неясный плеск моря, скользящего по утесам.

Она вскочила и уже выпрямилась, чтобы броситься туда, и, посылая жизни безнадежное прости, жалобно выкрикнула последнее слово умирающих, последнее слово молодых солдат, смертельно раненных в битве:

— Мама!

Внезапно мысль о мамочке пронизала ее; она увидела ее рыдающей; увидела своего отца на коленях перед ее изуродованным трупом и в одну секунду пережила все муки их отчаяния.

И тогда она снова бессильно опустилась на снег и не пробовала уже сопротивляться, когда Жюльен и дядя Симон в сопровождении Мариюса, державшего фонарь, схватили ее за руки, чтобы оттащить назад; она была на самом краю обрыва.

Они делали с нею все, что хотели, так как она не могла шевельнуться Она чувствовала, как ее понесли, а затем положили в постель и растирали горячими полотенцами; затем воспоминания оборвались, сознание исчезло.

Потом ею овладел кошмар, но был ли то кошмар? Она лежала в своей комнате Был день, но она не могла подняться. Почему? Она этого не знала. Тогда она услышала слабый шум на полу, что-то вроде царапанья, какой-то шорох, и вдруг мышка, маленькая серая мышка промчалась по ее простыне. За нею тотчас последовала другая, за другой третья, быстрыми мелкими шажками подбиравшиеся к ее груди. Жанне не было страшно; она хотела схватить зверька и протянула руку, но ничего не поймала.

Тогда другие мыши — десять, двадцать, сотни, тысячи — показались со всех сторон. Они карабкались по колонкам, шныряли по обоям, покрывали всю постель. Скоро они проникли и под одеяло; Жанна чувствовала, как они скользят по ее коже, щекочут ей ноги, взбираются и спускаются по всему телу. Она видела, как они поднимаются по ножкам кровати и хотят пробраться к ее горлу; она отбивалась, вытягивала руки вперед, чтобы поймать хотя одну, и каждый раз в руках ее ничего не было.

Она приходила в отчаяние, хотела бежать, кричала, и ей казалось, что ее заставляют лежать неподвижно, что сильные руки схватили ее и держат; но она никого не видела.

У нее не было никакого представления о времени. Должно быть, это длилось долго, очень долго.

Затем она очнулась; она очнулась усталая, разбитая

и все же с приятным ощущением. Она чувствовала себя слабой-слабой. Открыла глаза и нисколько не удивилась, увидев мамочку, сидящую в комнате с каким-то толстяком, которого она совершенно не знала.

Сколько ей лет? Она уже не отдавала себе в этом отчета и представляла себя совсем маленькой девочкой. Не было у нее также и никаких воспоминаний.

Толстяк сказал:

— Смотрите, сознание возвращается.

И мамочка заплакала. Тогда толстяк заговорил снова:

— Успокойтесь, баронесса, говорю вам, что теперь я отвечаю за нее. Только не разговаривайте с нею ни о чем, ни о чем. Пусть она спит.

Жанне казалось, что она еще очень долго пробыла в такой дремоте, что как только она пробовала о чем-нибудь задуматься, ее охватывал тяжелый сон; но она и не пробовала вспоминать о прошлом, словно чувствуя смутный страх перед тем, что действительность может восстановиться в ее сознании.

Но как-то раз, проснувшись, она увидела около себя только Жюльена, и вдруг ей припомнилось все, словно перед нею поднялась завеса, скрывавшая прошлое.

Она почувствовала страшную боль в сердце, и ей снова захотелось бежать. Она сбросила с себя простыни, соскочила на пол и упала, потому что еще не могла держаться на ногах.

Жюльен бросился к ней, и она стала кричать, чтоб он не касался ее. Она извивалась, катаясь по полу. Отворилась дверь. Прибежала тетя Лизон и вдова Дантю, затем барон, и, наконец, появилась мамочка, запыхавшаяся, перепуганная.

Ее снова уложили, и она тотчас же намеренно закрыла глаза, чтобы не разговаривать и поразмыслить без помехи.

Мать и тетка ухаживали за ней, суетились и спрашивали:

— Слышишь ли ты нас теперь, Жанна, малютка моя?

Притворяясь, будто она не слышит, Жанна не отвечала; между тем она отлично сознавала, что день подходит к концу. Настала ночь Около нее поместилась сиделка, время от времени подававшая ей пить.

Жанна пила, не говоря ни слова, но больше не спала; она мучительно думала, стараясь припомнить то, что от нее ускользнуло, словно у нее в памяти были провалы, большие белые, пустые места, на которых события не оставили следа.

Мало-помалу, после больших усилий, ей удалось восстановить все факты.

И она сосредоточенно и упорно стала обдумывать их.

Мамочка, тетя Лизон и барон приехали сюда; следовательно, она серьезно больна. Но Жюльен? Что сказал он? Знают ли ее родители? А Розали? Где она теперь? И что теперь делать, что делать? Ее осенила мысль — вернуться жить в Руан вместе с отцом и матерью, как раньше. Она будет вдовою — только и всего.

Затем она стала терпеливо и хитро выжидать, сознавая все, но не показывая и виду, радуясь возвращению рассудка.

Наконец как-то вечером, оставшись наедине с баронессой, она тихонько позвала ее:

— Мамочка!

Собственный голос удивил ее, показался ей изменившимся.

Баронесса схватила ее за руку:

— Девочка моя, дорогая моя, девочка моя, ты узнаешь меня?

— Да, мамочка, только не надо плакать; нам надо о многом поговорить. Сказал тебе Жюльен, почему я в ту ночь убежала по снегу?

— Да, моя крошка, ты схватила сильную и очень опасную горячку.

— Это не так, мама. Горячка сделалась потом; но сказал ли он тебе, что было причиной этой горячки и почему я убежала?

— Нет, дорогая.

— Это случилось потому, что я застала Розали в его постели

Баронесса подумала, что она опять бредит, и стала ее ласкать:

— Усни, моя крошка, успокойся, постарайся уснуть.

Но Жанна упорно возражала:

— Я теперь в полном сознании, мамочка, и уже не заговариваюсь, как было, вероятно, в последние дни. Раз ночью я почувствовала себя очень плохо и пошла за Жюльеном. Розали спала вместе с ним. Я потеряла голову от отчаяния и побежала по снегу, чтобы броситься с обрыва.

Но баронесса повторяла:

— Да, моя крошка, ты была очень, очень больна

— Это не так, мама. Я застала Розали в постели Жюльена и не хочу больше оставаться с ним. Увези меня с собой в Руан, как прежде.

Баронесса, которой доктор велел ни в чем не прогиворечить больной, ответила:

— Хорошо, моя крошка.

Но больная начала раздражаться:

— Я вижу, что ты мне не веришь. Поди позови папочку, он скорей поймет меня

Мамочка поднялась с трудом, взяла обе свои палки и вышла, волоча ноги; несколько минут спустя она вернулась в сопровождении барона, который ее поддерживал.

Они сели у постели, и Жанна тотчас заговорила. Она не спеша, гихим голосом, но очень отчетливо рассказала обо всем: о странном характере Жюльена, о его грубых выходках, о скаредности и, наконец, о его измене.

Когда Жанна кончила, барон убедился, что она не бредит, но не знал, что подумать, на что решиться и что ответить.

Он нежно взял ее за руки, как бывало в старые годы, когда он убаюкивал ее сказками:

— Слушай, дорогая, надо действовать осмотрительно Не будем торопиться; постарайся терпеть мужа, пока мы не придем к какому-либо решению... Обещаешь мне это?

Она прошептала:

— Я постараюсь, но не останусь здесь после того, как выздоровлю.

Затем чуть слышно прибавила:

— Где теперь Розали?

Барон отвечал:

— Ты не увидишь ее больше.

Но она настаивала:

— А где она? Я хочу знать

Тогда барон сознался, что она еще здесь; но он заверил, что она скоро уедет.

Выйдя из комнаты больной, барон, пылая гневом, оскорбленный в своих отеческих чувствах, отправился к Жюльену и резко заявил ему:

— Сударь, я требую от вас отчета в вашем поведении относительно моей дочери. Вы изменяли ей с горничной, это вдвойне бесчестно.

Жюльен разыграл невинность, горячо отрицал, клялся, призывал бога в свидетели Да и какие наконец имеются доказательства? Ведь Жанна была в состоянии помешательства. Ведь у нее была горячка. Ведь в ту ночь, когда началась ее болезнь, она бегала по снегу в приступе безумия. Во время этого-то приступа, когда она, почти голая, бегала по дому, ей и показалось, что она видит свою горничную в постели мужа!

Он горячился, грозил процессом, страшно негодовал А сконфуженный барон извинялся, просил прощения и протянул ему свою честную руку, которую Жюльен отказался пожать.

Когда Жанна узнала об ответе мужа, она нисколько не рассердилась и ответила:

— Он лжет, папа, но мы заставим его сознаться

Два дня она была молчалива, сосредоточенна и задумчива.

На третий день утром она захотела увидеть Розали.

Барон отказался позвать к ней служанку, заявив, что она уехала. Жанна настаивала, твердя:

— Так пусть за ней пошлют.

Она начала уже раздражаться, когда вошел доктор. Ему сообщили все, чтобы он мог высказать свое суждение. Но Жанна вдруг начала плакать, страшно первничая, почти крича:

— Я хочу видеть Розали! Хочу ее видеть!

Тогда доктор взял ее за руку и, понизив голос, сказал:

— Успокойтесь, сударыня: всякое волнение для вас опасно, потому что вы беременны.

Она смолкла, словно сраженная ударом, и ей тотчас же показалось, что в ней что-то шевелится. Затем она погрузилась в молчание, перестав даже слушать, что говорили вокруг нее, углубившись в свои мысли. Ночью она не могла заснуть, всецело поглощенная новой и странной мыслью, что в ней, в ее чреве, живет ребенок; она была грустна, удручена тем, что это ребенок Жюльена, полна беспокойства и боязни, что он будет походить на отца. С наступлением утра она велела позвать барона.

— Папочка, мое решение принято окончательно; я хочу знать все и особенно теперь; слышишь — хочу, а ты знаешь, что меня в моем положении не следует раздражать. Слушай же внимательно. Пригласи к нам господина кюре. Он мне необходим, чтобы помешать Розали лгать. Как только он придет, позови сюда Розали и сам с мамочкой тоже останься здесь. Постарайся только, чтоб Жюльен ничего не заподозрил.

Час спустя в комнату вошел священник, еще больше разжиревший и задыхающийся так же, как мамочка. Он уселся рядом с нею в кресло, свесив живот меж раздвинутых ног, и начал шутить, ежеминутно по привычке отирая лоб клетчатым платком:

— Ну, баронесса, мы с вами, кажется, не худеем; по-моему, мы под стать друг другу.

И он повернулся к постели больной:

— Хе-хе! Что это мне говорят, будто у нас скоро опять крестины? Ха-ха-ха! И уж не лодку будем крестить на этот раз.

Потом он прибавил серьезным тоном:

— То будет, наверно, защитник отечества.

Помолчав немного, он присовокупил:

— Или же это будет добрая мать семейства.

И поклонился в сторону баронессы:

— Как вы, сударыня.

Дверь в глубине комнаты отворилась. Розали, растерянная, в слезах, подталкиваемая сзади бароном,

упиралась, цепляясь за приголоку. Потеряв терпение, барон одним толчком впихнул ее в комнату. Но она закрыла лицо руками и остановилась, рыдая.

Едва увидев ее, Жанна выпрямилась и села на постели, побелев, как простыня; обезумевшее сердце вздымало своими ударами тонкую рубашку, облегавшую ее тело. Она не могла говорить, задыхалась, едва переводила дух. Наконец прерывающимся от волнения голосом она произнесла:

— Мне .. мне . не нужно... расспрашивать тебя. Мне... мне... достаточно взглянуть на тебя... чтоб увидеть... как тебе стыдно передо мною.

После некоторой паузы, так как ей не хватало воздуха, она продолжала:

— Но я хочу знать все... все Я пригласила господина кюре, чтобы это было, как на исповеди, слышишь?

Розали не двигалась, и сквозь стиснутые руки раздавались ее приглушенные вопли.

Поддавшись порыву гнева, барон схватил ее за руки, с силой оторвал их от лица и бросил ее на колени перед кроватью:

— Говори же... Отвечай!

Она так и осталась на полу в позе кающейся Магдалины; чепчик ее сбился на сторону, фартук распластался по полу, и она снова закрыла лицо руками, как только они оказались свободными.

Теперь к ней обратился кюре:

— Ну, дочь моя, слушай, что тебе говорят, и отвечай. Мы не хотим сделать тебе ничего дурного, но желаем знать то, что произошло.

Жанна смотрела на нее, свесившись с кровати Наконец она сказала:

— Это правда, что ты была в постели Жюльена, когда я вас застигла?

Розали сквозь сжатые руки простонала:

— Да, сударыня.

Тогда баронесса внезапно принялась также плакать, шумно всхлипывая; ее судорожные рыдания вторили рыданиям Розали.

Жанна, пристально глядя на служанку, спросила:

— С каких пор это началось у вас?

Розали пролепетала:

— С тех пор, как он приехал.

Жанна не поняла:

— С тех пор, как он приехал .. значит... значит... с весны?

— Да, сударыня.

— С тех пор, как он вообще появился в этом доме?

— Да, сударыня

Жанна продолжала торопливо спрашивать, точно обилие вопросов мучило ее:

— Но как же это случилось? Как заговорил он об этом с тобой? Как он тобой овладел? Что он сказал тебе? Когда и как ты уступила ему? Как могла ты ему отдаться?

Розали отняла руки от лица, тоже испытывая лихорадочное желание говорить, потребность высказаться:

— Да почем я знаю? Это было в тот день, когда он у нас в первый раз обедал. Он пришел в мою комнату Спрятался на чердаке. Я не смела кричать, чтобы не вышло истории. И он лег ко мне. Я сама себя не помнила тогда. Он делал со мной все, что хотел. Я ничего тогда не сказала потому, что уж очень он был мне по сердцу!..

Жанна вскрикнула:

— Значит... твой... твой... ребенок... от него?

Розали зарыдала:

— Да, сударыня.

Они смолкли.

Слышны были только рыдания Розали и баронессы

Подавленная Жанна почувствовала, что ее глаза тоже мокры, и крупные слезы беззвучно потекли по ее щекам. У ребенка горничной и у ее ребенка один отец Ее гнев утих Она чувствовала себя теперь во власти мрачного, тяжелого, глубокого, безграничного отчаяния.

Наконец она возобновила расспросы изменившимся, смягченным голосом плачущей женщины:

— С тех пор как мы вернулись оттуда .. из нашей поездки... когда он начал опять?

Горничная, совсем пригнувшись к земле, пролепетала:

— В... в первый вечер... он пришел ко мне.

Каждое слово терзало сердце Жанны. Итак, в первый же вечер, в вечер их возвращения в «Тополя», он покинул ее ради этой девушки. Вот почему он оставлял ее по ночам одну!

Теперь она знала уже достаточно и больше ничего не хотела слышать. Она закричала.

— Уйди! Уйди!

А так как Розали, уничтоженная, не двигалась с места, Жанна крикнула отцу:

— Уведи ее, удали!

Но священник, молчавший до сих пор, счел момент подходящим, чтобы вставить маленькую проповедь.

— Ты поступила очень дурно, дочь моя, очень дурно, и милосердный бог не скоро простит тебе Подумай об аде, который ждет тебя, если ты не постараешься впредь хорошо себя вести. Теперь, имея ребенка, ты должна исправиться Баронесса, без сомнения, сделает для тебя, что может, и мы подыщем тебе мужа ..

Он говорил бы и дальше, но барон опять схватил Розали за плечи, поднял ее, доташил до двери и вышвырнул, как мешок, в коридор.

Едва лишь барон, бледный, как его дочь, вернулся обратно, кюре начал снова:

— Что поделаешь? Они здесь все такие Это очень прискорбно, но ничего добиться нельзя, приходится быть снисходительным к слабостям природы. Ни одна из них не выходит замуж, не забеременев сначала Ни одна, сударыня.

И он, улыбаясь, прибавил:

— Можно подумать, что это местный обычай

Затем заговорил негодующе:

— Даже дети попадаются в подобных вещах. Я сам поймал в прошлом году на кладбище двух школьников, мальчика и девочку. Я известил родителей! И знаете, что они мне ответили? «Что делать, господин кюре! Ведь не мы их научили этой гадости; мы ничего тут не можем поделать». Ваша служанка, сударь, поступила, как все другие...

Но барон, нервно дрожа, прервал его:

— Как другие? Какое мне дело до нее! Меня воз-

мущает Жюльен. Он сделал подлость, и я увезу мою дочь

Он шагал по комнате, все больше волнуясь и раздражаясь.

— Это подлость — так изменить моей дочери, подлость! Этот человек — негодяй, каналья, гадина! И я скажу ему это, я дам ему пощечину, я убью его своей палкой!

Но священник, сидя рядом с плачущей баронессой и медленно втягивая понюшку табаку, обдумывал, как ему приступить к выполнению своей миссии миротворца, и возразил:

— Позвольте, барон, говоря между нами, виконт поступил, как поступают все Много ли вы знаете верных мужей?

И он с лукавым добродушием прибавил:

— Знаете, держу пари, что и у вас были проказы Ну, положа руку на сердце, разве это не правда?

Барон в смущении стоял лицом к лицу со священником, а тот продолжал:

— Ну что же, вы поступали так, как другие. Почем знать; быть может, даже и вам пришлось когда-нибудь пощупать такую вог милашку, как эта. Говорю вам: все так делают. И ваша жена была от этого не менее счастлива, не менее любима, не правда ли?

Барон, застигнутый врасплох, не трогался с места. Он в самом деле так поступал, черт возьми, и даже очень часто, всякий раз, когда к этому представлялась возможность; он так же не уважал семейного очага и никогда не отступал перед горничными своей жены, если они были красивы! Разве был он негодяем из-за этого? Почему же он так строго осуждает поведение Жюльена, если никогда не задумывался о том, что его собственное поведение могло считаться преступным?

И у баронессы, все еще всхлипывающей, промелькнула на губах тень улыбки при воспоминании о проказах супруга; ведь она принадлежала к тем сентиментальным, быстро смягчающимся и благодушным людям, для которых любовные приключения составляют существенную часть жизни.

Обессиленная Жанна вытянулась на спине, широко

открыв глаза, безвольно раскинув руки, и мучительно думала. Ей запомнились слова Розали, которые больно ранили ее и, словно буравчик, сверлили ей сердце: «Я ничего тогда не сказала потому, что уж очень он был мне по сердцу!..»

Ей он также был по сердцу, и именно поэтому она отдалась ему, соединилась с ним на всю жизнь, отказалась от других надежд, от всевозможных планов, от всей неизвестности будущего. Она ринулась в этот брак, в эту бескрайную пропасть, которая привела ее к страданию, к тоске и безнадежности только потому, что ей, как и Розали, он был по сердцу!

Дверь отворилась от бешеного толчка. Явился разъяренный Жюльен. Он увидел на лестнице рыдающую Розали и пришел узнать, в чем дело, сообразив, что тут что-то затевают и что горничная, без сомнения, проболталась. Присутствие священника приковало его к месту.

Взволнованным, но тихим голосом он спросил:

— Что такое? В чем дело?

Барон, так сильно свирепствовавший только что, не осмелился ничего сказать, побаиваясь доводов священника и того, что зять может сослаться на его собственный пример. Мамочка только сильнее заплакала. Но Жанна приподнялась на локте и, задыхаясь, смотрела на того, из-за которого так жестоко страдала.

Прерывающимся голосом она проговорила:

— Случилось то, что нам теперь все известно, что мы знаем все ваши гнусности с тех пор... с того самого дня, как вы вступили в этот дом... и ребенок этой служанки так же ваш... так же . как и мой... они братья...

Страшное горе охватило ее при этой мысли, и она повалилась на постель, неудержимо рыдая.

Жюльен стоял, оторопев, не зная, что сказать, как поступить. Кюре вмешался снова:

— Перестаньте, перестаньте, не будем так горевать, сударыня; будьте же благоразумны.

Он встал, подошел к кровати и положил свою теплую руку на лоб отчаявшейся женщины. Это простое прикосновение странным образом успокоило ее: она тотчас же почувствовала себя ослабевшей, точно эта

сильная рука деревенского жителя, привыкшая жестом отпускать грехи и ласково ободрять, принесла ей своим прикосновением таинственное умиротворение.

Добродушный старик, все еще стоя около нее, продолжал:

— Надо всегда прощать, сударыня. Вас посетило большое несчастье, но бог в своем милосердии вознаградил вас за это великой радостью, ибо вам предстоит стать матерью. Этот ребенок будет вашим утешением. И во имя его я умоляю и заклинаю вас простить господину Жюльену его заблуждение. Это будет новой связью между вами, залогом его будущей верности. Можете ли вы сердцем своим стать чуждой тому, чей плод вы носите в своем чреве?

Истерзанная, исстрадавшаяся, опустошенная, она ничего не отвечала, не чувствуя в себе больше сил ни для гнева, ни для ненависти. Казалось, ее нервы ослабели, точно их подрезали; она была чуть жива.

Баронесса, которой злопамятство было совсем чуждо и воля которой была решительно неспособна к какому-либо продолжительному напряжению, прошептала:

— Ну, Жанна!

Тогда кюре взял руку молодого человека и вложил ее в руку жены, подведя его к кровати. Затем он легонько хлопнул по их соединенным рукам, словно для того, чтобы связать их окончательно, и, оставив профессиональный проповеднический тон, сказал с довольным видом:

— Вот так! Поверьте, оно и лучше будет.

Две руки, соединенные на минуту, тотчас же разомкнулись. Не посмев обнять Жанну, Жюльен поцеловал в лоб тещу, повернулся на каблуках, взял под руку барона, который не противился этому, будучи счастлив в глубине души, что все уладилось, и они вышли вместе выкурить сигару.

Тогда обессиленная больная задремала, а священник и мамочка продолжали разговаривать вполголоса.

Аббат говорил, объяснял, развивал свои соображения, а баронесса все время соглашалась с ним, кивая головой. В заключение священник сказал:

— Итак, решено. Вы даете за этой девушкой барвильскую ферму, а я берусь подыскать ей мужа, честного, порядочного парня. О, с приданым в двадцать тысяч франков у нас не будет недостатка в охотниках! Нам останется только выбирать.

Баронесса тоже улыбалась теперь, чувствуя себя вполне счастливой; две слезинки еще остались у нее на щеках, но влажные следы их уже высохли.

Она подтвердила:

— Хорошо. Барвиль стоит по меньшей мере двадцать тысяч франков, но надо записать ферму на имя ребенка; родители же смогут при жизни пользоваться доходами с нее.

Кюре поднялся и, пожимая руку мамочке, повторял:

— Не беспокойтесь, баронесса, не беспокойтесь; я хорошо знаю, чего стоит вам каждый шаг.

Выходя, он встретил тетю Лизон, которая шла проведать больную, она ни о чем не подозревала, ей ничего не сказали, и, как всегда, она ничего не узнала.

VIII

Розали покинула дом, а Жанна отбывала период своей скорбной беременности. Она не ощущала ни малейшей радости при мысли, что сделается матерью: пережитое горе подавляло ее. Она ждала ребенка без всякого любопытства, томясь страхом новых бесконечных несчастий.

Весна подошла незаметно. Голые деревья дрожали под порывами еще холодного ветра, а из-под прелых осенних листьев во влажной траве канав начали уже пробиваться желтые подснежники. С равнины, из дворов ферм, с размытых полей — отовсюду поднимался сырой запах, запах брожения. Из глинистой земли показывалось множество крошечных зеленых точек и сверкало под лучами солнца.

Толстая женщина, здоровенная, как крепостная стена, заменила Розали и поддерживала баронессу во время ее однообразных прогулок по аллее, на которой беспрестанно оставался влажный и грязный след ее больной, более неповоротливой ноги.

Папочка подавал руку Жанне, отяжелевшей теперь и постоянно чувствовавшей недомогание; тетя Лизон, встревоженная и захлопотавшаяся в ожидании предстоящего события, брала ее под руку с другой стороны, испытывая глубокое волнение при виде той тайны, узнать которую ей не было суждено.

Целыми часами расхаживали они так, почти не разговаривая, в то время как Жюльен разъезжал по окрестностям верхом, это новое увлечение внезапно захватило его

Ничто более не тревожило их однообразной и тусклой жизни. Барон, баронесса и виконт сделали визит Фурвилям, с которыми Жюльен, по-видимому, был уже близко знаком, хотя никто хорошенько не знал, как произошло это знакомство Другим визитом, очень церемонным, они обменялись с Бризвилями, по-прежнему уединенно жившими в своем сонном замке.

Однажды около четырех часов пополудни на двор, прилегающий к замку, рысью въехали два всадника: мужчина и женщина; Жюльен, сильно взволнованный, вбежал в комнату Жанны:

— Скорей, скорей сойди вниз! Это Фурвили. Они приехали запросто, по-соседски, зная о твоем положении. Скажи, что я куда-то вышел, но скоро вернусь. Я только переоденусь.

Удивленная Жанна сошла в гостиную Молодая дама, бледная, хорошенькая, болезненная, с чересчур блестящими глазами и белокурыми волосами такого матового оттенка, точно их никогда не ласкал луч солнца, спокойно представила ей своего мужа, великана с длинными рыжими усами, смотревшего букой. Затем она сказала:

— Мы уже несколько раз встречались с господином де Лямар и знаем от него, что вы себя плохо чувствуете. Нам не хотелось откладывать дольше знакомства с вами, и мы явились на правах соседей, без всяких церемоний. Вы видите, мы приехали верхом К тому же мы имели удовольствие видеть у себя вашу матушку и барона.

Она говорила с полной непринужденностью, просто и с достоинством. Жанна была очарована и сразу по-

чувствовала к ней влечение. «Вот — друг»,— подумала она.

Граф де Фурвиль, напротив, казался медведем, забравшимся в гостиную. Усевшись, он положил шляпу на соседний стул и долго не знал, куда девать руки: он оперся ими о колени, затем о ручки кресла и, наконец, сложил пальцы, как на молитве.

Вдруг вошел Жюльен. Изумленная Жанна не узнала его Он побрился. Он был красив, изящен и обольстителен, как в дни своего жениховства. Он пожал косматую лапу графа, словно пробудившегося при его появлении, и поцеловал руку графини, щеки которой цвета слоновой кости слегка порозовели, а ресницы чуть вздрогнули.

Он заговорил. Он был любезен, как в былые времена. Его большие глаза — зеркало любви — снова стали нежными, а волосы, недавно такие жесткие и тусклые, приобрели прежний блеск и мягкую волнистость под влиянием щетки и душистой помады.

Когда Фурвили собрались уезжать, графиня обернулась к нему:

— Дорогой виконт, не хотите ли в четверг совершить прогулку верхом?

Затем, пока Жюльен раскланивался, бормоча: «О да, конечно, сударыня»,— она взяла руку Жанны и сказала нежным, вкрадчивым голосом, ласково улыбаясь:

— Когда вы выздоровеете, мы втроем будем скакать по окрестностям. Это будет восхитительно, вы не против?

Ловким жестом она подняла шлейф своей амазонки и с легкостью птички вскочила в седло, между тем как ее муж, неуклюже раскланявшись, взобрался на свою громадную нормандскую лошадь и уселся на ней грузно, как кентавр.

Когда они исчезли, повернув за ворота, Жюльен, казавшийся в полном восхищении, воскликнул:

— Что за очаровательные люди! Вот знакомство, которое нам может быть полезно.

Жанна, также довольная, хотя и не зная почему, ответила:

— Маленькая графиня восхитительна, и я чувствую, что полюблю ее; но муж ее звероподобен. Где же ты все-таки познакомился с ними?

Весело потирая руки, Жюльен отвечал:

— Я случайно встретил их у Бризвилей. Муж кажется несколько грубоватым. Он завзятый охотник, но, тем не менее, настоящий аристократ.

Обед прошел почти весело, точно в дом вошло невидимое счастье.

До последних чисел июля ничего нового не случилось.

Однажды вечером, во вторник, когда семья сидела под платаном за деревянным столиком, на котором стоял графин с водкой и две рюмки, у Жанны вдруг вырвался крик и, страшно побледнев, она схватилась обеими руками за живот. Мгновенная острая боль пронизала ее, а затем тотчас же стихла.

Но минут через десять новая боль, менее сильная, но более продолжительная, снова охватила ее. Она едва дотащилась до дому, почти лежа на руках отца и мужа. Небольшое расстояние от платана до ее комнаты казалось ей бесконечным; терзаемая нестерпимым ощущением тяжести в животе, она стонала и поминутно просила остановиться, дать ей присесть.

Срок еще не наступил, роды ожидались только в сентябре, но из опасения каких-либо осложнений немедленно был заложен экипаж, и дядя Симон помчался за доктором.

Доктор приехал около полуночи и с первого же взгляда определил симптомы преждевременных родов.

В постели боли несколько стихли, но Жанну угнетала ужасная тоска, безнадежная слабость всего существа, что-то вроде предчувствия, вроде таинственного прикосновения смерти. Это было одно из тех мгновений, когда смерть подходит к нам так близко, что ее дыхание леденит нам сердце.

Комната была полна народу. Мамочка задыхалась, погрузившись в кресло. Барон, теряя голову, с дрожащими руками метался во все стороны, приносил вещи, советовался с доктором. Жюльен расхаживал взад и вперед с озабоченным видом, но внутренне вполне спо-

койный, а вдова Дантю стояла в ногах кровати с выражением лица, соответствовавшим обстоятельствам, с выражением лица бывалой женщины, которая ничему не удивляется. Будучи сиделкой, акушеркой и дежуря около умерших, принимая вступающих в этот мир, встречая их первый крик, обмывая первой водой их новую плоть, пеленая их в первое белье, она в дальнейшем с тем же самым спокойствием принимала последние слова, последний хрип, последнее содрогание уходящих из этого мира и так же совершала их последний туалет, омывая их износившееся тело водой с уксусом, окутывая его последней простыней, и оставалась непоколебимо равнодушной во всех случаях рождения и смерти.

Кухарка Людивина и тетя Лизон скромно прятались за дверью прихожей.

У больной время от времени вырывался слабый стон. В течение двух часов можно было еще думать, что ожидаемое событие совершится не скоро; но к концу дня боли возобновились с неистовой силой и вскоре сделались ужасными.

И Жанна, крики которой невольно вырывались сквозь стиснутые зубы, неотступно думала о Розали, которая совсем не страдала, почти не стонала и чей ребенок — незаконный ребенок — был рожден без боли и без мук.

В своей несчастной и измученной душе она беспрестанно сравнивала себя с Розали и проклинала бога, которого когда-то считала справедливым; она негодовала на преступное пристрастие судьбы, на преступную ложь тех, которые проповедуют справедливость и добро.

Иногда приступы боли делались до того ужасными, что всякая мысль угасала в ней. Все ее силы, вся ее жизнь, все ее сознание поглощалось страданием.

В минуты успокоения она не могла оторвать глаз от Жюльена; иная боль, боль душевная, овладевала ею при воспоминании о том дне, когда ее горничная упала в ногах этой самой кровати с ребенком между ног, братом того маленького существа, которое так ужасно раздирает ее внутренности. Она совершенно явственно восстанавливала в памяти жесты, взгляды, слова мужа,

когда он стоял над распростертой девушкой; и теперь она читала в нем, точно его мысли были написаны в его движениях, ту же скуку, то же равнодушие, как и к той, другой, то же безучастие эгоиста, которого раздражает отцовство.

Но вдруг ее схватила такая ужасная судорога, такая жестокая спазма, что она подумала: «Умираю; это смерть!» В бешеном порыве ее душа исполнилась возмущения, жажды проклятий, а также безграничной ненависти к этому человеку, который ее погубил, и к неизвестному ребенку, который ее убивает.

Она напрягалась и сверхчеловеческим усилием старалась выбросить из себя это бремя. Вдруг ей показалось, что живот ее быстро опадает и ее страдания утихли.

Сиделка и врач, нагнувшись, ощупывали ее. Они подняли что-то, и скоро подавленный звук, который она однажды уже слышала, заставил ее затрепетать; затем в душу ей, в сердце, во все ее несчастное, истомленное существо проник скорбный крик, слабое мяуканье новорожденного, и она бессознательным движением попыталась протянуть руки

В ней поднялась волна радости, порыв к новому счастью, которое только что наступило. За какую-нибудь секунду она почувствовала себя облегченной, умиротворенной, счастливой,— счастливой, как никогда! Ее сердце и тело оживали, она чувствовала себя матерью!

Она захотела увидеть ребенка. Он был без волос, без ногтей, потому что родился раньше времени; но когда она увидела, как шевелится эта личинка, как открывает рот и испускает крики, когда она прикоснулась к скорченному, гримасничающему, шевелящемуся недоноску, неудержимая радость переполнила ее, и она поняла, что спасена, что защищена от безнадежности, что теперь у нее есть кого любить и более ей ничего не нужно.

С этих пор у нее была одна мысль — о ребенке. Неожиданно она стала фанатичной матерью, тем более восторженной, чем сильнее чувствовала себя разочаро-

ванной в своей любви и обманутой в своих надеждах. Она пожелала, чтобы колыбель ребенка всегда стояла рядом с ее кроватью, а когда могла встать с постели, то целыми днями просиживала перед окном около ребенка и качала его.

Она ревновала его к кормилице, и когда проголодавшееся крохотное существо тянулось к полной груди с голубоватыми жилками и хватало жадными губами темный и сморщенный сосок, она смотрела, бледная и дрожащая, на сильную и спокойную крестьянку, испытывая желание вырвать у нее сына и ударить, изорвать ногтями эту грудь, которую он жадно сосал.

Затем она захотела сама вышивать, чтобы нарядить его во всевозможные изящные и затейливые наряды. Ребенок утопал в облаках кружев и был украшен роскошными чепчиками. Ни о чем, кроме него, она не могла говорить, прерывала разговор, чтобы дать полюбоваться пеленкой, нагрудником или какой-нибудь лентой великолепной работы; не слушая, о чем говорилось вокруг нее, она восхищалась, рассматривая что-либо из белья, долго вертела во все стороны взятую вещь, чтобы лучше рассмотреть, а затем внезапно спрашивала

— Как вы думаете, пойдет ему это?

Эта неистовая нежность вызывала улыбки у ее родителей. Между тем Жюльен, потревоженный в своих привычках, чувствуя, что его владычество в доме ослаблено с приходом этого горластого и всемогущего тирана, бессознательно ревнуя к этому кусочку человеческого мяса, который занял его место в доме, беспрестанно твердил с нетерпением и гневом:

— Как она неспосна со своим мальчишкой!

Вскоре любовь захватила Жанну до такой степени, что она просиживала ночи напролет над колыбелью, глядя, как спит малютка. Но это болезненное и страстное созерцание чересчур изнуряло ее, она совсем не знала покоя, она слабела, худела, кашляла, и доктор распорядился разлучить ее с сыном.

Она сердилась, плакала, умоляла, но к ее просьбам остались глухи. Каждый вечер его стали относить к

кормилице И каждую ночь мать вставала и босиком отправлялась подслушивать у замочной скважины, спокойно ли он спит, не просыпается ли, не нуждается ли в чем-нибудь.

Однажды ее застал в таком положении Жюльен, поздно вернувшийся домой с обеда у Фурвилей, и с этих пор ее начали запирать на ключ в комнате, чтобы она не вставала с постели.

Крестины были в конце августа. Барон был крестным, тетя Лизон крестной. Ребенку дали имя Пьер-Симон-Поль. Поль стало его обычным именем.

В первых числах сентября незаметно уехала тетя Лизон, и ее отсутствие было столь же неощутимо, как и присутствие.

Однажды после обеда пришел кюре. Он казался смущенным, словно должен был сообщить какую-то тайну; после безразличного разговора он попросил баронессу и ее мужа уделить ему несколько минут для частной беседы

Они направились втроем медленным шагом в конец широкой аллеи, завязав оживленную беседу, между тем как Жюльен, оставшийся наедине с Жанной, удивлялся этой таинственности, тревожился и раздражался.

Он захотел проводить священника, когда тот откланялся, и они ушли вместе по направлению к церкви, где в эту минуту звонили анжелюс.

Было свежо, почти холодно, и скоро семейство собралось в гостиной. Всех начинало уже клонить ко сну, когда внезапно вбежал Жюльен, красный и негодующий.

Еще в дверях, не обращая внимания на присутствие Жанны, он крикнул тестю и теще:

— Вы совсем сумасшедшие, черт возьми! Вышвырнуть этой девке двадцать тысяч франков!

Никто не произнес ни слова, до того все были изумлены. Он продолжал прерывающимся от гнева голосом:

— Нельзя же дурить до такой степени, вы хотите оставить нас без гроша.

Тогда барон, придя в себя, попытался остановить его:

— Замолчите! Помните, что вы говорите в присутствии вашей жены.

Но тот весь трясся от раздражения:

— Плевать мне на это, да вдобавок ей и так все известно. Это кража ее добра.

Жанна, пораженная, смотрела, ничего не понимая. Она пролепетала:

— Да в чем же дело, наконец?

Тогда Жюльен, обернувшись, призвал ее в свидетели, как товарища, обманутого вместе с ним в общих расчетах И сразу выложил о заговоре, имевшем целью выдать замуж Розали и подарить ей барвильскую ферму, стоившую по крайней мере двадцать тысяч. Он повторял:

— Твои родители с ума сошли, дорогая моя, окончательно с ума сошли! Двадцать тысяч франков! Двадцать тысяч! Да они свихнулись! Двадцать тысяч незаконному ребенку!

Жанна слушала его без волнения и без гнева, сама удивляясь своему спокойствию; она была теперь вполне равнодушна ко всему, что не касалось ее ребенка.

Барон задыхался, не находя слов для ответа. Наконец он вспылил, затопал ногами и закричал:

— Думайте о том, что говорите; это в конце концов возмутительно! Чья вина, что нам приходится давать приданое этой девушке, ставшей матерью? Чей это ребенок? Вы хотели бы теперь его бросить?

Жюльен, удивленный гневом барона, смотрел на него во все глаза. Затем заговорил более сдержанно:

— Но и полутора тысяч было бы совершенно достаточно. Ведь они все заводят детей до замужества. Не все ли равно, от кого ребенок, это нисколько не меняет положения. Между тем если вы дарите ей ферму в двадцать тысяч, то, не говоря уже об ущербе, наносимом нам, вы тем самым кричите на весь мир о случившемся; вам следовало бы хоть немного подумать о нашем имени и нашем положении.

Он говорил строгим голосом, как человек, уверенный в своем праве и в логичности своих рассуждений. Барон, озадаченный неожиданной аргументацией, ото-

ропело молчал, стоя перед ним. Тогда Жюльен, почувствовав свое превосходство, заключил:

— К счастью, дело еще не решено; я знаю парня, который собирается на ней жениться; это хороший малый, с ним можно сговориться. Я беру это на себя

Он тотчас же вышел, опасаясь, видимо, продолжения споров, довольный общим молчанием и принимая его за согласие.

Едва он скрылся за дверью, барон воскликнул, весь дрожа, вне себя от изумления:

— О, это уж чересчур, это уж чересчур!

А Жанна, подняв взор на растерянное лицо отца, вдруг расхохоталась звонким смехом, как смеялась прежде, когда видела что-нибудь забавное.

Она повторяла.

— Папа, папа, а слыхал ты, как он произнес: «Двадцать тысяч франков»?

Мамочка, столь же быстро поддававшаяся веселости, как и слезам, расхохоталась своим задыхающимся смехом, от которого увлажнялись ее глаза, как только вспоминала о свирепом лице зятя, его негодующих возгласах и резком отказе выдать соблазненной им девушке деньги, которые ему не принадлежали; к тому же она была счастлива при виде веселья Жанны. Тогда и барон, словно заразившись, начал смеяться, и все трое, как бывало в добрые старые времена, хохотали до упаду.

Когда они несколько успокоились, Жанна с удивлением заметила:

— Любопытно, что все это меня совсем не волнует. Я смотрю теперь на него, как на чужого. Мне не верится, что я его жена. И видите, я смеюсь над его... над его... над его бестактностью.

И, сами не зная почему, все расцеловались, растроганные и улыбающиеся.

Два дня спустя после завтрака, когда Жюльен уехал верхом, высокий парень лет двадцати двух или двадцати пяти, одетый в новую топорщившуюся синюю блузу, с рукавами в виде пузырей, застегнутыми у запястьев, осторожно вошел в ворота с таким видом, словно выжидал этой минуты с самого утра; он прошел

вдоль канавы, окружавшей ферму Кульяров, обогнул замок и неуверенными шагами приблизился к барону и дамам, сидевшим по обыкновению под платаном.

Завидя их, он снял фуражку и подошел, с явным смущением отвешивая поклоны.

Приблизившись настолько, что его можно было слышать, он пробормотал:

— Ваш покорный слуга, господин барон, баронесса и вся компания.

Потом, не получая ответа, он отрекомендовался:

— Это я — Дезирэ Лекок

Имя ничего не разъяснило, и барон спросил:

— Что вам угодно?

Поняв, что необходимо объясниться, парень совсем смутился. Он невнятно заговорил, то опуская глаза к фуражке, которую держал в руках, то поднимая их к крыше замка:

— Господин кюре замолвил мне словечко насчет этого дела...

Тут он замолчал из боязни проболтаться и повредить своим интересам.

Барон, не понимая, спросил:

— Какого дела? Я ничего не знаю.

Парень, понижая голос, наконец отважился сказать:

— Насчет вашей служанки... Розали.

Жанна, догадавшись, встала и удалилась, держа ребенка на руках. А барон сказал: «Подойдите поближе» — и затем указал на стул, на котором сидела его дочь.

Крестьянин тотчас же сел, пробормотав:

— Премного благодарен.

Потом стал ждать, словно ему нечего было более говорить. После довольно длительного молчания он решился наконец приступить к делу и устремил глаза на голубое небо:

— И хороша же погодка по такому времени! Вот уж земля-то попользуется, для посевов!

Затем замолчал снова.

Барон терял терпение и резко спросил:

— Так это вы женитесь на Розали?

Крестьянин оторопел: его, привыкшего к нормандскому лукавству, смутила прямота вопроса. Он ответил опасливо, хотя и более твердым тоном:

— Это смотря как, быть может, да, а быть может, и нет, смотря как.

Но барона взбесили его увертки:

— Черт побери! Да отвечайте прямо: для этого вы пришли сюда или нет? Берете вы ее или нет?

Парень в смущении упорно разглядывал собственные ноги:

— Если все обстоит так, как говорил господин кюре, я беру, а если так, как говорил мне господин Жюльен,— не беру.

— А что вам говорил господин Жюльен?

— Господин Жюльен сказал, что я получу тысячу пятьсот франков, а господин кюре говорил, что мне дадут двадцать тысяч; ну так я согласен за двадцать тысяч, но не согласен за тысячу пятьсот.

Баронессу, покоившуюся в кресле, начинала забавлять боязливая мина крестьянина. Последний искоса поглядывал на нее недовольным взглядом, не понимая ее веселости, и продолжал выжидать.

Барон, которому надоел этот торг, сразу разрешил дело:

— Я сказал господину кюре, что вы получите в пожизненное владение барвильскую ферму, которая перейдет к вашему ребенку. Она стоит двадцать тысяч франков. Я не изменю своему слову. Итак, да или нет?

Крестьянин улыбнулся с покорным и удовлетворенным видом и неожиданно сделался болтлив:

— Раз так, я не отказываюсь. За этим только и была задержка. Когда господин кюре говорил мне об этом деле, я мигом согласился, черт возьми, да и, кроме того, мне хотелось угодить господину барону, который уж сумеет вознаградить меня: так я и сказал себе. Ведь правда же, что когда люди делают одолжение друг другу, то рано или поздно они всегда сумеют сосчитаться и отблагодарить друг друга? Но господин Жюльен пришел ко мне, и оказалось, что это всего-навсего тысяча пятьсот. Я и подумал: «Надо посмотреть»,— и вот я пришел. Не то, чтоб я не доверял, нет,

а просто хотел узнать. Счет дружбы не портит, не так ли, господин барон...

Чтобы его остановить, барон спросил:

— Когда же вы предполагаете заключить брак?

Крестьянин мгновенно сделался опять нерешительным и полным сомнений. Наконец он сказал, запинаясь:

— А разве мы не составим наперед маленькой бумажки?

Тут барон вскипел:

— Да черт подери, у вас же будет брачное свидетельство. Это самая лучшая из бумажек.

Крестьянин упорствовал:

— Все-таки пока что мы ее могли бы составить, это ведь не повредит.

Барон поднялся, чтобы покончить с делом:

— Отвечайте — да или нет, и притом тотчас же Если вы не согласны, у меня есть другой жених.

Боязнь встретить соперника подействовала на хитрого нормандца. Он наконец решился и протянул руку, словно при покупке коровы:

— По рукам, господин барон,— кончено дело. Только дурак от этого откажется.

Барон ударил по рукам, затем крикнул:

— Людивина!

Кухарка высунулась в окно:

— Подайте-ка бутылку вина.

Они выпили, чтобы спрыснуть сделку. И парень удалился бодрым шагом.

Жюльену ничего не сказали об этом посещении. Контракт составлялся в большой тайне, а немного погодя, после оглашения, как-то в понедельник поутру, состоялась свадьба.

Одна из соседок несла в церковь малыша позади новобрачных, как верный залог их будущего богатства Никто в деревне не удивился: Дезирэ Лекоку только завидовали. «В сорочке родился»,— говорили про него с лукавой усмешкой, но без малейшей тени негодования.

Жюльен устроил ужасную сцену, которая сократила пребывание его тещи и тестя в «Тополях». Жанна провожала их без особой печали, так как Поль сделался для нее теперь неисчерпаемым источником счастья

IX

Когда Жанна совсем оправилась от родов, было решено отдать визит Фурвилям, а также представиться маркизу де Кутелье.

Жюльен только что купил на аукционе новый экипаж, одноконный фаэтон, чтобы иметь возможность выезжать два раза в месяц.

В ясный декабрьский день экипаж заложили и после двух часов пути по нормандским равнинам стали спускаться в небольшую долину, склоны которой были покрыты лесом, а посредине раскинулась пашня.

Вскоре пашня сменилась лугами, а луга — болотами, поросшими в это время года сухим камышом, длинные листья которого, похожие на желтые ленты, шелестели, развеваемые ветром.

Неожиданно за крутым поворотом долины показался замок Врильет; с одной стороны он упирался в лесистый склон, а с другой — стены его погружались в огромный пруд, за которым находился высокий еловый лес, спускавшийся с противоположного склона долины.

Чтобы попасть во двор, где стоял изящный дом в стиле Людовика XIII, облицованный кирпичом, с угловыми башенками, крытыми шифером, нужно было проехать по старинному подъемному мосту и миновать огромный портал в том же стиле.

Жюльен объяснил Жанне назначение различных частей зданий с видом завсегдатая, которому оно отлично известно. Он хвалил замок, восторгался его красотой.

— Посмотри на этот портал! Не правда ли, какое величественное зрелище? Весь тот фасад выходит прямо в пруд; там великолепное крыльцо, которое спускается к самой воде, причем у нижних ступенек прикреплены четыре лодки: две для графа и две для графини. Направо, где ты видишь ряд тополей, кончается пруд, и там начинается река, которая течет к Фекану. В этих местах пропасть дичи. Граф больше всего любит охотиться именно здесь. Да, вот это настоящее барское поместье!

Отворилась дверь, и показалась бледная графиня, она шла навстречу гостям, улыбаясь, одетая в платье со шлейфом, как владелица замка былых времен. Она

казалась настоящей Дамой с озера, как бы созданной для этого сказочного замка.

В гостиной было восемь окон, из которых четыре выходили на пруд и на мрачный сосновый лес, покрывавший противоположный берег.

Темная зелень деревьев придавала пруду глубокий, строгий и угрюмый вид, а когда дул ветер, стон деревьев казался голосом, звучащим из болота.

Графиня взяла Жанну за обе руки, словно была ее подругой с самого детства, усадила гостью, а сама поместилась возле нее на низком стуле, в то время как Жюльен, который за последние пять месяцев вновь обрел прежнее изящество, добродушно и непринужденно болтал и смеялся.

Они с графиней говорили о своих прогулках верхом. Она слегка высмеивала его манеру ездить, называя его «Спотыкающимся всадником», а он тоже шутил, окрестив ее «Королевой амазонок». Выстрел, раздавшийся под окнами, заставил Жанну слегка вскрикнуть. Это граф убил чирка.

Жена тотчас же позвала его. Послышался шум весел, толчок лодки о камень, и появился граф, огромный, в сапогах; его сопровождали две мокрые собаки, рыжеватые, как и он сам, которые улеглись на ковре перед дверью.

У себя дома он казался непринужденнее и очень обрадовался гостям. Он велел подкинуть в камин дров, подать мадеры и печенья, а затем вдруг воскликнул:

— Вы остаетесь у нас обедать! Решено!

Жанна, которую никогда не покидала мысль о ребенке, отказалась, но граф настаивал, и так как она упорствовала, у Жюльена вырвался резкий, нетерпеливый жест. Тогда, боясь вызвать в нем злое, сварливое настроение, Жанна согласилась, хотя мысль, что она не увидит Поля до следующего утра, не давала ей покоя.

День прошел приятно. Сначала принялись за осмотр родников Они били у подножия мшистой скалы, стекая в прозрачный водоем, где вода была все время в движении, точно закипала; затем проехались в лодке по настоящим дорожкам, прорезанным в чаще сухих камышей. Граф сидел на веслах между двух своих собак, которые принюхивались, подняв носы; каждый

взмах весел толкал тяжелую лодку вперед Жанна время от времени окунала руку в холодную воду и наслаждалась ледяной свежестью, точно пробегавшей от пальцев к сердцу Жюльен и закутанная в шаль графиня, сидя на корме, улыбались тою долго не сходящей с губ улыбкой счастливых людей, которым больше нечего желать.

Наступил вечер, принеся с собой леденящую дрожь от порывов северного ветра, игравшего в увядших камышах. Солнце закатилось за елями: красное небо, испещренное причудливыми алыми облаками, одним своим видом уже вызывало ощущение холода.

Вернулись в огромную гостиную, где в камине пылал яркий огонь Ощущение тепла и уюта радовало входивших еще у дверей. Развеселившийся граф схватил жену своими руками атлета, приподнял ее, как ребенка, до уровня своего рта и крепко чмокнул в обе щеки с видом добродушного и довольного человека.

Жанна, улыбаясь, глядела на этого великана, уже одними усищами своими похожего на людоеда, и думала: «Как часто мы ошибаемся в людях». Потом, почти невольно переведя взгляд на Жюльена, она увидела, что он стоит у двери, смертельно бледный, впившись взглядом в графа Обеспокоенная, она подошла к мужу и спросила вполголоса:

— Тебе нездоровится? Что с тобой?

Он ответил со злостью:

— Ничего, оставь меня в покое. Мне холодно.

Когда перешли в столовую, граф попросил позволения впустить собак; они тотчас же явились и уселись по правую и по левую сторону от хозяина. Он ежеминутно бросал им куски и гладил их длинные шелковистые уши. Животные тянулись к нему мордами, махали хвостами, вздрагивая от удовольствия

После обеда, когда Жанна и Жюльен собрались уезжать, г-н де Фурвиль снова удержал их, желая показать им рыбную ловлю с факелом.

Он усадил их рядом с графиней на крыльце, спускавшемся в пруд, а сам сел в лодку вместе с лакеем, несшим рыболовную сеть и зажженный факел. Ночь была ясная и холодная; небо было усеяно золотыми звездами.

Факел расстилал по воде ленты причудливых, колеблющихся огней, бросал пляшущие отблески на камыши, освещал ряды елей. И внезапно, когда лодка повернула, на этой освещенной опушке леса поднялась колоссальная фантастическая тень человека. Голова его была выше деревьев и терялась в небе, а ноги тонули в пруде. Гигантское существо подняло руки, точно желая схватить звезды. Эти громадные руки вдруг вытянулись, затем упали, и тотчас же послышался легкий всплеск воды.

Тогда лодка вновь сделала медленный поворот, и чудесный призрак пробежал вдоль освещенного леса; потом он слился с невидимым горизонтом, а немного погодя вдруг появился снова, теперь уже на фасаде замка, не такой огромный, но более отчетливый, с присущими ему странными движениями.

Послышался грубый голос графа·

— Жильберта, я поймал восемь штук!

Весла ударяли по воде. Громадная тень стояла теперь неподвижно на стене, мало-помалу уменьшаясь в росте и ширине; голова ее словно опускалась, а тело тощало, и когда г-н де Фурвиль поднялся по ступенькам крыльца, по-прежнему в сопровождении лакея, несшего факел, тень свелась уже к размерам его собственной особы и вторила всем его движениям.

В сетке у него трепетали восемь крупных рыб.

Когда Жанна с Жюльеном ехали обратно, закутавшись в плащи и пледы, которые им одолжили, она почти невольно сказала:

— Какой славный этот великан!

Жюльен, правивший лошадью, отвечал:

— Да, только не всегда умеет держать себя в обществе.

Неделю спустя они поехали к Кутелье, которые считались самой аристократической семьей в округе. Их имение Реминиль находилось рядом с большим поселком Канн. Новый замок, выстроенный при Людовике XIV, скрывался в великолепном парке, обнесенном стеною. На холме виднелись развалины старинного замка. Парадно разодетые лакеи ввели гостей в величественный покой. Посредине на колонне стояла громадная ваза севрского фарфора, а на цоколе под стеклом было

помещено собственноручное письмо короля, приглашавшее маркиза Леопольда-Эрвэ-Жозефа-Жерме де Варневиль де Рольбоск де Кутелье принять этот дар монарха.

Жанна и Жюльен рассматривали королевский подарок, когда вышли маркиз и его жена. Маркиза была напудрена, учтива по долгу хозяйки и несколько жеманна из желания казаться благосклонной. Муж, толстый человек с седыми подвитыми волосами, придавал своим жестам, тону, манере держать себя нечто высокомерное, что должно было говорить об его значительности. То были люди этикета, у которых ум, чувства и речи, казалось, всегда стояли на ходулях

Они говорили одни, не ожидая, что им ответят, безразлично улыбаясь, и, казалось, только исполняли возложенную на них рождением обязанность любезно принимать окрестных мелких дворян.

Жанна и Жюльен чувствовали себя крайне смущенно, старались произвести хорошее впечатление, стеснялись оставаться долго и не знали, как уехать; но маркиза сама естественно и просто положила конец их визиту, прекратив разговор, подобно милостивой королеве, кончающей аудиенцию.

На обратном пути Жюльен сказал:

— Если ты ничего не имеешь против, мы ограничимся этими визитами; с меня довольно и одних Фурвилей.

Жанна разделяла его мнение.

Медленно тянулся декабрь, этот черный месяц, подобный угрюмому провалу в конце года. Началась жизнь взаперти, по-прошлогоднему. Однако Жанна не скучала, потому что постоянно была занята Полем, на которого Жюльен кидал искоса беспокойные, недовольные взгляды.

Нередко мать, держа его на руках и лаская с безумной нежностью, которую женщины щедро расточают своим детям, протягивала ребенка отцу, говоря:

— Да поцелуй же его, можно подумать, что ты его не любишь.

Он с неудовольствием слегка касался губами безволосого лба малютки, выгибаясь всем телом, словно для того, чтобы не встретить маленьких, скрюченных, по-

стоянно двигающихся ручонок, и быстро выходил из комнаты, как будто его гнало отвращение.

Мэр, доктор и кюре изредка приходили обедать; время от времени бывали Фурвили, связь с которыми все более и более крепла.

Граф, казалось, обожал Поля. Он держал его у себя на коленях во время своих визитов, а если дело было после полудня — то и по целым часам. Он бережно обхватывал его своими руками гиганта, щекотал ему нос кончиками своих длинных усов, а потом начинал целовать его в страстном порыве, как целуют только матери. Он вечно страдал от того, что брак их бездетен

Март был ясный, сухой и почти теплый. Графиня Жильберта снова стала поговаривать о прогулках верхом, которые можно было предпринимать теперь всем четверым вместе. Жанна, слегка утомленная однообразием и монотонностью долгих вечеров, долгих ночей и долгих дней, согласилась, придя в восторг от этого плана, и целую неделю развлекалась шитьем амазонки.

Затем начались прогулки Ездили всегда парами: графиня с Жюльеном впереди, граф с Жанной шагов на сто позади. Последние болтали спокойно, как друзья· одинаковая прямота душ и простота сердец сдружили их; первая пара беседовала часто шепотом, иногда порывисто смеялась, внезапно взглядывала друг на друга, как будто глаза говорили много такого, чего не произносили губы, и неожиданно пускалась галопом, чувствуя желание бежать, уехать далеко, как можно дальше

Потом Жильберта стала раздражительной Ее резкий голос, приносимый порывами ветра, долетал иногда до ушей отставших всадников. Граф улыбался и говорил Жанне:

— Моя жена не каждый день встает с правой ноги

Однажды вечером, на обратном пути, когда графиня то нахлестывала и пришпоривала свою лошадь, то внезапно осаживала ее, можно было расслышать, как Жюльен несколько раз повторил:

— Осторожнее, осторожнее, она понесет.

Графиня отвечала. «Пусть, это не ваше дело»,— и голос ее был так резок и звонок, что слова ясно прозвучали на равнине и словно повисли в воздухе.

Животное поднималось на дыбы, лягалось, изо рта у него шла пена. Встревоженный граф крикнул вдруг изо всей силы:

— Будь же осторожна, Жильберта!

Тогда, словно назло, поддаваясь одному из тех приступов женской нервности, которых ничто не в силах остановить, она жестоко ударила хлыстом лошадь между ушей; взбесившееся животное встало на дыбы, рассекая воздух передними ногами, сделало чудовищный прыжок и изо всех сил помчалось по равнине.

Сначала оно пересекло луг, затем понеслось по вспаханному полю и, взметая, точно пыль, влажную, жирную землю, мчалось так быстро, что едва можно было различить лошадь и наездницу.

Ошеломленный Жюльен остался на месте, безнадежно взывая:

— Сударыня! Сударыня!

Но у графа вырвалось какое-то рычание, и, пригнувшись к шее своей грузной лошади, он принудил ее броском всего своего корпуса ринуться вперед; он помчался с такой стремительностью, возбуждая, увлекая и разъяряя лошадь голосом, движениями и ударами шпор, что казалось, будто это сам громадный всадник несет тяжелое животное между ног и поднимает его с собою, точно желая улететь. Они скакали с невообразимой быстротой, и Жанна видела, что два силуэта, жены и мужа, неслись, неслись, уменьшались, стирались и пропадали, подобно тому, как две птицы, преследующие друг друга, теряются и исчезают на горизонте.

Тогда Жюльен шагом подъехал к Жанне, злобно бормоча:

— Кажется, сегодня она совсем спятила.

Они поехали вслед за своими друзьями, скрывшимися теперь за косогором.

Спустя четверть часа они увидели, что те возвращаются, и вскоре все соединились.

Граф, красный, потный, смеющийся, довольный, торжествующий, сдерживал непреодолимой хваткой трепетавшую лошадь жены. Графиня была бледна, на лице ее было страдальческое выражение, и она одной

рукой опиралась о плечо мужа, словно готова была лишиться чувств.

В этот день Жанна поняла, что граф безумно любит свою жену.

В течение следующего месяца графиня была весела, как никогда Она стала чаще приезжать в «Тополя», смеялась без умолку, целовала Жанну в порыве нежности. Можно было подумать, что нечто таинственное и восторженное вошло в ее жизнь. Ее муж, тоже счастливый, не спускал с нее глаз и ежеминутно, с удвоенной страстью, старался коснуться ее руки или платья.

Однажды вечером он сказал Жанне:

— Теперь мы очень счастливы. Никогда еще Жильберта не была так мила. У нее больше не бывает дурного настроения и припадков гнева. Я чувствую, что она меня любит. До сих пор я не был в этом уверен.

Казалось, и Жюльен тоже переменился, он стал веселее и не был так нетерпим, дружба двух семей точно принесла каждой из них покой и радость.

Весна была исключительно ранняя и теплая.

Целыми днями, начиная с тихого утра до наступления спокойного сыроватого вечера, жаркое солнце вызывало всю растительность к жизни. То был одновременный, быстрый и могучий рост всех семян, непреодолимый напор жизненных соков, страсть возрождения, которую природа проявляет иногда в особо излюбленные годы, и тогда кажется, что молодеет весь мир.

Жанна смутно волновалась под влиянием этого брожения жизни. При виде какого-нибудь цветка в траве она ощущала внезапную истому и переживала часы упоительной грусти, мечтательной неги.

Потом на нее нахлынули нежащие воспоминания первых дней любви: не то, чтобы прежняя привязанность к Жюльену вернулась в ее сердце — с этим было покончено, покончено навсегда,— но все ее тело, ласкаемое ветром, пропитывавшееся весенними ароматами, трепетало, словно пробужденное каким-то невидимым и нежным призывом.

Она любила быть одной, отдаваться солнечному теплу, чувствовать себя во власти неопределенной и чи-

стой радости и ощущений, не будивших в ней никаких мыслей.

Однажды утром, когда она находилась в таком состоянии полудремоты, ей внезапно представилось одно видение: залитый солнцем просвет в темной листве маленького леса близ Этрета. Там впервые изведала она, как затрепетало ее тело от близости молодого человека, любившего ее; там он впервые шепнул ей о робком желании своего сердца; там она почувствовала, что достигла вдруг ожидаемого лучезарного будущего, о котором так много мечтала.

Ей захотелось вновь увидеть этот лесок, совершить туда сентиментальное и суеверное паломничество, словно возврат к тому месту мог изменить что-либо в ходе ее жизни.

Жюльен уехал с раннего утра, и она не знала куда. Жанна приказала оседлать белую лошадку Мартенов, на которой теперь иногда каталась, и пустилась в путь.

Был один из тех тихих дней, когда ничто не шелохнется — ни травка, ни лист, когда все как бы замирает в неподвижности до скончания века, словно умер сам ветер. Казалось, даже насекомые исчезли.

Знойный и властный покой незаметно нисходил от солнца, рассеиваясь золотистой дымкой. Жанна ехала шагом, убаюканная и счастливая. Время от времени она поднимала глаза и смотрела на крошечное белое облако, величиной с кусок ваты, походившее на клок повисшего пара, забытое, брошенное, одинокое там, вверху, среди голубого неба.

Она спустилась в долину, выходившую к морю между высоких скалистых арок, известных под именем ворот Этрета, и потихоньку углубилась в лес. Потоки света лились сквозь жидкую молодую листву. Она искала знакомое место, блуждая по узким дорожкам, и не могла его найти.

Вдруг, пересекая длинную аллею, она увидела в конце ее двух оседланных лошадей, привязанных к дереву; она тотчас же узнала их то были лошади Жильберты и Жюльена. Одиночество начинало тяготить ее, она была рада этой неожиданной встрече и погнала рысью свою лошадь.

Подъехав к терпеливым животным, словно привыкшим к таким долгим стоянкам, Жанна позвала. Ей не ответили.

Женская перчатка и два хлыста валялись на измятой траве. Они, по-видимому, сидели здесь, а затем ушли, оставив лошадей.

Она прождала четверть часа, двадцать минут, удивляясь, недоумевая, что бы такое могли они делать. Она слезла с лошади и стояла, не двигаясь, прислонясь к стволу дерева, и две маленькие птички, не замечая ее, спустились по соседству на траву. Одна из них волновалась, прыгала вокруг другой, трепеща распущенными крылышками, кивая головкой и чирикая; и вдруг они соединились.

Жанна была удивлена, точно никогда раньше и не знала об этом, но затем подумала:

— Правда, ведь теперь весна.

Вслед за этим ей пришла в голову другая мысль, скорее подозрение. Она вновь взглянула на перчатку, на хлысты, на двух оставленных лошадей и вдруг вскочила в седло с непреодолимым желанием бежать.

Теперь она мчалась галопом, возвращаясь в «Тополя». Голова ее работала, размышляя, связывая факты, сближая обстоятельства. Как не догадалась она об этом раньше? Как могла ничего не видеть? Как было не понять отлучек Жюльена, возрождения его былого щегольства и смягчения его нрава? Ей вспомнились также нервные выходки Жильберты, ее преувеличенная ласковость, а с некоторого времени та атмосфера блаженства, в которой жила графиня и чем был так счастлив граф.

Она пустила лошадь шагом, так как ей нужно было серьезно подумать, а быстрая езда путала мысли.

После первого пережитого волнения сердце ее почти успокоилось; ни ревности, ни ненависти не было в нем, а только одно презрение Она совсем не думала о Жюльене; ничто в нем уже не удивляло ее; но двойная измена графини, подруги, ее возмущала. Значит, все на свете коварны, лживы и вероломны Слезы выступили у нее на глазах. Разбитые иллюзии иногда оплакиваешь, как покойника.

Однако она решила притвориться, что ничего не знает, закрыть душу для мимолетных привязанностей и не любить никого, кроме Поля и родителей, а ко всем остальным относиться с терпеливым спокойствием.

Приехав домой, она тотчас же бросилась к сыну, унесла его в свою комнату и целый час страстно целовала его

Жюльен вернулся к обеду, пленительный, улыбающийся, полный предупредительности.

— Разве папа и мамочка не приедут в этом году? — спросил он.

Жанна была ему так благодарна за эту любезность, что почти простила сделанное в лесу открытие, и ее охватило вдруг страстное желание поскорей увидеть два единственных существа, которых после Поля она любит больше всего на свете, она провела весь вечер за письмом к ним, убеждая их ускорить свой приезд.

Они сообщили, что приедут 20 мая. Теперь же было только 7-е число.

Жанна поджидала их с возрастающим нетерпением, словно, помимо дочерней любви, у нее явилась новая потребность приобщиться своим сердцем к их честным сердцам, поговорить откровенно с чистыми людьми, чуждыми всякой низости, вся жизнь которых, все поступки, все мысли и все желания были всегда правдивы.

То, что она чувствовала теперь, было чем-то вроде стремления оградить свою совесть от всех окружавших ее падений, хотя она сразу научилась скрытничать, хотя она встречала графиню, улыбаясь и протягивая ей руку, она все же сознавала, что ощущение пустоты и презрения к людям в ней все растет и как бы окутывает ее всю. И каждый день мелкие новости местной жизни вселяли в ее душу все большее отвращение, все большее пренебрежение к людям

Дочь Кульяров только что родила ребенка, должна была состояться свадьба. Сирота, служанка Мартенов, была беременна; пятнадцатилетняя девушка с соседней фермы была беременна; одна вдова, бедная, хромая и противная женщина, прозванная «грязнухой»,

до того ужасна была ее нечистоплотность, также была беременна.

То и дело узнавали о новой беременности, о любовных проделках девушки, или замужней крестьянки, матери семейства, или о шашнях богатого уважаемого фермера.

Эта бурная весна, казалось, возбуждала жизненные соки в людях так же, как и в растениях.

И Жанна, в которой чувства угасли и не волновались, сердце которой было разбито и только сентиментальная душа еще откликалась на теплые плодоносные дуновения, Жанна, грезившая, возбуждавшаяся без желаний, воодушевлявшаяся лишь мечтами, глухая к требованиям плоти, поражалась этому грязному скотству и была полна отвращения, граничившего с ненавистью.

Совокупление живых существ вызывало теперь ее негодование, как нечто противоестественное, и если она сердилась на Жильберту, то не за то, что та отняла у нее мужа, а за самый факт участия во всеобщем распутстве.

Ведь она, эта женщина, не принадлежала к деревенщине, у которой господствуют низменные инстинкты Как же могла она погрязнуть в пороке, уподобляясь всем этим животным?

В тот день, когда должны были приехать родители Жанны, Жюльен разбередил это отвращение жены, весело рассказав ей, как нечто естественное и забавное, что местный булочник, услыхав в тот день, когда хлеба не пекли, какой-то шум в печи, думал настигнуть там приблудного кота, а вместо того нашел там собственную жену, которая отнюдь «не хлебы в печь сажала».

Он прибавил:

— Булочник заложил отверстие печи, и они совсем было уж задохлись там, да сынишка булочницы позвал соседей, потому что видел, как его мать залезла в печь с кузнецом.

И Жюльен хохотал, повторяя:

— Они заставляют нас есть хлеб любви, проказники! Настоящий рассказ Лафонтена!

Жанна после этого не могла притронуться к хлебу.

Когда почтовая карета остановилась у подъезда и за стеклом ее дверцы показалась счастливая физиономия барона, молодая женщина ощутила в душе и сердце глубокое волнение, бурный порыв любви, какого она еще никогда не испытывала.

Но, увидев мамочку, она была так поражена, что едва не лишилась чувств. За эти шесть зимних месяцев баронесса постарела на десять лет. Ее огромные, одутловатые, отвисшие щеки стали багровыми, словно налившись кровью; глаза, казалось, угасли; она передвигалась, только когда ее поддерживали с обеих сторон; ее тяжелое дыхание стало свистящим и было так затруднено, что окружающие испытывали близ нее чувство мучительной стесненности.

Барон, видя ее изо дня в день, не замечал этого разрушения, а когда она жаловалась на постоянные удушья и возраставшую тучность, он говорил:

— Да нет же, дорогая, я всегда знал вас такой.

Жанна, взволнованная, растерянная, отвела родителей в их комнату и вернулась к себе, чтобы поплакать. Затем отыскала отца и бросилась к нему на грудь; глаза ее еще были полны слез.

— О, как изменилась мамочка! Что с ней, скажи мне, что с ней?

Барон крайне удивился и отвечал:

— Тебе так кажется? Что за фантазия! Да нет же. Я постоянно при ней и уверяю тебя, что не нахожу ухудшения; она такая же, как всегда.

Вечером Жюльен сказал жене:

— Дела твоей матери плохи. Я думаю, конец близок.

И так как Жанна разразилась рыданиями, он вышел из себя:

— Да ну же, перестань, я ведь не говорю, что она кончается. Ты всегда все страшно преувеличиваешь. Она изменилась, вот и все, да это не удивительно в ее годы.

Через неделю Жанна уже больше не думала об этом, привыкнув к перемене в лице матери, а может быть, отгоняя опасения, как всегда отгоняют и отбрасывают грозные страхи и заботы, повинуясь какому-то

эгоистическому инстинкту и естественной потребности в душевном покое.

Баронесса, не будучи в состоянии теперь ходить долго, выбиралась из дому всего на полчаса в день. Пройдя один раз по «своей» аллее, она не могла уже больше двигаться и просила, чтобы ее усадили на «ее» скамейку. А когда она не в состоянии была довести до конца прогулку, то говорила:

— Отдохнем немного; из-за гипертрофии у меня сегодня отнимаются ноги.

Она почти перестала смеяться и только чуть улыбалась тому, от чего еще в прошлом году заразительно смеялась Но зрение оставалось у нее прекрасным, и она проводила целые дни, перечитывая *Коринну* или *Размышления* Ламартина; затем просила, чтобы ей принесли «ящик воспоминаний». И, вывалив на колени старые, дорогие ее сердцу письма, она ставила ящик возле себя на стул и укладывала обратно туда свои «реликвии», медленно перечитывая одно за другим каждое письмо. Когда же она бывала одна, совсем одна, то целовала некоторые из них, как втайне целуют волосы умерших, когда-то любимых людей.

Иногда Жанна, войдя неожиданно, заставала ее плачущей, плачущей горькими слезами.

Она восклицала:

— Что с тобой, мамочка?

И баронесса, протяжно вздохнув, отвечала:

— Это виноваты мои реликвии. Перебираешь вещи, которые были так хороши и так безвозвратно миновали! И кроме того, снова вдруг находишь уже забытых людей. Как будто еще видишь их, еще слышишь их голос, и это производит ужасное впечатление. Со временем и ты узнаешь это.

Если барон случайно появлялся в эти минуты меланхолии, он тихо говорил:

— Жанна, дорогая моя, поверь мне, сжигай все письма — и мамины, и мои, все. Ничего нет ужасней, когда мы, став стариками, начинаем перетряхивать нашу молодость.

Но Жанна также хранила свою переписку и готовила свой «ящик реликвий», повинуясь, несмотря на пол-

ное несходство с матерью, какому-то наследственному инстинкту мечтательной чувствительности.

Через несколько дней барону пришлось уехать по делу.

Погода стояла прекрасная. Тихие ночи в блеске бесчисленных звезд следовали за спокойными вечерами, ясные вечера — за лучезарными днями, лучезарные дни — за сверкающими зорями. Вскоре мамочка почувствовала себя лучше, и Жанна, забыв про любовные похождения Жюльена и коварство Жильберты, ощущала себя почти совсем счастливой. Вся местность кругом цвела и благоухала, а широкое, спокойное море переливалось на солнце с утра до вечера.

Однажды после полудня Жанна взяла ребенка на руки и пошла с ним в поле. Она глядела то на сына, то на траву, пестревшую цветами вдоль дороги, и сердце ее размягчилось в беспредельном счастье. Ежеминутно она целовала Поля и страстно прижимала его к себе; иногда чудесный аромат веял на нее с лугов, и она чувствовала себя ослабевшей, растворившейся в бесконечном блаженстве. Затем она стала мечтать о будущем ребенка. Что-то из него выйдет? Иногда ей хотелось, чтобы он был великим, знаменитым, могущественным. В другой раз она предпочитала видеть его безвестным и оставшимся подле нее, преданным, нежным, всегда полным любви к матери. Когда она любила эгоистическим сердцем матери, она желала, чтобы он оставался ее сыном, только ее сыном; но когда она любила его своим страстным воображением, она честолюбиво мечтала, чтобы он стал чем-нибудь для всего мира.

Она уселась на краю канавы и принялась глядеть на него Ей казалось, что она никогда еще его не видела. Она вдруг удивилась при мысли, что это маленькое существо станет большим, что оно будет ходить твердыми шагами, что оно обрастет бородой и станет говорить звучным голосом.

Кто-то позвал ее издали Она подняла голову. К ней бежал Мариюс Она подумала, что приехали гости, и встала, недовольная, что ее потревожили. Но мальчик бежал со всех ног и, приблизившись, закричал:

— Сударыня, баронессе очень плохо!

Ей показалось, что по спине у нее поползла капля

холодной воды; она пошла к дому, быстро шагая, чувствуя, что ее рассудок мутится.

Уже издали увидела она толпу людей под платаном. Жанна бросилась вперед, перед ней расступились, и она увидела мать, лежащую на земле, с двумя подушками под головой. Лицо ее было совсем черное, глаза закрыты, а грудь, уже двадцать лет так тяжело дышавшая, больше не двигалась. Кормилица выхватила ребенка из рук молодой женщины и унесла его.

Жанна растерянно спрашивала:

— Что случилось? Как она упала? Бегите за доктором.

Обернувшись, она увидела кюре, каким-то образом узнавшего о происшедшем. Он предложил свои услуги и поспешно засучил рукава сутаны. Но ничего не помогало: ни уксус, ни одеколон, ни растирания.

— Нужно ее раздеть и уложить в постель,— сказал священник.

Фермер Жозеф Кульяр был здесь вместе с дядей Симоном и Людивиной. С помощью аббата Пико они хотели было отнести баронессу, но, когда ее приподняли, голова мамочки запрокинулась назад, а платье, за которое они ухватились, разорвалось; тучное тело было чересчур тяжело, и держать его было трудно. Жанна закричала от ужаса. Огромное дряблое тело снова положили на землю.

Пришлось принести из гостиной кресло; посадив в него баронессу, ее смогли наконец поднять. Шаг за шагом взошли на подъезд, затем на лестницу, дошли до спальни и положили тело на постель.

Так как кухарка возилась бесконечно долго, снимая платье со своей госпожи, вдова Дантю оказалась весьма кстати; она явилась неожиданно, как и священник: они словно «почуяли смерть», по выражению прислуги.

Жозеф Кульяр помчался во весь опор за доктором, а когда аббат собрался принести миро, сиделка шепнула ему на ухо:

— Не трудитесь, господин кюре, я понимаю кое-что в этом деле: она уже отошла.

Жанна, обезумев, умоляла о помощи, не зная, что предпринять, какое употребить средство. Священник на всякий случай произнес отпущение грехов.

Почти два часа простояли все в ожидании у посиневшего, безжизненного тела. Упав на колени, Жанна рыдала, раздираемая тоской и горем.

Когда открылась дверь и вошел доктор, ей показалось, что с ним явились спасение, надежда, утешение; она бросилась к нему, несвязно передавая все, что знала о случившемся:

— Она гуляла, как всегда... чувствовала себя хорошо.. даже очень хорошо... за завтраком съела бульону и два яйца.. и вдруг упала... и почернела, как видите.. и больше не двигалась... мы испробовали все, чтобы привести ее в чувство... все ..

Она замолкла, пораженная жестом сиделки, которым та исподтишка давала понять доктору, что уже кончено, все кончено. Отказываясь верить этому жесту, Жанна тоскливо и вопрошающе повторяла·

— Это серьезно? Вы думаете, это опасно?

Наконец доктор сказал:

— Я сильно опасаюсь, что это... что это .. конец Соберитесь с мужеством, со всем мужеством.

И, раскинув руки, Жанна бросилась на тело матери.

Вошел Жюльен. Он был ошеломлен и, видимо, раздосадован; у него не вырвалось возгласа явного горя или отчаяния; он оказался захваченным врасплох и не успел подготовить подобающее случаю выражение лица и позу. Он проговорил:

— Я ожидал этого, я чувствовал, что конец близок.

Потом вынул носовой платок, вытер глаза, преклонил колена, перекрестился, пробормотал что-то и, вставая, хотел также приподнять жену. Но она крепко уцепилась за труп, целовала его и почти лежала на нем. Пришлось ее унести. Казалось, она сошла с ума.

Через час ей позволили вернуться. Никакой надежды больше не оставалось. Спальня теперь была превращена в комнату, где лежит покойник. Жюльен и священник тихо беседовали у окна. Вдова Дантю, расположившись поудобнее в кресле — она ведь привыкла дежурить возле усопших — и чувствуя себя дома с той минуты, как здесь появилась смерть, казалось, уже спала.

Наступила ночь. Кюре подошел к Жанне, взял ее за руку и старался ободрить, изливая на ее безутешное

сердце елейную волну духовных увещаний. Он заговорил об усопшей, восхваляя ее, употребляя церковные выражения, и с притворной печалью священника, для которого трупы только прибыльны, предложил провести ночь в молитве возле тела.

Но Жанна, судорожно рыдая, отказалась. Она хотела остаться одна, совсем одна в эту прощальную ночь. Жюльен подошел к ней.

— Это невозможно, я останусь с тобою.

Знаком головы она отвечала «нет», не имея сил сказать больше. Наконец она смогла произнести:

— Это моя мать, моя мать. И я хочу быть одна с ней в эту ночь.

Доктор посоветовал:

— Сделайте, как она хочет; сиделка может остаться в соседней комнате.

Священник и Жюльен согласились, подумав о своих постелях. Затем аббат Пико преклонил колена, помолился, поднялся и вышел со словами: «Это была праведница»,— сказанными тем же самым тоном, каким он произносил: «Dominus vobiscum».

Тогда виконт обратился к Жанне уже обычным голосом

— Не хочешь ли закусить?

Жанна не ответила, так как не догадывалась, что вопрос относится к ней.

Он повторил:

— Тебе следовало бы поесть немного, чтобы поддержать себя.

Она сказала растерянно:

— Пошли сейчас же за папой.

И он вышел, чтобы отправить верхового в Руан.

Она оцепенела, погрузившись в горе, словно и ожидала этого последнего часа пребывания наедине с матерью, чтобы отдаться уносящему ее потоку безнадежной скорби.

Тени наполнили комнату, окутывая мраком усопшую. Вдова Дантю неслышно бродила, отыскивая невидимые предметы и раскладывая их беззвучными движениями сиделки. Затем она зажгла и тихонько поставила две свечи у изголовья постели на ночной столик, покрытый белой салфеткой.

Жанна, казалось, ничего не видела, ничего не чувствовала, ничего не понимала. Она ждала минуты, когда останется одна. Вошел Жюльен, он пообедал и снова обратился к Жанне с вопросом.

— Ты не хочешь ничего поесть?

Жанна движением головы отвечала «Нет».

Он сел, скорее с покорным, чем с грустным видом, и молчал.

Они сидели втроем, далеко друг от друга, не двигаясь.

Минутами сиделка, засыпая, слегка всхрапывала, но вдруг снова просыпалась.

Жюльен встал наконец и подошел к Жанне:

— Хочешь теперь побыть одна?

В невольном порыве она схватила его за руку.

— О да, оставьте меня.

Он поцеловал ее в лоб, сказав:

— Я буду заходить к тебе время от времени.

Он вышел с вдовою Дантю, выкатившей свое кресло в соседнюю комнату.

Жанна заперла дверь, потом распахнула настежь оба окна Прямо в лицо ей пахнуло теплой лаской вечера и свежего сена. Трава на лужайке, скошенная накануне, лежала, залитая лунным светом

Это сладкое ощущение причинило ей боль, уязвило, словно насмешка.

Она снова вернулась к постели, взяла неподвижную, холодную руку и принялась смотреть в лицо матери.

У нее уже не было отека, как в минуту удара; она, казалось, спала теперь, и спокойнее, чем когда-либо; бледное пламя свечей, колеблемое ветерком, беспрестанно перемещало тени на ее лице, и она точно оживала, точно шевелилась.

Жанна глядела на нее с жадностью, и из глубокой дали ее раннего детства на нее нахлынул рой воспоминаний.

Она припомнила посещения мамочки в монастырской приемной, ее манеру протягивать бумажный кулек с пирожками, множество мелочей, ничтожных подробностей, ее нежные слова, интонации, привычные жесты, ее морщинки у глаз, когда она смеялась, и глубокий вздох удушья, когда она садилась в кресло.

Жанна стояла, глядя на нее, повторяя в каком-то отупении: «Умерла!»,— и весь ужас этого слова вставал перед нею.

Лежащая здесь — мать — мамочка — мама Аделаида — умерла! Она не будет больше двигаться, не будет больше говорить, не будет больше смеяться, никогда не будет больше сидеть за столом против папочки; она не скажет больше: «Здравствуй, Жанетта». Она умерла!

Ее заколотят в ящик и опустят в землю, и это будет все. Ее никогда больше не увидят. Возможно ли это? Как, у нее не будет матери? Это милое и столь дорогое лицо, которое Жанна стала видеть с тех пор, как впервые открыла глаза, которое она начала любить с той минуты, как впервые раскрыла объятия, этот неистощимый источник любви, мать — это единственное существо, более дорогое сердцу, нежели все остальные существа в мире, исчезло! Ей остается смотреть всего несколько часов в ее лицо, в это неподвижное лицо, не имеющее выражения; а затем — ничего, больше ничего, одно лишь воспоминание.

Жанна рухнула на колени в ужасном порыве отчаяния и, сжимая простыни сведенными руками, прижавшись к постели ртом, кричала раздирающим голосом, который заглушали белье и одеяла:

— О мама, бедная мама, мама!

Затем, чувствуя, что рассудок ей изменяет, как в ту ночь, когда она бежала по снегу, она встала и подошла к окну освежиться, вдохнуть чистого воздуха, который не был бы воздухом этой постели, воздухом умершей.

Скошенные лужайки, деревья, ланда и море вдали лежали в молчаливом покое, заснув под нежным очарованием луны. Эта мирная тишина слегка проникла и в душу Жанны, и она принялась тихо плакать.

Затем она вернулась к кровати и села, снова взяв в свои руки руку мамочки, словно бодрствуя над нею во время болезни.

В комнату влетело огромное насекомое, привлеченное свечами. Оно билось о стены, как мяч, летало по комнате из конца в конец. Жанна, отвлеченная его жужжащим полетом, подняла глаза, но увидела только блуждающую тень на белом потолке.

Вскоре его не стало слышно. Тогда Жанна различила слабое тиканье стенных часов и другой звук, похожий скорее на неуловимый шорох. То были мамочкины часы, продолжавшие идти и забытые в платье, брошенном на стул, в ногах постели. И внезапно смутное сопоставление этой смерти с механизмом, который не останавливался, снова оживило острую боль в сердце Жанны

Она взглянула на часы. Не было еще и половины одиннадцатого; ее охватил ужас при мысли, что она должна провести здесь всю ночь.

Другие воспоминания приходили ей на память, воспоминания из ее собственной жизни — Розали, Жильберта,— горькие разочарования ее сердца. Все в мире — лишь страдание, горе, несчастье и смерть. Все обманывает, все лжет, все заставляет страдать и плакать. Где найти немного покоя и радости? В иной жизни, конечно, когда душа освободится от земных испытаний. Душа! Она принялась думать об этой непостижимой тайне, отдавшись вдруг власти поэтических доводов, которые вслед за тем опрокидывались другими, не менее смутными гипотезами. Где же теперь душа ее матери, душа этого неподвижного и ледяного тела? Быть может, очень далеко. Значит, где-нибудь в пространстве? Но где? Развеялась ли она, подобно благоуханию засохшего цветка? Исчезла ли, как невидимая птица, выпорхнувшая из клетки?

Призвана ли она к богу? Или рассеялась неведомо где, среди новых творений, соединившись с зернами, готовыми прорасти?

Быть может, она очень близко? Быть может, реет в этой же комнате, вокруг этого безжизненного тела, покинутого ею? И вдруг Жанна почувствовала, как ее коснулось какое-то легкое веяние, точно прикосновение духа. Ее охватил страх, такой сильный, такой бурный страх, что она уже не смела больше ни двигаться, ни дышать, ни повернуться, чтобы взглянуть назад. Сердце ее тревожно билось.

Невидимое насекомое внезапно снова принялось летать и, кружась, ударяться о стены. Она задрожала с головы до ног, но, узнав жужжание крылатого насекомого, успокоилась, встала и обернулась. Ее глаза упа-

ли на секретер с головами сфинкса, где хранились «реликвии».

Нежная и странная мысль пришла ей в голову: прочесть в эту ночь последнего бдения — как священную книгу — старые письма, дорогие покойной. Ей показалось, что она совершит священный, чуткий и поистине дочерний долг и что это понравится мамочке в ином мире.

То была старая дедушкина и бабушкина переписка, которую Жанна никогда не читала. Ей хотелось протянуть им руки над телом их дочери, уйти к ним в эту печальную ночь, словно они также страдают, завязать таинственную цепь любви между ними, умершими уже давно, тою, которая только что перестала существовать, и собою, еще оставшейся на земле.

Она встала, откинула крышку секретера и взяла из нижнего ящичка десяток маленьких свертков пожелтевшей бумаги, перевязанных в порядке и размещенных друг возле друга.

С каким-то особым смыслом она положила все их на постель, под руки баронессы, и принялась за чтение.

Это были старые послания, которые находишь в старинных фамильных секретерах, послания, от которых веет минувшим веком.

Первое письмо начиналось словами: «Моя дорогая». Второе — «Моя прелестная дочурка»; затем следовали обращения: «Дорогая малютка», «Моя крошка», «Моя обожаемая дочка», затем — «Мое дорогое дитя», «Дорогая Аделаида», «Дорогая дочь»,— смотря по тому, были ли они адресованы к ребенку, к молодой девушке или, позже, к молодой женщине.

И все это было полно страстных и наивных нежностей, множества интимных мелочей, тех больших и простых домашних событий, которые кажутся столь незначительными посторонним людям: «У отца простуда, горничная Гортензия обожгла себе палец; кот Мышелов околел, срубили ель по правую сторону забора, мать потеряла свои молитвенник, возвращаясь из церкви, и думает, что его у нее украли».

Говорилось в них и о людях, которых Жанна не знала, но имена их она слышала в детстве, как ей смутно вспоминалось теперь

Она была растрогана этими подробностями, которые казались ей теперь откровениями; она словно внезапно вошла во всю прошлую тайную, сердечную жизнь мамочки. Она взглянула на распростертое тело и вдруг начала читать вслух, читать для покойной, точно желая ее рассеять или утешить.

И недвижимый труп, казалось, был счастлив.

Одно за другим отбрасывала она письма в ноги кровати и подумала, что их следовало бы положить в гроб, как кладут цветы.

Она развязала еще связку. То был новый почерк. Она прочла: «Я не могу больше жить без твоих ласк. Люблю тебя до безумия».

И только; подписи не было.

Она повернула лист, не понимая. Письмо было адресовано: «Баронессе Ле Пертюи де Во».

Тогда она раскрыла следующее: «Приходи сегодня вечером, как только он уйдет. В нашем распоряжении будет час. Обожаю тебя».

Далее: «Я провел ночь в бреду, тщетно тоскуя по тебе. Я ощущал в своих объятиях твое тело, твой рот под моими губами, твои глаза .. И я приходил в ярость и готов был выброситься из окна при мысли о том, что в эту минуту ты спишь рядом с ним, что он обладает тобою, когда захочет »

Жанна, смущенная, ничего не понимала.

Что это? Кому, для кого, от кого эти слова любви?

Она продолжала читать, снова находя безумные признания, просьбы о встречах, с настойчивыми советами быть осторожной, и в конце постоянно следующие четыре слова: «Непременно сожги это письмо».

Наконец, она развернула обыкновенную записку, простое приглашение к обеду, но написанное тем же почерком за подписью Поля д'Эннемар, которого барон, говоря о нем, называл до сих пор «Мой бедный старый Поль» и чья жена была лучшей подругой баронессы.

Тогда у Жанны вдруг мелькнуло легкое сомнение, тотчас же превратившееся в уверенность. Он был любовником ее матери!

И, растерявшись, она сразу одним движением отбросила эти позорные листки, как отбросила бы ядовитое животное, которое ползло по ней; она подбежала к

окну и принялась отчаянно плакать, испуская невольные крики, раздиравшие ей горло; потом, совершенно разбитая, упала у стены и, пряча лицо в занавеску, чтобы не были слышны ее стоны, зарыдала, погружаясь в пропасть безысходного отчаяния.

Она осталась бы в таком положении, быть может, всю ночь, но шум шагов в соседней комнате заставил ее одним прыжком вскочить. Это, быть может, отец! А письма лежали на постели и на полу! Ему достаточно было бы развернуть первое попавшееся! И он бы узнал все это,— он!..

Она бросилась вперед и, загребая обеими руками старые пожелтевшие бумаги — и письма бабушки и дедушки, и письма любовника, и письма, ею еще не развернутые, и письма, которые еще лежали связанными в ящиках секретера,— бросила их всею грудой в камин. Потом она взяла одну из свечей, горевших на ночном столике, и подожгла эту гору писем. Вспыхнуло огромное пламя, осветив комнату, ложе и труп ярким пляшущим светом, очерчивая черной тенью по белому занавесу алькова дрожащий профиль строгого лица и силуэт огромного тела, покрытого простыней.

Когда в глубине очага остались лишь груды пепла, Жанна вернулась к открытому окну и села у него, словно не смея оставаться более возле покойницы, и, закрыв лицо руками, начала снова плакать, прерывая слезы болезненными стонами и безутешной жалобой:

— О, бедная мама, о, бедная мама!

Ужасная мысль пришла ей в голову: а что, если мамочка не умерла, что, если она только уснула летаргическим сном, что, если она вдруг встанет и заговорит? Проникновение в ужасную тайну не ослабило ли ее дочерней любви? Поцеловала ли бы она мать с прежним благоговением? Могла ли бы она любить ее той же священной любовью? Нет. Это было невозможно! И эта мысль разрывала ей сердце.

Ночь проходила; звезды бледнели; был тот свежий час, который предшествует утру. Низко стоявшая луна собиралась погрузиться в море и покрывала перламутром всю его поверхность.

И Жанну охватило воспоминание о ночи, проведен-

ной у окна в день приезда в «Тополя». Как это было далеко, как все переменилось, каким иным казалось ей теперь будущее!

И вот небо стало розовым, радостно-розовым, влюбленным, пленительным. Она смотрела, удивляясь теперь, словно какому-то феномену, этому лучезарному рассвету, и спрашивала себя, возможно ли, чтобы на этой земле, где встают такие зори, не было ни радости, ни счастья.

Стук в дверь заставил ее вздрогнуть. То был Жюльен, он спросил:

— Ну, как, ты не очень устала?

Она ответила «нет», радуясь тому, что она уже не одна.

— Теперь пойди поспи,— сказал он.

Она поцеловала мать долгим, болезненным, мучительно-печальным поцелуем и ушла в свою комнату.

День прошел в тех грустных заботах, которых требует покойник. Барон приехал к вечеру. Он очень плакал.

Похороны происходили на другой день.

Прижавшись в последний раз губами к ледяному лбу матери, совершив ее последний туалет и увидав, как забивают гроб, Жанна удалилась Должны были явиться приглашенные.

Жильберта приехала первая и с рыданиями бросилась на грудь подруги.

В окно были видны экипажи, которые сворачивали у решетки и быстро подкатывали к дому. В огромной прихожей раздавались голоса. В комнату входили одна за другой женщины в черном, которых Жанна не знала. Маркиза де Кутелье и виконтесса де Бризвиль поцеловали ее.

Она заметила вдруг, что тетя Лизон крадется сзади нее. И Жанна обняла ее с такой нежностью, что старая дева едва не лишилась чувств.

Жюльен вошел в глубоком трауре, элегантный, озабоченный и довольный притоком людей. Он шепотом говорил с женой, о чем-то советуясь. Затем конфиденциально прибавил:

— Приехала вся знать, это очень хорошо!

И удалился, важно кланяясь дамам.

Тетя Лизон и графиня Жильберта оставались возле Жанны все время, пока длился обряд. Графиня непрерывно ее обнимала, повторяя:

— Дорогая моя бедняжка, дорогая бедняжка!

Когда граф де Фурвиль вернулся за женой, он плакал, словно сам потерял родную мать.

X

Печальны были следующие дни, те мрачные дни, когда дом кажется пустым из-за отсутствия близкого существа, исчезнувшего навеки, дни, истерзанные страданиями при каждом взгляде на любой предмет, которым постоянно пользовался умерший. Ежеминутно в сердце возникает какое-нибудь мучительное воспоминание. Вот его кресло, его зонтик, оставшийся в передней, его стакан, не убранный прислугой! И во всех комнатах еще лежат в беспорядке его вещи: ножницы, перчатки, книга, к страницам которой прикасались его отяжелевшие пальцы, множество мелочей, приобретающих болезненное значение, потому что они напоминают тысячу мелких фактов.

И голос его преследует вас; кажется, будто его слышишь, хочется бежать неведомо куда, уйти от наваждений этого дома. Но надо оставаться, потому что другие остаются и так же страдают.

Кроме того, Жанна была подавлена воспоминанием о своем открытии. Эта мысль угнетала ее; израненное сердце не исцелялось. Ее теперешнее одиночество еще более возрастало от этой ужасной тайны; последнее доверие к людям было подорвано вместе с последней верой.

Отец спустя некоторое время уехал; ему нужно было движение, перемена обстановки, нужно было отвлечься от черной печали, им овладевавшей все более и более.

И огромный дом, которому, таким образом, приходилось время от времени быть свидетелем исчезновения то одного, то другого из своих хозяев, снова зажил спокойной и размеренной жизнью.

Неожиданно заболел Поль. Жанна сходила с ума, не спала в течение двенадцати ночей, почти не ела.

Он выздоровел, но она так и осталась испуганной мыслью о том, что ведь он мог умереть! Что станет она тогда делать? Что с ней будет? И в ее сердце незаметно закралась смутная потребность иметь еще ребенка. Вскоре она стала мечтать об этом, и ее опять захватило давнишнее желание видеть около себя два маленьких существа, мальчика и девочку. Это стало ее навязчивой мыслью.

Но со времени происшествия с Розали она жила отдельно от Жюльена. Попытка сблизиться казалась даже невозможной в том положении, в котором они находились Кроме того, у Жюльена были любовные связи; она это знала, и одна мысль подвергнуться снова его ласкам вызывала в ней дрожь отвращения

Впрочем, она подчинилась бы этому: до того сильно преследовало ее желание стать матерью; но она задавала себе вопрос: как могли бы снова возобновиться их поцелуи? Она скорее умерла бы от унижения, чем позволила бы мужу угадать свои мечты, он же, по-видимому, о ней больше не думал.

Она и отказалась бы, может быть, от этого, но дочка стала сниться ей каждую ночь; она видела ее играющей с Полем под платаном и иногда ощущала непреодолимое желание встать и, не говоря ни слова, пойти к мужу в его комнату. Два раза она даже дошла до его двери, но затем быстро вернулась, и сердце ее билось от стыда.

Барон уехал, мамочка умерла; Жанне не с кем было теперь посоветоваться, некому доверить свои задушевные тайны.

Тогда она решилась отправиться к аббату Пико и поведать ему под тайной исповеди свои намерения, которые ее так затрудняли.

Она застала его за чтением требника, в палисаднике, обсаженном фруктовыми деревьями.

Поговорив несколько минут о том, о другом, она пролепетала, покраснев:

— Я хотела бы исповедаться, господин аббат.

Он был удивлен и поправил очки, чтобы хорошенько вглядеться в нее, потом рассмеялся:

— У вас, однако, не должно быть на совести больших грехов.

Она окончательно смутилась и отвечала:

— Нет, но мне нужно попросить у вас совета в таком... таком... трудном деле, что я не смею говорить с вами о нем иначе, как...

Он тотчас же оставил свой добродушный вид и превратился в священнослужителя:

— Хорошо, дитя мое, я выслушаю вас в исповедальне; пойдемте.

Но вдруг она остановила его, заколебавшись, удерживаемая какой-то щепетильностью, мешавшей ей говорить о таких, несколько зазорных вещах в тишине пустой церкви:

— Или нет... господин кюре.. я могу... могу .. если хотите... сказать здесь, что меня к вам привело. Давайте сядем с вами там, в вашей беседочке.

Они медленно направились туда. Она думала, как ей высказаться, с чего начать. Они сели.

Тогда, словно исповедуясь, она заговорила:

— Отец мой ..

Она запнулась, снова повторила: «Отец мой...» — и умолкла, окончательно смутившись.

Он ждал, скрестив руки на животе. Видя ее замешательство, он ободрил ее:

— Ну, дочь моя, можно подумать, что у вас не хватает смелости; будьте же мужественны.

Тогда она решилась, как трус, бросающийся навстречу опасности:

— Отец мой, я хотела бы иметь еще ребенка.

Он не отвечал, ничего не понимая. Тогда она объяснила, растерянно путаясь в словах:

— Я осталась совсем одна; мой отец и муж не ладят между собой, мама умерла, и... и ..

Она произнесла еле слышно и вся дрожа:

— На днях я чуть не лишилась сына! Что было бы тогда со мной?

Она умолкла. Священник в замешательстве смотрел на нее:

— Хорошо, расскажите же, в чем дело.

Она повторила:

— Я желала бы иметь еще ребенка.

Тогда он улыбнулся — он привык к сальным шуткам крестьян, нисколько не стеснявшихся перед ним,— и отвечал, лукаво кивнув головой:

— Мне кажется, тут дело только за вами.

Она подняла на него свои чистые глаза и, запинаясь от волнения, промолвила:

— Но... но... вы понимаете, что с той минуты... с той минуты... вы знаете... об этой горничной... мы с мужем, мы живем... мы живем совершенно врозь.

Привыкнув к распущенности деревенских нравов, чуждых всякого достоинства, он удивился этому открытию, а затем ему показалось вдруг, что он угадал истинное желание молодой женщины. Он взглянул на нее искоса, полный доброжелательности и сочувствия к ее горю:

— Да, я вполне понимаю. Я понимаю, что ваше... ваше вдовство тяготит вас. Вы молоды, здоровы. В конце концов это естественно, слишком естественно.

Он улыбнулся, уступая своей игривой натуре деревенского священника, и тихонько похлопывал Жанну по руке:

— Это дозволено, вполне дозволено заповедями: «Плотские желания будешь иметь только в браке». Вы замужем, не правда ли? Так ведь не затем же вы вышли замуж, чтобы сажать репу.

Она тоже не поняла сначала его намеков; но едва постигнув их смысл, она покраснела от волнения до корней волос, и на глазах у нее выступили слезы.

— О, господин кюре, что вы говорите? Что вы подумали? Клянусь вам... Клянусь вам...

Рыдания душили ее.

Он был изумлен и стал утешать ее:

— Ну вот, я не хотел огорчать вас. Я немного пошутил: не возбраняется же это порядочному человеку. Но рассчитывайте на меня, можете вполне рассчитывать на меня. Я поговорю с господином Жюльеном.

Она не знала, что ответить. Ей хотелось теперь отказаться от его вмешательства; оно казалось ей неудоб-

ным и опасным. Но она не посмела и убежала, пролепетав:

— Благодарю вас, господин кюре.

Прошла неделя. Она жила в тоске и тревоге.

Однажды вечером, за обедом, Жюльен взглянул на нее как-то странно, с той улыбочкой на губах, которую Жанна знала за ним в минуты насмешливости. У него появилась даже неуловимо-ироническая любезность к ней, а когда они прогуливались по широкой мамочкиной аллее, он тихонько сказал ей на ухо:

— Мы, кажется, помирились?

Она не отвечала. Она разглядывала на земле прямую линию, почти не видимую теперь и поросшую травой. То был след ноги баронессы, постепенно стиравшийся, как стирается всякое воспоминание. И Жанна почувствовала, что ее сердце, полное печали, мучительно сжалось; она почувствовала себя бесконечно одинокой и всем чужой.

Жюльен продолжал:

— Я-то лучшего и не желаю Я боялся, что уже не нравлюсь тебе.

Солнце садилось, воздух был мягкий. Жанну томило желание плакать, потребность излиться дружескому сердцу, потребность сжать кого-нибудь в объятиях, шепча о своем горе Рыдания подступали к ее горлу. Она раскрыла объятия и упала на грудь Жюльена.

Она плакала. Удивленный, он смотрел на ее волосы, потому что не мог увидеть ее лица, спрятанного на его груди. Он подумал, что она еще любит его, и запечатлел на ее прическе снисходительный поцелуй.

Затем они вернулись в дом, не сказав более ни слова. Он пошел за нею в ее спальню и провел с нею ночь.

И прежние отношения их возобновились. Он выполнял их, словно обязанность, хотя и не такую уж неприятную; она терпела их, как мучительную необходимость, решив прекратить их раз навсегда, едва лишь почувствует себя снова беременной.

Но вскоре она заметила, что ласки мужа как будто отличаются от прежних. Они, быть может, стали утонченнее, но были менее полными. Он обращался с нею,

словно робкий любовник, а вовсе не как спокойный супруг.

Она удивилась, стала наблюдать и вскоре заметила, что его объятия всегда прекращаются раньше, чем она могла бы быть оплодотворена

Однажды ночью, прильнув губами к его губам, она прошептала:

— Почему ты не отдаешься мне больше целиком, как прежде?

Он рассмеялся·

— Черт возьми, да чтобы ты не забеременела!

Она задрожала:

— Почему же ты не хочешь еще детей?

Он замер от удивления

— Как? Что ты говоришь? Ты с ума сошла! Второго ребенка? Ну нет, вот еще! Вполне довольно и одного Он и без того пищит, поглощает общее внимание и стоит денег. Еще ребенка! Благодарю покорно!

Она порывисто обняла его, поцеловала и, расточая ласки, шепнула чуть слышно.

— О, умоляю тебя, сделай меня матерью еще раз.

Но он рассердился, словно она его оскорбила

— Ты, право, сходишь с ума Избавь меня, пожалуйста, от таких глупостей

Она умолкла и дала себе обещание, что выпудит у него хитростью то счастье, о котором мечтаег

Она попробовала удлинить ласки, играя комедию безумного пыла, прижимая его к себе судорожно сведенными руками в притворных порывах страсти. Она пустила в ход все уловки, но он владел собою и ни разу не забылся

Тогда, все более и болсе мучимая ожесточенным желанием, доведенная до крайносги, готовая пренебречь всем и на все дерзнуть, она снова отправилась к аббату Пико.

Он только что позавтракал и был очень красен, так как после еды у него всегда бывало сердцебиение. Едва завидев ее, он воскликнул «Ну как?»,— горя нетерпением узнать о результате своего посредничества.

На этот раз она была решительнее и ответила немедленно, без всякой стыдливой робости.

— Мой муж не желает больше детей.

Аббат, чрезвычайно заинтересованный, повернулся к ней, готовясь с поповским любопытством накинуться на эти альковные тайны, которые так забавляли его в исповедальне. Он спросил:

— Как это?

Теряя свою решительность, она с волнением разъяснила:

— Но он... он.. отказывается сделать меня матерью .

Аббат понял; он знал эти вещи. Он пустился в расспросы со всеми точными и мелочными подробностями, с жадностью человека, обреченного на воздержание.

Затем он поразмыслил несколько минут и спокойным тоном, словно говоря о хорошем урожае, начертал ей искусный план поведения, отмечая все пункты:

— Остается только один выход, дитя мое, а именно убедить его в том, что вы уже беременны. Он перестанет остерегаться, и вы забеременеете взаправду.

Она покраснела до слез, но, решившись на все, настаивала:

— А... если он не поверит мне?

Кюре хорошо знал способы управлять людьми и держать их в руках:

— Объявите всем о вашей беременности, говорите о ней повсюду; в конце концов и он поверит.

И он прибавил, словно для того, чтобы оправдать эту военную хитрость:

— Это ваше право. Церковь терпит плотскую связь между мужчиной и женщиной только ради рождения детей.

Она последовала хитроумному совету и две недели спустя объявила Жюльену, что считает себя беременной. Он так и подскочил:

— Не может быть! Неправда!

Она указала на причину своих подозрений; тем не менее он тут же успокоился:

— Ничего, подожди немного Там видно будет.

Потом каждое утро спрашивал:

— Ну, что же?

И она неизменно отвечала:

— Нет, все еще нет. Я уже не сомневаюсь, что беременна.

Он тоже беспокоился и был в такой же степени разгневан и раздосадован, как и удивлен. Он твердил:

— Ничего не понимаю, розно ничего! Пусть меня повесят, если я знаю, как это могло случиться!

Через месяц она рассказывала новость всем и каждому, за исключением графини Жильберты — из чувства какой-то сложной и деликатной стыдливости.

С минуты первого признания жены Жюльен не приближался больше к ней; но затем он с яростью покорился своей участи, заявив:

— Еще один непрошеный!

И снова стал приходить в комнату жены

То, что предвидел священник, сбылось в точности Она забеременела.

Тогда, полная безумной радости, она стала каждый вечер запирать свою дверь, посвящая себя вечному целомудрию в порыве благодарности неведомому божеству, которому она поклонялась.

Она снова чувствовала себя почти счастливою, удивляясь тому, как быстро стихла ее скорбь после смерти матери Она считала тогда себя безутешной, а между тем всего за каких-нибудь два месяца эта живая рана затянулась Осталась только нежная печаль, словно какой-то покров горести, накинутый на ее жизнь. Ей казалось, что в жизни ее уже невозможны какие-нибудь крупные события. Дети вырастут, будут ее любить; она состарится, спокойная, довольная, не интересуясь больше мужем.

В конце сентября аббат Пико приехал с церемонным визитом в новой сутане, пятна на которой были всего лишь недельной давности; он представил Жанне своего преемника, аббата Тольбьяка. То был совсем еще молодой, худощавый священник, очень маленького роста и с высокопарной речью; впалые глаза, окаймленные черными кругами, выдавали в нем страстную душу.

Старого кюре назначили благочинным в Годервиль.

Жанна была искренне огорчена, узнав об его отъезде. Образ этого добряка был связан со всеми воспо-

минаниями молодой женщины. Он венчал ее, он крестил Поля, он отпевал баронессу. Она не представляла себе Этувана без пузатого аббата Пико, проходящего вдоль дворов ферм, она любила его за жизнерадостность и непринужденность

Несмотря на повышение, он не казался веселым Он говорил

— Тяжело мне это, тяжело, графиня Вот уже восемнадцать лет, как я здесь Что и говорить, приход малодоходный и мало чего стоит. Мужчины мало религиозны, а женщины.. женщины, право же, невозможного поведения Девушки идут в церковь венчаться не иначе, как уже совершив паломничество к «богоматери брюхатых», и померанцевые цветы невысоко ценятся в этом краю Но что же поделать,— я любил его

Новый кюре покраснел и проявил явное нетерпение. Он сказал резко

— При мне все это перемелется

Хрупкий и худой, в поношенной, но чистой сутане, он походил на взбалмошного ребенка

Аббат Пико взглянул на него искоса, как смотрел обычно в веселые минуты, и сказал·

— Видите ли, аббат, чтобы пресечь это, следовало бы сажать ваших прихожан на цепь, да и такая мера ни к чему не поведет.

Маленький священник отвечал отрывисто

— Это еще посмотрим

Старый кюре улыбнулся, втягивая понюшку табаку.

— Годы успокоят вас, аббат, и опыт также; вы оттолкнете от церкви своих последних прихожан, вот и все В этом краю веруют, но, скажу я вам, берегитесь! Честное слово, когда я вижу, что во время проповеди входит несколько растолстевшая девушка, я только говорю себе: «Она приведет ко мне лишнего прихожанина» — и стараюсь выдать ее замуж. Вы не помешаете им грешить, но можете разыскать парня и помешать ему бросить молодую мать Жените их, аббат, жените их и не притязайте на большее

Новый кюре жестко ответил·

— Мы по-разному думаем, бесполезно спорить

Тогда аббат Пико снова принялся жалеть о своей деревне, о море, которое он видел из окон своего дома,

о маленьких воронкообразных долинах, куда он ходил читать требник, глядя, как вдали проплывают лодки

Священники откланялись. Старый кюре поцеловал Жанну, и она чуть не расплакалась

Неделю спустя аббат Тольбьяк пришел снова Он говорил о предполагаемых преобразованиях с торжественностью государя, вступающего во владение королевством Затем он попросил виконтессу не пропускать воскресной службы и причащаться каждый праздник

— Мы с вами,— сказал он,— представляем собою вершину всей округи, мы должны управлять ею и подавать пример. Нам нужно объединиться, чтобы быть сильными и уважаемыми Если церковь и замок подадут друг другу руки, хижина будет бояться нас и будет нам повиноваться

Религия Жанны была целиком основана на чувстве; это была та мечтательная вера, которая особенно присуща женщинам, и если Жанна более или менее выполняла свои религиозные обязанности, то скорее по привычке, оставшейся у нее от монастыря, потому что фрондирующая философия отца уже давно поколебала ее веру.

Аббат Пико довольствовался тем немногим, что она могла ему дать, и никогда не журил ее Но его преемник, не увидев ее за обедней в предыдущее воскресенье, прибежал к ней, обеспокоенный и суровый.

Ей не хотелось порывать с приходом, и она дала обещание, решив из любезности быть усердной первые недели

Но мало-помалу она привыкла к церкви и подчинилась влиянию этого хрупкого, честного и властного аббата. Он был мистик и нравился ей своей экзальтацией и горением. Он будил в ней струны религиозной поэзии, живущей в душе каждой женщины Его неумолимая суровость, его презрение к миру и чувственности, его отвращение к заботам человеческим, его любовь к богу, его юношеская дикость и неопытность, его суровая речь и непоколебимая воля создавали у Жанны представление о том, каким должны были быть мученики; и она, страдалица, простившаяся с иллюзиями, дала увлечь себя суровому фанатизму этого ребенка, этого слуги неба

Он вел ее ко Христу-утешителю, поучая тому, как благочестивые радости религии умиротворяют все страдания; и она преклоняла колена в исповедальне, смиряясь, чувствуя себя маленькой и слабой перед этим священником, которому на вид было не более пятнадцати лет.

Но вскоре вся деревня возненавидела его.

Непреклонно строгий к самому себе, он выказывал неумолимую нетерпимость и по отношению к другим Одна вещь в особенности возбуждала в нем гнев и негодование: это любовь. Он запальчиво говорил о ней в своих проповедях, прибегал к резким выражениям, согласно церковному обычаю, бросая в толпу деревенских жителей громовые речи против похоти; он дрожал от ярости, топал ногами, и ум его находился во власти неотвязных образов, которые он вызывал в своем исступлении.

Взрослые парни и девушки лукаво переглядывались, а старики-крестьяне, всегда любившие пошутить на эти темы, высказывали неодобрение нетерпимости маленького кюре, когда возвращались домой на ферму после службы вместе с сыном, одетым в голубую блузу, и фермершей в черной накидке. И вся местность была в волнении

Шепотом передавали друг другу о его строгостях в исповедальне, о суровых наказаниях, которые он налагал; а так как он упорно отказывал в отпущении грехов девушкам, невинность которых уступала искушениям, над ним начали насмехаться. И когда за торжественными праздничными мессами молодежь вместо того, чтобы идти причащаться вместе со всеми остальными, оставалась на скамьях, это только подавало повод к смеху.

Вскоре он стал шпионить за влюбленными, чтобы мешать их свиданиям, наподобие сторожа, преследующего браконьеров. Он выгонял их в лунные вечера из канав, из-за овинов, из зарослей дрока, растущего по склонам холмов.

Однажды он застиг парочку, которая, увидев его, не хотела разлучаться; обнявшись и целуясь, они шли по оврагу, полному камней.

Аббат крикнул:

— Перестанете вы или нет, мужичье?

А парень, обернувшись, ответил ему:

— Занимайтесь своими делами, господин кюре, а наши вас не касаются.

Тогда аббат набрал камней и стал бросать в них, точно в собак.

Они со смехом убежали, а в следующее воскресенье он огласил их имена в церкви перед прихожанами.

Все местные парни перестали посещать службу.

Кюре обедал в замке каждый четверг и часто захаживал на неделе беседовать со своей духовной дочерью Она приходила в возбуждение, подобно ему, обсуждая отвлеченные темы, и перетряхивала весь старый и сложный арсенал религиозных споров.

Они вдвоем прогуливались по большой аллее баронессы, разговаривая о Христе и апостолах, о святой деве и об отцах церкви, словно о своих знакомых. Они останавливались иногда, задавая себе глубокомысленные вопросы, которые погружали их в мистицизм, причем она отдавалась поэтическим доводам, взлетавшим к небу, словно ракеты, а он обращался к точной аргументации, как маньяк, решившийся математически доказать квадратуру круга.

Жюльен относился к новому кюре с большим почтением и беспрестанно говорил:

— Мне нравится этот священник; он не вступает в сделки.

И он по доброй воле исповедовался и причащался, щедро подавая благой пример.

Жюльен бывал теперь у Фурвилей почти ежедневно, охотясь с мужем, который не мог уже без него обходиться, и ездя верхом с графиней, несмотря на дождь и дурную погоду. Граф говорил:

— Они помешались на верховой езде, но это так полезно Жильберте.

Барон вернулся в середине ноября. Он изменился, постарел, поблек и был погружен в мрачную печаль, завладевшую его душой. Но его отеческая любовь к дочери теперь, казалось, только усилилась, словно эти несколько месяцев угрюмого одиночества обострили в нем потребность в привязанности, в доверии, в нежности.

Жанна не делилась с ним своими новыми мыслями, не говорила ему о дружбе с аббатом Тольбьяком и о своем религиозном рвении, но с первого же раза, когда барон увидел Тольбьяка, в нем пробудилась сильная неприязнь к аббату.

Когда молодая женщина спросила у него вечером:

— Как ты его находишь?

Он отвечал

— Этот человек — инквизитор! Он, должно быть, очень опасен.

Когда же он узнал от крестьян, с которыми был дружен, о суровости молодого священника, о его неистовстве, о том своеобразном гонении, которое он воздвиг против законов и врожденных инстинктов человека, в сердце барона вспыхнула ненависть.

Сам он принадлежал к числу старых философов, поклонников природы; он умилялся при виде соединения двух животных, преклонялся перед божеством пантеистов и восставал против католического представления о боге, обладающем мещанскими стремлениями, иезуитским гневом и мстительностью тирана, боге, который умалял в его глазах творение предопределенное, роковое, безграничное,— всемогущее творение, воплощающее жизнь, свет, землю, мысль, растение, скалу, человека, воздух, зверя, звезды, бога, насекомое; все это тоже творит, ибо само оно — творение, сильнее воли, безграничней рассуждения, и производит бесцельно, беспричинно, бесконечно во всех направлениях и во всех видах, в беспредельном пространстве, следуя влечениям случая и соседству солнц, согревающих миры

Творение таит в себе все зародыши. мысль и жизнь развиваются в нем, как цветы и плоды на деревьях.

Для барона, следовательно, воспроизведение было великим всеобщим законом, священным, достойным уважения, божественным актом, выполняющим неясную, но постоянную волю вездесущего существа И он, от фермы к ферме, повел страстную войну против нетерпимого священника, гонителя жизни.

Жанна в отчаянии молилась господу и уговаривала отца, но тот постоянно отвечал:

— С такими людьми надо бороться, это — наше право и наш долг В них нет человечности.

И, потрясая длинными седыми волосами, повторял:

— В них нет человечности; они ничего, ничего, ничего не понимают. Они действуют в роковом ослеплении; они враждебны природе.

И он выкрикивал: «Враждебны природе!» — словно бросал проклятия.

Священник ясно чувствовал в нем врага, но, желая сохранить за собой власть над замком и молодой женщиной, медлил, тем более, что был уверен в конечной победе.

Кроме того, его преследовала неотвязная мысль: он случайно открыл любовь Жюльена и Жильберты и хотел положить ей конец какой угодно ценой.

Однажды он пришел к Жанне и после долгой мистической беседы попросил ее объединиться с ним, чтобы побороть и убить зло в ее собственной семье, ради спасения двух душ, которым грозит опасность.

Она не поняла и попросила объяснения. Он ответил:

— Время еще не наступило, но я скоро приду к вам.

И порывисто ушел.

Зима в то время подходила к концу. это была гнилая зима, как говорят в деревне,— сырая и теплая.

Несколько дней спустя аббат пришел и заговорил в неясных выражениях о недостойных связях между людьми, которым надлежало бы быть безупречными Следует, поучал он, тем, кто знает об этих обстоятельствах, прекратить их любыми способами И он пустился в возвышенные рассуждения, после чего, взяв руку Жанны, принялся заклинать ее, чтобы она раскрыла глаза, поняла и помогла ему.

На этот раз она поняла, но молчала, испуганная мыслью о том, сколько мучительного может произойти в ее доме, таком спокойном теперь; и она притворилась, будто не понимает, на что намекает аббат. Тогда он перестал колебаться и заговорил без обиняков:

— Мучительную обязанность должен я выполнить, графиня, но не могу поступить иначе. Долг обязывает меня не оставлять вас в неведении того, чему вы можете помешать. Знайте же, что ваш муж поддерживает преступную связь с госпожой де Фурвиль.

Она поникла головой покорно и обессиленно

Священник спросил:

— Что намерены вы делать теперь?

Она пролепетала:

— Что же вам угодно, чтобы я сделала, господин аббат?

Он отвечал с яростью:

— Нужно пресечь эту преступную страсть.

Она заплакала и сказала с невыразимой мукой:

— Но ведь он уже изменял мне с горничной; он меня не слушает, он меня разлюбил; он оскорбляет меня, как только я выражаю любое желание, с которым он не согласен. Что могу я поделать?

Кюре, не отвечая прямо, воскликнул:

— Как, вы склоняетесь перед этим! Вы смиряетесь! Вы соглашаетесь! Прелюбодеяние гнездится под вашим кровом, и вы его терпите! Преступление совершается на ваших глазах, и вы отводите от него взор? Жена ли вы после этого, христианка ли, мать ли?

Она рыдала:

— Что же мне делать?

Он ответил:

— Все, что угодно, лишь бы не допустить этой гнусности. Все, говорю вам. Покиньте его. Бегите из этого осквернённого дома.

Она промолвила:

— Но у меня нет денег, господин аббат; к тому же у меня не хватит на это мужества, да и как могу я уйти без доказательств? Я не имею никакого права так поступить.

Священник поднялся, весь дрожа от бешенства:

— Эти советы вам нашептывает трусость, сударыня; я считал вас другою. Вы недостойны милосердия господнего.

Она упала на колени:

— О, умоляю вас, не оставляйте меня, подайте мне совет.

Он произнес отрывисто:

— Откройте глаза господину де Фурвиль. Ему надлежит разорвать эту связь.

При этой мысли ее охватил ужас.

— Но он убьет их, господин аббат! А я окажусь доносчицей! О, только не это! Ни за что!

Тогда он, весь дрожа от гнева, поднял руку, словно затем, чтобы проклясть ее.

— Пребывайте же в вашем позоре и преступлении, ибо вы более виновны, чем они. Вы только потакаете мужу! Мне больше нечего здесь делать!

И он вышел в таком бешенстве, что все тело его сотрясалось нервной дрожью.

Она пошла вслед за ним, вне себя, готовая уступить, начиная давать обещания. Но он, все еще дрожа от возмущения, шел быстрыми шагами, яростно размахивая своим большим синим зонтиком, почти одного роста с ним.

Он увидел Жюльена, который стоял у забора, руководя стрижкой деревьев; тогда он свернул налево, чтобы пройти через ферму Кульяров, продолжая повторять:

— Оставьте, сударыня, мне больше нечего вам сказать.

Посреди двора, как раз на его пути, кучка детей из этого дома и из соседних толпилась вокруг конуры собаки Мирзы, с интересом, сосредоточенно и молча разглядывая что-то. Среди них находился барон, также смотревший с любопытством, заложив руки за спину. Он походил на школьного учителя. Но, завидев аббата, он поспешил отойти, чтобы избежать с ним встречи, не кланяться и не разговаривать.

Жанна говорила с мольбой:

— Дайте мне несколько дней на размышление, господин аббат, и придите снова в замок. Я сообщу вам о том, что смогу сделать и что успею предпринять; тогда мы все обсудим.

Они поравнялись в эту минуту с группой ребятишек, и кюре подошел посмотреть, что их так занимает. Это щенилась сука. Перед конурой копошились уже пять щенят, а мать, с нежностью вылизывавшая их, растянулась на боку, вконец измученная. В то самое мгновение, когда священник наклонился над нею, скорченное животное вытянулось, и на свет появился шестой щенок. И тут все мальчишки в восторге начали кричать, хлопая в ладоши:

— Вот еще один, еще один!

Для них это была забава, естественная забава, в которой нет ничего нечистого. Они наблюдали это рождение, как глядели бы на падение яблок с дерева.

Аббат Тольбьяк сначала оторопел, а затем, охваченный слепой яростью, поднял свой большой зонт и начал изо всей силы колотить им по головам собравшихся детей. Испуганные мальчишки принялись улепетывать со всех ног, и аббат внезапно очутился перед собакой-роженицей, пытавшейся приподняться. Но он не дал ей встать на ноги и, обезумев, начал неистово избивать ее Собака, сидевшая на цепи, не могла убежать и только отчаянно скулила и металась под его ударами Он переломил зонт и, отбросив его, вскочил на нее, исступленно топча, давя и избивая ее ногами Она тут же произвела на свет последнего щенка, визжавшего под ним, но аббат бешеным ударом каблука выбил жизнь из окровавленного тела, которое еще трепыхалось среди новорожденных пискунов, слепых и неловких, искавших уже сосков матери.

Жанна убежала, а священник почувствовал вдруг, что его схватили за шиворот; сильная пощечина сбила с него треуголку, и барон, вне себя от ярости, дотащил его до забора и вышвырнул на дорогу.

Когда г-н Ле Пертюи обернулся, он увидел дочь, которая, стоя на коленях, рыдала среди щенят и подбирала их себе в юбку. Он подошел к ней крупными шагами и крикнул, возбужденно жестикулируя:

— Вот он каков, вот он каков, твой поп! Поняла ты его теперь?

Сбежались фермеры· все смотрели на изуродованное тело собаки Тетка Кульяр воскликнула·

— Можно ли быть таким дикарем?

Жанна подобрала семерых щенят и пожелала их выходить

Им попробовали дать молока; трое околели на следующий день Тогда дядя Симон избегал всю округу, ища ощенившуюся собаку. Он не нашел ее, зато принес кошку, уверяя, что она годится для этого дела. Троих щенят утопили, а последнего отдали этой кормилице чужой породы Она тотчас же усыновила его и, улегшись на бок, протянула ему свои сосцы.

Чтобы щенок не истощил чрезмерно свою приемную мать, его отняли от груди через две недели, и Жанна сама взялась кормить его с помощью соски. Она назвала его Тото. Но барон самовластно изменил его имя и окрестил его Массакром

Аббат не приходил больше, но в следующее воскресенье ниспослал с церковной кафедры целый ряд проклятий и угроз по адресу замка, он заявлял, что язвы следовало бы прижигать раскаленным железом, предавал анафеме барона (который над этим посмеялся) и в замаскированных намеках, пока еще робко, коснулся нового увлечения Жюльена. Виконта это привело в ярость, но боязнь скандала умерила его гнев.

С тех пор в каждой проповеди священник продолжал возвещать о своей мести, пророча, что час божий близок и что враги его будут низвергнуты.

Жюльен написал почтительное, но энергичное письмо архиепископу Аббату Тольбьяку пригрозили лишением сана. Он умолк.

Его встречали теперь совершающим долгие одинокие прогулки, когда он шагал крупными шагами с исступленным видом одержимого Жильберта и Жюльен во время своих верховых прогулок постоянно замечали аббата то вдали, в виде черной точки на равнине, то на краю утеса, то в тесной лощинке, где он читал свой гребник и куда они только что собирались въехать. Они поворачивали поводья, чтобы не проезжать мимо него.

Настала весна, оживившая их любовь, бросавшая их ежедневно в объятия друг другу то здесь, то там, под любым прикрытием, куда только ни завлекали их поездки.

Листва на деревьях была еще редкой, а трава слишком влажной, и им нельзя было углубляться, как в разгаре лета, в лесную чащу, поэтому убежищем для своих объятий они обычно выбирали передвижную пастушью хижину, оставленную с осени на вершине Вокотского холма.

Она стояла там совершенно одиноко на своих высоких колесах, неподалеку от скалистого берега, на том именно месте, где начинается спуск к долине. Они не могли быть застигнуты там врасплох, так как видели

оттуда всю долину; а лошади, привязанные к оглоблям хижины, ожидали, пока они не утомятся ласками.

Но вот однажды, в ту минуту, когда они покидали это убежище, они заметили аббата Тольбьяка, сидевшего в зарослях дрока, почти скрывавших его.

— Придется оставлять лошадей в овраге,— сказал Жюльен,— иначе они могут нас выдать издали.

Они стали привязывать лошадей в лощинке, густо поросшей кустарником.

Как-то вечером, когда они возвращались вдвоем в замок Врильет, где должны были обедать вместе с графом, навстречу им попался этуванский кюре, выходивший из замка. Он отступил в сторону, чтобы дать им дорогу, и поклонился, избегая встречаться с ними взглядом.

Их охватило беспокойство, но оно вскоре рассеялось.

Однажды под вечер, когда было очень ветрено, Жанна сидела у камина и читала (было начало мая), как вдруг увидела графа де Фурвиль, шедшего пешком и так быстро, что она подумала, не случилось ли несчастья.

Она быстро сошла вниз, чтобы его принять, и, очутившись перед ним, подумала, что он сошел с ума. На нем была большая меховая фуражка, которую он носил только дома; он был одет в охотничью куртку и так бледен, что его рыжие усы, обычно не выделявшиеся на румяном лице, казались теперь огненными. Глаза его растерянно блуждали и как будто были лишены всякой мысли.

Он спросил:

— Жена моя здесь, не правда ли?

Жанна растерянно отвечала:

— Нет, я не видела ее сегодня.

Тогда он сел, словно под ним подкосились ноги, снял фуражку и несколько раз подряд машинально вытер себе платком лоб; затем, рывком поднявшись, подошел к молодой женщине, протянув руки, раскрыв рот, готовясь сказать, доверить ей какое-то ужасное горе, но остановился, пристально взглянул на нее и выговорил, словно в бреду:

— Но ведь это ваш муж... вы также...

И убежал по направлению к морскому берегу.

Жанна бросилась за ним, чтобы остановить его, звала его, умоляла с замиравшим от ужаса сердцем и думала: «Он узнал все! Что он собирается сделать? О, только бы он их не нашел!»

Но она не могла догнать его, а он ее не слушал.

Он прямо, не колеблясь, уверенно направлялся к своей цели. Перепрыгнув через ров, а затем гигантскими шагами пробравшись сквозь заросли дрока, он достиг скалистого берега.

Жанна, стоя на откосе, поросшем деревьями, долго следила за ним; потом, потеряв его из виду, пошла к дому, мучимая тоской.

Он повернул направо и пустился бежать. По неспокойному морю катились волны; огромные, совершенно черные тучи надвигались с безумной быстротой, проносились мимо, а за ними следовали другие; каждая из них бороздила береговой склон бешеным ливнем. Ветер свистел, рыдал, рвал траву, пригибал к земле молодые побеги хлебов и уносил, словно хлопья пены, больших белых птиц, увлекая их далеко в глубь материка.

Град, посыпавшийся за дождем, хлестал графа по лицу, мочил его щеки и усы, с которых стекала вода, наполнял его уши шумом, а сердце тревогою.

Вдали перед ним долина Вокот раскрывала свою глубокую пасть. Ничего, кроме пастушьей хижины, рядом с пустым загоном для баранов! Две лошади были привязаны к оглоблям передвижного домика. Чего им было опасаться в эту бурю?

Как только граф увидел лошадей, он лег на землю и пополз на руках и коленях, напоминая какое-то чудовище своим запачканным в грязи телом и меховой шапкой. Он дополз до одинокой хижины и спрятался под нею, чтоб не быть замеченным сквозь щели досок.

Лошади, увидев его, заволновались. Он тихо перерезал их поводья ножом, который держал в руке, и когда налетел вдруг шквал, животные обратились в бегство, подстегиваемые градом, начавшим хлестать по покатой крыше деревянного домика, который весь дрожал.

Тогда граф, приподнявшись на колени, заглянул через щель под дверью внутрь хижины.

Он не двигался больше; казалось, он ждал. Прошло довольно много времени; вдруг он встал, весь в грязи с головы до ног Яростным движением задвинул он засов, запиравший дверь снаружи, и, схватившись за оглобли, принялся трясти эту хижину, словно собираясь разбить ее в куски. Затем вдруг впрягся в оглобли и, согнувшись, с отчаянным усилием, задыхаясь, он подвез к крутому склону передвижной домик и тех, кто в нем был заперт.

Они кричали внутри, стуча кулаками по дощатым стенам, не понимая, что с ними случилось.

Добравшись до вершины, граф выпустил из рук легкую хижину, покатившуюся вниз по отлогому склону.

Она все ускоряла свой бег, безумно несясь, летя все быстрее и быстрее, прыгая, спотыкаясь, как животное, колотя землю оглоблями.

Старик-нищий, прикорнувший во рву, видел, как она пронеслась, словно вихрь, над его головой, и слышал ужасные крики, раздававшиеся из деревянного ящика.

Вдруг из-за толчка у домика отскочило колесо, он упал набок и заскакал, как шар, как обрушившийся дом, летящий с вершины горы. Затем, достигнув края последней рытвины, он подпрыгнул, описывая дугу, и, упав вниз, треснул, как яйцо.

Как только домик разбился о каменистую почву, старик-нищий, видевший, как он летел, стал медленными шажками спускаться сквозь терновник; удерживаемый осторожностью крестьянина, он не посмел приблизиться к разбитому в щепки ящику, а пошел на соседнюю ферму сообщить о происшествии.

Прибежали люди, стали разбирать обломки и увидели два тела, изуродованных, израненных, окровавленных. У мужчины был раздроблен лоб и изувечено лицо. У женщины отвисла челюсть, разбитая толчком; их размозженные тела были мягки, словно под мясом уже не было костей

Тем не менее их узнали; начались долгие пересуды о причинах несчастья.

— Что они делали в этом шалаше? — спросила женщина.

Тогда старик-нищий сообщил, что они, по всей веро-

ятности, укрылись там от бури и что страшный ветер, должно быть, пошатнул хижину и сбросил ее в пропасть Он объяснял, что сам хотел было спрятаться в нее, но увидел лошадей, привязанных к оглоблям домика, и понял, что место было уже занято.

Он добавил с довольным видом

— Не случись этого, я попал бы в переделку.

Чей-то голос проговорил

— А может, оно бы и лучше было?

Тогда старик пришел в ужасную ярость:

— Почему же это было бы лучше? Потому, что я беден, а они богаты? Ну и караульте-ка их теперь ..

И, дрожащий, оборванный, весь мокрый, грязный, с всклокоченной бородой и длинными волосами, висящими из-под рваной шляпы, он указал на трупы концом крючковатой палки, проговорив:

— Все мы равны там, перед богом.

Подошли другие крестьяне, посматривая искоса беспокойным, лукавым, испуганным, трусливым взглядом. Затем стали рассуждать, что же делать; было решено развезти тела по замкам в надежде, что будет получена награда. Запрягли две двуколки. Но тут возникла новая трудность. Одни хотели просто устлать дно повозки соломой, другие же полагали, что необходимо для приличия положить в них матрацы.

Женщина, уже говорившая раньше, закричала:

— Да ведь матрацы-то будут все залиты кровью, их придется отмывать жавелем!

Толстый фермер с добродушным лицом ответил:

— За это заплатят. Чем больше это будет стоить, тем дороже заплатят.

Довод был убедительный.

И две одноколки, на высоких колесах без рессор, пустились рысью, одна направо, другая налево, встряхивая и подкидывая на каждом ухабе останки этих двух существ, которые только что обнимали друг друга и которым уже не придется встретиться вновь.

Как только граф увидел, что хижина покатилась вниз по крутому склону, он побежал со всех ног под дождем и ветром шквала. Он бежал так несколько часов, пересекая дороги, спрыгивая с откоса, пробираясь

через изгороди, и вернулся к себе под вечер, сам не зная как.

Испуганные лакеи ждали его и доложили, что обе лошади только что вернулись без всадников: лошадь Жюльена следовала за другою.

Тогда г-н де Фурвиль зашатался и прерывающимся голосом сказал:

— С ними, должно быть, случилось какое-то несчастье по этой ужасной погоде. Пусть все тотчас же отправятся на розыски.

Он ушел и сам, но, едва скрывшись из виду, спрятался в кустарнике и стал следить за дорогой, по которой должна была вернуться мертвой или умирающей, или, может быть, навек искалеченной и обезображенной та, которую он все еще любил с дикой страстью.

Вскоре мимо него проехала одноколка с какою-то странною кладью.

Она остановилась перед замком, затем въехала во двор. Это было то самое, да, это была *Она*. Страшная тоска пригвоздила его к месту, чудовищная боязнь узнать правду, ужас перед открытием истины; он не двигался, притаившись, как заяц, и дрожа при малейшем шуме.

Он ждал час, быть может, два. Одноколка не выезжала обратно. Он решил, что жена его умирает, но мысль увидеть ее, встретиться с нею взглядом наполнила его таким ужасом, что он вдруг испугался, как бы его не открыли в засаде и не принудили вернуться домой, чтобы присутствовать при агонии. И он убежал еще дальше, в глубь леса. Однако тут ему внезапно пришло в голову, что она, быть может, нуждается в помощи, что, наверно, некому ходить за нею, и он вернулся бегом, полный отчаяния.

Возле замка он встретил садовника и крикнул ему:

— Ну, что?

Садовник не посмел ответить. Тогда г-н де Фурвиль испустил вопль:

— Она умерла?

И слуга пролепетал:

— Да, ваше сиятельство.

Он почувствовал огромное облегчение. Внезапное спокойствие проникло в его кровь, в дрожавшие муску-

лы, и он твердыми шагами взошел на ступеньки высокого крыльца.

Другая одноколка доехала до «Тополей». Жанна издали увидела ее, различила матрац, угадала, что на нем лежит тело, и поняла все. Ее волнение было так велико, что она упала без чувств.

Когда она пришла в себя, отец поддерживал ее голову и мочил ей уксусом виски. Он спросил нерешительно:

— Ты знаешь?

— Да, папа,— прошептала она.

Она захотела подняться, но не смогла: так сильно она страдала.

В тот вечер она родила мертвого ребенка — девочку.

Она не видела похорон Жюльена и ничего о них не спрашивала. Она заметила только через день или два, что вернулась тетя Лизон, и среди мучительных кошмаров лихорадки упрямо старалась припомнить, когда старая дева уехала из «Тополей», в какое время и при каких обстоятельствах. Она не могла вспомнить этого даже в часы просветления и была уверена только в том, что уже видела ее после смерти мамочки.

XI

Три месяца пробыла она в своей спальне и стала такой слабой и бледной, что все считали ее положение безнадежным. Но мало-помалу жизнь вернулась к ней. Папочка и тетя Лизон не оставляли ее: они поселились в «Тополях». Пережитое потрясение вызвало у Жанны нервную болезнь; малейший шум доводил ее до потери сознания, и она впадала в продолжительные обмороки от самых незначительных причин.

Она никогда не расспрашивала о подробностях смерти Жюльена. Какое ей до этого дело? Разве она и без того не достаточно знает? Все верили в несчастный случай, но она-то не могла заблуждаться и хранила в сердце своем тайну, которая мучила ее: уверенность в измене и воспоминание о внезапном и ужасном появлении графа в день катастрофы.

Теперь душа ее была проникнута нежными, сладкими и грустными воспоминаниями о кратких радостях любви, которые ей некогда дарил муж. Она вздрагивала каждый миг, когда ее память неожиданно пробуждалась; она видела его таким, каким он был в дни помолвки и каким она любила его в немногие часы страсти, расцветшей под жгучим солнцем Корсики. Все недостатки его сглаживались, грубость исчезла, самые измены смягчились теперь, когда все дальше и дальше отходила в прошлое закрывшаяся могила. Жанна, охваченная какой-то смутной посмертной благодарностью к человеку, державшему ее в своих объятиях, прощала ему былые страдания, чтобы вспоминать лишь счастливые минуты. А время шло и шло, месяцы сменялись месяцами и покрывали забвением, словно густою пылью, ее воспоминания, ее горести, и она всецело отдалась сыну.

Он сделался кумиром, единственной мыслью троих людей, окружавших его; он царил, как деспот. Между тремя его рабами возникло даже нечто вроде ревности, и Жанна нервно следила за горячими поцелуями, которыми мальчик осыпал барона после поездки верхом на его колене. А тетя Лизон, которою он, как и все домашние, пренебрегал, обращаясь с нею порой, как с прислугой, хотя еще едва лепетал, уходила плакать в свою комнату и горько сравнивала жалкие ласки, которые ей еле-еле удавалось вымолить у него, с теми объятиями, которые он берег для матери и деда.

Мирно, без всяких событий, протекли два года в постоянных заботах о ребенке. С наступлением третьей зимы решено было поселиться в Руане до весны; вся семья перебралась туда. Но по приезде в старый, заброшенный и отсыревший дом Поль схватил такой сильный бронхит, что опасались плеврита, и трое растерявшихся взрослых решили, что он не может жить без воздуха «Тополей»

Как только он поправился, его перевезли туда.

С тех пор потянулась однообразная и тихая жизнь

Всегда вместе с малюткой, то в детской, то в зале, то в саду, взрослые восторгались его болтовней, его смешными выражениями и жестами

Мать звала его ласкательным именем Полэ; он же

не мог его выговорить и произносил Пулэ [1], что вызывало нескончаемый смех Прозвище Пулэ так за ним и осталось Иначе его уже не называли.

Мальчик рос быстро, и самым любимым занятием его близких или, как говорил барон, «его трех матерей», было измерение его роста.

На косяке двери зала образовался целый ряд тоненьких полосок, сделанных перочинным ножом, которые ежемесячно отмечали прибавление его роста Эта лестница, окрещенная «лестницею Пулэ», занимала большое место в жизни его родных

Вскоре видную роль в семье начало играть еще одно новое существо — собака Массакр, которую Жанна совершенно забыла, всецело занятая сыном Питомица Людивины помещалась в старой конуре возле конюшни и жила одиноко, всегда на цепи.

Как-то утром Поль заметил ее и поднял крик, чтобы его пустили поцеловать собаку. Его подвели к ней с великим страхом. Собака явилась для ребенка настоящим праздником, и он разревелся, когда их захотели разлучить. Тогда Массакра спустили с цепи и водворили в доме.

Он был неразлучен с Полем, сделался его настоящим товарищем. Они вместе катались по ковру и рядышком на нем засыпали. Вскоре Массакр стал спать в кроватке своего друга, так как тот не соглашался расставаться с ним. Жанна приходила в отчаяние из-за блох, а тетя Лизон сердилась на собаку за то, что та завладела чересчур крупной долей любви ребенка, любви, украденной, как ей казалось, этим животным и которой так жаждала она сама.

Изредка обменивались визитом с Бризвилями и Кутелье. Только мэр и доктор регулярно нарушали уединение старого замка. Жанна после убийства собаки, а также из-за подозрений, появившихся у нее относительно священника со времени трагической смерти графини и Жюльена, перестала посещать церковь, негодуя на бога за то, что он может иметь подобных служителей.

Аббат Тольбьяк время от времени в прозрачных на-

[1] Poulet — цыпленок *(франц.)*

меках предавал анафеме замок, где воцарился дух Зла, дух Вечной Смуты, дух Заблуждения и Лжи, дух Беззакония, дух Разврата и Нечестия. Все это относилось к барону.

Его церковь, впрочем, опустела, и, когда он обходил поля, пахари налегали на свой плуг, крестьяне не останавливались, чтобы поболтать с ним, и не поворачивались даже, чтобы ему поклониться. Помимо всего, он прослыл за колдуна, потому что изгнал дьявола из одной одержимой женщины. Говорили, что аббат знает таинственные слова против порчи, которая, по его мнению, не что иное, как особый вид сатанинских каверз. Он возлагал руки на коров, когда они давали синее молоко или завивали хвосты кольцами, и помогал разыскивать пропавшие вещи, произнося какие-то непонятные слова

Его ограниченный фанатический ум со страстью предавался изучению религиозных книг, содержащих истории о прогулках дьявола на земле, о разнообразных проявлениях его власти и скрытого воздействия, о всевозможных средствах, какими он располагает, и обычных приемах его хитрости А так как он считал себя призванным, в частности, бороться с этой темной и роковою силою, он тщательно изучил все формулы заклинаний, указанные в богословских руководствах.

Ему постоянно мерещилась в сумерках бродячая тень злого духа, и с его уст не сходила латинская фраза: sicut leo rugiens circuit quoerens quem devoret[1].

Тогда его тайной силы начали бояться, она стала приводить в ужас Даже его собратья, невежественные деревенские священники, для которых Вельзевул являлся просто догматом веры и которые были до того сбиты с толку кропотливыми предписаниями обрядов, полагающихся в случае проявления нечистой силы, что начинали смешивать религию с магией,— эти священники тоже считали аббата Тольбьяка немного колдуном и столько же уважали его за предполагавшееся в нем таинственное могущество, сколько и за безупречную строгость жизни.

---

[1] Как лев рыкающий блуждает он, ища, кого бы пожрать *(лат.)*

При встречах с Жанной он не кланялся ей.

Такое положение вещей беспокоило и приводило в отчаяние тетю Лизон, которая своею боязливой душой старой девы совершенно не могла постигнуть, как это можно не ходить в церковь. Несомненно, она была благочестива, несомненно, она исповедовалась и причащалась, но этого никто не знал, да и не пытался узнать.

Когда она оставалась одна, совершенно одна с Полем, она потихоньку рассказывала ему о милосердном боженьке. Он слушал краем уха полные чудес истории о первых днях творения, но когда она поучала его, что нужно крепко-крепко любить милосердного боженьку, он спрашивал ее порою:

— А где же он, тетя?

Тогда она показывала пальцем на небо:

— Там — высоко, Пулэ, но не надо об этом говорить.

Она боялась барона.

Однажды Пулэ объявил ей:

— Боженька повсюду, но только не в церкви.

Это он рассказал дедушке о мистических откровениях тетки.

Ребенку исполнилось десять лет, а его матери можно было дать сорок. То был сильный, шаловливый мальчик, смело лазивший по деревьям, но ничему как следует не учившийся. Уроки ему надоедали, и он старался поскорее прекратить их. И каждый раз, когда барон дольше обыкновенного удерживал его за книгой, появлялась Жанна и говорила:

— Теперь пусти его поиграть. Не нужно утомлять его, он еще такой маленький.

Для нее он был по-прежнему шестимесячным или годовалым ребенком. Она с трудом отдавала себе отчет, что он уже ходит, бегает и разговаривает, как подросток, и она жила в вечном страхе, как бы он не упал, как бы не простудился, как бы не вспотел, как бы не повредил желудок, поев слишком много, или не повредил росту, поев слишком мало.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, возник серьезный вопрос: вопрос о первом причастии.

Однажды утром Лизон пришла к Жанне и стала убеждать ее в том, что нельзя дольше оставлять ребен-

ка без религиозного воспитания и без выполнения им своих первейших обязанностей. Она доказывала на все лады, приводила тысячу доводов, и главным из них было мнение людей, с которыми они общались Смущенная и нерешительная мать колебалась, уверяя, что можно еще подождать.

Но когда через месяц она была с визитом у графини де Бризвиль, эта дама спросила ее мимоходом

— Вероятно, ваш Поль получит первое причастие в этом году?

Захваченная врасплох, Жанна отвечала:

— Да, сударыня.

Этот простой вопрос придал ей решимости, и, не советуясь с отцом, она попросила Лизон водить ребенка на уроки катехизиса.

В течение месяца все обстояло хорошо, но однажды вечером Пулэ вернулся домой немного охрипшим. На следующий день он стал кашлять. Перепугавшаяся мать спросила сына и узнала, что кюре заставил его стоять до конца урока у дверей церкви, в сенях, на сквозняке, так как он дурно себя вел.

Она оставила сына дома и стала обучать его сама этой азбуке религии. Но аббат Тольбьяк, несмотря на мольбы Лизон, отказался включить его в число причастников, как недостаточно подготовленного.

То же повторилось и на следующий год. Тогда раздраженный барон заявил, что ребенку нет никакой надобности веровать в эти глупости, в детскую символику пресуществления, чтобы быть порядочным человеком· он решил воспитать его в христианской вере, но без католической обрядности, с тем чтобы по достижении совершеннолетия мальчик мог следовать тем путем, какой ему более понравится

Несколько времени спустя Жанна, сделав визит Бризвилям, не получила ответного визита. Она удивилась, зная щепетильную вежливость соседей; но вскоре маркиза де Кутелье высокомерно открыла ей причину этого.

Считая себя благодаря положению мужа, благодаря бесспорной древности его титула и благодаря его значительному богатству чем-то вроде королевы норманской знати, маркиза держала себя, как истинная мо-

нархиня, свободно высказывала то, что думала, была любезной или резкой, смотря по обстоятельствам, и при каждом случае распекала, наставляла или выражала свое одобрение. Когда Жанна навестила ее, эта дама после нескольких ледяных фраз сухо сказала

— Общество делится на два класса: на людей, верующих в бога, и на людей неверующих. Первые, насколько бы ниже нас они ни стояли, всегда наши друзья и равные нам; вторые же для нас — ничто.

Жанна, почувствовав нападение, возразила:

— Но разве нельзя быть верующим, не посещая церкви?

Маркиза отвечала:

— Нет, сударыня, верующие идут молиться богу в его храм, как мы идем к людям в их дом.

Уязвленная, Жанна продолжала:

— Бог вездесущ, сударыня. Лично я верю всем сердцем в его благость, но он не становится мне ближе от того, когда между ним и мною находятся некоторые священники.

Маркиза встала:

— Священник держит знамя церкви, сударыня, и кто не следует за этим знаменем, тот идет против него и против нас.

Жанна тоже поднялась, вся дрожа.

— Вы, сударыня, верите в бога одной партии. Я же верую в бога всех честных людей.

Она поклонилась и вышла.

Крестьяне тоже втихомолку осуждали Жанну за то, что она не сводила Пулэ к первому причастию. Сами они вовсе не ходили в церковь и вовсе не причащались или, в лучшем случае, исповедовались только к пасхе, согласно категорическим требованиям церкви Но дети — другое дело; никто из крестьян не осмелился бы воспитать ребенка вне этого общего закона, потому что религия есть религия.

Жанна прекрасно видела это осуждение, возмущалась в душе всем этим лицемерием, этими сделками с совестью, этим всеобщим страхом и величайшей подлостью, живущей во всех сердцах и прикрывающейся, когда ей нужно высунуться наружу, таким множеством благопристойных масок.

Барон взялся руководить занятиями Поля и засадил его за латынь. Мать просила только об одном: «Главное, не утомляй его!» — и беспокойно бродила вокруг классной комнаты, куда папочка запретил ей входить, потому что она постоянно прерывала занятия, спрашивая: «Пулэ, не озябли ли у тебя ноги?» — или: «Не болит ли у тебя головка, Пулэ?» — или же останавливала учителя: «Не заставляй его много говорить, ты утомишь ему горло».

Как только мальчик освобождался, он бежал заниматься садоводством с матерью и теткой. У них появилась теперь страсть к садоводству, и все трое сажали весной молодые деревья, сеяли семена, прорастание которых приводило их в восторг, обрезывали сухие ветки, срезали цветы для букетов.

Любимым занятием подростка было разведение салата. В его ведении находились четыре больших грядки, и он очень старательно выращивал на них латук, ромен, дикий цикорий, королевский салат — все известные сорта этого растения. Он копал грядки, поливал, полол и пересаживал с помощью своих двух матерей, которых заставлял работать, как поденщиц. Можно было видеть, как они простаивают целыми часами на коленях у грядок, пачкая платья и руки, увлеченно рассаживая молодой салат по ямкам, выкапываемым руками

Пулэ подрастал, ему уже минуло пятнадцать лет; лесенка на косяке двери залы показывала сто пятьдесят восемь сантиметров, но по умственному развитию он оставался невежественным и пустым ребенком, охраняемым юбками своих двух матерей и милым стариком, который уже отстал от века.

Однажды вечером барон завел речь о коллеже. Жанна тотчас же разрыдалась, и тетя Лизон в полном смятении забилась в темный угол.

— На что ему знания? — говорила мать.— Мы сделаем из него сельского хозяина, дворянина-землевладельца. Он будет возделывать свои земли, подобно многим другим дворянам. Он будет счастливо жить и состариться в этом доме, где мы жили до него и где мы умрем Чего же больше желать?

Но барон качал головой:

— А что ответишь ты ему, когда он в двадцать пять лет скажет тебе: «Я ничто, ничего не знаю — и все из-за тебя, из-за твоего материнского эгоизма. Я не способен работать, сделаться чем-либо, а между тем я не был создан для этой безвестной, жалкой и до смерти скучной жизни, на которую обрекла меня твоя безрассудная любовь»?

Она продолжала плакать, взывая к сыну:

— Скажи, Пулэ, не правда ли, ты никогда не упрекнешь меня за то, что я тебя слишком любила?

И большой ребенок, несколько озадаченный, обещал:

— Нет, мама.

— Ты мне клянешься в этом?

— Да, мама.

— Ты хочешь остаться здесь, не правда ли?

— Да, мама.

Тогда барон заговорил решительно и повысив голос:

— Жанна, ты не имеешь права распоряжаться этой жизнью. То, что ты делаешь с ним, низко и почти преступно: ты жертвуешь своим ребенком во имя личного счастья.

Закрыв лицо руками и неудержимо рыдая, она лепетала сквозь слезы:

— Я была так несчастна... так несчастна! Теперь же, когда я нашла успокоение вблизи сына, его у меня отнимают. Что будет со мною... совсем одинокой... теперь?

Отец встал, подсел к ней и обнял ее:

— А я, Жанна?

Она порывисто обняла его шею руками, крепко поцеловала и, все еще всхлипывая, проговорила, хотя ее душили слезы:

— Да... ты прав, быть может... папочка. Я сошла с ума, но я так страдала. Я согласна, пусть он отправится в коллеж.

Не понимая хорошенько, что собираются с ним сделать, Пулэ тоже разревелся.

Все три матери бросились обнимать, ласкать, успокаивать его. Когда же отправлялись спать, у всех было тяжело на сердце, и все плакали в своих постелях, даже барон, который до тех пор сдерживался.

Было решено, что после каникул мальчика поместят в Гаврский коллеж, и все лето его баловали больше, чем когда бы то ни было.

Мать часто вздыхала при мысли о разлуке. Она заготовила ему целое приданое, словно он отправлялся в путешествие на десять лет; затем, в одно октябрьское утро, после бессонной ночи, обе женщины и барон уселись с мальчиком в коляску, и лошади тронулись рысью

В предыдущую поездку Полю заранее выбрали место в дортуаре и в классе. Жанна с помощью тети Лизон целый день размещала его вещи в маленьком комоде. Но последний не мог вместить и четвертой доли того, что было привезено, и она отправилась хлопотать о втором комоде. Был позван эконом; он заметил, что такая масса белья и вещей будет только стеснять и никогда не понадобится, поэтому, ссылаясь на устав, он отказался дать другой комод. Тогда огорченная мать решила нанять комнату в небольшой гостинице, по соседству, условившись с хозяином, что он сам будет доставлять Пулэ все необходимое по первому требованию мальчика.

Затем отправились на мол, чтобы посмотреть на отплывавшие и приходившие суда.

Печальный вечер спустился на город; понемногу зажигались огни. Зашли пообедать в ресторан. Никто не чувствовал голода, и они только смотрели друг на друга влажными глазами, а блюда появлялись перед ними и уносились обратно почти нетронутыми.

Затем они не спеша направились к коллежу. Дети разных возрастов прибывали со всех сторон в сопровождении родителей или прислуги. Многие плакали. На большом, едва освещенном дворе слышались рыдания.

Жанна и Пулэ долго обнимались Тетя Лизон стояла позади, совершенно позабытая, закрыв лицо носовым платком. Но барон, тоже расчувствовавшись, прервал сцену прощания, уведя дочь Коляска ждала у подъезда; они сели втроем и ночью отправились в «Тополя».

Подчас в темноте раздавалось громкое всхлипывание

На другой день Жанна проплакала до самого вечера, а на следующее утро велела заложить фаэтон и поехала в Гавр. Пулэ, казалось, уже немного свыкся с разлукой. В первый раз в жизни у него были товарищи; он ерзал на стуле в приемной, горя нетерпением поиграть с ними

Жанна приезжала к нему через каждые два дня, а по воскресеньям брала его в отпуск Не зная, что делать во время уроков между переменами, она сидела в приемной, потому что не находила в себе ни силы, ни решимости оставить коллеж Директор пригласил ее к себе и попросил бывать реже. Но она не приняла во внимание этого совета.

Тогда он предупредил Жанну, что если она будет по-прежнему мешать мальчику играть во время перемен и работать во время занятий, постоянно не давая ему покоя, то он будет вынужден вернуть ей сына обратно; об этом был извещен запиской и барон. И за нею стали следить в «Тополях», как за пленницей.

Она дожидалась каникул с бо́льшим нетерпением, чем ее сын.

Постоянная тревога волновала ее душу Она целыми днями бродила по окрестностям, прогуливаясь одна с собакой Массакром и предаваясь на свободе мечтам. Иногда, после полудня, она просиживала целыми часами, любуясь морем с высокого утеса; иногда спускалась лесом к Ипору, возобновляя прежние прогулки, воспоминания о которых преследовали ее. Как давно, как давно было то время, когда она гуляла по этим же местам молоденькой девушкой, упоенной мечтами!

Каждый раз, когда она виделась с сыном, ей казалось, что их разлука длилась лет десять С каждым месяцем он все больше становился мужчиной; с каждым месяцем она все больше становилась старухой Отец казался ее братом, а тетя Лизон, которая, увянув в двадцать пять лет, больше не старилась,— старшей сестрой.

Пулэ совсем не учился; он пробыл два года в четвертом классе. В третьем дела, казалось, наладились, но во втором ему пришлось опять просидеть два года, и он очутился в классе риторики, когда ему уже исполнилось двадцать лет.

Он стал высоким молодым человеком, блондином с густыми уже бакенбардами и пробивающимися усиками. Теперь он сам каждое воскресенье приезжал в «Тополя». Так как он уже давно обучился верховой езде, то только нанимал лошадь и за два часа совершал весь путь.

С утра Жанна выходила к нему навстречу в сопровождении тетки и барона, который горбился все больше и больше и ходил, как дряхлый старичок, заложив руки за спину, словно для того, чтобы не упасть вперед.

Они потихоньку шли вдоль дороги, присаживаясь иногда у рва и всматриваясь вдаль,— не покажется ли всадник. Как только он появлялся в виде черной точки на светлой полосе дороги, трое родных принимались махать платками, а он пускал лошадь галопом и летел, как ураган, что приводило в трепет сердца Жанны и Лизон и восторгало дедушку, который кричал ему «браво» с энтузиазмом человека, уже неспособного на это.

Хотя Поль был на целую голову выше матери, она продолжала обращаться с ним, как с ребенком, допрашивая его: «Пулэ, не озябли ли у тебя ноги?» А когда он после завтрака прогуливался у подъезда с папиросой в зубах, она открывала окно, чтобы крикнуть ему:

— Умоляю тебя, не ходи с непокрытой головой, ты схватишь насморк.

И она дрожала от беспокойства, когда он уезжал от них верхом почью:

— Только не езди слишком быстро, милый Пулэ, будь осторожен, помни свою мать, которая будет в отчаянии, если с тобой что-нибудь случится.

Но вот как-то в субботу, утром, она получила от Поля письмо с извещением, что он не приедет в воскресенье, потому что его друзья собираются устроить пикник, на который он приглашен.

Она провела весь воскресный день в мучительной тоске, точно под угрозой несчастья. В четверг, не вытерпев, она отправилась в Гавр.

Сын показался ей изменившимся, но она не могла понять, в чем, собственно, состоит эта перемена. Он казался возбужденным, говорил более мужественным

голосом. И вдруг он сказал ей, как самую обычную вещь:

— Знаешь, мама, так как ты приехала сегодня, я и в будущее воскресенье не поеду в «Тополя»; мы решили повторить пирушку.

Она стояла ошеломленная, задыхаясь, как будто ей объявили, что ее сын уезжает в Америку; когда же к ней вернулась способность говорить, она произнесла:

— О Пулэ, что с тобой? Скажи мне, что случилось?

Он стал смеяться и поцеловал ее:

— Да ровно ничего, мама. Просто я хочу повеселиться с друзьями, это естественно в мои годы.

У нее не нашлось в ответ ни слова; когда же она осталась одна в экипаже, ее начали осаждать странные мысли Она не узнавала больше своего Пулэ, своего прежнего маленького Пулэ. Она впервые поняла, что он уже взрослый, что он уже не принадлежит ей, что он хочет жить своей жизнью, не думая о стариках. Ей казалось, что он переменился за какой-нибудь один день. Как, неужели этот сильный бородатый мужчина, утверждающий свою волю,— ее сын, слабый, маленький мальчик, заставлявший ее когда-то пересаживать салат?

И в течение трех месяцев Поль лишь изредка навещал родных, вечно томясь явным желанием поскорее уехать, стараясь каждый вечер выгадать лишний час. Жанну это пугало, но барон беспрестанно утешал ее, повторяя:

— Оставь его, ведь ему всего двадцать лет.

Но однажды утром какой-то старик, довольно плохо одетый, обратился к ней с сильным немецким акцентом:

— Виконтесса!

И после бесконечных церемонных поклонов он вынул из кармана засаленный бумажник, объявив:

— У меня тля фас пумажка.

Он протянул ей развернутый клочок грязной бумаги. Она ее прочитала, перечла, взглянула на еврея, перечитала снова и спросила:

— Что же это такое?

Неизвестный пояснил ей заискивающим тоном:

— Толжен фам соопщить, что фаш сын нуштался в непольшой сумме тенек, а так как я снал, что фы топрая мать, то я и тал ему немноко тенек на его нушты.

Жанна вздрогнула

— Но почему же он не попросил их у меня?

Еврей обстоятельно разъяснил ей, что дело касалось карточного долга, который надо было уплатить на следующий же день утром, что никто не хотел ссудить Поля деньгами, потому что он несовершеннолетний, и что «его шесть была бы скомпрометирована» без этой «маленькой люпезности», которую он оказал молодому человеку.

Жанна хотела позвать барона, но не могла подняться с места· волнение парализовало ее. Наконец она сказала ростовщику:

— Не будете ли вы добры позвонить?

Он колебался, опасаясь какой-нибудь уловки, и заметил:

— Если я фас стесняю, я моку притти в трукой рас.

Жанна отрицательно покачала головой. Он позвонил, и они стали ждать, не проронив ни слова, сидя друг против друга.

Когда барон вошел, он тотчас же понял, в чем дело Вексель оказался на полторы тысячи франков. Заплатив ростовщику только тысячу, барон посмотрел на него в упор и произнес:

— Больше сюда не являйтесь.

Тот поблагодарил, раскланялся и исчез.

Дед и мать немедленно уехали в Гавр, но, по приезде в коллеж, узнали, что Поль уже месяц туда не показывался. Директором были получены четыре письма за подписью Жанны, сообщавшие о болезни его воспитанника с последующими извещениями о состоянии его здоровья. К каждому письму было приложено медицинское свидетельство; все это, разумеется, было подделано. Сраженные, они не двигались с места и молча смотрели друг на друга.

Директор, огорченный происшедшим, проводил их к полицейскому комиссару. Ночевали они в гостинице.

На другой день молодого человека разыскали у одной из городских проституток. Дед и мать увезли его в «Тополя», не обменявшись ни словом за всю дорогу.

Жанна плакала, закрыв лицо платком Поль с равнодушным видом смотрел по сторонам.

Через неделю открылось, что за последние три месяца он наделал долгов на пятнадцать тысяч франков. Кредиторы на первых порах не показывались, зная, что он скоро станет совершеннолетним.

Никакого объяснения не произошло Поля хотели победить лаской Его угощали изысканными блюдами, нежили и баловали. Была весна; для него, несмотря на опасения Жанны, взяли напрокат в Ипоре лодку, чтобы он мог наслаждаться вволю прогулками по морю.

Но лошади ему не давали из страха, чтобы он не уехал в Гавр.

Он жил без дела, раздражительный, подчас даже грубый. Барона беспокоило его неоконченное образование. Жанна, приходившая в отчаяние при мысли о разлуке с сыном, не раз, однако, спрашивала себя, что же с ним делать?

Однажды вечером он не вернулся домой. Выяснилось, что он уехал в лодке с двумя матросами. Обезумевшая мать добежала с непокрытой головой ночью до Ипора.

Несколько человек ожидало на пляже возвращения лодки.

Вдали показался огонек, слегка колеблясь, он приближался. Поля уже не было в лодке. Он приказал отвезти себя в Гавр.

Вся полиция была поставлена на ноги, но его не могли найти. Проститутка, укрывавшая его в первый раз, тоже бесследно исчезла, распродав свою мебель и уплатив за квартиру. В комнате Поля в «Тополях» нашли два письма от этой твари, которая, по-видимому, была безумно влюблена в него. Она говорила о поездке в Англию и, по ее словам, нашла необходимые для этого средства.

И трое обитателей замка зажили молчаливо и мрачно, в беспросветном аду нравственных мук. Поседевшие уже волосы Жанны стали совсем белыми. Она наивно задавала себе вопрос: за что судьба наносит ей такие удары?

Она получила письмо от аббата Тольбьяка:

«Сударыня, десница божия тяготеет над вами. Вы отказали ему в своем ребенке; он отнял его у вас, дабы бросить в объятия девки. Неужели у вас еще не отверзлись глаза после этого указания небес? Милосердие господа безгранично. Быть может, он простит вас, если вы придете преклонить перед ним колена. Смиренный служитель господень, я открою вам дверь его дома, когда вы постучите в нее».

Она долго сидела с этим письмом на коленях. Быть может, то, что говорит священник, правда? И все религиозные сомнения стали терзать ее совесть. Неужели бог может быть мстительным и завистливым, как люди? Но если бы он не был завистливым, все перестали бы его бояться, все перестали бы поклоняться ему. Без сомнения, для того, чтобы люди могли лучше познать его, он выказывает по отношению к ним их же собственные чувства. И трусливые сомнения, которые толкают колеблющихся и неуверенных в лоно церкви, охватили ее. Однажды вечером, когда стемнело, она тайком побежала в церковь и, преклонив колена перед тощим аббатом, просила отпущения грехов.

Аббат обещал ей полупрощение, так как бог не может излить сразу все свои милости на кровлю дома, приютившего такого человека, как барон.

— Вы увидите скоро,— добавил он,— явление божьей благодати.

Через два дня Жанна в самом деле получила письмо от сына и в безумии своего горя увидела в этом начало облегчения, обещанного ей аббатом.

«Не беспокойся, дорогая мама. Я в Лондоне и совершенно здоров, но крайне нуждаюсь в деньгах. У нас нет ни гроша, и подчас нам нечего есть. Та, которая сопровождает меня и любима мною от всей души, не желая покидать меня, истратила все, что у нее было,— пять тысяч франков. Ты понимаешь, что честь обязывает меня прежде всего вернуть ей эту сумму. Было бы очень любезно с твоей стороны, если бы ты согласилась выдать мне пятнадцать тысяч в счет отцовского наследства, так как я буду совершеннолетним уже скоро; ты выручила бы меня из большого затруднения.

Прощай, дорогая мама, от всего сердца целую тебя, а также дедушку и тетю Лизон. Надеюсь скоро тебя увидеть.

Твой сын виконт *Поль де Лямар*».

Он написал ей! Значит, не забыл ее. Она совсем не думала о том, что он просит денег. Их пошлют, раз у него их нет. Что такое деньги! Он написал ей!

Вся в слезах, она побежала с письмом к барону. Позвали тетю Лизон, перечитывали от начала до конца листок бумаги, который говорил о нем. Обсуждали каждое слово.

Переходя от полного отчаяния к опьянению надеждой, Жанна оправдывала сына:

— Он вернется, он скоро вернется, раз он об этом пишет.

Барон, сохраняя большее спокойствие, произнес:

— Все равно, он покинул нас для этой твари. Он любит ее больше, чем нас, раз он не поколебался это сделать.

Мгновенная и страшная боль пронизала сердце Жанны, и тотчас же в душе ее вспыхнула ненависть к этой любовнице, укравшей у нее сына,— неукротимая, дикая ненависть, ненависть ревнивой матери. До тех пор все ее мысли были поглощены Полем. Она едва сознавала, что причиной его заблуждений была эта негодяйка. Но слова барона внезапно вызвали в ней образ соперницы и вскрыли роковую силу последней; Жанна почувствовала, что между нею и этой женщиной завязывается ожесточенная борьба; она поняла также, что предпочла бы лишиться сына, чем делить его с другой.

И вся ее радость исчезла.

Они послали пятнадцать тысяч франков и не получали вестей в течение пяти месяцев.

Затем явился поверенный для приведения в порядок наследства, оставшегося после Жюльена. Жанна и барон беспрекословно сдали все отчеты, отказавшись даже от права пожизненного пользования имуществом, которое по закону принадлежит матери. И по приезде в Париж Поль получил сто двадцать тысяч франков. С тех пор за шесть месяцев он прислал четыре письма давая о себе краткие сведения и заканчивая холодными

уверениями в любви. «Я работаю,— утверждал он,— я завоевал себе положение на бирже. Надеюсь через несколько дней обнять вас в «Тополях», мои дорогие».

Но ни словом не упоминал о своей возлюбленной, и это молчание было гораздо красноречивее, чем если бы он распространялся о ней на четырех страницах. В его холодных письмах Жанна ощущала присутствие этой неумолимой продажной женщины, этой девки — вечного врага матерей.

Трое отшельников обсуждали, что можно сделать, чтобы спасти Поля, и не находили никакого средства.

Съездить в Париж? Но к чему?

Барон говорил:

— Нужно дать истощиться его страсти. Он вернется к нам.

Жизнь их была печальна.

Жанна и Лизон ходили вместе в церковь, тайком от барона.

Много времени прошло без всяких новостей, но однажды утром всех привело в ужас отчаянное письмо:

«Бедная мама, я погиб, мне остается только пустить себе пулю в лоб, если ты не придешь мне на помощь. Спекуляция имевшая все шансы на успех, рухнула, и я задолжал восемьдесят пять тысяч. Неуплата их означает для меня позор, разорение, невозможность что-либо делать в будущем. Я погиб! Повторяю, я предпочту пустить себе пулю в лоб, чем пережить такой стыд. Я бы, вероятно, уже сделал это, если бы меня не поддерживала одна женщина, о которой я никогда тебе не говорю, но которая является моим провидением.

Целую тебя от всего сердца, дорогая мама, быть может, в последний раз. Прощай.

Поль».

Связка деловых бумаг, приложенных к этому письму, давала обстоятельное представление о катастрофе.

Барон со следующей же почтой ответил, что дело будет улажено. Затем он поехал в Гавр для наведения справок и заложил землю, чтобы раздобыть денег, которые и были отправлены Полю.

Молодой человек отвечал тремя письмами, полными восторженной благодарности и страстной нежности, обещая немедленно приехать обнять своих дорогих родственников.

Он не приехал

Прошел целый год.

Жанна и барон собирались отправиться в Париж, чтобы разыскать его и предпринять последние усилия для его возвращения домой, как вдруг узнали из его записки, что он опять в Лондоне, где занят устройством пароходного общества под фирмой *«Поль Делямар и К°»*. Он писал «Для меня это — обеспеченное состояние, а быть может, и богатство. И я ничем не рискую. Вы понимаете всю выгоду этого. Когда мы свидимся, у меня будет прекрасное общественное положение. В настоящее время выйти из затруднительных обстоятельств только и можно путем подобных дел».

Через три месяца пароходное общество прогорело, а директор был привлечен к ответственности за неисправность в торговых книгах. С Жанной сделался нервный припадок, длившийся несколько часов; после этого она слегла в постель

Барон снова отправился в Гавр, наводил справки, виделся с адвокатами, стряпчими и судебными приставами, выяснил, наконец, что дефицит общества *Делямар* простирается до двухсот тридцати пяти тысяч, и перезаложил свое имение Замок «Тополя» и две прилегавшие к нему фермы были обременены большими долгами.

Однажды вечером, когда барон улаживал последние формальности в кабинете адвоката, он упал: его сразил апоплексический удар.

Жанну известили об этом, послав верхового. Когда она приехала, отец уже был мертв.

Она привезла его в «Тополя» и чувствовала себя до того подавленной, что ее горе выражалось не в отчаянии, а в оцепенелости всего ее существа.

Аббат Тольбьяк не разрешил внести тело в церковь, несмотря на отчаянные мольбы женщин. Барона похоронили с наступлением ночи, без отпевания.

Поль узнал о происшедшем от одного из агентов, ликвидировавших его дела. Он все еще скрывался в

Англии. Он написал, принося извинение, что не приехал, и оправдывался тем, что слишком поздно узнал о несчастье. «Впрочем, теперь, когда ты меня выручила, дорогая мама, я вернусь во Францию и скоро обниму тебя».

Жанна жила в состоянии такой подавленности, что, казалось, ничего уже не понимала.

В конце зимы тетя Лизон, которой исполнилось шестьдесят восемь лет, схватила бронхит, перешедший в воспаление легких; она тихо умерла, лепеча:

— Бедная моя маленькая Жанна, я буду молить милосердного бога, чтобы он сжалился над тобой.

Жанна проводила ее на кладбище и видела, как засыпали землею ее гроб; она пошатнулась и чуть не упала, ей хотелось тоже умереть, чтобы больше не страдать, чтобы больше не думать; одна сильная крестьянка схватила ее на руки и унесла домой, как ребенка.

Жанна, которой пришлось провести пять ночей у изголовья старой девы, без всякого сопротивления позволила, по возвращении в замок, уложить себя в постель незнакомой крестьянке, обращавшейся с нею мягко, но властно, обессиленная усталостью и горем, она заснула крепким сном.

Среди ночи Жанна проснулась. На камине горел ночник. Какая-то женщина спала в кресле. Кто эта женщина? Жанна не узнавала ее и, свесившись над краем постели, старалась разглядеть ее черты при мерцавшем свете фитиля, плававшего в кухонной плошке с маслом.

Ей казалось, однако, что она когда-то видела это лицо. Но когда? Где? Женщина мирно спала, свесив голову на плечо; чепчик ее свалился на пол. Ей могло быть сорок — сорок пять лет. Она была полная, краснощекая, плечистая, сильная. Широкие кисти ее рук свисали по бокам кресла. Волосы были с проседью. Жанна упорно рассматривала ее, сознание ее мутилось, как бывает после лихорадочного сна, сопровождающего сильное горе.

Конечно, она видела это лицо! Но когда? Давно? Или недавно? Она не могла припомнить, и эта неотвязная мысль мучила ее, напрягала ее нервы. Она тихо поднялась, чтобы ближе разглядеть спящую, и подошла к ней на цыпочках. То была та самая женщина, кото-

рая поддержала ее на кладбище и затем уложила в постель. Она смутно припомнила это.

Встречала ли она ее раньше, в другую пору жизни? Или, быть может, она узнала ее благодаря лишь неясным воспоминаниям последнего дня? Но как она могла попасть сюда, в ее комнату? Зачем?

Веки женщины поднялись, она увидела Жанну и быстро встала. Они стояли лицом к лицу так близко, что их груди почти соприкасались. Незнакомка проворчала:

— Как это, вы уже на ногах! Да вы заболеете, извольте-ка лечь опять!

Жанна спросила:

— Кто вы?

Но женщина охватила ее руками, подняла снова и отнесла в постель с чисто мужской силой. И, осторожно опуская Жанну на простыни, нагнувшись над нею, чуть ли не лежа на ней, она расплакалась и принялась порывисто целовать ее щеки, волосы, глаза, орошая лицо слезами и шепча:

— Моя бедная мамзель Жанна, моя бедная госпожа, да неужели вы не узнаете меня?

Тогда Жанна воскликнула:

— Розали, голубушка моя!

Обвив ее шею руками, Жанна обнимала и целовала ее, и они рыдали обе, крепко обнявшись, сливая свои слезы и не имея сил разомкнуть объятия.

Розали успокоилась первая.

— Довольно, будем благоразумными,— сказала она,— не простудитесь.

Она подняла одеяло, оправила постель, подложила подушку под голову своей прежней госпожи, которая продолжала всхлипывать, вся трепеща от старых воспоминаний, всплывших в ее душе.

Наконец Жанна спросила:

— Как ты пришла ко мне, бедняжка?

Розали ответила:

— Ну, вот еще, разве я могу оставить вас теперь одну в таком положении?

— Зажги свечку,— сказала Жанна,— чтобы я могла тебя видеть.

Когда огонь был принесен на ночной столик, они

долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Затем, протянув руку своей старой служанке, Жанна проговорила:

— Я никогда не узнала бы тебя, милая, ты сильно изменилась, хотя все же не так, как я.

И Розали, всматриваясь в эту истощенную и увядшую женщину с седыми волосами, которую она оставила такой молодой, красивой и свежей, ответила:

— Это верно, вы изменились, сударыня, и больше, чем полагается. Да и то сказать: ведь мы не виделись целых двадцать четыре года.

Они умолкли, снова задумавшись. Наконец Жанна прошептала:

— Была ли ты по крайней мере счастлива?

Колеблясь, как бы не вызвать какого-нибудь горького воспоминания, Розали промолвила, запинаясь:

— Да . да .. сударыня Я не могу пожаловаться, я была счастливее вас... наверно. Одно только меня всегда сокрушало — что я не здесь...

Она вдруг умолкла, спохватившись, что неосмотрительно коснулась больного места. Но Жанна сказала ей ласково

— Что поделаешь, голубушка, не всегда бывает так, как хочется. Ты тоже овдовела, не правда ли?

Ее голос задрожал, когда она продолжала:

— У тебя есть еще другие... другие дети?

— Нет, сударыня.

— А что стало с тем... с твоим... сыном? Довольна ли ты им?

— Да, сударыня, он хороший, работящий парень. Вот уж полгода, как он женился и взял мою ферму; потому я и вернулась к вам.

Жанна, дрожа от волнения, прошептала:

— Так ты меня не оставишь больше?

— Разумеется, нет, сударыня, для того я и устроила свои дела

Некоторое время они помолчали.

Жанна помимо воли опять начала сравнивать их жизни, но теперь уже без горечи в душе, а всецело покоряясь жестокой несправедливости судьбы Она спросила·

— А как относился к тебе муж?

— О, сударыня, он был хороший человек, не лентяй; он сумел кое-что нажить. Он умер от грудной болезни.

Жанна, желая узнать все, уселась на кровати:

— Ну, голубушка, расскажи мне о всеи твоей жизни. Это доставит мне такое удовольствие!

И Розали, подвинув стул, устроилась возле нее и начала рассказывать про себя, про свой дом, про своих знакомых, входя в мельчайшие подробности, дорогие сердцу деревенских жителей, описывая свой двор, смеясь над давними происшествиями, напоминавшими ей лучшие минуты прошлой жизни, и мало-помалу возвышая голос до тона фермерши, привыкшей отдавать приказания. Она закончила свой рассказ, воскликнув:

— О, моего добра на мой век хватит! Мне нечего бояться.

А затем, немного смутившись, добавила тихо:

— Всем этим я все же обязана вам, так что знайте, я не возьму от вас жалованья. Ни за что! Ни за что! Если же вы не согласны, я тотчас ухожу.

Жанна возразила.

— Уж не думаешь ли ты, однако, служить мне даром?

— Разумеется, сударыня. Деньги! Вы хотите предложить мне денег! Да у меня их почти столько же, как и у вас. Да знаете ли вы, сколько у вас останется после всей возни с залогами, ссудами, уплатой процентов, которые еще не внесены и которые растут с каждым днем? Знаете ли вы это? Нет, не правда ли? Ну, так я вам скажу, что у вас останется не больше десяти тысяч дохода в год. Даже меньше десяти, слышите? Но я вам приведу все в порядок, и очень скоро.

Она снова возвысила голос, увлекаясь, негодуя на то, что пропущен срок уплаты процентов и что впереди грозит разорение. Когда по лицу ее госпожи скользнула вялая, неопределенная улыбка, она воскликнула с возмущением:

— Нечего над этим смеяться, сударыня, ведь без денег не проживешь!

Жанна взяла ее руки и, держа их в своих, медленно проговорила, преследуемая одной неотвязной мыслью:

— О, у меня не было счастья! Все оборачивалось против меня. Злой рок тяготел надо мною

Но Розали отрицательно покачала головой:

— Не надо так говорить, сударыня, не надо так говорить. Вы неудачно вышли замуж, вот и все. Нельзя выходить замуж, когда не знаешь своего жениха.

Они продолжали беседовать, как две старые подруги. Солнце взошло, а они все еще говорили.

XII

В течение недели Розали взяла в свои руки полное управление хозяйством и людьми в замке. Жанна подчинялась этому безропотно и пассивно. Слабая, волоча ноги, как некогда ее мамочка, она выходила из дому под руку со служанкой, которая медленно прогуливалась с ней, распекала ее и подбадривала грубовато-ласковыми словами, обращаясь с нею, как с больным ребенком

Они постоянно говорили о прошлом, Жанна со слезами в голосе, Розали спокойным тоном бесстрастной крестьянки Старая горничная много раз возвращалась к вопросу о приостановке выплаты процентов; затем она потребовала, чтобы ей были переданы бумаги, которые Жанна, ничего не понимавшая в делах, скрывала от нее, стыдясь за сына.

И в течение целой недели Розали пришлось ежедневно ездить в Фекан, где знакомый нотариус помогал ей разобраться во всем.

Однажды вечером, уложив свою госпожу в постель, она села у ее изголовья и неожиданно заявила:

— Ну, сударыня, раз вы легли, давайте теперь побеседуем.

И она изложила положение вещей.

Когда все будет приведено в порядок, останется приблизительно семь — восемь тысяч франков ренты. И больше ничего.

Жанна отвечала:

— Чего же ты хочешь, милая? Я чувствую, что до старости не доживу; мне этого вполне хватит.

Но Розали рассердилась:

— Вам, сударыня, может быть, и хватит; но господину Полю вы разве ничего не оставите?

Жанна вздрогнула·

— Прошу тебя, не говори мне о нем никогда Я слишком страдаю, когда о нем думаю

— Напротив, я хочу говорить о нем, если вы сами не осмеливаетесь, сударыня. Он делает глупости — ну что же, он не всегда их будет делать, и потом он женится, у него будут дети. Понадобятся деньги на их воспитание. Выслушайте же меня хорошенько: вы должны продать «Тополя».

Жанна привскочила:

— Продать «Тополя»? Ты так думаешь? О нет, никогда!

Но Розали ничуть не смутилась:

— Я вам говорю, что вы продадите «Тополя», сударыня, это необходимо.

И она объяснила свои расчеты, планы и соображения

Когда «Тополя» с обеими прилегающими фермами будут проданы любителю, которого она подыскала, останутся еще четыре фермы в Сен-Леонаре; выкупленные из-под заклада, они обеспечат ежегодный доход в восемь тысяч триста франков. На поддержание имения и на ремонт придется откладывать тысячу триста франков в год; останется, значит, семь тысяч, из которых пять будут идти на издержки в течение года, а две — прикапливаться на будущее.

Она прибавила·

— Все остальное съедено, и с этим уже кончено. Кроме того, ключ от денег буду хранить я, понимаете? Что же касается господина Поля, он не получит больше ничего, решительно ничего; иначе он оберет вас до последнего су.

Жанна, плача, пролепетала·

— Но если ему нечего будет есть?

— Если он будет голоден, пусть приезжает кушать к вам. Для него всегда найдется постель и кусок жаркого. Как вы полагаете, натворил ли бы он все эти глупости, если бы вы с самого начала не дали ему ни одного су?

— Но у него были долги, он был бы обесчещен

— Когда у вас больше ничего не останется, разве это помешает ему делать долги? Вы их заплатили, лад-

но; но больше платить их вы не будете; это уж я вам говорю. А теперь покойной ночи, сударыня.

И она ушла.

Жанна совсем не спала· ее глубоко взволновала мысль продать «Тополя», уехать, покинуть дом, с которым была связана вся ее жизнь.

Когда на следующее утро Розали вошла в ее комнату, Жанна сказала:

— Голубушка моя, я ни за что не решусь уехать отсюда.

Но служанка рассердилась:

— А все-таки придется это сделать, сударыня. Скоро явится нотариус с тем господином, который хочет купить этот замок. Иначе через четыре года вы пойдете по миру.

Уничтоженная Жанна повторяла:

— Я не могу, я ни за что не смогу.

Часом позже почтальон принес ей письмо от Поля, который просил еще десять тысяч франков. Что делать? Она растерянно посоветовалась с Розали. Та всплеснула руками:

— Что я вам говорила, сударыня? Хороши были бы вы оба, если бы я не вернулась!

И, подчиняясь воле служанки, Жанна ответила молодому человеку.

«Дорогой сын, я больше ничего не могу сделать для тебя. Ты меня разорил; я даже принуждена продать «Тополя». Но не забывай, что у меня всегда найдется кров, когда тебе захочется найти приют возле твоей старой матери, которой ты причинил столько страданий.

Жанна».

И когда нотариус явился с г-ном Жоффреном, бывшим сахарозаводчиком, она сама приняла их и предложила осмотреть все самым подробным образом.

Месяц спустя она подписала запродажную и в то же время купила маленький, городского вида домик в окрестностях Годервиля, на Большой Монтивильерской дороге, в деревушке Батвиль

Затем она до самого вечера одиноко бродила по мамочкиной аллее; сердце ее разрывалось, и дух был

полон скорби, когда, вся в слезах, она посылала безнадежное «прости» далям, деревьям, полусгнившей скамье под платаном, всем этим так хорошо знакомым ее взору и душе предметам, рощице, откосу перед ландой, на котором она так часто сидела и откуда увидела бежавшего к морю графа де Фурвиля в ужасный день смерти Жюльена, старому вязу со сломанной верхушкой, к которому она так часто прислонялась, всему этому родному саду.

Розали взяла ее под руку, чтобы увести силой.

Дюжий двадцатипятилетний крестьянин ожидал их у крыльца. Он дружелюбно приветствовал Жанну, как будто знал ее уже давно.

— Здравствуйте, сударыня, как поживаете? Мать велела мне прийти и помочь вам при переезде. Мне нужно знать, что вы берете с собой отсюда; я устроил бы тогда все это постепенно, не в ущерб полевым работам

То был сын ее служанки, сын Жюльена, брат Поля.

Ей показалось, что сердце ее остановилось, но вместе с тем ей хотелось расцеловать этого парня.

Она рассматривала его, стараясь найти в нем сходство с мужем, сходство с сыном Он был румяный и сильный, и у него были голубые глаза и светлые волосы, как у матери И, тем не менее, он походил на Жюльена Чем? Как? Этого она не могла определить, но во всем его облике было что-то от ее мужа.

Парень продолжал:

— Если бы вы соблаговолили указать мне все это сейчас, я был бы вам очень обязан

Но она сама еще не могла решить, что возьмет из вещей, так как новый дом был очень мал, и попросила его зайти еще раз в конце недели.

Переезд занял ее и внес грустное разнообразие в ее жизнь, мрачную и уже лишенную всяких надежд.

Она переходила из комнаты в комнату, отыскивая мебель и вещи, которые напоминали ей о разнообразных событиях, те вещи-друзья, которые составляют часть нашей жизни, почти часть нашего существа, знакомые с детства, с которыми связаны воспоминания о наших радостях и печалях, о знаменательных датах нашей жизни, вещи, которые были немыми товарищами на-

ших светлых и горестных часов, на которых материя местами лопнула и подкладка изорвалась, швы расползлись и разъехались, а краски стерлись.

Она перебирала их одну за другой, часто колеблясь и волнуясь, словно накануне очень важного шага, постоянно отменяя то, что уже было решено, взвешивая достоинства двух кресел или сравнивая какой-нибудь старый секретер со старинным рабочим столиком.

Она выдвигала ящики, старалась припомнить различные связанные с этим предметом события; когда она окончательно решала: «Да, это я возьму»,— выбранную вещь переносили в столовую.

Она пожелала сохранить всю мебель спальни: кровать, обивку, часы, решительно все.

Взяла несколько стульев из гостиной, рисунки которых любила с детства: Лисицу и Аиста, Лисицу и Ворону, Стрекозу и Муравья, меланхолическую Цаплю.

Однажды, бродя по закоулкам покидаемого ею жилища, она забрела на чердак.

Она остановилась в изумлении: там была навалена беспорядочная груда разнообразных вещей, частью сломанных, частью только загрязнившихся, частью водворенных сюда неизвестно почему, разве только потому, что они перестали нравиться или были заменены другими. Она увидела множество давно знакомых и внезапно, хотя и неощутимо для нее, исчезнувших безделушек, пустяковых вещиц, побывавших в ее руках, старых, незначительных предметов, пятнадцать лет живших бок о бок с нею, которые она видела каждый день, не замечая их; оказавшись здесь, на чердаке, рядом с другими, еще более ветхими вещами, о которых она отчетливо помнила, где какая из них стояла в первое время по ее приезде, эти старые вещи приобретали теперь какое-то особенное значение, как забытые свидетели, как вновь обретенные друзья Они производили на нее впечатление людей, с которыми мы давно знакомы, хотя ничего не знаем о них, и которые начали бы вдруг, однажды вечером, без всякого повода, бесконечно болтать, раскрывая всю свою душу, о существовании которой мы не подозревали.

Она переходила от одного предмета к другому с болезненно сжатым сердцем, говоря себе: «Эту китайскую

чашку я разбила вечером за несколько дней до свадьбы. А вот мамин фонарик и палка, которую папочка сломал, открывая дверь, разбухшую от дождя».

Здесь было также много вещей, которых она не знала, которые ей ни о чем не напоминали, которые принадлежали ее дедам или прадедам, были покрыты пылью и похожи на изгнанников, попавших в чуждую им эпоху,—вещей, которые кажутся такими грустными в своей заброшенности, история и приключения которых никому неведомы, вещей, относительно которых никому неизвестно, кто их выбирал, покупал, владел ими, любил их, как никому неизвестны руки, которые их ласково держали, и глаза, которые любовались ими.

Жанна прикасалась к этим вещам, вертела их в руках, оставляя следы пальцев на густом слое пыли, и долго пробыла среди этого старья, под тусклым светом, падавшим сквозь квадратные остекленные окошечки, проделанные в крыше.

Она тщательно рассматривала трехногие стулья, ожидая, не напомнят ли они ей что-нибудь, медную грелку, сломанную грелку для ног, которую, как ей казалось, она узнавала, и целую кучу хозяйственных принадлежностей, вышедших из употребления.

Наконец она отобрала часть вещей, которые ей хотелось увезти с собой, и, спускаясь, послала за ними Розали. Но служанка вышла из себя и отказалась переносить «эту рухлядь». Жанна, потерявшая уже всякую самостоятельность, на этот раз проявила твердость; служанке пришлось повиноваться.

Однажды утром молодой фермер, сын Жюльена, Дени Лекок, явился со своей тележкой, чтобы совершить первую перевозку вещей. Розали сопровождала его, желая присутствовать при выгрузке и установке вещей на место, которое они должны были занимать.

Оставшись одна, Жанна в страшном приступе отчаяния заметалась по комнатам замка, покрывая поцелуями в порыве безумной любви все вещи, которые она не могла взять с собою,— больших белых птиц на обивке гостиной, старые канделябры, все, что только ей попадалось на глаза. Она переходила из комнаты в комнату в тоске, заливаясь слезами; затем пошла сказать «прости» морю.

Был конец сентября; низкое серое небо, казалось, давило на землю; печальные желтоватые волны уходили вдаль, теряясь из виду Жанна долго простояла на утесе, предаваясь мучительным думам. С наступлением сумерек она вернулась домой, исстрадавшись за этот день больше, чем за дни самых глубоких горестей

Розали возвратилась и поджидала ее; она была в восторге от нового дома и говорила, что он гораздо веселее этого старого сундука, расположенного так далеко от проезжей дороги

Жанна проплакала весь вечер.

С тех пор как фермерам стало известно, что замок продан, они оказывали Жанне почтение лишь в пределах самого необходимого и называли ее между собой «свихнувшейся», хотя и сами не знали почему — вероятно, потому, что своим животным инстинктом угадывали ее возраставшую болезненную сентиментальность, ее экзальтированную мечтательность и все смятение ее бедной, потрясенной горем души.

Накануне отъезда она случайно зашла на конюшню. Какое-то ворчание заставило ее вздрогнуть То был Массакр, о котором она ни разу не вспомнила в течение долгих месяцев Слепой и разбитый параличом, достигнувший возраста, до которого собаки обычно не доживают, он еще прозябал на своем соломенном ложе благодаря заботам Людивины, не забывавшей о нем. Жанна взяла его на руки, поцеловала и унесла в дом. Толстый, как бочка, он с трудом двигался на расползающихся, негнущихся лапах и лаял наподобие деревянных игрушечных собак

Наконец настал последний день. Жанна спала в бывшей комнате Жюльена, так как мебель из ее спальни была уже увезена.

Она встала, измученная и разбитая, как после длинного путешествия Повозка с сундуками и остатками мебели была уже погружена Другая тележка, одноколка, в которой должны были поместиться госпожа со служанкой, тоже уже стояла на дворе

Дядя Симон и Людивина оставались одни до приезда новых владельцев, а затем должны были поселиться у родных, так как Жанна назначила им маленькую ренту Кроме того, у них были кое-какие сбережения.

Теперь они были старыми, ни на что не годными и болтливыми Мариюс, женившись, уже давно покинул дом.

Около восьми часов начал накрапывать дождь, мелкий холодный дождь, принесенный морским бризом. Тележку пришлось покрыть одеялами. С деревьев уже облетели листья

На кухонном столе дымились чашки кофе с молоком. Жанна села, маленькими глотками выпила свою чашку и затем, вставая, произнесла·

— Едем!

Она взяла шляпу, шаль и, в то время как Розали надевала ей калоши, сказала сдавленным голосом:

— Помнишь, милая, какой шел дождь в тот день, когда мы ехали сюда из Руана ..

Но тут с нею случилась какая-то спазма, она поднесла руки к груди и без чувств упала на спину.

Больше часу пролежала она, как мертвая, потом открыла глаза и, конвульсивно дрожа, разразилась слезами.

Когда она немного успокоилась, то почувствовала себя до того слабой, что не могла подняться. Но Розали, боявшаяся нового припадка, если они будут медлить с отъездом, пошла за сыном. Они подняли ее, вынесли и усадили в одноколку на скамью, обитую кожей; старая служанка поместилась рядом с Жанной, прикрыла ей ноги, накинула на плечи толстый плащ и, раскрыв над ее головой зонтик, воскликнула:

— Едем скорее, Дени!

Молодой человек вскарабкался на тележку, устроился рядом с матерью и, сидя боком за недостатком места, пустил лошадь вскачь, так что женщин поминутно подбрасывало.

Завернув за угол деревни, они увидели какого-то человека, ходившего взад и вперед по дороге; это был аббат Тольбьяк, который, казалось, подстерегал их отъезд

Он остановился, чтобы пропустить тележку; одной рукой он приподнимал сутану, боясь намочить ее в воде дорожных рытвин; его тощие ноги в черных чулках были обуты в огромные грязные сапоги.

Жанна опустила глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом, а Розали, которой все было известно, пришла

в ярость. Она бормотала: «Мужик, деревенщина!» — а потом вдруг схватила сына за руку:

— Хлестни-ка его кнутом!

Но молодой человек, поравнявшись со священником, въехал вдруг в рытвину, и из-под колеса тележки, несшейся во весь дух, брызнул поток грязи, окативший кюре с ног до головы.

Сияющая Розали обернулась, чтобы показать кулак священнику, пока он вытирался большим платком.

Они ехали уже минут пять, как вдруг Жанна воскликнула:

— Мы забыли Массакра!

Пришлось остановиться. Дени слез и побежал за собакой, в то время как Розали держала вожжи.

Молодой человек наконец возвратился, неся на руках безобразное, облезлое, толстое животное, которое он положил к ногам женщин.

XIII

Через два часа повозка остановилась перед кирпичным домом, выстроенным на краю большой дороги, среди фруктового сада с грушевыми деревьями, подстриженными в форме прялки.

Четыре решетчатые беседки, заросшие жимолостью и бородавником, отмечали четыре угла этого сада, разбитого на небольшие четырехугольные грядки с овощами, которые разделялись узкими дорожками, обсаженными фруктовыми деревьями.

Разросшаяся живая изгородь окружала со всех сторон эту усадьбу, отделенную полем от соседней фермы. Шагах в ста от нее, на дороге, стояла кузница. Другое ближайшее жилье находилось на расстоянии километра.

Кругом открывался вид на равнину Ко, усеянную фермами с четырьмя двойными рядами высоких деревьев, замыкавших фруктовый сад.

Жанна тотчас же по приезде захотела отдохнуть, но Розали не позволила ей этого, боясь, что она снова погрузится в мрачные думы.

Столяр из Годервиля, позванный для размещения

вещей, был уже здесь, и немедленно началась установка привезенной мебели в ожидании последнего воза, который должен был прибыть с минуты на минуту.

Это была большая работа, требовавшая долгих раздумий и серьезных обсуждений.

Наконец через час к ограде подъехала повозка; ее пришлось разгружать под дождем.

Вечером домик был в полном беспорядке, вещи сложили где попало; измученная Жанна уснула тотчас же, как только легла в постель.

В следующие дни ей некогда было предаваться тоске, настолько ее захватили новые заботы. Она даже находила некоторое удовольствие в украшении своего нового жилища; мысль, что ее сын вернется сюда, преследовала ее беспрестанно. Обивкой из ее прежней спальни были обтянуты стены столовой, которая служила в то же время гостиной; с особенной заботливостью обставила и убрала она одну из двух комнат второго этажа, мысленно назвав ее «Комнатой Пулэ».

Вторая комната предназначалась ей, а Розали устроилась наверху, рядом с чердаком.

Заботливо обставленный домик был очень привлекателен, и Жанне первое время нравилось в нем, несмотря на то, что ей все чего-то недоставало; но понять, в чем дело, она не могла.

Однажды утром писарь нотариуса из Фекана принес Жанне три тысячи шестьсот франков — стоимость мебели, оставшейся в «Тополях» и оцененной обойщиком. При получении этих денег она затрепетала от радости и, как только писарь уехал, быстро надела шляпу, чтобы скорее отправиться в Годервиль и отослать Полю эту неожиданную сумму.

Но когда она торопливо шла по большой дороге, ей повстречалась Розали, возвращавшаяся с рынка. Служанка что-то заподозрила, хотя и не угадывала всей правды; но когда ей стало известно все — ведь Жанна ничего не могла от нее скрыть,— она поставила корзину на землю и дала волю своему гневу.

Она кричала, упершись кулаками в бока, а затем подхватила правой рукой хозяйку, левой — корзину и, не переставая негодовать, направилась к дому.

Как только они вошли, Розали потребовала у нее

деньги. Жанна отдала их, удержав у себя шестьсот франков; но хитрость ее была быстро обнаружена недоверчивой служанкой; пришлось отдать все

Розали в конце концов согласилась послать эти шестьсот франков молодому человеку.

Через несколько дней он благодарил: «Ты оказала мне большую услугу, дорогая мама, потому что мы в крайней нужде».

Жанна между тем никак не могла привыкнуть к Батвилю; ей постоянно казалось, что здесь не так легко дышится, как в «Тополях», что здесь она еще более одинока, покинута и заброшена. Она выходила прогуляться, доходила до деревни Вернейль, возвращалась через Труа-Мар и, вернувшись домой, снова поднималась, чувствуя потребность уйти, точно она забыла побывать как раз там, где было нужно, где ей хотелось погулять.

Так повторялось изо дня в день, и она не понимала причины этой странной потребности Но однажды вечером у нее бессознательно вырвалась фраза, которая разом открыла тайну этого беспокойства. Садясь обедать, она сказала:

— О, как мне хотелось бы увидеть море!

То, чего ей так сильно недоставало, было море, в соседстве с которым она жила в течение двадцати пяти лет, море с его соленым запахом, с его яростью, грозным ревом и могучим дыханием, море, которое она каждое утро видела в «Тополях» из своего окна, море, которым она дышала днем и ночью, которое чувствовала около себя и привыкла любить, как человека, сама того не подозревая

Массакр жил тоже в крайнем возбуждении. В первый же вечер он расположился на кухне у шкафа с посудой, и его нельзя было сдвинуть с этого места. Он лежал здесь целый день, почти неподвижно, лишь изредка поворачиваясь с глухим ворчанием.

Но как только наступала ночь, он вставал и тащился к калитке сада, натыкаясь на стены. Пробыв за оградой те несколько минут, которые были ему необходимы, он возвращался, усаживался у еще теплой плиты и, как только его хозяйки уходили спать, принимался выть

Он выл всю ночь напролет плачущим и жалобным голосом, делая передышку на час, чтобы начать снова и в более раздирающем тоне. Его привязали к конуре перед домом. Тогда он стал выть под окнами. Так как он был болен и мог околеть каждую минуту, его опять перевели на кухню.

Жанне не удавалось уснуть из-за непрерывных стонов и царапанья старого пса, который никак не мог освоиться с новым жилищем и прекрасно понимал, что он здесь не дома

Ничто не могло его успокоить. Выспавшись днем, как будто его угасшие глаза и сознание дряхлости мешали ему двигаться в те часы, когда живут и двигаются все другие существа, как только наступал вечер, он начинал бродить без отдыха, словно у него хватало смелости жить и передвигаться только в потемках, когда все становятся слепыми.

Однажды утром его нашли мертвым. Это было большим облегчением для всех.

Приближалась зима. Жанна чувствовала, как ею овладевает ощущение какой-то непобедимой безнадежности. То не было одно из тех острых страданий, которые словно выворачивают всю душу, а угрюмая и мрачная печаль.

Ничто не развлекало ее. Никто не старался ее рассеять. Большая дорога развертывалась вправо и влево перед ее дверьми и была почти всегда пустынна. Изредка проезжал рысью кабриолет с краснолицым ездоком, блуза которого, раздувающаяся от ветра, казалась издали чем-то вроде синего шара; иногда медленно катила повозка или показывались вдали двое крестьян, мужчина и женщина, крохотные на горизонте, вырастающие по мере приближения к дому и снова уменьшавшиеся до размера насекомых там, на другом конце дороги, светлая полоса которой тянулась вдаль, пропадая из виду, поднимаясь и опускаясь, соответственно волнообразным линиям почвы.

Когда начала пробиваться трава, каждое утро мимо ограды проходила девчонка в коротенькой юбочке, погоняя двух тощих коров, которые щипали траву в придорожных рвах Вечером она возвращалась той же

сонливой походкой позади своей скотины, передвигаясь на шаг через каждые десять минут.

Жанне снилось по ночам, что она еще живет в «Тополях».

Она видела там себя, как в былые дни, с отцом и мамочкой, а иногда даже с тетей Лизон. Она переживала во сне давно минувшее и позабытое, и ей казалось, что она поддерживает г-жу Аделаиду, прогуливающуюся по своей аллее. Каждое пробуждение сопровождалось слезами.

Она постоянно думала о Поле, спрашивала себя: «Что он делает? Каков он теперь? Думает ли он иногда обо мне?» Гуляя медленным шагом по извилистым тропинкам между фермами, она перебирала в голове эти терзавшие ее мысли, но больше всего ее мучила неукротимая ревность к той незнакомой женщине, которая похитила у нее сына. Только ненависть к ней удерживала ее, мешала ей действовать, отправиться на поиски его, проникнуть к нему в дом. Ей представлялось, что его любовница открывает дверь, спрашивая: «Что вам нужно здесь, сударыня?» Ее материнская гордость возмущалась при мысли о возможности подобной встречи; высокомерное тщеславие безупречно чистой женщины, никогда не падавшей, ничем не запятнанной, все больше и больше ожесточало ее против низостей мужчины, порабощенного грязью плотской любви, от которой становится низменным и самое сердце. Человечество казалось ей отвратительным, когда она думала о нечистоплотных тайнах инстинктов, об унизительных ласках, о секретах неразрывных связей.

Прошли еще весна и лето.

Но когда наступила осень с нескончаемыми дождями, с серым небом, темными тучами, она почувствовала такую усталость от жизни, что решила сделать последнее великое усилие, чтобы вернуть своего Пулэ.

Страсть молодого человека теперь, вероятно, уже охладела.

Она написала ему отчаянное письмо:

«Дорогое мое дитя, умоляю тебя, вернись ко мне. Подумай только, что я стара и больна, что я провожу круглый год в полном одиночестве, наедине со служан-

кой. Я живу теперь в маленьком домике на краю дороги. Мне так грустно! Но если бы ты был здесь, все изменилось бы для меня. Ведь ты один у меня на свете, а я не виделась с тобою семь лет! Ты не узнаешь никогда, как я была несчастна и как я успокаивала свое сердце только мыслью о тебе. Ты был моей жизнью, моей мечтой, моей единственной надеждой, моей единственной любовью — и тебя нет у меня, ты меня бросил!

Вернись, мой милый Пулэ, вернись поцеловать меня, вернись к своей старой матери, которая в отчаянии простирает к тебе руки.

Жанна».

Он ответил через несколько дней:

«Дорогая мама, я не желал бы ничего большего, как приехать повидаться с тобою, но у меня нет ни одного су. Пришли мне немного денег, и я приеду. Впрочем, я и сам намеревался быть у тебя, чтобы обсудить с тобой один проект, который может дать мне возможность исполнить твою просьбу.

Бескорыстие и любовь той, которая была моей подругой в самое тяжелое для меня время, по-прежнему безграничны. Невозможно жить дальше, не признав перед всеми ее преданной любви и самоотверженности. Впрочем, у нее очень хорошие манеры, и ты их оценишь. Она очень образованна, очень много читает. Наконец ты не можешь себе и представить, чем она всегда была для меня. Я был бы скотиной, если бы не засвидетельствовал ей своей благодарности Итак, прошу тебя разрешить мне жениться на ней. Ты простишь мне мои шалости, и мы заживем все вместе в твоем новом доме

Если бы ты только знала ее, ты сейчас же дала бы свое согласие. Уверяю тебя — она воплощенное совершенство и благородство. Ты полюбишь ее, я в этом уверен. Что касается меня, то я не могу жить без нее.

С нетерпением жду от тебя ответа, дорогая мама, и мы оба целуем тебя.

Твой сын виконт *Поль де Лямар».*

Жанна была сражена. Неподвижно сидела она, опустив письмо на колени, угадывая хитрость этой девки, постоянно удерживавшей ее сына, не отпускавшей его ни разу от себя, выжидавшей своего часа, того часа, когда старая, измученная мать не сможет больше противиться желанию обнять своего ребенка, когда она ослабеет и согласится на все

И страшная скорбь терзала ей сердце при виде упорного предпочтения, которое Поль оказывает этой твари. Она повторяла:

— Он не любит меня! Он не любит меня!

Вошла Розали. Жанна сказала:

— Теперь он хочет на ней жениться.

Служанка так и подпрыгнула:

— О сударыня, вы не должны этого ему позволить. Господин Поль не должен брать эту шлюху.

И Жанна, убитая, но все же возмущенная, ответила:

— Этому не бывать, милая. И раз он не хочет приехать, я поеду сама, разыщу его, и тогда мы увидим, кто из нас победит.

И она сейчас же написала Полю, объявляя о своем намерении приехать и о желании видеться с ним, но только не там, где живет эта распутница

В ожидании ответа она стала готовиться к отъезду.

Розали принялась укладывать в старый чемодан белье и вещи своей госпожи Но, сложив ее платье — старое деревенское платье,— она воскликнула:

— Да у вас нечего надеть! Я не позволю вам ехать в таком виде. Вам стыдно будет показаться на людях, а парижские дамы еще примут вас за служанку.

Жанна предоставила ей действовать. Они вместе отправились в Годервиль, где выбрали зеленую клетчатую материю и отдали ее шить местной портнихе. Затем они пошли к нотариусу, мэтру Русселю, ежегодно уезжавшему на две недели в столицу, чтобы навести у него справки. Ведь Жанна целых двадцать восемь лет не видела Парижа.

Он дал многочисленные указания о том, что нужно делать, чтобы не попасть под экипажи и не быть обокраденным, посоветовал зашить деньги в подкладку платья и оставить в кармане только самое необходимое, он много распространялся о ресторанах с общедо-

ступными ценами и назвал два — три из них, которые часто посещаются дамами; указал гостиницу «Нормандия», возле самого вокзала, где он сам всегда останавливается. Можно явиться туда с его рекомендацией.

Железная дорога, о которой столько говорили повсюду, существовала уже шесть лет между Гавром и Парижем. Но Жанна, поглощенная своим горем, ни разу еще не видела этих паровых экипажей, преобразивших всю страну

Между тем Поль не отвечал.

Она прождала неделю, прождала две, ежедневно выходя на дорогу навстречу почтальону и дрожащим голосом задавая ему вопрос:

— Для меня ничего нет, дядя Маланден?

И голосом, охрипшим от резких колебаний погоды, он каждый раз отвечал ей:

— На этот раз ничего, сударыня

Конечно, эта женщина запрещает Полю отвечать.

Тогда Жанна решила ехать немедля. Она хотела взять с собой Розали, но служанка отказалась сопровождать ее, чтобы не увеличивать дорожные расходы.

Кроме того, она не позволила хозяйке взять больше трехсот франков:

— Если вам не хватит, вы мне напишете, я тогда схожу к нотариусу и попрошу его выслать вам, сколько будет нужно. Если я дам вам больше денег, господин Поль их прикарманит.

В одно декабрьское утро они сели в тележку Дени Лекока, приехавшего, чтобы отвезти их к поезду; Розали решила проводить свою госпожу до вокзала.

Сначала они справились о цене билета, а когда все было устроено и чемодан был сдан в багаж, стали ждать, разглядывая железные полосы и стараясь уразуметь, как же может по ним двигаться эта штука; они были настолько поглощены этой непонятной вещью, что совсем забыли о грустной цели поездки.

Наконец внимание их было привлечено отдаленным свистком, и они увидели какую-то черную машину, выраставшую по мере приближения Она подкатила со страшным грохотом, проехала перед ними, волоча за собой целую цепь домиков на колесах, и когда кондук-

тор отворил дверцу, Жанна, вся в слезах, поцеловала Розали и села в один из этих домиков.

Взволнованная Розали крикнула:

— До свидания, сударыня! Счастливого пути, до скорого свидания!

— До свидания, милая.

Опять раздался свисток, и вся цепь вагонов покатила, сначала тихонько, потом быстрее и наконец с ужасающей скоростью.

В купе, где находилась Жанна, два господина спали, прикорнув по углам.

Она смотрела на проплывающие равнины, деревья, фермы, деревни, пугаясь быстроты движения, чувствуя себя захваченной новой жизнью, перенесенной в новый мир, не имеющий ничего общего с ее миром, миром ее спокойной юности и однообразного существования.

В сумерках она приехала в Париж.

Носильщик взял ее чемодан, и она почти бегом растерянно следовала за ним; со всех сторон ее толкали, и она неумело пробиралась в двигающейся толпе, боясь потерять его из виду.

Войдя в контору гостиницы, она поспешила заявить:

— Я приехала по рекомендации господина Русселя

Хозяйка, толстая серьезная женщина, сидевшая за конторкой, спросила:

— Кто это господин Руссель?

Пораженная Жанна ответила:

— Да нотариус из Годервиля, который каждый год останавливается у вас.

Толстая дама возразила:

— Возможно. Но я его не знаю. Вам комнату?

— Да, сударыня.

И лакей, подхватив чемодан Жанны, пошел впереди нее по лестнице.

У нее сжалось сердце. Она села за маленький столик и попросила бульону и крылышко цыпленка. С самого утра она ничего не ела.

Она грустно пообедала при свете свечи, размышляя о тысяче вещей, вспоминая, как она проезжала через этот самый город по возвращении из свадебного путешествия, вспоминая первые признаки дурного характера Жюльена, проявившиеся во время этого пребыва-

ния в Париже. Но тогда она была молодой, доверчивой и бодрой. Теперь же она чувствовала себя старой, растерянной, боязливой, слабой и способной приходить в замешательство из-за каждого пустяка. Покончив с обедом, она стала глядеть в окно на улицу, полную народа. Ей хотелось выйти, но она не решилась Она тут непременно заблудится, думалось ей Жанна легла и потушила свечу.

Однако шум, ощущение незнакомого города и лихорадка путешествия не давали ей заснуть. Время шло. Гул снаружи мало-помалу стихал, но она все-таки не могла спать, потому что этот полупокой большого города действовал ей на нервы. Она привыкла к тишине и глубокому сну полей, усыпляющим все — людей, животных и растения; теперь же Жанна чувствовала вокруг себя какое-то таинственное движение Почти неуловимые голоса долетали до нее, точно проникая сквозь стены гостиницы. Иногда скрипел пол, хлопала где-то дверь, дребезжал звонок.

Около двух часов ночи, когда она только начала дремать, какая-то женщина закричала в соседней комнате; Жанна быстро присела в кровати; потом ей послышался мужской смех.

И тут, по мере того как приближался день, мысль о Поле овладела ею; она оделась, чуть только стало светать.

Он жил в Ситэ, на улице Соваж. Она хотела пройти туда пешком, из экономии, помня заветы Розали. День был чудесный; холодный воздух щипал кожу; пешеходы торопливо сновали по тротуарам. Она быстро шла по указанной ей улице, в конце которой ей предстояло свернуть направо, затем налево, и наконец, добравшись до площади, снова спросить дорогу Она не нашла площади и справилась у булочника, который дал ей несколько иные указания. Она опять двинулась в путь, сбилась с дороги, стала путать, следовала разным другим советам и окончательно заблудилась.

В отчаянии она шла теперь почти наугад. Ей хотелось уже позвать извозчика, когда вдруг она увидела Сену и направилась вдоль набережной.

Приблизительно через час она очутилась на улице Соваж, в каком-то темном закоулке. Она остановилась

у двери в таком волнении, что не могла сделать больше ни шагу.

Он здесь, Пулэ, в этом доме!

Она чувствовала, как дрожат ее колени и руки; наконец она вошла, миновала узкий коридор, подошла к швейцарской и, протягивая серебряную монету, спросила:

— Не можете ли вы подняться к господину Полю де Лямар и сказать, что его ждет внизу пожилая дама, подруга его матери?

Портье отвечал:

— Он не живет здесь больше, сударыня

Сильная дрожь охватила ее. Она пролепетала:

— А где же... где он живет теперь?

— Не знаю

Она почувствовала головокружение, словно перед обмороком, и стояла некоторое время, не будучи в силах сказать ни слова. Наконец, сделав над собой страшное усилие, она пришла в себя и прошептала:

— Когда же он уехал?

Швейцар дал ей разъяснения со всеми подробностями.

— Недели две тому назад Раз как-то, вечером, они вышли в чем были и больше не возвращались. Они кругом должны в квартале, а потому, сами понимаете, адреса своего не оставили.

В глазах у Жанны завертелись светлые круги, огненные вспышки, точно перед нею стреляли из ружья. Но одна мысль поддерживала ее и давала ей силы устоять на ногах и сохранить наружное спокойствие и благоразумие: она хотела узнать все и разыскать Поля.

— Так он ничего не сказал, уезжая?

— Ни слова; они сбежали, чтобы не платить,—только и всего.

— Но ведь он должен прислать кого-нибудь за письмами.

— Ну вот еще! Они получали не более десяти писем в год. Впрочем, за два дня до отъезда я отнес им одно письмо.

Это было, конечно, ее письмо. Она быстро проговорила:

— Послушайте, я его мать, я приехала, чтобы разыскать его Вот вам десять франков. Если вы получите о нем какие-нибудь вести или указания, сообщите их мне в гостиницу «Нормандия» на Гаврской улице, я вам щедро заплачу.

Он отвечал:

— Рассчитывайте на меня, сударыня

И она ушла

Она снова начала бродить по улицам, не давая себе отчета, куда идет Она шла быстро, точно торопясь по важному делу, пробираясь возле самой стены; ее толкали люди со свертками, она переходила улицы, не видя едущих экипажей, не слыша брани кучеров, спотыкалась о ступени тротуаров, не замечая их, бежала все вперед и вперед, как безумная.

Вдруг она оказалась в саду и почувствовала такую усталость, что опустилась на скамейку. Очевидно, она очень долго сидела тут и плакала, сама того не сознавая, потому что прохожие останавливались, чтобы посмотреть на нее. Наконец ей сделалось холодно, и она встала, собираясь идти вновь: ее ноги чуть двигались, до того она была измучена и слаба.

Ей хотелось зайти в ресторан и спросить бульону, но она не решалась войти в эти заведения из боязни, стыда, страха, не желая обнаружить перед всеми свое очевидное горе. Она остановилась на секунду у дверей одного ресторана, заглянула внутрь, увидела людей, сидящих у накрытых столов и обедающих, и застенчиво побежала дальше, говоря себе: «Я зайду в другой». Но и в следующий она не решалась войти.

В конце концов она купила в булочной сдобный рожок и на ходу принялась его есть. Ей очень хотелось пить, но она не знала, куда зайти, и старалась терпеть.

Она прошла под каким-то сводом и попала в другой сад, окруженный аркадами. Тогда она узнала Палэ-Руаяль.

Солнце и ходьба согрели ее, и она снова решила посидеть часок — другой.

Здесь прогуливалась, болтала, смеялась, раскланивалась нарядная толпа, та счастливая толпа, где женщины красивы, а мужчины богаты, и которая живет только ради туалетов и удовольствий.

Жанна, смущенная тем, что очутилась посреди этой блестящей сутолоки, встала, чтобы бежать отсюда; но вдруг у нее мелькнула мысль, что здесь она может встретить Поля, и она стала скромно и торопливо бродить взад и вперед по саду, всматриваясь в лица прохожих.

Некоторые оборачивались, чтобы проводить ее взглядом, другие смеялись, показывая на нее друг другу. Она заметила это и ушла из сада, думая, что насмешку вызывают ее манеры и платье в зеленую клетку, выбранное Розали и сшитое по ее указаниям годервильской портнихой.

Она даже не осмеливалась больше спрашивать у прохожих дорогу. Но в конце концов отважилась на это и отыскала свою гостиницу.

Остальную часть дня она провела на стуле у кровати, почти не двигаясь. Затем пообедала, как накануне, съев немного супу и мяса, и легла в постель, проделывая все движения машинально, по привычке.

На следующий день она отправилась в префектуру полиции попросить о розыске сына. Ей ничего не могли обещать, но сказали, что этим делом займутся

Она снова пошла бродить по улицам, надеясь встретить Поля. Она чувствовала себя еще более одинокой в этой оживленной толпе, еще более затерянной, еще более несчастной, чем среди пустынных полей

Когда вечером она вернулась в гостиницу, ей сказали, что ее спрашивал какой-то мужчина от г-на Поля и что он опять придет завтра. Вся кровь прилила ей к сердцу, она не сомкнула глаз всю ночь. Ах, если бы это был он! Да, конечно, это он, хотя она не узнавала его по тому описанию, которое ей сообщили

Около девяти часов утра раздался стук в дверь, и она закричала: «Войдите!» — готовясь броситься с раскрытыми объятиями. Появился незнакомец. И пока он извинялся за причиненное беспокойство и излагал свое дело, а именно говорил о долге Поля, за уплатой которого он явился, она чувствовала, что плачет, и, не желая показать этого, смахивала слезы кончиком пальцев по мере того, как они набегали в уголках глаз.

Он узнал о ее приезде от швейцара на улице Соваж и, не имея возможности разыскать молодого человека,

обращается к его матери. И он протянул бумагу, которую она бессознательно взяла. Она увидела цифру — 90 франков, вынула деньги и заплатила.

Она не выходила весь этот день.

На следующий день явились новые кредиторы. Она отдала все, что у нее было, оставив себе только двадцать франков, и написала Розали о своем положении.

В ожидании ответа она целыми днями бродила по городу, не зная, что делать, как убить унылые часы, бесконечные часы, не имея никого, кому она могла бы сказать теплое слово, никого, кто знал бы о ее несчастье. Она ходила наугад, томясь теперь желанием скорее уехать, вернуться к себе, в свой маленький домик на краю пустынной дороги.

Всего несколько дней назад она не могла там жить, до того ее удручала тоска, а теперь она ясно почувствовала, что может жить только там, там, где прочно укоренились все ее угрюмые привычки.

Наконец однажды вечером она получила письмо с двумястами франков. Розали писала:

«Сударыня, возвращайтесь скорее, потому что больше я вам ничего не пришлю. Что касается господина Поля, то я сама поеду его разыскивать, когда мы получим о нем вести.

Кланяюсь вам. Ваша служанка *Розали*».

И наутро Жанна уехала в Батвиль. Шел снег, было очень холодно.

XIV

С тех пор она не выходила больше, не двигалась. Она вставала всегда в один и тот же час, смотрела в окно на погоду, потом спускалась вниз и садилась в столовой у камина.

Целыми днями неподвижно сидела она здесь, устремив глаза на огонь, безвольно отдаваясь грустным мыслям и перебирая печальную вереницу своих страданий. Сумерки мало-помалу обволакивали комнатку, а

она все еще сидела, делая движение лишь затем, чтобы подбросить в камин дров. А Розали вносила лампу, восклицая.

— Ну, сударыня, вам надо встряхнуться, а то у вас вечером не будет аппетита.

Ее преследовали навязчивые мысли, мучили мелочные заботы: всякий пустяк в ее больной голове принимал несоразмерно важное значение.

Но чаще всего она жила мыслью в прошлом, в далеком прошлом: ее не покидали образы раннего детства, а также свадебного путешествия на Корсику. Давно забытые пейзажи этого острова возникали вдруг перед нею среди головешек камина: она вспоминала все мельчайшие события, все незначительные факты, все лица, которые она там встречала; лицо проводника Жана Раволи преследовало ее, и порою ей казалось, что она слышит его голос.

Потом она думала о радостных годах детства Поля, о той поре, когда он заставлял ее сажать салат, когда она становилась на колени на жирной земле рядом с тетей Лизон и когда обе они старались наперебой, изо всех сил угодить ребенку, соперничая в том, кто ловчее посадит рассаду и у кого она даст больше побегов.

И чуть слышно губы ее шептали: «Пулэ, мой маленький Пулэ»,— словно она говорила с ним, и, когда ее грезы обрывались на этом слове, она принималась порой целыми часами чертить вытянутым пальцем в воздухе буквы, из которых состоит его имя. Она чертила их медленно перед огнем, воображая, что видит их, а потом, думая, что ошиблась, начинала снова выводить букву П рукой, дрожащей от усталости, стараясь вычертить все имя; окончив, она опять принималась за то же самое.

В конце концов она больше не могла этого делать— путала, чертила другие слова и волновалась при этом до сумасшествия.

Все мании отшельников завладели ею. Всякая вещь, стоявшая не на месте, выводила ее из себя.

Розали часто заставляла ее ходить, выводила на дорогу, но через двадцать минут Жанна заявляла: «Я не могу больше, милая»,— и усаживалась на краю канавы.

Вскоре всякое движение стало ей ненавистно, и она старалась оставаться в постели возможно дольше.

С детства у нее неизменно и устойчиво сохранялась привычка вставать с постели тотчас после того, как она выпивала кофе с молоком Этому напитку она придавала какое-то преувеличенное значение; лишиться его для нее было бы труднее, нежели чего-либо другого. Каждое утро с немного чувственным нетерпением ожидала она прихода Розали, и как только полная чашка кофе была поставлена на ночной столик, она садилась в постели и живо, даже с некоторой жадностью, выпивала ее. Потом, откинув простыни, начинала одеваться.

Но мало-помалу она усвоила привычку предаваться мечтам несколько секунд после того, как пустая чашка была поставлена обратно на блюдечко, и снова протягивалась на кровати; с каждым днем все дольше и дольше предавалась она этой лени, до того момента, пока наконец не появлялась возмущенная Розали и не одевала ее почти насильно.

В ней вообще исчезла последняя видимость воли, и теперь, когда служанка обращалась к ней за советом, задавала ей какой-нибудь вопрос, спрашивала ее мнения, она отвечала:

— Делай, как хочешь, милая.

Она в такой степени прониклась уверенностью, что злой рок упорно преследует ее, что стала фаталисткой наподобие жителей Востока; привыкнув видеть несбыточность своих грез, крушение своих надежд, она целыми днями колебалась, прежде чем решиться на самое простое дело, так как была уверена, что она на плохом пути и что это к добру не приведет.

Она постоянно повторяла:

— Мне ни в чем не было удачи в жизни

Тогда Розали восклицала:

— А что бы вы сказали, если бы вам пришлось трудиться, чтобы заработать себе на хлеб, если бы вы должны были вставать каждый день в шесть часов утра и ходить на поденщину? А ведь много таких женщин, которые принуждены делать это, когда же они становятся старыми, то помирают в нищете.

Жанна отвечала:

— Подумай только, что ведь я совсем одна, что сын покинул меня.

Тогда Розали приходила в бешенство:

— Подумаешь, какое дело! Ну, так что же! А сыновья, которых берут на военную службу? А те, которые переселяются в Америку?

Америка представлялась ей какой-то неопределенной страной, куда едут наживать богатства и откуда никогда не возвращаются.

Она продолжала:

— Всегда настает пора, когда приходится расставаться, потому что старым и молодым не жить вместе.— И она заключала свирепо: — Что же вы сказали бы, если бы он умер?

Жанна не отвечала.

К ней вернулось немного сил, когда воздух с первыми весенними днями стал более мягок, но из-за этого прилива бодрости она лишь еще больше углубилась в свои мрачные мысли.

Однажды утром она поднялась на чердак, чтобы отыскать какую-то вещь, и случайно открыла там ящик, наполненный старыми календарями; их сохраняли по обычаю некоторых деревенских жителей.

Ей показалось, что она нашла самые годы своего прошлого, и, охваченная странным и смутным волнением, она остановилась перед этой грудой квадратного картона.

Она взяла календари и унесла их вниз, в столовую. Они были всевозможных размеров — и большие и маленькие. Она стала раскладывать их на столе по годам. И внезапно наткнулась на первый календарь, который привезла когда-то в «Тополя».

Она долго рассматривала этот календарь и числа, зачеркнутые ею в утро ее отъезда из Руана, по выходе из монастыря. И она заплакала. Заплакала едкими и скупыми слезами, жалкими слезами старухи, столкнувшейся лицом к лицу со своей несчастной жизнью, разложенной перед ней на столе.

Ее охватило желание, перешедшее вскоре в какую-то ужасную, неотступную, ожесточенную манию. Ей захотелось восстановить день за днем все, что она делала за это время.

Она прикрепила к стене, на обивке, один за другим эти пожелтевшие листы картона и часами простаивала перед ними, задавая себе вопрос: «Что было со мной в таком-то месяце?»

Она отметила черточками все памятные даты своей жизни, и иногда ей удавалось воскресить целый месяц, восстанавливая, группируя и связывая один за другим мельчайшие факты, предшествовавшие какому-нибудь важному событию или следовавшие за ним.

Благодаря сосредоточенному вниманию, напряжению памяти и усилию воли ей удалось восстановить почти целиком два первых года, проведенных в «Тополях», потому что отдаленные воспоминания ее жизни возникали перед нею с особенной легкостью и ясностью.

Но следующие годы, казалось, терялись в каком-то тумане, перепутывались, громоздились один на другой, и временами она простаивала перед календарем бесконечно долго, опустив голову, мысленно устремив взор в *прошлое* и не имея сил вспомнить: не в этом ли куске картона можно отыскать то или иное событие?

Она переходила от одного календаря к другому, вокруг всей комнаты, обвешенной, точно изображениями крестного пути, этими картинами канувших в вечность дней. Вдруг она порывисто садилась перед каким-нибудь из календарей и застывала так до самой ночи, устремив на него взгляд, углубясь в свои поиски.

Когда под влиянием солнечного тепла пробудились все соки, когда в полях стали прорастать всходы, деревья зазеленели и расцветшие яблони во дворе превратились в розовые шары, наполняя всю долину благоуханием, страшное волнение обуяло ее.

Она не могла усидеть на месте; она ходила взад и вперед, выходила и возвращалась по двадцать раз в день и бродила иногда вдоль ферм, томясь лихорадкой позднего сожаления.

При виде маргаритки, скромно прятавшейся в густой траве, при виде солнечного луча, скользившего среди листвы, при виде в колее лужицы воды, отражавшей голубое небо, она приходила в умиление, чувствовала себя растроганной, потрясенной, и в ней пробуждались давно минувшие чувства, как эхо ее девичьих волнений, когда она мечтала, гуляя в полях.

Она содрогалась от тех же потрясений, упивалась той же нежностью и волнующим опьянением теплых дней, как и в те времена, когда у нее было будущее. Все это она переживала теперь, когда будущего уже не было. Она еще наслаждалась этим в сердце своем, но и страдала от этого, словно вечная радость пробужденного мира, проникая в ее иссохшую кожу, в ее охлажденную кровь, в ее подавленную душу, могла дать ей только болезненное и слабое очарование.

Ей казалось также, что все как-то изменилось вокруг нее. Солнце грело не так сильно, как в дни ее юности, небо было не такое синее, трава не такая зеленая, цветы были бледнее, не так пахли, аромат их опьянял совсем по-иному.

Однако в иные дни ею настолько овладевало чувство радости жизни, что она опять начинала грезить, надеяться и ждать; можно ли, несмотря на ожесточенную суровость судьбы, навсегда перестать надеяться, когда кругом так прекрасно?

Целыми часами бродила и бродила она, как бы подстегиваемая душевным возбуждением Потом вдруг останавливалась и садилась на краю дороги, предаваясь грустным размышлениям Почему она не была так любима, как другие? Почему она не изведала хотя бы счастья спокойного существования?

Временами она еще забывала на минуту о том, что состарилась, что впереди у нее нет ничего, кроме нескольких мрачных и одиноких лет, что жизненный путь ею уже пройден, и, как прежде, как в шестнадцать лет, она принималась строить планы, милые ее сердцу, создавать очаровательные картины будущего Затем жестокое сознание действительности снова подавляло ее; она поднималась, словно сгорбившись под ярмом, и уже медленно возвращалась к своему жилищу, шепча:

— О, безумная старуха! Безумная старуха!

Теперь Розали твердила ей поминутно:

— Да успокойтесь же, сударыня, чего вы так волнуетесь?

И Жанна грустно отвечала ей:

— Чего же ты хочешь? Я, как Массакр, доживаю последние дни.

Однажды утром служанка вошла ранее обыкновен-

Худ. А. Л е р у. 1903. «ЖИЗНЬ».

Худ. А. Л е р у. 1903. «ЖИЗНЬ».

ного в ее комнату и, поставив кофе на ночной столик, сказала

— Ну, пейте скорее, Дени ждет нас внизу. Поедемте в «Тополя», там у меня есть дело

Жанне казалось, что она теряет сознание, до того ее взбудоражили эти слова; она оделась, дрожа от волнения, смущаясь и слабея при мысли, что снова увидит родной дом.

Сверкающее небо расстилалось над землей, лошадка бежала резвой рысью, порою переходя в галоп Когда въехали в коммуну Этуаи, Жанне стало трудно дышать, так сильно билось ее сердце, а завидев кирпичные столбы ограды, она тихо, против воли, два—три раза простонала. «О-о о!»,— точно при виде зрелища, от которого разрывается сердце

Одноколку распрягли у Кульяров, пока Розали с сыном отправились улаживать свои дела, фермеры предложили Жанне пройтись по замку, так как хозяев не было дома, и дали ей ключи

Она пошла одна и, приблизившись к старому зданию со стороны моря, остановилась, чтобы лучше рассмотреть его. Снаружи ничто не изменилось. На потускневших стенах огромного сероватого здания играли в этот день солнечные блики Все ставни были закрыты.

Небольшая сухая ветка упала ей на платье, она подняла глаза ветка упала с платана. Жанна приблизилась к могучему дереву с гладкой и светлой корой и погладила его, точно это было живое существо. Ее нога наткнулась в траве на кусок гнилого дерева: то был последний обломок скамьи, на которой она так часто сидела со своими родными, скамьи, которая была поставлена в день первого визита Жюльена.

Затем она подошла к двойной двери вестибюля и с трудом открыла ее: тяжелый заржавленный ключ не хотел поворачиваться в замке. Наконец замок уступил, пружина слегка заскрежетала, и створка двери отворилась от толчка.

Быстро, почти бегом, поднялась Жанна в свою комнату Она не узнала ее: комнату заново оклеили светлыми обоями,—но, распахнув окно, она замерла, взволнованная до глубины души видом широкого горизонта, который она так любила, рощицей, вязами, ландой и

морем, испещренным темными парусами, которые издали казались неподвижными.

Она принялась бродить по огромному пустому дому Она рассматривала на стенах пятна, давно знакомые ее глазам Она остановилась перед маленьким углублением в штукатурке, которое сделал барон, часто забавлявшийся, вспоминая свою молодость, тем, что фехтовал тросточкой против перегородки, когда ему случалось проходить мимо нее.

В комнате мамочки, в темном углу за дверью около кровати, она нашла булавку с золотой головкой, которую когда-то воткнула в стену (теперь она ясно вспоминала это) и которую потом искала в течение ряда лет. Никто не нашел ее. Она взяла ее как бесценную реликвию и поцеловала.

Она ходила всюду, искала и узнавала обивку комнат, которая совсем не переменилась, и снова различала почти невидимые странные фигуры, которые наше воображение часто создает из рисунков обоев, прожилок мрамора и теней на загрязненном от времени потолке.

Она ходила тихими шагами в полном одиночестве по огромному молчаливому замку, точно по кладбищу. Вся ее жизнь была погребена здесь Она спустилась в гостиную В ней было темно, так как ставни были закрыты, и прошло несколько минут, прежде чем она могла что-либо различить; затем, когда ее глаза привыкли к темноте, она мало-помалу стала узнавать высокие обои с разгуливавшими по ним птицами. Два кресла по-прежнему стояли перед камином, словно их только что покинули; и самый запах этой комнаты, запах, который всегда был ей присущ, как он присущ живым существам, запах неопределенный и все же так хорошо знакомый, неясный, милый аромат старых жилищ доходил до Жанны, окружал ее воспоминаниями, опьянял ее. Она задыхалась, впивая этот воздух прошлого, и стояла, устремив глаза на кресла. И вдруг в мгновенной галлюцинации, порожденной ее навязчивой мыслью, ей показалось, что она видит — да, видит, как видела их так часто прежде,— своего отца и мать, греющих ноги перед камином.

В испуге она отпрянула, ударившись спиной о ко-

сяк двери, уцепилась за него, чтобы не упасть, но все еще не сводила глаз с кресел.

Видение исчезло.

Несколько минут она не могла прийти в себя, потом медленно овладела собою и в страхе решила бежать отсюда, чтобы не сойти с ума. Случайно взгляд ее упал на косяк, о который она опиралась, и она увидела «лестницу Пулэ».

Черточки поднимались по краске двери одна за другой с неравными промежутками; цифры, нацарапанные перочинным ножом, отмечали год, месяц и рост ее сына. Иногда то был почерк барона, более крупный, иногда ее собственный, помельче, иногда тети Лизон, слегка дрожащий. И ей казалось, что ребенок, каким он был тогда, с его белокурыми кудрями, прислоняется сейчас, здесь, перед нею, своим лобиком к стене, чтобы измерили его рост.

Барон кричал:

— Жанна, ведь он за шесть недель вырос на целый сантиметр!

В бешеном порыве любви она начала покрывать дверной косяк поцелуями.

Но со двора ее позвали. Это был голос Розали

— Сударыня, сударыня, вас ждут к завтраку!

Она вышла, теряя рассудок. Ничего не понимала из того, что ей говорили. Ела то, что подавали; слушала, не отдавая себе отчета, о чем идет речь; вероятно, говорила с фермершами, которые справлялись о ее здоровье; давала себя целовать, сама целовала щеки, которые ей подставляли, и, наконец, села в экипаж.

Когда высокая крыша замка скрылась за деревьями, Жанна ощутила невыносимую боль в груди Она чуяла сердцем, что сейчас навсегда простилась со своим домом.

Вернулись в Батвиль. Входя в свое новое жилище, Жанна увидела что-то белое под дверью, то было письмо, которое почтальон подсунул туда в ее отсутствие. Она тотчас же угадала, что оно от Поля, и, дрожа от волнения, распечатала его. Он сообщал:

«Дорогая мама, я не писал тебе раньше, так как не хотел затруднять тебя бесполезным путешествием в

Париж, да и мне самому необходимо немедленно приехать к тебе В настоящее время меня постигло страшное горе, и я нахожусь в крайнем затруднении. Три дня тому назад жена моя родила девочку и теперь умирает, а у меня совершенно нет денег. Я не знаю, что делать с ребенком, которого привратница выкармливает на рожке, как умеет, но боюсь его потерять. Не могла ли бы ты взять его к себе? Я положительно не знаю, как мне с ним быть, и не имею средств, чтобы отдать его кормилице. Отвечай немедленно

Любящий тебя сын *Поль*».

Жанна рухнула на стул, едва найдя в себе силы позвать Розали Когда служанка пришла, они вместе перечитали письмо и долго молчали, сидя друг против друга.

Наконец Розали сказала.

— Я посду за малюткой, сударыня Так ее нельзя оставить

Жанна отвечала:

— Поезжай, милая

Они помолчали еще, и служанка добавила:

— Надевайте шляпку, сударыня, и едемте к нотариусу в Годервиль Раз она умирает, нужно, чтобы господин Поль обвенчался с нею ради малютки.

Не говоря ни слова, Жанна надела шляпку. Сердце ей переполняла глубокая радость, в которой стыдно было признаться, вероломная радость, которую она хотела скрыть во что бы то ни стало, одна из тех отвратительных радостей, от которой приходится краснеть, хотя ею страстно наслаждаются в тайниках души любовница ее сына умирала.

Нотариус дал служанке подробные указания, которые она просила повторить несколько раз; потом, уверившись, что уже не ошибется, она заявила:

— Будьте покойны, я все беру теперь на себя.

В ту же ночь она уехала в Париж

Жанна провела два дня в таком смятении, что не могла решительно ни о чем думать. На третье утро она получила от Розали записку, извещавшую о ее возвращении с вечерним поездом. И больше ничего

В три часа она попросила соседа запрячь одноко-

ку и отправилась на вокзал в Безвиль, чтобы встретить там служанку.

Она стояла на платформе, устремив глаза на прямую линию рельсов, которые убегали, сливаясь друг с другом на горизонте Время от времени она смотрела на часы Еще десять минут Еще пять минут. Еще две минуты Сейчас Но ничего не показывалось вдали. Затем она вдруг увидела белое пятнышко, дымок, а под ним черную точку, которая все росла, росла и приближалась полным ходом. Наконец огромная машина, замедляя бег, проехала, шумно дыша, перед Жанной, которая жадно заглядывала в окна Несколько дверец распахнулось; оттуда выходили люди: крестьяне в блузах, фермерши с корзинками, мелкие буржуа в мягких шляпах Наконец она увидела Розали, несущую в руках что-то вроде свертка с бельем

Ей хотелось пойти к ней навстречу, но она боялась упасть, до того ослабели ее ноги Увидев ее, служанка подошла к ней с обычным спокойным видом и сказала:

— Здравствуйте, сударыня; вот я и вернулась, хоть это было не так-то легко!

Жанна пробормотала·

— Ну?

Розали ответила

— Ну, она умерла сегодня ночью Они повенчались, вот ребенок

И она протянула младенца, лица которого не было видно

Жанна машинально взяла его на руки, они вышли из вокзала и сели в экипаж.

Розали продолжала

— Господин Поль приедет тотчас после похорон. Надо думать, завтра с этим же поездом

Жанна прошептала. «Поль.» — и больше ничего не прибавила

Солнце спускалось к горизонту, заливая светом зеленеющие долины, испещренные кое-где золотом цветущего рапса и кровавыми пятнами мака Беспредельным покоем веяло над умиротворенной землей, где зарождалась жизнь.

Одноколка катилась быстро; крестьянин пощелкивал языком, чтобы придать лошади прыти.

Жанна глядела прямо перед собой, в небо, по которому время от времени, подобно ракетам, проносились ласточки в своем круговом полете. И вдруг мягкая теплота, теплота жизни, проникла сквозь ее платье, достигла до ее ног, пронизала ее тело: то была теплота маленького существа, которое спало у нее на коленях

Тогда безграничное волнение овладело ею. Она быстро раскрыла личико ребенка, которого еще не видела,— дочери своего сына. И когда крохотное создание, разбуженное ярким светом, открыло голубые глаза и пошевелило губами, Жанна, подняв его на руках, стала безумно целовать.

Но Розали, хотя и довольная, остановила ее, заворчав:

— Ну, хорошо, хорошо, перестаньте, сударыня, а не то она разревется!— И она прибавила, отвечая, вероятно, на свои собственные мысли· — Жизнь, что ни говорите, не так хороша, но и не так плоха. как о ней думают.

РАССКАЗЫ ВАЛЬДШНЕПА

ВАЛЬДШНЕП

Престарелый барон де Раво в течение сорока лет слыл королем охотников в своей округе Но последние пять — шесть лет паралич ног приковал его к креслу; он мог стрелять только голубей из окна гостиной или с высокого крыльца своего дома.

Остальное время он читал.

То был приятный собеседник, сохранивший немалый запас остроумия прошлого века. Он обожал шаловливые анекдоты, а также рассказы о подлинных происшествиях, случившихся с окружающими его людьми. Не успевал приятель войти к нему, как барон уже спрашивал:

— Ну, что нового?

Выпытывать он умел не хуже судебного следователя.

В солнечные дни барон приказывал катать себя перед домом в широком кресле, вполне заменявшем ему кровать. Слуга, находившийся позади него, держал ружья, заряжал их и подавал своему господину; другой слуга, сидевший в кустах, выпускал голубей — через неравные промежутки времени, чтобы барон не знал об этом заранее и был все время настороже.

С утра до вечера стрелял он быстрых птиц, приходя в отчаяние, если случалось промахнуться, и смеясь до слез, когда подстреленный голубь падал отвесно или вдруг начинал смешно кувыркаться в воздухе. Тогда барон оборачивался к слуге, заряжавшему ружья, и говорил, задыхаясь от радости:

— Этот готов! Ты видел, Жозеф, как он падал?

И Жозеф неизменно отвечал:

— О, господин барон им спуску не дает!

Осенью, в сезон охоты, он, как и встарь, приглашал к себе друзей и любил прислушиваться к ружейным выстрелам, раздававшимся вдали Он вел им счет и бывал счастлив, когда они учащались А вечером требовал от каждого охотника правдивого рассказа о проведенном дне.

И за обедом они просиживали у барона часа по три, рассказывая об охоте

Необыкновенные и невероятные были те приключения, которыми охотники тешили свой хвастливый нрав. Некоторые рассказы были не новы и повторялись ежегодно История кролика, по которому маленький виконт де Бурриль дал промах в собственной прихожей, ежегодно заставляла охотников все так же умирать со смеху. Каждые пять минут новый оратор говорил:

— Слышу: «Бирр! Бирр!» — и великолепный выводок взлетает в десяти шагах от меня. Я целюсь: «Пиф! Паф!» И на моих глазах они падают дождем, настоящим дождем. Целых семь штук!

И все, удивляясь, но доверяя друг другу, приходили в восторг.

В доме существовал один старый обычай, называвшийся «рассказом вальдшнепа»

Во время пролета вальдшнепа — короля дичи — за обедом ежедневно совершалась одна и та же церемония.

Барон обожал эту несравненную птицу, и у него подавали ее всякий вечер; при этом каждый гость съедал по целой птице, но их головки принято было оставлять на блюде.

И вот барон, священнодействуя, словно епископ, приказывал подать тарелку с жиром и старательно вымазывал им драгоценные головки, держа их за кончик тонкой иглы, служившей им клювом. Возле него ставили зажженную свечку, и все умолкали в напряженном ожидании

Затем он брал одну из приготовленных таким образом головок, насаживал ее на булавку, втыкал булавку в пробку, придавая всему этому равновесие с помощью

тоненьких палочек, положенных крест-накрест, и осторожно водружал это приспособление — нечто вроде турникета — на горлышко бутылки.

Гости громко считали хором:

— Раз, два, три!

И толчком пальца барон заставлял быстро вертеться эту игрушку.

Тот из гостей, на которого, остановившись, указывал длинный острый клюв вальдшнепа, становился обладателем всех головок — изысканного блюда, возбуждавшего зависть соседей. Он брал их одну за другой и поджаривал на свечке. Жир трещал, зарумянившаяся кожа дымилась, и избранник судьбы грыз жирную головку, держа ее за клюв и шумно выражая свое удовольствие

И каждый раз обедавшие поднимали бокалы и пили за его здоровье.

Покончив с последней головкой, избранник должен был, по повелению барона, рассказать какую-нибудь историю, чтобы ею вознаградить лишенных лакомого блюда.

Вот некоторые из этих рассказов.

ЭТА СВИНЬЯ МОРЕН

М Удино

I

— Друг мой, постой,— сказал я Лябарбу,— ты только что опять произнес: «Эта свинья Морен». Почему, черт возьми, я ни разу не слыхал, чтобы, говоря о Морене, не называли его свиньей?

Лябарб, ныне депутат, вытаращил на меня глаза:

— Как, ты не знаешь истории Морена, и ты из Ля-Рошели?

Я признался, что не знаю истории Морена. Тогда Лябарб потер руки и начал рассказ

— Ты ведь знал Морена и помнишь его большой галантерейный магазин на набережной Ля-Рошели?

— Да, помню.

— Отлично. Так вот в 1862 или 1863 году Морен отправился на две недели в Париж, может быть, ради удовольствия или ради некоторых похождений, но под предлогом запастись новым товаром Ты знаешь, что значит для провинциального торговца провести две недели в Париже От этого огонь зажигается в крови. Каждый вечер какие-нибудь зрелища, мимолетные знакомства с женщинами, непрерывное возбуждение ума. Тут теряют рассудок Ничего уже не видят, кроме танцовщиц в трико, декольтированных актрис, полных икр, пышных плеч, и все это — стоит только руку протянуть, а между тем нельзя, невозможно прикоснуться. Едва удается разок—другой отведать какого-нибудь

блюда попроще. И приходится уезжать все еще раззадоренному, с возбужденным сердцем, с непреодолимой жаждой поцелуев, которые только пощекотали вам губы.

Морен находился именно в таком состоянии, когда взял билет до Ля-Рошели на экспресс, отходивший в восемь сорок вечера. Взволнованный и полный сожаления, прохаживался он по большому вестибюлю Орлеанской железной дороги и вдруг остановился, как вкопанный, при виде молодой женщины, целовавшей старую даму. Она приподняла вуалетку, и Морен в восхищении пробормотал:

— Черт возьми, какая красавица!

Простившись со старушкой, она вошла в зал ожидания, и Морен последовал за нею; затем она прошла на платформу, и Морен снова последовал за нею; потом она вошла в пустое купе, и Морен опять-таки последовал за нею.

С экспрессом ехало мало пассажиров. Паровоз свистнул, поезд тронулся. Они были одни.

Морен пожирал ее глазами. На вид ей было лет девятнадцать — двадцать; это была белокурая, рослая, со смелыми манерами молодая особа. Укутав ноги дорожным пледом, она вытянулась на диванчике, собираясь спать.

Морен спрашивал себя: «Кто она?» — и тысячи предположений, тысячи планов мелькали в его голове. Он говорил себе: «Столько ходит рассказов о приключениях на железных дорогах. Быть может, и мне предстоит одно из таких приключений. Кто знает? Удача приходит так внезапно. Быть может, достаточно только быть смелым. Ведь сказал же Дантон: «Дерзайте, дерзайте, всегда дерзайте»? Если не Дантон, так Мирабо. В конце концов это неважно. Да, но у меня-то как раз не хватает смелости, вот в чем загвоздка! О! Если бы знать, если бы можно было читать в чужой душе! Держу пари, что мы ежедневно, не подозревая, проходим мимо блестящих случаев. А ведь ей было бы достаточно сделать всего лишь движение, намекнув, что она только и ждет »

И он принялся строить планы, которые могли бы привести его к победе. Он представлял себе начало зна-

комства в рыцарском духе: мелкие услуги, которые он окажет спутнице, живой, любезный разговор, который закончится объяснением, а оно, в свою очередь... тем самым, что ты имеешь в виду.

Между тем ночь проходила, а очаровательная девушка продолжала спать, пока Морен обдумывал, как произойдет ее падение Рассвело, и вскоре солнце бросило с далекого горизонта первый луч, длинный и яркий, на спокойное лицо спящей.

Она проснулась, села, взглянула в окно на просторы полей, затем на Морена и улыбнулась улыбкой счастливой женщины — ласково и весело. Морен вздрогнул. Сомнений быть не могло, улыбка предназначалась ему; она была тем скромным приглашением, тем желанным знаком, которого он так долго ждал. Эта улыбка означала: «До чего вы глупы, до чего вы наивны, какой вы простофиля, если торчите, как пень, на своем месте со вчерашнего вечера. Взгляните-ка на меня: разве я вам не нравлюсь? А вы сидите всю ночь наедине с хорошенькой женщиной, как дурак, не осмеливаясь ни на что»

Она продолжала улыбаться, глядя на него, начала даже смеяться, а он растерянно подыскивал подходящую фразу, старался придумать подходящий комплимент или хоть несколько слов, все равно каких. Но ничего не находил, ровно ничего. Тогда, с дерзостью труса, он подумал: «Будь что будет — рискну». И вдруг, не говоря ни слова, ринулся вперед, простирая руки и алчно выпятив губы, схватил ее в объятия.

Одним прыжком девушка вскочила, испуская вопли ужаса, крича: «Помогите». Она распахнула дверцу купе, звала на помощь и, перепуганная до безумия, пыталась выпрыгнуть, в то время как ошалевший Морен, уверенный, что она выбросится на рельсы, удерживал ее за юбку и восклицал, заикаясь:

— Сударыня .. О!.. Сударыня!

Поезд замедлил ход и остановился. Двое служащих бросились на отчаянные призывы молодой женщины, которая упала к ним на руки, пролепетав:

— Этот человек хотел... хотел... меня... меня...

И она лишилась чувств.

Поезд находился на станции Мозе. Дежурный жандарм арестовал Морена.

Когда жертва его грубой выходки пришла в себя, она дала показания. Власти составили протокол. И несчастный торговец только к вечеру добрался домой; его привлекли к ответственности за оскорбление нравственности в общественном месте.

II

В то время я был главным редактором газеты *Светоч Шаранты* и виделся с Мореном каждый вечер в Коммерческом кафе.

На следующее утро после своего приключения он пришел ко мне, не зная, что делать. Я не скрыл от него своего мнения:

— Ты просто свинья. Так себя не ведут.

Он плакал; жена его побила; он уже видел, как торговля его приходит в упадок, обесчещенное имя забрасывают грязью, а возмущенные друзья перестают ему кланяться. В конце концов мне стало жаль Морена, и я позвал своего сотрудника Риве, веселого и находчивого малого, чтобы узнать его мнение на этот счет Он посоветовал мне переговорить с прокурором — одним из моих друзей. Я отправил Морена домой, а сам пошел к этому чиновнику.

Я узнал, что оскорбленная девушка — мадмуазель Анриетта Боннель, ездившая в Париж за дипломом учительницы, у нее не было в живых ни отца, ни матери, и она проводила каникулы у дяди и тетки, скромных буржуа в Мозе.

Положение Морена осложнялось тем, что дядя подал в суд. Прокурорский надзор соглашался прекратить дело, если жалоба будет взята обратно. Этого-то и следовало добиться.

Я возвратился к Морену и застал его в постели, больного от волнения и горя. Жена, костлявая, рослая, разбитная баба, ругала его беспрерывно. Она провела меня в комнату, крича мне прямо в лицо:

— Пришли полюбоваться на эту свинью Морена? Вот он, голубчик!

И она стала перед кроватью, подбоченившись. Я объяснил положение вещей, и Морен взмолился, чтобы я разыскал эту семью. Поручение было щекотливое, тем не менее я взялся его исполнить. Бедняга не переставал твердить:

— Уверяю тебя, что я ни разу не поцеловал ее, ни разу. Клянусь тебе!

Я ответил:

— Это не меняет дела, все равно ты свинья.

Затем я взял тысячу франков, которые он передал мне для расходов по моему усмотрению.

Однако, не решаясь отправиться один к родственникам девушки, я попросил Риве сопровождать меня. Он согласился при условии, что мы выедем немедленно, так как на другой день вечером у него было спешное дело в Ля-Рошели.

Два часа спустя мы звонили у двери деревенского домика. Нам открыла красивая девушка. Вероятно, то была она. Я тихонько сказал Риве:

— Черт возьми, я начинаю понимать Морена!

Дядя, г-н Тоннеле, оказавшийся как раз подписчиком *Светоча* и нашим горячим политическим единомышленником, принял нас с распростертыми объятиями, приветствовал, радостно жал руки в восторге оттого, что видит у себя редакторов своей газеты Риве шепнул мне на ухо:

— Я думаю, что дело этой свиньи Морена нам удастся уладить

Племянница удалилась, и я приступил к щекотливому вопросу Я намекнул на возможность скандала и указал на неминуемый ущерб, который причинила бы девушке огласка подобного дела. никто ведь не поверит, что все ограничилось только поцелуем

Дядюшка, очевидно, колебался, но ничего не мог решить без ведома жены, которая должна была вернуться только поздно вечером Внезапно он воскликнул с торжеством

— Постойте, мне пришла в голову превосходная мысль. я оставлю вас у себя Вы оба у меня пообедаете и переночуете, а когда приедет жена, я надеюсь, мы поладим.

Риве сначала воспротивился, но желание вызволить

из беды эту свинью Морена заставило и его согласиться принять приглашение

Дядя встал, сияя, позвал племянницу и предложил нам погулять по его владениям, прибавив:

— Серьезные дела — на вечер

Риве завел с ним разговор о политике Я же очутился вскоре в нескольких шагах позади них, рядом с девушкой Она поистине была очаровательна, да, очаровательна!

С бесконечными предосторожностями я заговорил с нею об ее приключении, намереваясь обеспечить себе союзницу.

Но она ничуть не казалась смущенной и слушала меня с таким видом, словно все это ее очень забавляло.

Я говорил ей.

— Подумайте, мадмуазель, о всех неприятностях, которые вас ожидают! Вам придется предстать перед судом, выносить лукавые взгляды, говорить перед всеми этими людьми, рассказывать публично о печальной сцене в вагоне. Между нами, не лучше ли было бы вам вообще не поднимать шума, осадить этого шалопая, не зовя служащих, и просто-напросто перейти в другое купе?

Она рассмеялась·

— Вы правы! Но что поделаешь? Я испугалась, а с перепуга уже не до рассуждений! Когда я поняла все происшедшее, я очень пожалела о том, что закричала, но было уже поздно. Подумайте только, что этот болван набросился на меня, словно исступленный, не сказав ни слова, и лицо у него было, как у сумасшедшего. Я даже не знала, что ему от меня нужно.

Она смотрела мне прямо в глаза, не смущаясь, не робея. Я сказал себе: «Ну и бойкая же особа! Становится понятно, почему эта свинья Морен мог ошибиться».

Я отвечал шутя:

— Послушайте, мадмуазель, вы должны признать, что он заслуживает извинения: невозможно же в конце концов находиться наедине с такой красивой девушкой, как вы, не испытывая совершенно законного желания поцеловать ее

Она рассмеялась еще громче, сверкнув зубами.

— Между желанием и поступком, сударь, должно найтись место и уважению.

Фраза звучала смешно и не совсем вразумительно. Внезапно я спросил

— Ну, хорошо, а если бы я вас поцеловал сейчас, что бы вы сделали?

Она остановилась, смерила меня взглядом с головы до ног, затем сказала спокойно:

— О, вы, это — другое дело!

Я хорошо знал, черт побери, что это другое дело, так как меня во всей округе звали не иначе, как «красавец Лябарб», и мне было в то время тридцать лет. Но я спросил:

— Почему же?

Она пожала плечами и ответила:

— Очень просто! Потому что вы не так глупы, как он.— Затем прибавила, быстро взглянув на меня: — И не так безобразны.

Не успела она отстраниться, как я влепил ей в щеку звонкий поцелуй. Она отскочила в сторону, но было уже поздно. Затем сказала:

— Ну, вы тоже не стесняетесь! Советую только не возобновлять этой шутки!

Я принял смиренный вид и сказал вполголоса:

— Ах, мадмуазель, я лично от души желаю предстать перед судом по тому же делу, что и Морен.

Тогда она спросила:

— Почему такое?

Я перестал смеяться и взглянул ей прямо в глаза.

— Потому что вы одна из самых красивых женщин. Потому что для меня стало бы патентом, титулом, славой то обстоятельство, что я пытался вас взять силой. Потому что, увидев вас, все бы говорили: «Ну, на этот раз Лябарб не добился того, чего добивается обычно, но, тем не менее, ему повезло»

Она снова от души рассмеялась:

— Ну и чудак же вы!

Не успела она произнести слово «чудак», как я уже держал ее в объятиях, осыпая жадными поцелуями ее волосы, лоб, глаза, рот, щеки, все лицо, каждое местеч-

ко, которое она невольно оставляла открытым, стараясь защитить остальные.

В конце концов она вырвалась красная и оскорбленная.

— Вы грубиян, сударь, и заставляете меня раскаиваться в том, что я вас слушала.

Я схватил ее руку и, несколько смутившись, шептал:

— Простите, простите,мадмуазель. Я вас оскорбил, я был груб! Но что я мог поделать? Если бы вы знали!.

И тщетно старался придумать какое-нибудь извинение.

Немного помолчав, она сказала:

— Мне нечего знать, сударь!

Но я уже нашелся и воскликнул:

— Мадмуазель, вот уж год, как я люблю вас!

Она была искренне изумлена и подняла на меня глаза. Я продолжал:

— Да, мадмуазель, выслушайте меня! Я не знаю Морена, и мне нет до него никакого дела. Пусть его отдадут под суд и посадят в тюрьму; мне это совершенно безразлично. Я увидел вас здесь год тому назад; вы стояли вон там, у решетки. Взглянув на вас, я был потрясен, и с тех пор ваш образ не покидал меня. Верьте или не верьте — все равно. Я нашел вас очаровательной; воспоминание о вас завладело мною; мне захотелось снова увидеться с вами, и вот я здесь под предлогом уладить дело этой скотины Морена. Обстоятельства заставили меня перейти границу; простите, умоляю вас, простите!

Она старалась прочитать правду в моем взгляде, готовая снова рассмеяться, и прошептала:

— Выдумщик!

Я поднял руку и произнес искренним тоном (думаю даже, что говорил вполне искренне):

— Клянусь вам, я не лгу.

Она сказала просто:

— Рассказывайте!

Мы были одни, совсем одни; Риве с дядей исчезли в извилинах аллей, и я принялся объясняться ей в любви пространно и нежно, пожимая и осыпая поцелуями ее

руки Она слушала мое признание, как нечто приятное и новое, не зная хорошенько, верить мне или нет.

В конце концов я действительно почувствовал волнение и поверил в то, что говорил; я был бледен, задыхался, вздрагивал, а моя рука между тем тихонько обняла ее за талию.

Я нашептывал ей в кудряшки над ухом. Она совсем замерла, отдавшись мечтам.

Потом ее рука встретилась с моей и пожала ее; я медленно, но все сильнее и сильнее трепетной рукой сжимал ее стан; она больше не сопротивлялась, я коснулся губами ее щеки, и вдруг ее уста встретились с моими То был долгий-долгий поцелуй; и он длился бы еще дольше, если бы в нескольких шагах за собою я не услышал: «Гм-гм».

Она бросилась в чащу. Я обернулся и увидел Риве, подходившего ко мне.

Остановившись посреди дороги, он сказал серьезно:

— Ну-ну! Так-то ты улаживаешь дело этой свиньи Морена?

Я отвечал самодовольно:

— Каждый делает, что может. А как дядя? От него добился ты чего-нибудь? За племянницу я отвечаю

— С дядей я был менее счастлив,— объявил Риве.

Я взял его под руку, и мы вернулись в дом.

III

За обедом я окончательно потерял голову. Я сидел рядом с нею, и наши руки беспрестанно встречались под столом; ногой я пожимал ее ножку; наши взгляды то и дело встречались

Затем мы совершили прогулку при луне, и я нашептывал ей все нежные слова, какие мне подсказывало сердце Я прижимал ее к себе, целуя поминутно, не отрывая своих губ от ее влажного рта. Впереди нас о чем-то спорили дядя и Риве. Их тени степенно следовали за ними по песку дорожек.

Вернулись домой Вскоре телеграфист принес депешу: тетка извещала, что приедет только завтра утром, в семь часов, с первым поездом

Дядя сказал.

— Ну, Анриетта, проводи гостей в их комнаты.

Пожав руку старику, мы поднялись наверх. Сначала она проводила нас в спальню Риве, и он шепнул мне:

— Небось, не повела нас раньше в твою комнату.

Потом она проводила меня до моей постели. Как только она осталась со мной наедине, я снова схватил ее в объятия, стремясь затуманить ее рассудок и сломить сопротивление Но она убежала, как только почувствовала, что слабеет.

Я лег в постель крайне рассерженный, крайне взволнованный, крайне смущенный, зная, что не усну всю ночь, и припоминал, не совершил ли я какой-либо неловкости, как вдруг в мою дверь тихонько постучались.

Я спросил:

— Кто там?

Еле слышный голос ответил:

— Я.

Наскоро одевшись, я открыл дверь: вошла она.

— Я забыла спросить вас,— сказала она,— что вы пьете по утрам· шоколад, чай или кофе?

Я бурно обнял ее, осыпая неистовыми ласками, и бессвязно повторял:

— Я пью пью .. пью ..

Но она выскользнула из моих рук, задула свечу и исчезла.

Я остался один, в темноте, разъяренный, ища спички и не находя их. Отыскав их наконец и почти обезумев, я вышел в коридор с подсвечником в руке.

Что мне было делать? Я не рассуждал больше; я шел с тем, чтобы найти Анриетту; я ее желал. И, не думая ни о чем, я сделал несколько шагов Но вдруг меня осенила мысль. «А если я попаду к дяде? Что мне ему сказать?..» Я остановился; голова была пуста, сердце сильно билось Через несколько секунд я нашел ответ: «Черт возьми! Да скажу, что искал комнату Риве, чтобы поговорить с ним о неотложном деле»

И я стал осматривать двери, стараясь угадать, какая из них ведет к ней. Но никаких признаков, которые бы могли помочь мне, не находил Наугад я повернул ручку одной из дверей. Открыл, вошел .. Анриетта, сидя на постели, растерянно смотрела на меня

Тогда я тихонько запер дверь на задвижку и, подойдя к ней на цыпочках, сказал:

— Я забыл попросить вас, мадмуазель, дать мне что-нибудь почитать.

Она отбивалась, но вскоре я открыл книгу, которую искал Не скажу ее заглавия. То был поистине самый чудный роман и самая божественная поэма.

Едва я перевернул первую страницу, она предоставила мне читать сколько угодно; я перелистал столько глав, что наши свечи совсем догорели.

Когда, поблагодарив ее, я возвращался в свою комнату, крадучись волчьим шагом, меня остановила чья-то сильная рука, и голос — то был голос Риве — прошептал у меня над ухом·

— Так ты все еще не уладил дела этой свиньи Морена?

В семь часов утра она сама принесла мне чашку шоколада Я никогда не пил такого. Этим шоколадом можно было упиваться без конца, так он был мягок, бархатист, ароматен, так опьянял. Я не в силах был оторвать губ от прелестных краев ее чашки.

Едва девушка вышла, как появился Риве. Он казался немного взволнованным и раздраженным, как человек, не спавший всю ночь, и сказал мне угрюмо

— Знаешь, если ты будешь продолжать в том же духе, ты испортишь дело этой свиньи Морена.

В восемь часов приехала тетка. Обсуждение дела длилось недолго. Было решено, что эти славные люди возьмут свою жалобу обратно, а я оставлю пятьсот франков в пользу местных бедняков.

Тут хозяева стали удерживать нас еще на день. Предложили даже устроить прогулку для осмотра развалин Анриетта за спиной родных кивала мне головой: «Да, да, оставайтесь же!» Я согласился, но Риве упрямо настаивал на отъезде

Я отвел его в сторону, просил, умолял, твердил ему:

— Послушай, Риве, голубчик, сделай это для меня!

Но он был словно вне себя и повторял мне прямо в лицо

— С меня достаточно, слышишь ты, вполне достаточно дела этой свиньи Морена!

Я принужден был уехать вместе с ним. То была одна из самых тяжелых минут моей жизни Я охотно согласился бы улаживать это дело всю жизнь.

В вагоне, после крепких немых прощальных рукопожатий, я сказал Риве:

— Ты просто скотина!

Он отвечал·

— Милый мой, ты начинаешь меня дьявольски раздражать.

Подъезжая к редакции *Светоча,* я увидел ожидавшую нас толпу .. И чуть только нас завидели, поднялся крик:

— Ну, как, удалось вам уладить дело этой свиньи Морена?

Вся Ля-Рошель была взволнована происшедшим, Риве, дурное настроение которого рассеялось в дороге, едва удерживался от смеха, заявляя

— Да, все уладилось благодаря Лябарбу.

И мы отправились к Морену.

Он лежал в кресле, с горчичниками на ногах и холодным компрессом на голове, изнемогая от мучительной тревоги. Он непрерывно кашлял чуть слышным кашлем умирающего, и никто не знал, откуда это у него взялось. Жена бросала на него взоры тигрицы, готовой его растерзать.

Увидев нас, Морен задрожал, его руки и колени затряслись. Я сообщил:

— Все улажено, пакостник; не вздумай только начинать сначала.

Он встал, задыхаясь, взял обе мои руки, поцеловал их, как руки какого-нибудь принца, заплакал, чуть не потерял сознание, обнял Риве и даже жену, которая, однако, одним толчком отшвырнула его в кресло.

Морен никогда уже не оправился от этой истории; пережитое им волнение оказалось чересчур сильным.

Во всей округе его называли теперь не иначе, как «эта свинья Морен», и прозвище вонзалось в него, словно острие шпаги, всякий раз, как он его слышал.

Когда на улице какой-нибудь мальчишка кричал: «Свинья»,— Морен невольно оборачивался. Друзья из-

водили его жестокими насмешками, спрашивая всякий раз, когда ели окорок:

— Это не твой?

Он умер два года спустя.

Что касается меня, то, выставляя свою кандидатуру в депутаты в 1875 году, я отправился однажды с деловым визитом к новому нотариусу в Туссер, к метру Бельонклю. Меня встретила высокая, красивая, пышная женщина.

— Не узнаете? — спросила она.

Я пробормотал.

— Нет... не узнаю .. сударыня.

— Априетта Бонисль.

— Ах!

И я почувствовал, что бледнею.

А она была совершенно спокойна и улыбалась, поглядывая на меня.

Как только она оставила меня наедине с мужем, он взял меня за руки и так крепко пожал их, что чуть не раздавил.

— Уж давно, сударь, я хочу повидать вас. Моя жена мне столько о вас говорила. Я знаю .. да, знаю, при каких прискорбных обстоятельствах вы с нею познакомились, и знаю также, как безупречно, деликатно, тактично и самоотверженно вели вы себя в деле...— Он запнулся, а затем прибавил, понизив голос, точно произнося непристойность — .. в деле этой свиньи Морена.

ПОМЕШАННАЯ

Роберу де Ньоньеру

— Вальдшнепы,— сказал г-н Матьё д'Андолен,— напоминают мне одно мрачное происшествие, случившееся во время войны.

Вы помните мою усадьбу в предместье Кормейля? Я как раз жил в ней во время прихода пруссаков.

Моей соседкой была одна помешанная, рассудок которой помутился под ударами несчастья В былые времена, когда ей было лет двадцать пять, она лишилась в один месяц отца, мужа и новорожденного ребенка. Посетив однажды какой-нибудь дом, смерть почти всегда тотчас же возвращается в него, словно заприметила его дверь

Несчастная молодая женщина, сраженная горем, слегла в постель и полтора месяца пробыла в бреду После этого бурного периода болезни наступило нечто вроде спокойной усталости; она лежала, как пласт, почти перестав есть и только поводя глазами. Каждый раз, когда ее заставляли подняться, она так кричала, словно ее убивали. Поэтому ей больше уже не мешали лежать и поднимали с кроватп только для того, чтобы переодеть ее или перевернуть матрац.

При ней жила старуха-нянька, заставлявшая ее время от времени выпить воды или поесть холодного мяса. Что происходило в этой отчаявшейся душе? Никто не узнал этого, так как она перестала говорить. Думала ли она о своих умерших? Была ли погружена в пе-

чальные грезы и ни о чем отчетливо не вспоминала? Или же ее поврежденная мысль неподвижно спала, как стоячая вода?

Так она провела пятнадцать лет, в полном уединении и не вставая.

Началась война. В первых числах декабря пруссаки проникли в Кормейль.

Помню все это, как вчера. Мороз стоял такой, что камни трескались. Я лежал в кресле, прикованный к нему подагрой, и вдруг услышал тяжелый, размеренный топот шагов пруссаков. Из окна мне было видно, как они проходили по улице. Они шли без конца, похожие друг на друга, с типичными для них движениями картонных паяцев.

Затем начальники стали распределять их на постой к жителям Мне досталось семнадцать человек. На долю помешанной соседки пришлось двенадцать, в том числе один офицер, настоящий рубака, свирепый и грубый.

Первые дни все шло хорошо. Офицеру объяснили, что его хозяйка больна, и он оставил ее в покое. Но вскоре эта женщина, которой никогда не было видно, стала его раздражать Он справился о ее болезни, ему ответили, что она лежит без движения пятнадцать лет вследствие сильного горя. Видимо, он не поверил этому и вообразил, что бедняжка сумасшедшая не встает с постели из гордости, чтобы не видеть пруссаков, не разговаривать и не общаться с ними.

Офицер потребовал, чтобы больная женщина его приняла; его ввели в ее комнату. Он сказал ей резко:

— Я прошу фас, сутарыня, фстать и сойти фниз, штоп фас фидели!

Она обратила на него пустые, бессмысленные глаза и ничего не ответила.

Офицер продолжал:

— Я не потерплю терзости. Если фи не фстанете топрофольно, я сумею застафить фас прокуляться отну!

Она не шевельнулась, оставаясь неподвижной, как будто и не видя его

Он обозлился, приняв это спокойное молчание за признак крайнего презрения, и прибавил:

— Если зафтра фи не пойтете фниз...

И быстро вышел.

На другое утро старуха-нянька, потеряв голову от страха, хотела было ее одеть, но помешанная принялась выть, отбиваясь от нее. Офицер быстро поднялся наверх; служанка упала к его ногам, крича.

— Она не хочет встать, сударь, не хочет. Простите ее: она так несчастна!

Солдафон смутился, не решаясь, несмотря на свой гнев, стащить больную с постели при помощи своих людей. Но вдруг он рассмеялся и отдал какое-то приказание по-немецки

И вскоре жители увидели, как из ворот дома вышел небольшой отряд, несший матрац, словно носилки с раненым. Непотревоженная на своем ложе, помешанная оставалась все такою же спокойной, молчаливой и равнодушной ко всему происходящему, раз ей предоставили право по-прежнему лежать. Солдат нес позади узел с женским платьем.

Офицер, потирая руки, произнес:

— Уфитим, как фи не сможете отеться пес посторонней помощи и совершить маленькую прокулку!..

И процессия удалилась в направлении Имовильского леса.

Два часа спустя солдаты вернулись одни

С тех пор никто не видал помешанную. Что они с ней сделали? Куда ее снесли? Никто этого никогда не узнал.

Снег падал день и ночь, погребая долину и леса под покровом мерзлой пены. Волки выли у самых наших дверей.

Мысль о пропавшей женщине неотвязно мучила меня, я много раз обращался к прусским властям, чтобы добиться разъяснений. Я рисковал быть расстрелянным

Наступила весна. Оккупационная армия удалилась.

Дом соседки оставался запертым; густая трава выросла в аллеях сада.

Старуха-нянька умерла зимою. Никто более не интересовался этим происшествием; один я не переставал о нем думать.

Что они сделали с этой женщиной? Бежала ли она через лес? Или ее подобрали где-нибудь и положили в больницу, так и не добившись от нее никаких объяснений? Ничто не рассеивало моего беспокойства; но мало-помалу тревогу сердца умиротворило время.

Следующей осенью вальдшнепы прилетели в огромном количестве, и, так как подагра на время перестала мучить меня, я дотащился кое-как до лесу Я убил уже четыре или пять длинноклювых птиц, как вдруг один из подстреленных мною вальдшнепов упал в ров, заваленный сухими ветвями Пришлось спуститься туда, чтобы поднять птицу. Я нашел ее возле человеческого черепа. И внезапно воспоминание о помешанной потрясло меня. Быть может, немало и других людей погибло в лесу в эту мрачную годину, но почему-то я был уверен — повторяю, уверен,— что набрел на череп несчастной помешанной.

И вдруг я понял, угадал все! Они бросили ее на том матраце в холодном, пустынном лесу, и, верная своей навязчивой мысли, она умерла под плотным и мягким пухом снега, не шевельнув ни рукой, ни ногой

Затем ее растерзали волки. А птицы свили гнезда из шерсти растрепавшегося матраца

Я сохранил эти печальные останки И от души пожелал чтобы наши сыновья никогда больше не видели войны.

ПЬЕРО

Анри Ружону

Г-жа Лефевр, деревенская дама, вдова, была одной из тех полубарынь-полукрестьянок в лентах и шляпках с оборками, одною из тех особ, которые манерно коверкают слова, чванно держатся на людях и под смехотворными шутовскими манерами скрывают свою животную сущность, точь-в-точь так же, как прячут свои красные ручищи под перчатками из небеленого шелка

У нее была прислуга, честная простая крестьянка по имени Роза

Женщины жили в домике с зелеными ставнями у самой дороги, в Нормандии, в центре области Ко.

Перед их домом был узенький садик, в котором они разводили кое-какие овощи.

И вот однажды ночью у них украли дюжину луковиц

Как только Роза заметила покражу, она тотчас же побежала сообщить об этом хозяйке, и та спустилась в сад в одной шерстяной юбке. Отчаяние и ужас! Обокрали! Г-жу Лефевр обокрали! Значит, в округе завелись воры и они могут прийти еще раз!

Испуганные женщины разглядывали следы ног, трещали без умолку, строили предположения.

— Видите, они пробрались вон там. Вскочили на стену, потом спрыгнули на грядку.

И они приходили в ужас при мысли о будущем. Разве можно теперь спать спокойно!

Слухи о краже распространились. Соседи приходили, воочию убеждались в случившемся и обсуждали со своей стороны происшествие, а обе женщины высказывали свои наблюдения и догадки каждому новому посетителю.

Фермер, живший по соседству, дал им совет:

— Вам следует завести собаку

Это правильно: им нужна собака хотя бы для того только, чтобы разбудить их в нужную минуту. Разумеется, не бог знает какой огромный пес! На что им большая собака! Разоришься на один прокорм Нет, им нужна маленькая, брехливая собачка, которая бы только тявкала.

Когда все ушли, г-жа Лефевр долго обсуждала вопрос о собаке Пораздумав, она нашла множество возражений: ее пугала мысль о собачьей плошке, наполненной похлебкой; ведь она была из той породы скопидомных деревенских дам, которые всегда носят в кармане несколько сантимов, для того чтобы лицемерно подавать милостыню нищим на дорогах и класть по воскресеньям в церковную кружку.

Роза, любившая животных, привела свои доводы и искусно защитила их. Итак, было решено достать собачку, совсем малюсенькую.

Принялись за поиски, но попадались все только большие собаки, обжоры, приводившие их в ужас. У бакалейщика из Рольвиля была маленькая собачка, но он требовал за нее целых два франка — на покрытие издержек по ее воспитанию. Г-жа Лефевр объявила, что она согласна еще кормить собаку, но платить за нее деньги не намерена.

Булочник, посвященный во все эти дела, привез однажды утром в своей тележке необыкновенное маленькое животное желтого цвета, почти без лап, с туловищем крокодила, лисьей головкой и с загнутым наподобие трубы хвостом — настоящим султаном, длиной со все остальное туловище. Один из покупателей булочника хотел от него отделаться. Г-жа Лефевр нашла прелестной эту безобразную моську, которую ей отдавали даром Роза расцеловала ее и спросила, как ее зовут. Булочник ответил:

— Пьеро!

Собаку поместили в старом ящике из под мыла и прежде всего дали ей воды Она выпила. Затем ей предложили кусок хлеба. Она съела. Г-жа Лефевр обеспокоилась, но подумала: «Когда привыкнет к дому, будем выпускать ее. Она сама сыщет себе еду, бегая по деревне»

Собаку действительно выпустили на свободу, но это не помешало ей оставаться голодной В общем, она лаяла только тогда, когда требовала пищи, но в этих случаях лаяла с ожесточением.

Входить в садик мог кто угодно. Пьеро ласкался к каждому и совсем не лаял

Между тем г-жа Лефевр привыкла к собаке. Она даже полюбила ее и стала время от времени давать ей из рук куски хлеба, обмакнув их в соус своего рагу.

Но она совершенно упустила из виду собачий налог, и когда с нее потребовали восемь франков — целых восемь франков, сударыня! — за эту ничтожную собачонку, которая почти не лает, она от волнения чуть не упала в обморок.

Тотчас же было решено избавиться от Пьеро. Но никто не хотел его брать. Все жители на десять лье вокруг отказались от него. Тогда, за неимением другого выхода, было решено «угостить его мергелем».

Мергелем «угощали» всех собак, от которых хотели избавиться.

Посреди широкой долины виднеется нечто вроде шалаша или, скорее, низенькая соломенная крыша, касающаяся земли. Это вход в мергельную ломку. Глубокий отвесный колодезь уходит под землю на двадцать метров и заканчивается рядом длинных рудничных галерей

В эту шахту спускаются раз в год, в то время, когда поля удобряют мергелем. Все остальное время она служит кладбищем для обреченных на гибель собак; когда случается проходить мимо отверстия, до вас нередко доносится жалобное завывание, озлобленный или отчаянный лай, скорбный, призывный вопль.

Охотничьи и пастушьи собаки с ужасом отбегают от края этой стонущей дыры, а если наклониться над ней, оттуда тянет тошнотворным запахом разложения.

Ужасные драмы разыгрываются там, в темноте.

В то время как собака в течение десяти — двенадцати дней издыхает на дне ямы, питаясь отвратительными останками своих предшественников, туда вдруг сбрасывают новое, более крупное и, следовательно, более сильное животное. Они остаются там один на один, голодные, с горящими глазами, следят друг за другом, подкарауливают одна другую, полные нерешительности и тревоги. Но голод подстрекает их, они бросаются друг на друга; они борются долго, с ожесточением, и более сильная съедает более слабую, пожирает ее живьем.

Когда было решено «угостить» Пьеро мергелем, стали искать исполнителя этого плана Каменщик, работавший на шоссе, потребовал десять су. По мнению г-жи Лефевр, это было безумно дорого Соседский батрак соглашался ограничиться пятью су, но и это казалось не по средствам Наконец Роза заметила, что лучше бы снести собаку им самим, потому что в этом случае ее не будут бить дорогой и она не почует ожидающей ее участи, и было решено, что они отправятся сами с наступлением ночи

Собаке дали в этот вечер вкусную похлебку, заправленную маслом Она съела все до последней капли и виляла хвостом от удовольствия Роза взяла ее и завернула в свой фартук

Они шли по долине, торопливо шагая, словно мародерки. Вскоре заметили ломку и подошли к ней; г-жа Лефевр нагнулась послушать, не стонет ли там какое-нибудь животное. Нет Там никого не было. Пьеро будет один Тогда Роза, обливаясь слезами, поцеловала его и бросила в яму; затем они обе нагнулись, прислушиваясь

Они услышали сначала глухой звук падения и душераздирающий, жалобный вой ушибленного животного, потом слабые, болезненные взвизгивания и, наконец, отчаянный лай, мольбу собаки, которая взывала о помощи, подняв голову к отверстию

Она лаяла, о, как она лаяла!

Женщины были охвачены угрызениями совести, ужасом, безумным и необъяснимым страхом; они обратились в бегство. И так как Роза бежала быстрее, г-жа Лефевр кричала ей вслед

Худ. Люсьен Барбю. 1906. «МЕНУЭТ»

Худ. Люсьен Барбю. 1906. «ПЛЕТЕЛЬЩИЦА СТУЛЬЕВ».

— Подождите меня, Роза, подождите меня!

Ночью их преследовали ужасные кошмары.

Г-же Лефевр снилось, будто она села за стол есть суп, но когда она открыла миску, там сидел Пьеро. Он выскочил и укусил ее за нос.

Она проснулась, и ей показалось, что он еще лает. Она прислушалась: нет, кругом тихо.

Г-жа Лефевр снова заснула и очутилась на большой дороге, на бесконечной дороге, по которой она идет. Внезапно посреди пути она увидела брошенную корзину, большую корзину, какие бывают у фермеров, и эта корзина испугала ее

В конце концов она все же открыла ее, и Пьеро, притаившийся там в уголке, ухватил ее за руку и не отпускал; в страхе она бросилась бежать, таща за собою собаку, которая повисла на руке, крепко в нее вцепившись.

На рассвете г-жа Лефевр проснулась, почти обезумев, и побежала к мергельной ломке.

Собака лаяла, все еще продолжала лаять; она пролаяла всю ночь. Г-жа Лефевр заплакала и стала звать ее всевозможными ласкательными именами Пьеро отвечал ей нежными переливами своего собачьего голоса Тогда ей захотелось снова увидеть его, и она дала себе обещание сделать его счастливым до самой смерти.

Она побежала к колодезному мастеру, занимавшемуся ломкой мергеля, и рассказала ему, в чем дело. Тот слушал ее молча. Когда она кончила, он сказал:

— Вы хотите достать собачку? Это будет стоить четыре франка.

Она так и привскочила; все ее горе рассеялось вмиг.

— Четыре франка! Да вы с ума сошли! Четыре франка!

Он отвечал:

— А вы думаете, что я понесу туда свои веревки, свой ворот, установлю его там, спущусь вниз с мальчишкой и дам себя еще, пожалуй, искусать вашей проклятой собачонке ради того только, чтобы вам ее возвратить? Нечего было бросать ее туда.

Она ушла в негодовании. Четыре франка!

Придя домой, она тотчас позвала Розу и рассказа-

ла ей о требовании колодезного мастера. Роза, покорная, как всегда, повторяла:

— Четыре франка! Это большие деньги, сударыня.

Затем прибавила:

— Не бросить ли туда чего-нибудь поесть бедной собачке, чтобы она не издохла с голода?

Г-жа Лефевр с радостью согласилась, и вот они опять отправились в путь, захватив огромный кусок хлеба, намазанный маслом.

Разрезав хлеб на мелкие кусочки, они бросали его собачке один за другим и по очереди разговаривали с ней Как только Пьеро приканчивал кусок, он принимался лаять, требуя нового.

Они снова пришли вечером, потом на другой день и стали приходить ежедневно, но уже только один раз в сутки.

И вот как-то утром, когда они бросили вниз первый кусок хлеба, они услышали вдруг страшный лай из колодца. Их было там двое! В яму бросили другую собаку, и притом большую!

Роза закричала: «Пьеро!» — и Пьеро лаял, лаял. Тогда они стали бросать еду, но всякий раз ясно различали шум страшной борьбы, а затем жалобные взвизгивания Пьеро, укушенного своим товарищем, который съедал все, будучи более сильным.

Напрасно они старались пояснить: «Это для тебя, Пьеро!» Их собаке, очевидно, ничего не доставалось.

Женщины в замешательстве переглянулись, и г-жа Лефевр сказала с досадой:

— Не могу же я, однако, кормить всех собак, которых туда побросают! Придется от этого отказаться.

И, задыхаясь от негодования при мысли о всех этих собаках, живущих на ее счет, она удалилась, унося с собой оставшийся хлеб, который и принялась есть по дороге

Роза последовала за нею, утирая глаза кончиком своего синего передника.

МЕНУЭТ

Полю Бурже.

— Великие бедствия нисколько не печалят меня,— сказал Жан Бридель, старый холостяк, слывший за скептика — Я видел войну воочию и, не испытывая жалости, шагал по трупам. Грубая жестокость природы и людей может исторгнуть у нас крик ужаса или негодования, но она вовсе не способна ущемить сердце и вызвать пробегающую по спине дрожь, подобно тому как это бывает при виде некоторых раздирающих душу мелочей

Самое сильное горе, выпадающее на долю человека,— конечно, потеря ребенка матерью и утрата матери взрослым человеком. Это горе жестокое, ужасное, оно потрясает нас целиком, раздирает душу; но от этих катастроф выздоравливают, как от поверхностных кровоточащих ран. Между тем иные встречи, иные едва подмеченные или угаданные события, иные потаенные горести, иные вероломные удары судьбы, пробуждая в нас целый рой печальных мыслей, внезапно приоткрывая перед нами таинственную дверь нравственных страданий, сложных, неисцелимых, тем более глубоких, чем они кажутся безобиднее, тем более мучительных, чем они кажутся неуловимее, тем более упорных, чем они кажутся менее естественными, оставляют в нашей душе некий след печали, привкус горечи, ощущение

разочарования, от которого мы долго не можем освободиться

Мне постоянно вспоминаются два — три случая, которые, вероятно, вовсе не были замечены другими, но в моей душе оставили тонкие, глубокие и неизлечимые уколы.

Вы не поймете, пожалуй, того чувства, которое осталось у меня от этих мимолетных впечатлений. Я расскажу вам только об одном из них Оно очень давнее, но еще так свежо в моей памяти, словно это произошло вчера. Возможно, что своей умиленностью я обязан только воображению.

Теперь мне пятьдесят лет Тогда я был молод и изучал право. Немного мечтательный, немного грустный, проникнутый какой-то меланхолической философией, я не любил ни шумных кафе, ни крикунов-товарищей, ни тупоумных девиц Я вставал спозаранку, и одним из самых больших моих наслаждений были одинокие прогулки часов в восемь утра в питомнике Люксембургского сада.

Знавали ли вы, люди нового поколения, этот питомник? Он походил на забытый сад прошлого века и был прелестен, как кроткая улыбка старушки Густые ряды кустов обрамляли несколько узких правильных аллей, тихих аллей, тянувшихся между стен ровно подстриженной зелени. Большие ножницы садовника беспрерывно выравнивали эти перегородки из древесных ветвей. Местами попадались цветочные клумбы, грядки с молодыми деревцами, выстроившимися, словно школьники на прогулке, купы роскошных розовых кустов и шеренги фруктовых деревьев

Один из уголков этой восхитительной рощи был населен пчелами. Их крытые соломой домики, умело размещенные на досках, открывали навстречу свои дверцы величиною с отверстие наперстка, и повсюду вдоль дорожек попадались жужжащие золотистые пчелы, подлинные хозяйки этого мирного уголка, исконные посетительницы этих спокойных аллей-коридоров.

Я приходил туда почти каждое утро, садился на

скамью и читал. Временами я ронял книгу на колени, отдаваясь мечтам, прислушиваясь к окружавшей меня шумной жизни Парижа и наслаждаясь бесконечным покоем этих старомодных грабовых аллей.

Вскоре, однако, мне пришлось заметить, что не один я спешу туда, как только отпираются ворота. В густом углу сада мне иногда случалось встречаться носом к носу с одним странным маленьким старичком.

На нем были башмаки с серебряными пряжками, штаны до колен с бантами, сюртук табачного цвета, кружевное жабо вместо галстука и невероятная, допотопная серая шляпа с широкими полями и длинным ворсом.

Он был худ, очень худ, угловат и поминутно гримасничал и улыбался. Его живые глаза не знали покоя и бегали под непрестанно двигавшимися веками; он не выпускал из рук великолепную трость с золотым набалдашником, с которой, очевидно, у него было связано какое-то дорогое воспоминание.

Этот человек сначала удивил меня, а потом чрезвычайно заинтересовал Я стал наблюдать за ним через стену зелени, следуя издали, останавливаясь на поворотах рощиц, чтоб не быть замеченным

И вот как-то утром, когда ему казалось, что он совсем один, он начал делать странные движения сначала несколько маленьких прыжков, затем глубокий поклон; далее своей худой ногой он еще бодро проделал трудное антраша, потом начал ловко вертеться, подпрыгивая, забавно суетясь, улыбаясь, словно перед публикой, делая грациозные движения, округляя локти, извиваясь всем своим жалким телом марионетки и посылая в пустоту умильные и смешные поклоны. Он танцевал!

Я стоял в полном изумлении, спрашивая себя, кто из нас сошел с ума — я или он?

Но вдруг он остановился, выступил вперед, как актер на сцене, потом поклонился, отступая с любезными улыбками и посылая дрожащей ручкой поцелуи двум рядам подстриженных деревьев.

Затем он степенно продолжал прогулку

С этого дня я уже не упускал его больше из виду, а он каждое утро повторял свои необыкновенные упражнения.

Меня охватило безумное желание заговорить с ним. Я набрался смелости и, поклонившись, сказал:

— Хорошая погода сегодня, сударь!

Он тоже поклонился.

— Да, сударь, совсем как в былые времена.

В конце недели мы были уже друзьями, и я знал его историю.

Он был преподавателем танцев в Опере во время короля Людовика XV. Великолепная трость была ему подарена графом де Клермоном. А когда с ним заговаривали о танцах, он начинал болтать без умолку.

И вот что однажды он доверил мне:

— Я женат на знаменитой Кастри, сударь. Я ей представлю вас, если вам угодно, но она приходит сюда позднее. Видите ли, этот сад — наша радость, наша жизнь Это все, что нам осталось от прошлого. Нам кажется, что мы не могли бы существовать, если б его у нас не было. Здесь все так старо и так почтенно, не правда ли? Мне кажется, что здесь я дышу воздухом моей юности. Мы с женой проводим здесь все послеобеденное время Но я прихожу сюда с самого утра, так как встаю рано.

Едва покончив с завтраком, я поспешил вернуться в Люксембургский сад и вскоре заметил моего друга, церемонно выступавшего под руку с маленькой старушкой, одетой в черное, которой я и был представлен. То была Кастри, великая балерина, любимая некогда принцами, любимая королем, любимая всем этим галантным веком, как бы оставившим после себя в мире аромат любви.

Мы сели на скамью. Был май. Благоухание цветов разносилось по прибранным аллеям; ласковое солнце, проскальзывая сквозь листву, покрывало нас крупными пятнами света. Черное платье Кастри, казалось, было насквозь пронизано сиянием.

В саду было пусто Издали доносился шум проезжавших фиакров.

— Объясните мне, пожалуйста,— сказал я старому танцовщику,— что такое менуэт?

Он вздрогнул.

— Менуэт, сударь,— это король танцев и танец королей. С тех пор как не стало королей, не стало и менуэта ..

И он начал витиеватым слогом длинный восторженный дифирамб менуэту, из которого я ничего не понял. Я хотел, чтобы он описал мне все па, движения, позы. Он путался, сердясь на свое бессилие, нервничал и приходил в отчаяние.

И вдруг он обернулся к своей дряхлой подруге, все такой же тихой и молчаливой:

— Элиза, скажи, не согласишься ли — это было бы так мило с твоей стороны,— не согласишься ли ты показать вместе со мной этому господину, что такое был менуэт?

Она беспокойно оглянулась по сторонам, затем поднялась, не говоря ни слова, и встала против него.

Тогда я увидел нечто незабываемое.

Они двигались взад и вперед с детскими ужимками, улыбались друг другу, покачивались, кланялись, подпрыгивали, подобно двум старым куклам, которых приводит в движение старый, немного попорченный механизм, сделанный давным-давно искусным мастером по способу того времени

Я смотрел на них, и сердце мое волновалось необычайным ощущением, а душа была полна невыразимой грусти Мне казалось, что я вижу перед собой жалкий и смешной призрак, обветшавшую тень прошлого века Мне хотелось смеяться, и в то же время я чуть не плакал

Вдруг они остановились: все фигуры танца были исполнены. Несколько секунд они стояли неподвижно друг против друга, удивительно гримасничая, а затем обнялись, рыдая

Три дня спустя я уехал в провинцию и больше их никогда не встречал Когда через два года я вернулся в Париж, питомник был уничтожен. Что сталось с ни-

ми без этого дорогого для них сада былых времен, с его лабиринтами, с его ароматом прошлого, с красивыми извилинами грабовых аллей?

Умерли они или еще живы? Бродят ли еще по современным улицам, словно изгнанники, лишенные надежды? Или они — смутные призраки — танцуют призрачный менуэт среди кладбищенских кипарисов при свете луны, вдоль дорожек, окаймленных могилами?

Воспоминание о них не покидает меня, преследует, терзает, как незаживающая рана Почему? Не знаю

Вам это, вероятно, покажется смешным?

СТРАХ

Ж К Гюисмансу

После обеда все поднялись на палубу. Перед нами расстилалось Средиземное море, и на всей его поверхности, отливавшей муаром при свете полной, спокойной луны, не было ни малейшей зыби. Огромный пароход скользил по зеркальной глади моря, выбрасывая в небо, усеянное звездами, длинную полосу черного дыма, а вода позади нас, совершенно белая, взбудораженная быстрым ходом тяжелого судна и взбаламученная его винтом, пенилась и точно извивалась, сверкая так, что ее можно было принять за кипящий лунный свет.

Мы — нас было шесть — восемь человек,— молчаливо любуясь, смотрели в сторону далекой Африки, куда лежал наш путь Капитан, куривший сигару, внезапно вернулся к разговору, происходившему во время обеда.

— Да, в этот день я натерпелся страха. Мой корабль шесть часов оставался под ударами моря на скале, вонзившейся в его чрево К счастью, перед наступлением вечера мы были подобраны английским угольщиком, заметившим нас.

Тут в первый раз вступил в беседу высокий, опаленный загаром мужчина сурового вида, один из тех людей, которые, чувствуется, изъездили среди беспрестанных опасностей огромные неизведанные страны и чьи спокойные глаза словно хранят в своей глубине от-

блеск необычайных картин природы, виденных ими,— один из тех людей, которые кажутся закаленными храбрецами.

— Вы говорите, капитан, что натерпелись страха; я этому не верю. Вы ошибаетесь в определении и в испытанном вами чувстве. Энергичный человек никогда не испытывает страха перед лицом неминуемой опасности. Он бывает взволнован, возбужден, встревожен, но страх — нечто совсем другое.

Капитан отвечал, смеясь:

— Черт возьми! Могу вас все-таки уверить, что я натерпелся именно страха.

Тогда человек с бронзовым лицом медленно возразил:

— Позвольте мне объясниться! Страх (а испытывать страх могут и самые храбрые люди) — это нечто чудовищное, это какой-то распад души, какая-то дикая судорога мысли и сердца, одно воспоминание о которой внушает тоскливый трепет. Но если человек храбр, он не испытывает этого чувства ни перед нападением, ни перед неминуемой смертью, ни перед любой известной нам опасностью; это чувство возникает скорее среди необыкновенной обстановки, под действием некоторых таинственных влияний, перед лицом смутной, неопределенной угрозы. Настоящий страх есть как бы воспоминание призрачных ужасов отдаленного прошлого. Человек, который верит в привидения и вообразит ночью перед собой призрак, должен испытывать страх во всей его безграничной кошмарной чудовищности.

Я узнал страх среди бела дня лет десять тому назад. И я пережил его вновь прошлой зимой, в одну из декабрьских ночей.

А между тем я испытал много случайностей, много приключений, казавшихся смертельными. Я часто сражался. Я был замертво брошен грабителями. В Америке меня как инсургента приговорили к повешению; я был сброшен в море с корабельной палубы у берегов Китая. Всякий раз, когда я считал себя погибшим, я покорялся этому немедленно, без слезливости и даже без сожаления.

Но страх — это не то.

Я познал его в Африке. А между тем страх — дитя Севера; солнце рассеивает его, как туман. Заметьте это, господа. У восточных народов жизнь не ценится ни во что; человек покоряется смерти тотчас же; там ночи светлы и свободны от легенд, а души свободны от мрачных тревог, неотвязно преследующих людей в холодных странах. На Востоке можно испытать панический ужас, но страх там неизвестен.

Так вот что случилось со мною однажды в Африке.

Я пересекал большие песчаные холмы на юге Уаргла. Это одна из удивительных стран в мире, где повсюду сплошной песок, ровный песок безграничных берегов океана. Так вот представьте себе океан, превратившийся в песок в минуту урагана; вообразите немую бурю, с неподвижными волнами из желтой пыли. Эти волны высоки, как горы, неровны, разнообразны; они вздымаются, как разъяренные валы, но они еще выше и словно изборождены переливами муара. Южное губительное солнце льет неумолимые отвесные лучи на это бушующее, немое и неподвижное море. Надо карабкаться на эти валы золотого праха, спускаться, снова карабкаться, карабкаться без конца, без отдыха, нигде не встречая тени. Лошади храпят, утопают по колена и скользят, спускаясь со склонов этих изумительных холмов.

Я был вдвоем с товарищем, в сопровождении восьми спаги и четырех верблюдов с их вожатыми. Мы не разговаривали, томимые зноем, усталостью и иссохнув от жажды, как сама эта знойная пустыня. Вдруг кто-то вскрикнул, все остановились, и мы замерли в неподвижности, поглощенные необъяснимым явлением, которое знакомо путешествующим в этих затерянных странах.

Где-то невдалеке от нас, в неопределенном направлении, бил барабан, таинственный барабан дюн; он бил отчетливо, то громче, то слабее, останавливаясь порою, а затем возобновляя свою фантастическую дробь.

Арабы испуганно переглянулись, и один сказал на своем наречии: «Среди нас смерть». И вот внезапно мой товарищ, мой друг, почти мой брат, упал с лошади головой вперед, пораженный солнечным ударом.

И в течение двух часов, пока я тщетно старался вернуть его к жизни, этот неуловимый барабан все время наполнял мой слух своим однообразным, перемежающимся и непонятным боем; и я чувствовал, что в этой яме, залитой пожаром солнечных лучей, среди четырех стен песка, рядом с этим дорогим мне трупом меня до мозга костей пронизывает страх, настоящий страх, отвратительный страх, в то время как неведомое эхо продолжало доносить до нас, находившихся за двести лье от какой бы то ни было французской деревни, частый бой барабана.

В этот день я понял, что значит испытывать страх; но еще лучше я постиг это в другой раз...

Капитан прервал рассказчика:

— Извините, сударь, но как же насчет барабана?.. Что же это было?

Путешественник отвечал:

— Не знаю. И никто не знает. Офицеры, застигнутые этим странным шумом, обычно принимают его за эхо, непомерно усиленное, увеличенное и умноженное волнистым расположением холмов, градом песчинок, уносимых ветром и ударяющихся о пучки высохшей травы, так как не раз было замечено, что явление это происходит вблизи невысокой растительности, сожженной солнцем и жесткой, как пергамент.

Этот барабан, следовательно, не что иное, как звуковой мираж. Вот и все. Но об этом мне стало известно лишь позже.

Перехожу ко второму случаю.

Это было прошлой зимой, в одном из лесов северо-восточной Франции. Ночь наступила двумя часами раньше обычного, так темно было небо. Моим проводником был крестьянин, шедший рядом со мною по узенькой тропинке, под сводом сосен, в которых выл разбушевавшийся ветер. В просвете между вершинами деревьев я видел мчавшиеся смятенные, разорванные облака, словно бежавшие от чего-то ужасного. Иногда, при более сильном порыве ветра, весь лес наклонялся в одну сторону со страдальческим стоном, и холод пронизывал меня, несмотря на быстрый шаг и толстую одежду.

Мы должны были ужинать и ночевать у одного лесничего, дом которого был уже недалеко. Я отправлялся туда на охоту

Мой проводник поднимал время от времени голову и бормотал: «Ужасная погода!» Затем он заговорил о людях, к которым мы шли. Два года тому назад отец убил браконьера и с тех пор помрачнел, словно его терзало какое-то воспоминание. Двое женатых сыновей жили с ним.

Тьма была глубокая. Я ничего не видел ни впереди, ни вокруг себя, а ветви деревьев, раскачиваемых ветром, наполняли ночь немолчным гулом. Наконец я увидел огонек, а мой товарищ вскоре наткнулся на дверь. В ответ раздались пронзительные крики женщин. Затем мужской голос, какой-то сдавленный голос, спросил: «Кто там?» Проводник назвал себя. Мы вошли. Я увидел незабываемую картину.

Пожилой мужчина с седыми волосами и безумным взглядом ожидал нас, стоя среди кухни и держа заряженное ружье, в то время как двое здоровенных парней, вооруженных топорами, сторожили дверь. В темных углах комнаты я различил двух женщин, стоявших на коленях лицом к стене.

Мы объяснили, кто мы такие. Старик отставил ружье к стене и велел приготовить мне комнату, но так как женщины не шевельнулись, он сказал мне резко·

— Видите ли, сударь, сегодня ночью исполнится два года с тех пор, как я убил человека. В прошлом году он приходил за мною и звал меня. Я ожидаю его и нынче вечером.

И он прибавил тоном, заставившим меня улыбнуться·

— Вот почему нам сегодня не по себе.

Я ободрил его, насколько мог, радуясь тому, что пришел именно в этот вечер и был свидетелем этого суеверного ужаса. Я рассказал несколько историй, мне удалось успокоить почти всех

У очага, уткнувшись носом в лапы, спала полуслепая лохматая собака, одна из тех собак, которые напоминают нам знакомых людей.

Снаружи буря ожесточенно билась в стены домика,

а сквозь узкий квадрат стекла, нечто вроде потайного окошечка, устроенного рядом с дверью, я увидел при свете ярких молний разметанные деревья, качаемые ветром.

Я чувствовал, что, несмотря на все мои усилия, глубокий ужас продолжает сковывать этих людей и всякий раз, когда я переставал говорить, их слух ловил отдаленные звуки. Утомившись зрелищем этого бессмысленного страха, я собирался уже спросить, где мне спать, как вдруг старый лесничий вскочил одним прыжком со стула и опять схватился за ружье, растерянно бормоча:

— Вот он! Вот он! Я слышу!

Женщины опять упали на колени по углам, закрыв лицо руками, а сыновья вновь взялись за топоры. Я пытался было успокоить их, но уснувшая собака внезапно пробудилась и, подняв морду, вытянув шею, глядя на огонь полуслепыми глазами, издала тот зловещий вой, который так часто приводит в трепет путников по вечерам, среди полей. Теперь все глаза были устремлены на собаку; поднявшись на ноги, она сначала оставалась неподвижной, словно при виде какого-то призрака, и выла навстречу чему-то незримому, неведомому, но, без сомнения, страшному, так как вся шерсть на ней стала дыбом. Лесничий, совсем помертвев, воскликнул:

— Она его чует! Она его чует! Она была здесь, когда я его убил.

Обеспамятевшие женщины завыли, вторя собаке.

У меня невольно мороз пробежал по спине. Вид этого животного, в этом месте, в этот час, среди этих обезумевших людей, был страшен.

Целый час собака выла, не двигаясь с места, выла, словно в тоске наваждения, и страх, чудовищный страх вторгался мне в душу. Страх перед чем? Сам не знаю. Просто страх — вот и все.

Мы сидели, не шевелясь, мертвенно бледные, в ожидании ужасного события, напрягая слух, задыхаясь от сердцебиения, вздрагивая с головы до ног при малейшем шорохе. А собака принялась теперь ходить вокруг комнаты, обнюхивая стены и не переставая выть.

Животное положительно сводило нас с ума! Крестьянин, мой проводник, бросился к ней в припадке ярости и страха и, открыв дверь, выходившую на дворик, вышвырнул собаку наружу.

Она тотчас же смолкла, а мы погрузились в еще более жуткую тишину. И вдруг мы все одновременно вздрогнули: кто-то крался вдоль стены дома, обращенной к лесу; затем он прошел мимо двери, которую, казалось, нащупывал неверною рукой; потом ничего не было слышно минуты две, которые довели нас почти до безумия; затем он вернулся, по-прежнему слегка касаясь стены; он легонько царапался, как царапаются ногтями дети; затем вдруг в окошечке показалась голова, совершенно белая, с глазами, горевшими, как у дикого зверя. И изо рта ее вырвался неясный жалобный звук.

В кухне раздался страшный грохот. Старик лесничий выстрелил. И тотчас оба сына бросились вперед и загородили окошко, поставив стоймя к нему большой стол и придвинув буфет.

Клянусь, что при звуке ружейного выстрела, которого я никак не ожидал, я ощутил в сердце, в душе и во всем теле такое отчаяние, что едва не лишился чувств и был чуть жив от ужаса.

Мы пробыли так до зари, не имея сил двинуться с места или выговорить слово; нас точно свела судорога какого-то необъяснимого безумия.

Баррикады перед дверью осмелились разобрать только тогда, когда сквозь щелку ставня забрезжил тусклый дневной свет.

У стены за дверью лежала старая собака; ее горло было пробито пулею.

Она выбралась из дворика, прорыв отверстие под изгородью.

Человек с бронзовым лицом смолк, затем прибавил:

— В ту ночь мне не угрожала никакая опасность, но я охотнее пережил бы еще раз часы, когда я подвергался самой лютой опасности, чем одно это мгновение выстрела в бородатое лицо, показавшееся в окошечке.

НОРМАНДСКАЯ ШУТКА

А де Жуэнвилю

Процессия двигалась по выбитой дороге, под сенью высоких деревьев, росших по откосам, на которых были разбросаны фермы. Впереди шли новобрачные, за ними родственники, далее гости, наконец местные бедняки; мальчишки носились вокруг процессии, как мухи, протискивались в ее ряды, влезали на деревья, чтобы лучше видеть.

Новобрачный, Жан Патю, красивый малый и самый богатый фермер в округе, был прежде всего завзятым охотником, он забывал всякое благоразумие ради удовлетворения этой страсти и тратил кучу денег на собак, сторожей, хорьков и ружья

За новобрачной, Розали Руссель, настойчиво ухаживали все окрестные женихи, так как находили ее привлекательной и знали, что за нею хорошее приданое; она выбрала Патю, быть может потому, что он нравился ей больше других, а скорее всего — как и подобало рассудительной нормандке — потому, что у него было больше денег.

Когда они обогнули высокий забор мужниной фермы, раздалось сорок ружейных выстрелов, но стрелков не было видно: они спрятались в канавах. При этом грохоте мужчинами овладела бурная веселость, и они стали тяжело приплясывать в своих праздничных одеждах, а новобрачный, оставив жену, бросился к слуге, которого заметил за деревом, выхватил у него ружье и выстрелил сам, резвясь, как жеребенок.

Затем процессия возобновила свой путь, следуя мимо

яблонь, уже отягощенных плодами, по нескошенной траве, среди телят, которые таращили огромные глаза, медленно поднимались и стояли, вытянув морды к проходившим.

Приближаясь к дому, где ждал обед, мужчины становились серьезнее. Одни из них, побогаче, нарядились в блестящие шелковые цилиндры, казавшиеся чем-то чужеземным в этом месте; на других были старые широкополые шляпы с длинным ворсом, словно сделанные из кротовых шкурок; самые бедные были в картузах.

У всех женщин были шали, наброшенные на спину, концы которых они церемонно поддерживали руками. Эти шали были пестрого, красного и огненного цвета, и их яркость, казалось, приводила в изумление черных кур на навозных кучах, уток в лужах и голубей на соломенных крышах

Вся зелень деревни, зелень травы и деревьев, словно стремилась не уступать этому пламенеющему пурпуру, и оба цвета, соприкасаясь друг с другом, становились еще ослепительнее под лучами полуденного солнца

Там, где кончался свод яблоневых ветвей, стояла, как бы в ожидании, большая ферма. Из раскрытых окон и дверей валил пар, густой запах съестного шел из всех отверстий обширного здания, от самих его стен.

Вереница приглашенных змеей вилась по двору. Передние, дойдя до крыльца, разрывали цепь, разбредались, между тем как в распахнутые настежь ворота продолжали входить все новые и новые Канавы были теперь усеяны мальчишками и любопытными из бедняков; ружейные выстрелы не прекращались, раздаваясь со всех сторон сразу, оставляя в воздухе пороховой дым и запах, пьянящий, как абсент.

У входа женщины стряхивали пыль с платьев, развязывали длинные яркие ленты шляп, снимали шали, перекидывали их через руку и входили в дом, чтобы окончательно освободиться там от этих украшений.

Стол был накрыт в большой кухне, которая могла вместить человек сто.

За обед сели в два часа. В восемь часов вечера еще ели. Мужчины, в расстегнутых жилетах, без сюртуков, с покрасневшими лицами, поглощали яства, как бездонные бочки. Желтый, прозрачный, золотистый сидр ве-

село искрился в больших стаканах наряду с кроваво-темным вином.

Между каждым блюдом, по нормандскому обычаю, делали передышку, пропуская стаканчик водки, вливавшей огонь в жилы и придурь в головы.

Время от времени кто-нибудь из гостей, наевшись до отвала, выходил под ближайшие деревья и, облегчившись, возвращался к столу с новым аппетитом.

Фермерши, багровые, еле дышавшие, в раздутых наподобие пузырей лифах, перетянутые корсетами, из стыдливости не решались выходить из-за стола, хотя их подпирало сверху и снизу. Но одна из них, которой стало совсем невмоготу, вышла, и за ней последовали все остальные. Они возвратились повеселев, готовые опять хохотать И тут-то начались тяжеловесные шутки.

Через стол перелетали залпы сальностей — все по поводу брачной ночи Весь арсенал крестьянского остроумия был пущен в ход. Лет сто одни и те же непристойности неизменно служат в подобных случаях и, несмотря на свою общеизвестность, по-прежнему возбуждают среди гостей взрывы хохота.

Один седовласый старик провозгласил: «Кому в Мезидон, пожалуйте в карету!» И последовали вопли веселья.

На конце стола четыре парня, соседи, готовили новобрачным шутки и, видимо, придумали что-то удачное, до того они топали ногами, перешептываясь.

Один из них, воспользовавшись минутой тишины, вдруг крикнул:

— Уж и потешатся сегодня ночью браконьеры, да еще при такой луне!.. Ведь ты, Жан, не этой луной любоваться будешь?

Новобрачный быстро обернулся:

— Пусть попробуют только сунуться!

Но тот расхохотался:

— Чего ж им не прийти, ты ведь, небось, ради них не бросишь своего дела!

Весь стол задрожал от смеха. Затрясся пол, зазвенели стаканы.

Новобрачный пришел в ярость при мысли, что его свадьбой могут воспользоваться, чтобы браконьерствовать на его земле.

— Говорю тебе· пусть только сунутся!

Тут хлынул целый ливень двусмысленных шуток, заставивших слегка покраснеть новобрачную, трепетавшую от ожидания.

Наконец, когда выпито было несколько бочонков водки, все пошли спать; молодые отправились в свою комнату, находившуюся, как все комнаты на фермах, в нижнем этаже, а так как в ней было немного жарко, они отворили окно и закрыли ставни. Маленькая безвкусная лампа, подарок отца молодой, горела на комоде; постель готова была принять новую чету, вовсе не стремившуюся обставлять свои первые объятия буржуазным церемониалом горожан.

Молодая женщина уже сняла головной убор и платье и, оставшись в нижней юбке, снимала башмаки, в то время как Жан докуривал сигару, искоса поглядывая на свою подругу.

Он следил за нею масленым взглядом, скорее похотливым, чем нежным, потому что не столько любил, сколько желал ее, и вдруг резким движением сбросил с себя одежду, словно собираясь приняться за работу.

Она развязала ботинки и теперь снимала чулки; обращаясь к нему на «ты», как к другу детства, она сказала·

— Спрячься на минуту за занавеску, пока я не лягу в постель

Он сделал было вид, что не хочет, затем пошел с лукавым видом и скрылся за занавеской, высунув, однако, голову. Она смеялась, хотела завязать ему глаза, и они играли так, любовно и весело, без притворной стыдливости и стеснения.

Чтобы кончить с этим, он уступил; тогда она мгновенно развязала последнюю юбку, которая, скользнув вдоль ее ног, упала плоским кругом на пол. Она оставила ее на полу и, перешагнув через нее, в развевающейся рубашке нырнула в постель; пружины взвизгнули под ее тяжестью

Он тотчас же подошел, тоже уже разувшись, в одних брюках, и нагнулся к жене, ища ее губ, которые она прятала от него в подушку; но в этот миг вдали раздался выстрел, как ему показалось в направлении леса Рапе.

Он выпрямился, встревоженный, с бьющимся сердцем, и, подбежав к окну, распахнул ставень

Полная луна заливала двор желтым светом. Тени от яблонь лежали черными пятнами у подножия стволов, а вдали блестели поля спелых хлебов.

В ту минуту как Жан высунулся из окна, вслушиваясь во все ночные звуки, две голые руки обвились вокруг его шеи, и жена, увлекая его в глубь комнаты, прошептала:

— Брось, что тебе до этого, пойдем

Он обернулся, схватил ее, сжал в объятиях, ощущая ее тело сквозь тонкое полотно рубашки, и, подняв ее своими сильными руками, понес к их ложу.

В ту минуту, как он опустил ее на постель, осевшую под тяжестью, опять раздался выстрел, на этот раз ближе

Тогда Жан закричал, весь дрожа от бурной злобы:

— Черт возьми! Они думают, что я не выйду из-за тебя?.. Погоди же, погоди!

Он обулся и снял со стены ружье, всегда висевшее на уровне его руки; испуганная жена цеплялась с мольбой за его колени, но он живо высвободился, подбежал к окну и выпрыгнул во двор

Она ждала час, другой, до рассвета. Муж не возвращался Тогда, потеряв голову, она созвала людей, рассказала им, как рассердился Жан и как погнался за браконьерами.

Тотчас же слуги, возчики, парни — все отправились на поиски хозяина.

Его нашли в двух лье от фермы, связанного с головы до ног, полумертвого от ярости, со сломанным ружьем, в вывороченных наизнанку брюках, с тремя мертвыми зайцами вокруг шеи и с запиской на груди: «Кто уходит на охоту, теряет свое место».

Впоследствии, рассказывая о своей брачной ночи, он прибавлял:

— Да, уж что говорить, славная это была шутка! Они, негодные, словили меня в силки, как кролика, и накинули мне на голову мешок. Но берегись, если я когда-нибудь до них доберусь!

Вот как забавляются на свадьбах в Нормандии.

САБО

Леону Фонтэну

Старый кюре бубнил последние слова проповеди над белыми чепцами крестьянок и лохматыми или напомаженными головами крестьян. Огромные корзины фермерш, пришедших на мессу издалека, стояли на полу рядом с ними; в тяжелом зное июльского дня от всей этой толпы несло запахом скотины, запахом стада. Крики петухов долетали в открытую дверь вместе с мычанием коров, лежавших на соседнем поле Временами поток воздуха, напоенный ароматом полей, врывался под портал церкви и, взметая мимоходом длинные ленты женских чепцов, колебал легкое желтое пламя восковых свечей на алтаре.

— Да будет воля божья, аминь! — произнес священник.

Он умолк, открыл книгу и начал, как делал это каждую неделю, сообщать своей пастве о разных мелких делах и нуждах общины. Кюре был седой старик, ведавший приходом уже почти сорок лет, и проповедь служила ему поводом для более тесного общения с прихожанами.

Он продолжал:

— Поручаю вашим молитвам Дезире Валена, который тяжко болен, а также Помель, которая все еще не может оправиться от родов.

Тут он запнулся и начал искать клочки бумаги, заложенные в требник. Найдя наконец два из них, он продолжал:

— Не следует парням и девушкам по вечерам гулять на кладбище, а то мне придется обратиться к сторожу. Господин Сезэр Омон ищет в служанки честную девушку.

Он подумал еще несколько секунд, затем сказал:

— Это все, братия. Да пребудет с вами благодать отца и сына и святого духа.

И он сошел с кафедры, чтобы закончить мессу.

Когда супруги Маланден вернулись в свою хижину, стоявшую на краю деревни Саблиер, по дороге в Фурвиль, отец, сухой, морщинистый старый крестьянин, сел за стол и сказал, пока жена его снимала с огня котелок, а дочь Аделаида брала из буфета стаканы и тарелки:

— Оно, пожалуй, и неплохо бы поступить к господину Омону, особенно раз он вдов; невестка его не любит, он одинокий и с деньгами. Может, нам послать к нему Аделаиду?

Жена поставила на стол котелок, совершенно черный от копоти, сняла с него крышку и принялась раздумывать, а тем временем к потолку вместе с запахом капусты поднимались клубы пара.

Муж продолжал:

— У него деньги есть,— это уж я верно знаю. Но только тут надо бойкой быть, а в Аделаиде этого ни на волос нет.

Но жена промолвила:

— Можно все же попытать.

И, обращаясь к дочери, глуповатой с виду девке, желтоволосой, с толстыми, румяными, как яблоки, щеками, она крикнула:

— Слушай, дура! Ступай к дяде Омону, скажи, что хочешь наняться к нему в прислуги и что будешь делать все, что он прикажет.

Дочь придурковаго ухмыльнулась и ничего не ответила Затем все трое принялись за еду.

Минут через десять отец продолжал:

— Слушай-ка, дочка, постарайся понять, что я тебе скажу...

И он медленно и подробно развил перед нею целый план поведения, предвидя все ничтожнейшие мелочи, чтобы подготовить ее к победе над этим старым вдовцом, не ладившим с семьей.

Мать перестала есть и вся обратилась в слух; она сидела с вилкой в руке и поочередно переводила взгляд с мужа на дочь, молчаливо и сосредоточенно следя за наставлениями.

Аделаида сидела неподвижно, с блуждающим, неопределенным взглядом, послушная и тупая.

Едва кончился обед, как мать велела ей надеть чепец, и они вместе отправились к г-ну Сезэру Омону. Он жил в кирпичном флигеле, примыкавшем к хозяйственным строениям, где помещался его фермер. Ведь он уже перестал заниматься хозяйством и жил на ренту.

Ему было лет пятьдесят пять; он был толст, весел и ворчлив, как богатый человек. Он смеялся и кричал так, что дрожали стены, пил стаканами водку и сидр и, несмотря на свой возраст, все еще слыл пылким мужчиной.

Он любил гулять по полям, заложив руки за спину, оставляя глубокие следы своих сабо на жирной земле, и наблюдал за всходами хлеба или за цветением суренцы спокойно, неторопливо, глазом любителя, которого теперь все это — хоть и любимое им — уже не касается.

Про него говорили:

— Он, что погода: не каждый день бывает хорошим

Он принял женщин, сидя за столом, навалившись на него животом и допивая кофе. Откинувшись от стола, он спросил:

— Вы зачем?

Заговорила мать:

— Вот привела вам дочку нашу Аделаиду. Сегодня утром кюре говорил, что вам нужна служанка.

Дядя Омон взглянул на девушку и отрывисто спросил:

— А сколько лет этой козе?

— Двадцать один исполнится на святого Михаила, господин Омон.

— Ладно; кладу ей пятнадцать франков в месяц и харчи Буду ждать ее завтра утром, пусть приготовит мне завтрак.

И он отпустил их.

На другой день Аделаида приступила к исполнению своих обязанностей и усердно работала, не говоря ни слова, как дома, у родителей.

Часов в девять утра, когда она мыла окна в кухне, г-н Омон окликнул ее:

— Аделаида!

Она прибежала:

— Я здесь, сударь.

Как только она предстала перед ним, смущенная, с беспомощно повисшими красными руками, он объявил:

— Слушай-ка хорошенько, чтобы впредь между нами не было недоразумений. Ты моя служанка — и все тут Поняла? Мы не будем на ночь ставить рядом свои сабо.

— Да, хозяин.

— Каждому свое место, девушка; тебе — кухня, мне — зала. Исключая этого, у тебя все будет одинаково со мною Согласна?

— Согласна, хозяин.

— Ну, хорошо, иди работай.

И она вернулась к своему делу.

В полдень она накрыла хозяину в маленькой зале, оклеенной обоями, а когда суп был на столе, пошла ему доложить:

— Кушать подано, хозяин

Он вошел, сел, оглянулся, развернул салфетку, поколебался с минуту, затем громовым голосом рявкнул:

— Аделаида!

Она прибежала в испуге. Он кричал, словно собирался убить ее.

— Черт возьми, а ты? Где же твое место?

— Но.. хозяин...

Он продолжал рычать:

— Я не могу есть один, черт возьми; садись за стол или убирайся вон, если не желаешь. Тащи себе стакан и тарелку.

Еле живая от страха, она принесла еще прибор, бормоча:

— Я здесь, хозяин.

И села против него.

Тогда он развеселился: чокался, хлопал по столу, рассказывал истории, которые она слушала, опустив глаза, не смея произнести ни слова.

Время от времени она вставала и уходила за хлебом, за сидром, за тарелками.

Когда она принесла кофе и поставила перед ним всего одну чашку, он снова рассердился и проворчал:

— Ну, а тебе?

— Я его совсем не пью, хозяин.

— Почему же ты его совсем не пьешь?

— Потому что совсем его не люблю.

Тут он разразился вновь·

— А я не люблю пить кофе один, черт возьми! Если ты не хочешь пить со мною, то сию же минуту убирайся вон, черт возьми! Неси чашку, да поживее!

Она принесла чашку, опять уселась, отведала черной жидкости, поморщилась, но под свирепым взглядом хозяина выпила все до капли. Затем ей пришлось пропустить одну рюмку водки колом, вторую соколом и третью мелкой пташечкой

Тогда г-н Омон отпустил ее.

— Ступай мой посуду, ты славная девушка

То же повторилось за обедом Потом она должна была составить ему партию в домино; наконец он отослал ее спать.

— Ступай ложись, я тоже сейчас лягу.

Она добралась до своей комнаты, до мансарды под крышей Помолилась, разделась и юркнула под одеяло.

Но вдруг она вскочила в испуге. Стены сотрясались от некстового крика:

— Аделаида!

Она отворила дверь и ответила с чердака:

— Я здесь, хозяин

— Где это здесь?

— Да в постели уже, хозяин.

Тогда он заревел:

— Сойдешь ли ты или нет, черт возьми! Я не могу спать один, черт возьми, а если ты не хочешь, так убирайся вон, черт возьми!

Тогда она крикнула сверху, в полном испуге, ища свечу:

— Сию минуту, хозяин!

И он услыхал, как ее маленькие сабо, надетые на босу ногу, застучали по сосновой лестнице; когда она дошла до последних ступенек, он взял ее за руку, и как только она сняла и поставила перед дверью свои узкие деревянные башмаки рядом с огромными сабо хозяина, он втолкнул ее в спальню, ворча:

— Да поворачивайся же, черт возьми!

А она все твердила, сама не понимая своих слов:

— Сию минуту, сию минуту, хозяин.

Полгода спустя, когда она как-то в воскресенье пришла навестить родителей, отец с любопытством посмотрел на нее и спросил

— А ты не беременна?

Она стояла, тупо поглядывая на свой живот и повторяя:

— Нет . не знаю ..

Тогда, чтобы добиться правды, он спросил:

— Скажи-ка, не приходилось ли вам как-нибудь вечером ставить свои башмаки рядом?

— Как же, я их уже в первый вечер поставила, а потом и в другие

— Так, значит, ты брюхата, толстая бочка!

Она расплакалась, лепеча:

— Да разве я знала? Разве я знала?

Отец Маланден, поглядывая на нее смышленными глазами и с видом полного удовлетворения, старался поймать ее на слове. Он спросил:

— Чего это ты не знала?

Она проговорила сквозь слезы

— Разве я знала, что с этого бывают дети!

Вошла мать. Муж сказал, не сердясь:

— Она у нас беременна.

Но жена вспылила, возмутившись по инстинкту, и стала во всю глотку поносить рыдавшую девушку, обзывая ее «дурой» и «потаскухой».

Старик приказал ей замолчать И, надевая фуражку, чтобы пойти поговорить о делах с дядюшкой Сезэром Омоном, заметил·

— Она, оказывается, еще глупее, чем я думал Она и не знала, что делает, дуреха!

В следующее воскресенье, после проповеди, старый кюре сделал оглашение о предстоящей свадьбе г-на Онюфра-Сезэра Омона с Селестой-Аделаидой Маланден.

ПЛЕТЕЛЬЩИЦА СТУЛЬЕВ

Леону Энник.

Обед по случаю огкрытия охоты у маркиза де Бертан подходил к концу. Одиннадцать охотников, восемь молодых женщин и местный врач сидели за большим ярко освещенным столом, уставленным цветами и фруктами.

Заговорили о любви, и тут поднялся спор, вечный спор о том, можно ли по-настоящему любить несколько раз в жизни, или только однажды? Приводились примеры людей, у которых была только одна великая любовь, рассказывали также и о людях, любивших сильно и часто Мужчины вообще утверждали, что страсть, как и болезнь, может поразить человека несколько раз и поразить насмерть, если перед нею возникает какое-нибудь препятствие. Против такого взгляда трудно было спорить, однако женщины, подкреплявшие свои мнения больше поэзией, нежели фактами, утверждали, что любовь, великая любовь, может выпасть смертному только однажды, что эта любовь подобна удару молнии и что сердце, тронутое ею, бывает настолько опустошено, разгромлено, испепелено, что никакое другое сильное чувство и даже никакая мечта о любви уже не могут возродиться в нем.

Маркиз, человек много любивший, горячо оспаривал этот взгляд.

— А я утверждаю, что можно любить не раз — со всей страстью и от всей души. Вы приводите мне

в пример людей, покончивших с собою из-за любви, и видите в этом доказательство невозможности новой страсти Я отвечу вам, что если бы они не имели глупости покончить с собой — что отняло у них всякую возможность рецидива, они бы выздоровели и любили бы вновь, опять и опять, до самой своей естественной смерти. Про любовников можно сказать то же, что про пьяниц Кто пил — будет пить, кто любил — будет любить. Это — дело темперамента.

Третейским судьей избрали доктора, старого парижского врача, удалившегося в деревню, и попросили его высказаться.

Но по этому вопросу у него не было определенного мнения

— Это дело темперамента, как сказал маркиз; я же лично знал одну страсть, длившуюся непрерывно пятьдесят пять лет и окончившуюся только со смертью

Маркиза захлопала в ладоши.

— Как это прекрасно! И какое блаженство быть любимым таким образом! Какое счастье прожить пятьдесят пять лет окруженным такой неустанной и проникновенной любовью! Как должен быть счастлив и благословлять жизнь тот, кого так любили!

Доктор улыбнулся.

— Вы действительно, сударыня, не ошиблись: любимым был мужчина. Вы его знаете, это господин Шуке, деревенский аптекарь. Что же касается женщины, то вы также знавали ее: это старая плетельщица соломенных стульев, приходившая в замок раз в год Но постараюсь говорить яснее.

Восторг женщин умерился, а их лица, выражавшие отвращение, как бы говорили: «фи!»,— словно любовь должна разить только утонченные и изысканные существа, единственно достойные внимания порядочных людей.

Доктор продолжал:

— Месяца три тому назад меня позвали к этой старушке, к ее смертному ложу Она приехала накануне в повозке, служившей ей домом и запряженной

клячей, которую вы знаете, в сопровождении двух громадных черных собак — ее друзей и стражей. Кюре уже находился у нее. Она попросила нас быть ее душеприказчиками и, чтобы мы уяснили себе смысл ее последней воли, рассказала нам всю свою жизнь. Я не знаю ничего более необычайного и потрясающего.

Отец ее был плетельщиком стульев, и мать также была плетельщицей. Ей никогда не приходилось жить в доме, неподвижно стоявшем на земле

Девочкой она бегала где попало, в рубище, грязная, запущенная. Ее родители останавливались где-нибудь у околицы, на краю рва; повозку отпрягали, лошадь паслась; собака спала, положив морду на лапы; девочка валялась в траве, пока отец и мать под тенью придорожных вязов чинили старые стулья со всей деревни. В этом походном жилище никто не разговаривал. Обменявшись несколькими необходимыми словами, чтобы решить, кто обойдет дома с обычным криком: «Стулья чинить, стулья плести!»,— начинали сучить солому, сидя рядом или друг против друга. Когда девочка отходила слишком далеко или затевала игру с каким-нибудь деревенским мальчишкой, гневный голос отца призывал ее обратно·

— Иди сюда сию же минуту, беспутная!

То были единственные нежные слова, которые она слышала.

Когда девочка подросла, ее стали посылать по домам за сбором дырявых стульев. Тогда у нее завязались кое-где знакомства с мальчиками, но в этих случаях родители ее новых друзей грубо призывали своих ребят:

— Сейчас же иди сюда, сорванец! Чтобы я не видела тебя болтающим с этой босячкой!

Мальчики часто бросали в нее камнями.

Когда хозяики давали ей несколько су, она тщательно их припрятывала.

Однажды — ей было тогда одиннадцать лет,— будучи в здешних краях, она встретила за кладбищем маленького Шуке, который плакал, потому что товарищ отнял у него два су. Эти слезы маленького буржуа

глубоко потрясли ее: он принадлежал к тому кругу детей, которые, по мнению, сложившемуся в бедной головке обездоленной девочки, должны быть всегда довольны и счастливы. Она подошла к нему и, узнав причину горя, сунула ему в руку все свои сбережения — семь су, которые он, конечно, и взял, отирая слезы. Тогда, обезумев от радости, она осмелилась поцеловать его. Он был занят разглядыванием монет и не протестовал. Видя, что ее не бьют и не отталкивают, она поцеловала его еще раз и обняла его крепко, от всего сердца Затем она убежала.

Что происходило в этой несчастной голове? Привязалась ли эта бедняжка к малышу за то, что пожертвовала ему все свое богатство, или за то, что отдала ему свой первый поцелуй любви? Это всегда тайна, будь то дети или взрослые.

Целые месяцы мечтала она впоследствии об этом уголке кладбища и о мальчике. В надежде увидеть его снова она обкрадывала родителей, стараясь поживиться хотя бы одним су то здесь, то там, на починке стульев или на покупке провизии.

Когда она вернулась в эти места, у нее было накоплено уже два франка, но ей удавалось видеть чистенького маленького аптекаря только издали, за окнами отцовской аптеки, между красным стеклянным шаром и банкой с солитером.

Она полюбила его за это еще больше, так как была увлечена, взволнована, восхищена великолепием цветной воды, ореолом сверкающего хрусталя.

Она бережно хранила в себе это воспоминание и, встретив мальчика через год, когда он играл в шарики с товарищами позади школы, бросилась к нему, обняла его и поцеловала с таким неистовством, что он заревел от испуга. Чтобы утешить его, она отдала ему свои деньги: три франка двадцать сантимов, целое состояние, на которое он глядел, вытаращив глаза.

Он взял деньги и позволил ласкать себя сколько ей было угодно.

В течение четырех лет она отдавала ему все свои сбережения, которые он старательно прятал в карман, соглашаясь за это на ее поцелуй. Раз это были

тридцать су, раз — два франка, раз — всего двенадцать су (она плакала от горя и унижения, но год выдался плохой), а в последний раз — пять франков — огромная круглая монета, при виде которой он удовлетворенно засмеялся.

Она только о нем и думала; он тоже с некоторым нетерпением ждал, когда она вернется, а завидя ее, бежал ей навстречу, и сердце девочки начинало сильно биться.

Затем он исчез. Его отдали в коллеж Она узнала об этом из осторожных расспросов. Тогда она прибегнула к бесконечным уловкам, чтобы изменить маршрут родителей и заставить их проходить по этим местам во время летних каникул. Это удалось ей, но после целого года всяческих ухищрений. Итак, она не видела его уже два года и едва узнала при встрече: до того он изменился, вырос, похорошел и стал таким важным в мундирчике с золотыми пуговицами. Он сделал вид, что не замечает ее, и гордо прошел мимо.

Девочка проплакала два дня, и с тех пор для нее начались бесконечные страдания.

Она приезжала ежегодно. Она проходила мимо него, не смея ему поклониться, а он не удостаивал ее взглядом. Она любила его безумно Она сказала мне:

— Это был единственный человек, существовавший для меня на земле, господин доктор; я даже не знаю, жили ли на свете другие люди.

Родители ее умерли. Она продолжала их ремесло, но вместо одной собаки завела себе двух страшных псов, которых все боялись.

Однажды, возвращаясь в эту деревню, где осталось навек ее сердце, она увидела молодую женщину, выходившую из аптеки Шуке под руку с тем, кого она любила. То была его жена. Он был женат.

В тот же вечер она бросилась в пруд, что на площади мэрии.

Пьяный ночной гуляка вытащил ее и отнес в аптеку. Молодой Шуке сошел вниз в халате, чтобы помочь ей, и, словно не узнавая ее, раздел ее, растер и сурово сказал:

— Вы сумасшедшая! Нельзя делать такие глупости!

Этого было достаточно, чтобы исцелить ее. Он говорил с ней! Она была надолго счастлива.

Он ничего не пожелал взять в награду за свои хлопоты, хотя она упорно хотела заплатить

Так протекла вся ее жизнь. Она плела солому, думая о Шуке. Ежегодно видела его сквозь окна аптеки. Привыкла покупать у него запасы домашних лекарств. Таким образом, видела его вблизи, говорила с ним и по-прежнему давала ему деньги.

Как я уже сказал, она умерла нынешней весной. Поведав мне эту грустную историю, она просила передать тому, кого она так терпеливо любила, все свои сбережения, накопленные в течение жизни. ведь она работала лишь ради него, ради него одного, голодая даже, по ее словам, чтобы только откладывать и быть уверенной в том, что он вспомнит о ней хоть раз после ее смерти.

Она передала мне две тысячи триста двадцать семь франков. Когда она испустила последний вздох, я оставил двадцать семь франков г-ну кюре на погребение, а остальную сумму унес

На другой день я отправился к супругам Шуке. Они кончали завтракать, сидя друг против друга, толстые, красные, пропитанные запахом аптеки, важные и довольные.

Меня усадили и предложили вишневой наливки; я выпил и растроганно начал говорить, в уверенности, что они сейчас прослезятся

Как только Шуке понял, что его любила эта бродяжка, эта плетельщица стульев, эта нищенка, он вскочил от негодования, словно она его лишила доброго имени, чести, уважения порядочных людей, чего-то священного, что ему дороже жизни.

Жена, возмущенная не меньше его, повторяла· «Негодяйка! Негодяйка! Негодяйка! .»,— не находя иных слов

Он встал и заходил крупными шагами позади стола, греческая шапочка его съехала на одно ухо. Он бормотал

— Мыслимое ли это дело, доктор? Какое ужасное положение для мужчины! Что теперь делать? О! Если

бы я знал об этом при ее жизни, я просил бы жандармов арестовать ее и засадить в тюрьму И уж она бы оттуда не вышла, ручаюсь вам!

Я был ошеломлен результатом своей благочестивой миссии. Я не знал, что говорить, что делать. Но поручение нужно было выполнить до конца Я сказал

— Она завещала передать вам ее сбережения — две тысячи триста франков Но так как все, что я сообщил, по-видимому, вам крайне неприятно, то лучше, быть может, отдать эти деньги бедным?

Супруги взглянули на меня, оцепенев от удивления

Я вынул из кармана жалкие деньги — в монетах всех стран и всевозможной чеканки, золотые вперемешку с медными, и спросил

— Как же вы решаете?

Первою заговорила г-жа Шуке:

— Но если такова была последняя воля этой женщины... мне кажется, неудобно было бы отказаться.

Муж, слегка смущенный, заметил:

— Во всяком случае, на эти деньги мы можем купить что-нибудь для наших детей.

Я сказал сухо

— Как вам будет угодно.

Он продолжал

— Так давайте, если уж она вам это поручила; мы найдем способ употребить эту сумму на какое-нибудь доброе дело.

Я отдал деньги, раскланялся и ушел

На другой день Шуке явился ко мне и без обиняков сказал.

— Но эта эта женщина оставила здесь свою повозку Что вы намерены с нею сделать?

— Ничего, забирайте ее, если хотите

— Отлично, это мне очень кстати, я сделаю из нее сторожку для огорода

Он хотел уйти Я позвал его·

— Она оставила еще старую клячу и двух собак. Нужны они вам?

Он удивился:

— Ну вот еще, что я с ними буду делать? Располагайте ими по своему усмотрению.

И он рассмеялся. Затем протянул мне руку, а я пожал ее. Что поделаешь? Врачу и аптекарю, живущим в одном месте, нельзя ссориться.

Собак я оставил себе. Священник, у которого был большой двор, взял лошадь. Повозка служит Шуке сторожкой, на деньги же он купил пять облигаций железных дорог.

Вот единственная глубокая любовь, которую я встретил за всю мою жизнь.

Доктор умолк

Маркиза, глаза которой были полны слез, вздохнула

— Да, одни только женщины и умеют любить!

НА МОРЕ

Анри Сеару

Недавно в газетах появились следующие строки:

«Булонь-сюр-Мер, 22 января Нам сообщают:

Наших рыбаков, перенесших уже столько испытаний за последние два года, повергло в ужас и уныние новое страшное бедствие. Рыболовное судно, управляемое его владельцем Жавелем, при входе в гавань было отброшено к западу и разбилось о скалы, вблизи волнореза мола

Несмотря на все усилия спасательной лодки и на выброшенные канаты, четверо рыбаков и юнга погибли.

Шторм продолжается. Опасаются новых несчастий».

Что это за судовладелец Жавель? Не брат ли одноруко го?

Если этот несчастный, унесенный волнами и, быть может, погибший под обломками своего разбитого вдребезги судна, если это тот самый человек, о котором я думаю, то восемнадцать лет тому назад ему пришлось быть очевидцем другой драмы, страшной и простой, какими всегда бывают драмы, разыгрывающиеся на море.

В то время Жавель-старший был хозяином тралера.

Тралер — судно, предназначенное для ловли рыбы сетью Прочно построенное, годное для всякой погоды,

с круглым дном, беспрестанно подбрасываемое волнами как пробка, вечно в открытом море, вечно бичуемое резкими солеными ветрами Ламанша, оно без устали рассекает волны, раздув паруса и таща сбоку огромную сеть, которая скребет по дну океана, отрывая и захватывая животных, спящих на скалах, плоских рыб, словно прилипших к песку, тяжелых крабов с крючковатыми лапами, омаров с острыми усами

При свежем бризе и невысокой волне судно отправляется на ловлю. Его сеть укреплена на длинном деревянном, обитом железом шесте и спускается при помощи двух канатов, скользящих по двум воротам на концах судна Несясь по ветру и течению, судно тащит за собой этот снаряд, опустошающий и подчищающий морское дно.

На судне Жавеля находились его младший брат, четверо рыбаков и юнга. Судно при чудной, ясной погоде вышло из Булони, чтобы закинуть сеть.

Вскоре, однако, поднялся ветер, и налетевший шквал обратил тралер в бегство. Судно приблизилось было к берегам Англии, но разбушевавшееся море билось о прибрежные скалы, кидалось на сушу, так что не было никакой возможности войти в гавань Маленькое судно снова вышло в открытое море и вернулось к берегам Франции. Буря продолжалась и не давала возможности подойти к молу; она окружала пеной и грохотом и делала неприступным любое место, где можно было бы причалить.

Судно ушло снова, мчась по гребням волн, подвергаясь качке и гряске, залитое водой, обдаваемое волнами, но, несмотря на это, бодрое, привычное к бурям, которые заставляли его иной раз по пяти — шести дней блуждать между соседними странами, не давая пристать ни к той, ни к другой.

Наконец, пока судно находилось в открытом море, ураган стих, и, хотя волны были еще высоки, хозяин приказал бросить сеть.

Огромная рыболовная снасть была спущена за борт, и двое рыбаков на носу, двое других на корме начали отпускать канаты, державшие ее. Внезапно она коснулась дна, но высокая волна наклонила судно, и Жавель-младший, находившийся на носу и управлявший

спуском сети, покачнулся, а руку его зажало между канатом, на минуту ослабленным из-за толчка, и воротом, по которому он скользил Жавель сделал отчаянное усилие, стараясь другой рукой приподнять канат, но сеть уже тащилась, и натянутый канат не подавался.

Корчась от боли, он стал звать на помощь. Все сбежались Его брат оставил руль. Все бросились к канату, силясь высвободить придавленную руку. Напрасно! «Надо перерезать канат»,— сказал один из матросов и выхватил из кармана острый нож, которым можно было в два удара спасти руку Жавеля-младшего.

Но перерезать канат значило потерять сеть, а сеть стоила денег, больших денег, полторы тысячи франков; она принадлежала Жавелю-старшему, который дорожил своим добром

В отчаянии он крикнул

— Нет, не режь, погоди, я попробую держаться к ветру!

Он побежал к рулю и изо всех сил налег на него.

Судно еле повиновалось, парализованное сетью, не дававшей ему идти вперед, и увлекаемое вдобавок силой течения и ветра.

Жавель-младший упал на колени, стиснув зубы, с блуждающим взглядом. Ни слова не вырвалось у него. Брат вернулся, все еще опасаясь, что матрос пустит в дело нож

— Погоди, погоди, не режь, надо бросить якорь.

Якорь был брошен, вся цепь отдана, затем принялись вертеть ворот, чтобы ослабить канаты, державшие сеть. Они наконец ослабли, и омертвевшая рука в окровавленном шерстяном рукаве была высвобождена.

Жавель-младший, казалось, обезумел. С него сняли куртку и увидели нечто ужасное: мясо превратилось в месиво, из которого ручьями лилась кровь, словно ее выкачивали насосом. Он взглянул на свою руку и прошептал

— Кончено.

От кровотечения на палубе образовался целый пруд, и один из матросов воскликнул:

— Он изойдет кровью, надо перевязать жилу!

Тогда они взяли бечевку, толстую, темную, просмоленную бечевку, и, перевязав ею руку повыше раны, затянули изо всей силы. Струя крови становилась все меньше и наконец иссякла.

Жавель-младший встал; рука его висела, как плеть. Он взял ее здоровой рукой, приподнял, повернул, потряс. Вся она была изодрана, кости переломаны. Этот кусок тела держался только на мускулах. Жавель-младший глядел на него в мрачном раздумье. Потом он сел на сложенный парус, и товарищи посоветовали ему все время промывать рану водой, чтоб не допустить заражения крови.

Подле него поставили ведро; он поминутно зачерпывал стаканом и поливал ужасную рану тонкой струйкой прозрачной воды.

— Тебе лучше сойти вниз,— сказал ему брат.

Он так и сделал, но через час вернулся обратно, чувствуя себя плохо в одиночестве. К тому же он предпочитал быть на воздухе. Он снова сел на парус и опять начал поливать свою руку водой.

Ловля была удачная. Сотрясаясь в предсмертных судорогах, возле него лежали огромные белобрюхие рыбы, он смотрел на них, не переставая смачивать свою израненную плоть.

Когда подходили к Булони, налетел новый порыв ветра, и суденышко снова бешено понеслось, прыгая, кувыркаясь и тряся несчастного раненого.

Настала ночь. Шторм свирепствовал до зари. На восходе солнца они вновь увидели берег Англии, но море стало спокойнее, и судно, лавируя, отплыло к Франции.

Вечером Жавель-младший позвал товарищей и показал им черные пятна — отвратительные признаки гниения на той части руки, которая едва держалась.

Матросы разглядывали их и высказывали свои предположения.

— Быть может, антонов огонь,— говорил один.

— Надо бы полить ее соленой водой,— посоветовал другой.

Принесли морской воды и полили рану. Раненый

помертвел, заскрежетал зубами, передернулся, но не вскрикнул.

Когда жгучая боль несколько стихла, он сказал брату:

— Дай мне твой нож.

Брат протянул ему нож.

— Подержи-ка мне руку на весу, прямо, тяни кверху.

Сделали, как он просил.

Тогда он сам начал резать. Он резал медленно, обдуманно, отсекая последние сухожилия острым, как бритва, ножом; вскоре от руки остался только обрубок. Несчастный глубоко вздохнул и сказал:

— Так надо было. Рука все равно пропала.

Он, по-видимому, почувствовал облегчение, стал глубже дышать. И снова начал лить воду на обрубок, оставшийся вместо руки.

Ночь выдалась бурная, и к берегу все еще нельзя было пристать.

Когда рассвело, Жавель-младший взял свою отрезанную руку и долго разглядывал ее. Гниение обозначалось явственно. Товарищи тоже подошли посмотреть, передавали ее друг другу, щупали, поворачивали, нюхали.

Брат сказал:

— Теперь надо бросить ее в море.

Но Жавель-младший рассердился:

— Ну, нет! Ну, нет! Не хочу. Это уж мое дело, не правда ли, раз рука моя.

Он взял ее и положил между ног.

— Она же будет гнить,— заметил старший.

Тогда раненому пришла в голову новая мысль. Когда рыбаки остаются подолгу на море, они кладут рыбу в бочки с солью, чтобы предохранить от порчи.

Он спросил:

— Не положить ли ее в рассол?

— Правильно,— поддержали другие.

Опростали один из бочонков, уже наполненный уловом последних дней, и на самое дно его положили руку. Поверх нее насыпали соли, затем одну за другой водворили туда и рыбу.

Кто-то из матросов пошутил:

— Не продать бы только нам ее с торгов.

Все рассмеялись, кроме двух братьев

Ветер бушевал по-прежнему Пришлось лавировать в виду Булони до десяти часов следующего дня Раненый не переставал поливать рану водой

Время от времени он вставал и прохаживался взад и вперед по палубе

Его брат, стоявший на руле, следил за ним взглядом и покачивал головой.

Наконец судно вошло в гавань

Доктор осмотрел рану и нашел ее в хорошем состоянии. Он сделал перевязку и предписал покой. Но Жавель-младший не хотел ложиться, не взяв своей руки, и поспешил в гавань, чтобы отыскать бочонок, который он отметил крестом

Бочонок опорожнили в его присутствии, и он схватил свою руку, хорошо сохранившуюся в рассоле,— посвежевшую, слегка сморщенную. Он завернул ее в салфетку, принесенную для этой цели, и вернулся домой.

Жена и дети долго разглядывали отцовскую руку, ощупывали пальцы, счищали крупинки соли, оставшиеся под ногтями; затем призвали столяра, и он снял мерку, чтобы изготовить маленький гробик

На другое утро весь экипаж тралера в полном составе присутствовал на похоронах отрезанной руки. Братья шли рядом во главе траурной процессии. Приходский пономарь под мышкой нес гробик

Жавель-младший перестал выходить в море. Он получил скромное местечко в гавани и, рассказывая впоследствии о своем несчастье, шепотом говорил слушателю

— Если бы брат согласился перерезать сеть, то рука у меня была бы еще цела, в этом я уверен. Но уж больно он дорожил своим добром.

НОРМАНДЕЦ

По по Алексис.

Мы выехали из Руана и покатили рысью по Жюмьежской дороге Легкая коляска неслась по лугам; затем лошадь пошла шагом, взбираясь на холм Кантелё.

Отсюда открывается один из великолепнейших видов в мире Позади нас — Руан, город церквей с готическими колокольнями, похожими на точеные безделушки из слоновой кости; впереди — Сен-Севэр, фабричное предместье, которое возносит к небу сотни дымящих труб, как раз напротив сотен колоколенок старого города

Здесь — шпиль собора, одного из высочайших памятников человечества; там — его соперница, паровая водокачка «Молния», столь же высокая и на один метр выше самой огромной из египетских пирамид.

Перед нами развертывалась покрытая рябью Сена, усеянная островками, окаймленная справа белыми скалами, заросшими на вершине лесом, а слева — необозримыми полями, замыкавшимися вдали, на горизонте, другим лесом

Кое-где вдоль высокого берега широкой реки стояли на якоре большие суда. Три огромных парохода шли гуськом по направлению к Гавру; целая группа судов, состоявшая из трехмачтовика, двух шхун и брига, поднималась к Руану, следуя на буксире за маленьким пароходом, изрыгавшим облака черного дыма.

Мой спутник, местный уроженец, почти не смотрел на этот захватывающий пейзаж, а только все улыбался, словно смеясь своим мыслям. Вдруг он промолвил:

— Ах, вы сейчас увидите кое-что забавное — часовню дядюшки Матье. Вот, друг мой, диковинка!..

Я взглянул на него с удивлением. Он продолжал:

— На вас пахнет таким нормандским букетом, что вы долго его не забудете. Дядюшка Матье — самый типичный нормандец во всем этом крае, а его часовня — одно из чудес света, ни более, ни менее; но сначала я должен дать вам некоторые пояснения.

Дядюшка Матье, которого прозвали также «Дядей Выпивалой»,— это унтер-офицер в отставке, вернувшийся на родину. Он изумительно соединяет в себе балагурство старого солдата с мелочной хитростью нормандца. Приехав в родные места, он благодаря многочисленным связям и невероятной ловкости сумел получить место сторожа при чудотворной часовне, при часовне, покровительствуемой святой девой и посещаемой преимущественно беременными девушками. Он окрестил чудотворную статую в часовне «богоматерью брюхатых» и говорит о ней с несколько насмешливой фамильярностью, отнюдь не исключающей уважения. Он сам сочинил и напечатал особую молитву к пресвятой деве. Эта молитва — шедевр бессознательной иронии и нормандского остроумия, в которой насмешка соединяется со страхом перед святостью, с суеверной боязнью тайных сил. Он не слишком верит в свою покровительницу, однако же из осторожности немного верит и из расчета бережет.

Вот начало этой поразительной молитвы:

«Добрая владычица наша, дева Мария, покровительница девушек-матерей нашей страны и всей земли, спаси свою рабу, согрешившую по оплошности».

Молитва кончается так:

«Не оставь меня своим заступничеством перед святым своим супругом и моли господа отца нашего, чтобы он даровал мне доброго мужа, подобного твоему».

Эта молитва, запрещенная местным духовенством, продается дядюшкой Матье из-под полы, и считается, что она помогает тем, кто благоговейно читает ее.

Вообще он говорит о пресвятой деве, как камердинер грозного государя о своем господине, который доверяет ему все свои маленькие интимные тайны. Он знает о нем множество занимательных историй и шепотом рассказывает их приятелям после выпивки.

Впрочем, вы увидите сами.

Доходы со святой девы казались ему далеко не достаточными,— он прибавил к главной своей заступнице еще и святых. Они у него имеются все или почти все. Ввиду того, что в часовне тесно, он поместил их в сарайчике, откуда выносит их, как только потребует верующий. Он сам вырезал эти невероятно смешные деревянные фигурки и выкрасил их ярко-зеленой краской в тот год, когда красили его дом. Вы знаете, что святые вообще исцеляют от болезней, но у каждого из них есть своя особая специальность; здесь никак нельзя ошибиться или смешать их друг с другом. Они завистливы и ревнивы, как плохие актеры.

Чтобы не оплошать, старушки советуются с дядюшкой Матье:

— От ушных болезней какой святой получше?

— Тут хорош святой Озим; недурен также и святой Памфил.

Но это еще не все.

У дядюшки Матье много свободного времени, поэтому он пьет, но пьет художественно, убежденно и так обстоятельно, что пьян каждый вечер. Он пьян, но сознает это, и сознает настолько ясно, что ежедневно точно отмечает степень опьянения. В этом и состоит его главное занятие, часовня занимает второстепенное место.

Он изобрел — слушайте хорошенько и обратите на это внимание,— он изобрел пьяномер.

Самого измерительного прибора не существует, но наблюдения дядюшки Матье так же точны, как наблюдения математика.

От него то и дело слышишь:

— С понедельника я ни разу не перешел за сорок пять градусов.

Или:

— Я был между пятьюдесятью двумя и пятьюдесятью восемью

Или:

— Я, несомненно, дошел до шестьдесят шестого или даже до семидесятого.

Или:

— По глупости я считал себя в пятидесяти, как вдруг замечаю, что я в семидесяти пяти!

И он никогда не ошибается

Он утверждает, что никогда не достигал полных ста градусов, но так как он сам признает, что наблюдения утрачивают точность при переходе за девяносто, его утверждениям и нельзя верить безусловно.

Когда дядюшка Матье говорит, что перешел за девяносто, будьте уверены, что он был вдребезги пьян

В этих случаях жена его, Мели,— тоже своего рода редкость — приходит в безумную ярость. Она ожидает его возвращения у двери и встречает ревом:

— Наконец-то явился, негодяй, свинья, пьяница!

Тогда дядюшка Матье, уже не смеясь, вооружается против нее и говорит строго

— Помолчи, Мели, теперь не время разговаривать. Подожди до завтра

Если же она продолжает кричать, он подходит к ней, и голос его дрожит:

— Не ори, я в девяностом и уж больше не меряю; берегись, вздую!

Тогда Мели бьет отбой.

Если на следующий день ей вздумается вернуться к этому вопросу, он смеется ей в лицо и отвечает.

— Ну, ну, будет! Довольно поговорила, дело прошлое. Пока я не дохожу до ста градусов, не беда. Вот если перевалю за сто, бей меня, позволяю, честное слово!

Мы достигли вершины холма. Дорога углублялась в дивный Румарский лес.

Осень, чудная осень смешала свой пурпур и золото с последней зеленью, хранившей еще свою свежесть;

словно капли расплавленного солнца излились с неба на лесную чащу

Мы проехали Дюклер, и тут, вместо того чтобы продолжать путь на Жюмьеж, мой приятель свернул влево, на поперечную дорогу; мы въехали в лесок

Вскоре с вершины высокого холма перед нами снова открылась великолепная долина Сены и извилистая река, вытянувшаяся внизу у наших ног.

Направо, прислонясь к хорошенькому домику с зелеными ставнями, увитому розами и жимолостью, стояло крохотное здание под шиферной крышей, увенчанное колоколенкой вышиной с зонтик.

Чей-то низкий голос воскликнул. «Вот и дорогие гости!» — и дядюшка Матье появился на пороге. То был человек лет шестидесяти, худой, с седой бородкой и длинными седыми усами

Мой товарищ пожал ему руку, представил меня, и Матье ввел нас в прохладную кухню, служившую ему также столовой.

— У меня, сударь, нет богатых хором,— говорил он.— Я не люблю сидеть далеко от кушанья. Кастрюли, знаете ли, отличная компания.

И он обратился к моему другу:

— Почему вы приехали в четверг? Вы ведь знаете, что в этот день приходят за советом к моей заступнице. В этот день я не могу выходить после обеда.

И, подбежав к двери, он испустил такой ужасающий рев «Мели-и, Ме-ли-и-и!» — что, вероятно, обернулись даже матросы на судах, плывших вверх и вниз по далекой реке, там внизу, в глубине долины

Мели не отвечала.

Тогда Матье лукаво подмигнул.

— Она недовольна мною, видите ли, потому что вчера я был в девяноста градусах.

Мой спутник расхохотался

— В девяноста, Матье? Как это вы ухитрились?

Матье отвечал:

— Сейчас расскажу. В прошлом году я собрал всего двадцать мер абрикосов Это немного, но для сидра вполне достаточно. Так вот я и сделал из них сидр и вчера слил его в бочку. Это нектар, прямо-таки нектар: сами убедитесь. У меня был в гостях

Полит Мы прошлись с ним по стаканчику, затем по другому, но жажда не унималась (ведь его и пить-то можно до следующего дня), да так, что чем дальше, тем я все больше чувствую холод в желудке. Говорю Политу: «А не выпить ли нам по стаканчику водки, чтобы согреться?» Он соглашается Но от водки вас бросает в жар, так что пришлось вернуться к сидру. И вот, переходя от холода к жару, от жара к холоду, я вдруг замечаю, что достиг девяноста. Полит добрался уже почти до сотни

Дверь отворилась. Показалась Мели и тотчас же, еще не поздоровавшись с нами, закричала:

— Ах, вы, свиньи, вы оба были в ста градусах!

Тут Матье рассердился

— Не говори вздора, Мели, не говори вздора, я никогда не бывал в ста градусах!

Нам подали вкусный завтрак у крыльца, в тени двух лип, близ самой часовни «богоматери брюхатых». Перед нами расстилался необъятный простор. Дядюшка Матье с неожиданной верой, сквозившей в его шутках, рассказывал нам про невероятные чудеса.

Мы выпили огромное количество восхитительного сидра, острого и сладкого, свежего и пьянящего, который дядюшка Матье предпочитал всем напиткам; сидя верхом на стульях, мы закурили трубки, как вдруг к нам подошли две женщины

Они были старые, высохшие, сгорбленные. Поклонившись, они попросили дать им святого Бланка. Матье подмигнул нам и ответил:

— Сейчас вам его принесу.

И исчез в сарайчике.

Он пробыл там добрых пять минут, затем вернулся с перекосившимся лицом. Разводя руками, он проговорил

— Не знаю, куда он девался, не могу его найти, а между тем уверен, что он у меня есть

И, сложив руки в виде рупора, он заревел снова:

— Мели-и-и!

Из глубины двора жена отвечала:

— Чего тебе?

— Где святой Бланк? Я не нахожу его в сарае!

Тогда Мели дала следующее объяснение:

— Не им ли ты на прошлой неделе заткнул дыру в крольчатнике?

Матье вздрогнул·

— Провалиться мне! Так оно, вероятно, и есть!

И обратился к старушкам.

— Идите за мной

Они двинулись в путь. Мы последовали за ними, давясь от еле сдерживаемого смеха.

В самом деле, святой Бланк, воткнутый в землю в виде колышка, замаранный грязью и нечистотами, подпирал собою кроличий домик.

Едва завидя его, старушки упали на колени, перекрестились и начали бормотать *Oremus*[1]. Но Матье бросился к ним

— Погодите, вы стоите в навозе, я принесу вам охапку соломы.

Он принес солому и расстелил ее так, чтобы они могли стоять на коленях. Затем, взглянув на своего грязного святого и обеспокоившись, как бы это не подорвало его коммерцию, прибавил:

— Я вам его немножко помою.

Он принес ведро воды, щетку и с ожесточением начал мыть и тереть деревянного человечка, а тем временем старушки продолжали молиться.

Закончив мытье, он прибавил:

— Теперь чисто

И увел нас выпить еще по стаканчику.

Поднося ко рту стакан, он остановился и в некотором смущении проговорил.

— Что поделаешь! Я снес святого Бланка к кроликам, думая, что от него уж не будет дохода. Два года не было на него спроса. Но на святых, как видите, мода никогда не проходит!

Он выпил и сказал:

— Ну, пройдемтесь еще по одному. С приятелями надо доходить, по крайней мере, до пятидесяти градусов, а мы еще только в тридцати восьми.

---

[1] Помолимся — католическая молитва *(лат.)*.

ЗАВЕЩАНИЕ

По-ю Эрвье.

Я знавал этого высокого молодого человека, по имени Рене де Бурневаль. Он был любезен, хотя и немного грустен, казался разочарованным во всем и большим скептиком, последователем того скептицизма, который судит точно и колко и с особенной меткостью умеет заклеймить кратком репликой светское лицемерие. Он часто повторял

— Честных людей нет; во всяком случае, они честны только по сравнению с негодяями.

У него было два брата, гг. де Курсиль, с которыми он никогда не видался. Из-за разных фамилий братьев я считал их сводными. Мне говорили несколько раз, что в этой семье произошла какая-то странная история, но не рассказывали подробностей

Де Бурневаль очень понравился мне, и мы вскоре подружились. Однажды вечером, обедая у него с ним наедине, я случайно спросил

— Вы от первого или от второго брака вашей матушки?

Он слегка побледнел, затем покраснел и несколько секунд молчал в явном смущении. Потом улыбнулся своей особенной, меланхолической, кроткой улыбкой и сказал:

— Друг мой, если вам будет не скучно, я расскажу вам некоторые необычайные подробности относительно моего происхождения. Я считаю вас разум-

ным человеком и не боюсь, что от этого пострадает наша дружба, если же ей и придется пострадать, то я не стану насильно удерживать вас в числе моих друзей.

Моя мать, г-жа де Курсиль, была несчастная, застенчивая женщина, на которой ее муж женился по расчету. Вся жизнь ее была сплошной мукой. Ее любящая, робкая и деликатная душа чувствовала только беспрерывную грубость со стороны человека, который должен был стать моим отцом,— одного из тех мужланов, которых называют деревенскими дворянами. Не прошло и месяца после свадьбы, а он уже жил со служанкой Сверх того, его любовницами были жены и дочери его фермеров, что отнюдь не мешало ему иметь двух сыновей от жены; со мною следовало бы считать трех Мать постоянно молчала и жила в этом вечно шумном доме, как мышка, притаившаяся под мебелью. Незаметная, поблекшая, трепещущая, она поднимала на людей светлый, беспокойный, вечно бегающий взгляд, взгляд существа, испуганного и томимого постоянным страхом. Между тем она была прелестна, исключительно прелестна. волосы у нее были какие-то боязливо-белокурые, с пепельным оттенком; они словно немного выцвели под влиянием непрерывного страха.

В числе приятелей г-на де Курсиль, постоянно посещавших замок, был один отставной кавалерийский офицер, вдовец, человек нежный и порывистый, способный внушать страх, готовый на самые энергичные решения,— г-н де Бурневаль, имя которого я и ношу. То был высокий худой мужчина с длинными черными усами. Я очень похож на него Он много читал и совершенно не разделял убеждений, свойственных людям его класса Его прабабка была подругой Жан-Жака Руссо, и он, казалось, унаследовал кое-что от этой связи своего предка. Он прекрасно знал *Общественный договор, Новую Элоизу* и все другие философские сочинения, исподволь подготовлявшие будущий переворот в наших древних обычаях, в наших предрассудках, наших устарелых законах и в нашей глупой морали

Он, по-видимому, горячо полюбил мою мать и был любим ею. Эта связь оставалась настолько скрытой, что никто о ней и не подозревал. Несчастная, покинутая, печальная женщина безумно привязалась к нему и переняла весь образ его мыслей, его теорию свободного чувства и независимой любви; но она была до того робка, что никогда не смела высказаться вслух, и все это накапливалось, собиралось и оставалось под спудом в ее сердце, которое так и не открылось ни разу.

Мои братья относились к ней сурово, подобно отцу, никогда не выказывали ей ласки и обращались с нею, почти как с прислугой, привыкнув к тому, что в доме она ничего не значит.

Из ее сыновей я один действительно любил ее и был любим ею.

Она умерла Мне в то время было восемнадцать лет. Должен прибавить, чтобы вам стало понятно последующее, что муж ее был взят под опеку, что имуществом своим она владела раздельно, и таким образом, благодаря ухищрениям закона и просвещенной преданности нотариуса, мать моя сохранила право завещать свое состояние по личному усмотрению.

Мы были извещены, что у нотариуса имеется завещание, и получили приглашение присутствовать при его вскрытии.

Помню все, как если бы это происходило вчера. Сцена, вызванная посмертным бунтом умершей, этим криком свободы, этим замогильным протестом со стороны мученицы, загубленной нашими нравами и бросавшей отчаянный призыв к независимости из своего заколоченного гроба, была грандиозна, трагична, нелепа и захватывающа

Человек, считавшийся моим отцом, толстый сангвиник, напоминавший мясника, и братья, двое рослых малых двадцати и двадцати двух лет, спокойно ожидали, сидя на стульях. Г-н де Бурневаль, также приглашенный присутствовать при вскрытии завещания, вошел и стал позади меня. В наглухо застегнутом сюртуке, очень бледный, он нервно покусывал седеющие усы. Конечно, он предвидел то, что должно было произойти

Нотариус запер дверь на двойной поворот ключа и приступил к чтению, вскрыв при нас запечатанный красным сургучом конверт, содержания которого он не знал.

Здесь мой друг умолк, встал, отыскал в письменном столе старую бумагу, развернул ее, поцеловал долгим поцелуем и продолжал:

— Вот завещание моей дорогой матери:

«Я, нижеподписавшаяся Анна-Катерина-Женевьева-Матильда де Круалюс, законная супруга Жана-Леопольда-Жозефа-Гонтрана де Курсиль, находясь в здравом уме и твердой памяти, выражаю здесь свою последнюю волю.

Прошу прощения у господа бога и у дорогого сына моего Рене в том, что собираюсь совершить. Я считаю моего ребенка достаточно великодушным, чтобы понять и простить меня. Я страдала всю свою жизнь Муж женился на мне по расчету, он презирал меня, угнетал и беспрестанно изменял мне

Я прощаю ему, но я не обязана ему ничем.

Старшие сыновья совсем не любили меня, не проявляли ко мне ласки, едва считали своей матерью. При жизни я была для них тем, чем должна была быть, после смерти у меня нет по отношению к ним никаких обязательств. Узы крови ничто без постоянной, священной, ежедневной привязанности. Неблагодарный сын хуже чужого; это преступник, так как сын не имеет права быть равнодушным к матери.

Я всегда трепетала перед людьми, перед их неправедными законами, перед их бесчеловечными обычаями, перед их бесчестными предрассудками. Перед лицом бога я больше ничего не боюсь. Умирая, я сбрасываю с себя постыдное лицемерие; я осмеливаюсь высказать свою мысль, признать и засвидетельствовать тайну моего сердца.

Итак, всю ту часть моего состояния, которою я имею право располагать по закону, я оставляю в распоряжении моего возлюбленного Пьера-Жерме-Симона де Бур-

неваль с тем, чтобы впоследствии она перешла к нашему дорогому сыну Рене

(Эта воля, помимо настоящего завещания, изложена подробнее в особом нотариальном акте.)

И перед лицом всевышнего судии, который слышит меня, я объявляю, что прокляла бы небо и все существующее, если бы не встретила глубокой, преданной, нежной и непоколебимой привязанности в лице моего возлюбленного, если бы не поняла в его объятиях, что творец создал людей для того, чтобы любить, поддерживать, утешать друг друга и плакать вместе в горькие минуты жизни

Два моих старших сына — дети г-на де Курсиль, и только один Рене обязан жизнью г-ну де Бурневаль Молю владыку людей и людских судеб помочь отцу и сыну стать выше общественных предрассудков, любить всю жизнь друг друга и по-прежнему любить меня за гробом.

Таковы моя последняя мысль и мое последнее желание.

Матильда де Круалюс».

Г-н де Курсиль вскричал

— Это — завещание сумасшедшей! — воскликнул он.

Тогда г-н де Бурневаль сделал шаг вперед и произнес громким и отчетливым голосом:

— Я, Симон де Бурневаль, заявляю, что в этой бумаге содержится только святая истина. Я готов подтвердить ее перед кем угодно и даже доказать ее имеющимися у меня письмами.

Тогда г-н де Курсиль двинулся к нему. Я думал, что между ними произойдет схватка. Они стояли лицом к лицу, оба одинаково высокие, один толстый, другой худой, и оба дрожали от негодования. Муж моей матери невнятно выговорил:

— Вы негодяй!

Г-н де Бурневаль ответил все так же громко и резко:

— Мы встретимся с вами в другом месте, сударь. Я уже давно дал бы вам пощечину и вызвал вас на

дуэль, если бы при жизни несчастной женщины, которой вы причинили столько страданий, не дорожил прежде всего ее покоем.

И он обернулся ко мне:

— Вы — мой сын. Хотите следовать за мной? Я не имею права уводить вас, но сделаю это, если вы согласны

Я молча пожал ему руку. Мы вышли вместе. Разумеется, я почти лишился рассудка

Два дня спустя г-н де Бурневаль убил на дуэли г-на де Курсиль. Братья мои, боясь страшного скандала, молчали Половину состояния, оставленного мне матерью, я им уступил, и они его приняли.

Я стал носить имя моего настоящего отца, отказавшись от того, которое предоставлял мне закон и которое не было моим.

Г-н де Бурневаль умер пять лет тому назад Я до сих пор не могу утешиться после этой утраты

Он поднялся, прошелся по комнате и, став передо мной, сказал:

— Так вот, я утверждаю, что завещание моей матери — это лучший, честнейший и величайший поступок, на который способна женщина. Не так ли?

Я протянул ему обе руки

— Разумеется, друг мой.

В ПОЛЯХ

Октаву Мирбо

Две хижины стояли рядом у подножия холма, близ маленького курортного городка. Два крестьянина упорно трудились, обрабатывая плодородную землю, чтобы вырастить всех своих малышей. В каждой семье было по четверо ребят. С утра и до вечера детвора копошилась у дверей хижин Двоим старшим было по шести лет, а двоим младшим — по году с небольшим браки, а затем и рождения происходили в том и другом доме почти одновременно

Обе матери едва различали своих детей в общей куче, а отцы и вовсе смешивали их. Восемь имен беспрестанно вертелись и путались у них в голове, и, когда надо было позвать какого-нибудь ребенка, мужчины часто выкрикивали по три имени, прежде чем напасть на нужное.

Первую хижину, если подходить от курорта Рольпор, занимала семья Тювашей, у которых было три девочки и один мальчик; в другой лачуге ютились Валены, имевшие одну девочку и трех мальчиков

Обе семьи скудно питались похлебкой, картофелем и свежим воздухом. В семь часов утра, в полдень и в шесть часов вечера хозяйки созывали свою детвору, подобно тому как гусятницы скликают гусей, и кормили их похлебкой. Дети сидели в ряд, по старшинству, за деревянным столом, лоснившимся от пятидесяти лет службы. Перед малышами ставили миску с хлебом,

размоченным в воде, в которой варились картофель, полкочна капусты да три луковицы, и ватага наедалась досыта Младшего мать кормила сама По воскресеньям, в виде праздничного угощения, все получали по куску говядины в мясном супе, отец в эти дни долго не вставал из-за стола, повторяя

— Я не прочь бы каждый день так обедать.

Однажды в августе, после полудня, перед хижинами вдруг остановился легкий экипаж, и молодая женщина, правившая им, сказала сидевшему с ней рядом мужчине

— О, Анри, взгляни на эту кучу детишек! Копошатся в пыли, но как они прелестны!

Мужчина ничего не ответил, привыкнув к этим проявлениям восторга, которые причиняли ему боль и звучали почти упреком.

Молодая женщина продолжала

— Я должна их расцеловать! О, как бы мне хотелось иметь вот этого, самого маленького!

Выпрыгнув из экипажа, она подбежала к детям, взяла на руки одного из самых младших, мальчика Тювашей, и стала осыпать страстными поцелуями его грязные щечки, светлые кудри, напомаженные землей, ручонки, которыми он махал, отбиваясь от надоедливых ласк

Затем женщина села в экипаж, и лошади помчались быстрой рысью. Но на следующей неделе она вернулась снова, уселась на землю среди детей, взяла малыша Тювашей на колени, начала пичкать его сладкими пирожками и оделила конфетами всех остальных детей; она играла с ними, как девочка, пока муж терпеливо ожидал ее, сидя в легком экипаже

Несколько времени спустя она приехала снова, завела знакомство с родителями мальчугана и стала приезжать каждый день.

Карманы ее были всегда набиты лакомствами и мелкими деньгами

Звали ее г-жа Анри д'Юбьер.

Как-то утром, когда она подъехала, муж вышел вместе с ней; не останавливаясь около малышей, которые теперь отлично их знали, они прошли в хижину

Хозяева были заняты колкой дров; они в удивлении

от прихода таких гостей выпрямились, подали стулья и стали ждать. Тогда молодая женщина дрожащим, прерывающимся голосом сказала:

— Добрые люди, я обращаюсь к вам .. мне очень хотелось бы очень хотелось бы увезти с собой вашего .. вашего мальчика .

Крестьяне, оторопев и не зная, что ответить, молчали.

Она перевела дыхание и продолжала

— У нас нет детей. Мы одни с мужем . Мы хотели бы взять его к себе .. Не согласитесь ли вы на это?

Крестьянка начинала понимать Она спросила

— Вы хотите взять у нас Шарло? Ну, уж нет, будьте уверены

Тут вмешался г-н д'Юбьер:

— Жена моя неясно выразилась. Мы хотим его усыновить, но он будет приезжать видеться с вами. Если он оправдает наши надежды, чему есть основание верить, то он станет нашим наследником. Если у нас появятся свои дети, он получит равную с ними долю. Но если он не оправдает наших забот, то, по достижении им совершеннолетия, мы дадим ему капитал в двадцать тысяч франков, который будет теперь же положен на его имя у нотариуса. А так как мы подумали и о вас, то и вы будете получать пожизненно ежемесячную ренту в сто франков. Вы понимаете нас?

Крестьянка поднялась, взбешенная:

— Вы хотите, чтобы я продала вам Шарло? Ни за что! Нельзя этого требовать от родной матери! Ни за что! Это было бы гнусностью!

Крестьянин степенно и задумчиво молчал, но все время утвердительно кивал головой, соглашаясь с женой.

Растерявшаяся г-жа д'Юбьер принялась плакать и, обращаясь к мужу, прошептала, всхлипывая, как ребенок, все желания которого обычно исполняются:

— Они не хотят, Анри, не хотят!

И они сделали последнюю попытку:

— Но, друзья, подумайте о будущем ребенка, о его счастье, о...

Вышедшая из себя крестьянка прервала их:

— Все мы видим, все понимаем, все порешили... Убирайтесь, и чтобы я вас тут больше не видела! Где это слыхано, чтобы так отнимали детей!

Уходя, г-жа д'Юбьер вспомнила, что малышей двое, и спросила сквозь слезы, с упорством избалованной и своевольной женщины, не привыкшей просить:

— А другой мальчик ведь не ваш?

Тюваш-отец ответил

— Нет, это соседский, можете зайти к ним, если хотите

И он вернулся в дом, откуда раздавался негодующий голос его жены.

Валены, муж и жена, сидели за столом и медленно жевали ломти хлеба, бережно намазывая их маслом, которое брали на кончик ножа с тарелки, стоявшей перед ними.

Г-н д'Юбьер обратился к ним с тем же предложением, но на этот раз более вкрадчиво, с большими ораторскими предосторожностями, более искусно.

Крестьяне молчали головою в знак отказа, но, узнав, что они стали бы получать по сто франков ежемесячно, переглянулись, как бы советуясь взглядом, и сильно взволновались.

Они долго молчали, охваченные беспокойством, колеблясь

Наконец жена спросила:

— Что ты на это скажешь, отец?

Он проговорил наставительно:

— Скажу об этом стоит подумать.

Тогда г-жа д'Юбьер, трепеща от ожидания, заговорила о будущности ребенка, о его счастье, о денежной помощи, которую он окажет им впоследствии.

Крестьянин спросил:

— А ренту в тысячу двести франков вы внесете нотариусу?

Г-н д'Юбьер отвечал:

— Разумеется, завтра же.

Крестьянка, поразмыслив, сказала:

— Сто франков в месяц мало за то, что вы отнимаете у нас ребенка; через несколько лет он уже сможет работать; нам бы сто двадцать франков.

Г-жа д'Юбьер, дрожа от нетерпения, немедленно согласилась и, намереваясь взять ребенка с собой, дала еще сто франков в виде подарка, пока ее муж писал условие Мэр и сосед-крестьянин, позванные тотчас же, охотно согласились быть свидетелями.

И молодая женщина, сияя, увезла с собой ревущего малыша, как увозят из магазина желанную безделушку

Муж и жена Тюваши, стоя на пороге, смотрели вслед отъезжающим, молчаливые, суровые и, быть может, сожалея о своем отказе.

О маленьком Жане Валене ничего больше не было слышно Родители его каждый месяц получали у нотариуса свои сто двадцать франков и были в неладах с соседями, так как тетка Тюваш поносила и позорила их, не переставая твердить всем и каждому, что надо быть выродками, чтобы продать родного ребенка, что это ужас, гнусность, разврат.

Порою она чванливо брала на руки своего Шарло и кричала, словно он мог ее понять:

— Я-то вот тебя не продала, моя крошка, не продала! Я-то не торгую детьми! Я небогата, но детей не продаю!

И это повторялось ежедневно в течение многих лет; ежедневно с порога хижины выкрикивались грубые намеки, так чтобы их слышно было в соседней лачуге. В конце концов тетка Тюваш вообразила себя выше всех в округе из-за того, что не продала Шарло. И когда кто-нибудь говорил о ней, то обычно прибавлял:

— Знаю, что это было заманчиво, но все-таки она поступила, как честная мать.

Ее ставили в пример; и Шарло, которому было уже восемнадцать лет и который вырос с этой мыслью, беспрестанно ему внушаемой, также считал себя выше товарищей потому, что не был продан.

Валены благодаря ренте жили припеваючи. Старший сын их отбывал воинскую повинность, второй умер.

Злоба Тювашей, живших по-прежнему в бедности, была поэтому неутолимой. Шарло был единственным по-

мощником старика-отца и надрывался вместе с ним, чтобы прокормить мать и двух младших сестер

Ему исполнился двадцать один год, когда однажды утром перед хижинами остановилась щегольская коляска. Из нее вышел молодой господин с золотой цепочкой от часов и подал руку пожилой седой даме. Дама сказала

— Вот здесь, дитя мое, второй дом.

И он вошел в лачугу Валенов, словно к себе домой.

Старуха-мать стирала свои фартуки; дряхлый отец дремал у очага Оба они подняли головы, когда молодой человек сказал

— Здравствуй, папа; здравствуй, мама!

Старики выпрямились в испуге. Крестьянка от волнения уронила в воду мыло и шептала

— Так это ты, сынок? Так это ты, сынок?

Он заключил ее в объятия и расцеловал, повторяя: «Здравствуй, мама!» Тем временем старик, весь дрожа, говорил спокойным тоном, который ему никогда не изменял: «Вот ты и вернулся, Жан»,— как будто расстался с ним всего лишь месяц назад

Когда они освоились друг с другом, родители пожелали сейчас же пойти с сынком по деревне, чтобы всем его показать. Его повели к мэру, к кюре, к учителю

Шарло, стоя на пороге своей лачуги, видел, как они проходили мимо

Вечером, за ужином, он сказал отцу:

— Как могли вы быть такими дураками, что дали взять мальчишку у Валенов?

Мать отвечала упрямо

— Я не хотела продавать своего ребенка.

Отец не говорил ничего. Сын продолжал:

— Какое несчастье, что меня принесли в жертву!

Тогда старик Тюваш сердито возразил.

— Ты еще будешь упрекать нас, что мы тебя не отдали!

Парень сказал грубо:

— Да, буду, потому что вы дураки! Родители вроде вас — несчастье для детей. Вы заслуживаете того, чтобы я ушел от вас

Старушка плакала над своей тарелкой Хлебая

ложкой суп и проливая при этом половину, она простонала.

— Вот и надрывайся после этого, чтобы вырастить детей!

Тогда парень жестоко выкрикнул

— Лучше бы мне и вовсе не родиться, чем быть таким, каким я стал! Когда я увидел сейчас того, вся кровь во мне застыла. Я подумал: вот каким бы я мог быть теперь

Он поднялся.

— Послушайте, я чувствую, что мне лучше уехать отсюда, потому что я целые дни буду упрекать вас с утра до ночи и отравлю вам жизнь. Знайте, этого я вам никогда не прощу!

Старики молчали, убитые горем, в слезах

Он продолжал

— Нет, думать об этом слишком тяжело. Я лучше пойду зарабатывать хлеб в другом месте

Он отворил дверь. Ворвался шум голосов Это Валены пировали по случаю возвращения сына

Тогда Шарло топнул ногой и, обернувшись к родителям, крикнул

— Черт с вами, мужичье!

И исчез в темноте.

ПЕТУХ ПРОПЕЛ

Рене Бильоту

Берта д'Авансель до сих пор отклоняла все мольбы своего отчаявшегося поклонника, барона Жозефа де Круассар. В течение зимы, в Париже, он пылко преследовал ее, а теперь устраивал в ее честь празднества и охоты в своем нормандском замке Карвиль

Муж Берты, г-н д'Авансель, по обыкновению ничего не замечал, ничего не знал. Он жил, как говорили, врозь с женой по причине своей физической слабости, которой она ему не прощала То был маленький толстый человек, лысый, с короткими руками, короткими ногами, короткой шеей, коротким носом, словом, весь короткий.

Г-жа д'Авансель была, напротив, высокая молодая женщина, темноволосая и решительная, смеявшаяся громким смехом прямо в лицо мужу, который при всех называл ее «госпожой Попот». На широкие плечи, мощное сложение и длинные белокурые усы своего присяжного воздыхателя, барона Жозефа де Круассар, она поглядывала с некоторой нежностью и обнадеживающей улыбкой.

Тем не менее она еще не шла ему навстречу. Барон разорялся на нее Без конца следовали друг за другом торжества, охоты и другие увеселения, на которые он приглашал всю знать из окрестных замков

Целыми днями гончие лаяли в лесах, преследуя лисиц и кабанов; по вечерам же ослепительные фейерверки взлетали огненными султанами к звездам, а ярко освещенные окна гостиной бросали на широкие лужайки полосы света, в которых мелькали тени.

Стояла золотая осень. Листья, словно стая птиц, порхая, слетали на траву. В воздухе чувствовался запах сырой земли, лишавшейся своих покровов, как чувствуется запах нагого тела женщины, когда она, вернувшись с бала, сбрасывает с себя платье

Как-то вечером, на одном из праздников прошлой весны, г-жа д'Авансель ответила барону де Круассар, преследовавшему ее своими мольбами

— Если мне суждено стать вашей, мой друг, то это случится не раньше листопада Летом у меня слишком много дела, и на это не хватит времени.

Он запомнил эти насмешливые и смелые слова и с каждым днем настаивал все сильней и сильней, с каждым днем старался увеличить близость и все больше завоевывал сердце дерзкой красавицы, противившейся, казалось, теперь только для виду

Была назначена большая охота И накануне г-жа д'Авансель, смеясь, сказала барону

— Барон, если вы убьете зверя, то получите кое-что от меня.

Он встал с зарею, чтобы разыскать уединенное логово кабана. Он ходил со своими доезжачими, распределял перемены собак, устраивал все сам, подготовляя свое торжество, и когда рога прогрубили выезд в поле, он появился в узком охотничьем костюме, красном с золотом, плотно обтягивавшем его бедра, широкогрудый, сияющий, свежий и сильный, словно только что с постели

Охотники выехали Поднятый из логова кабан, преследуемый лаем собак, бежал сквозь кустарник, лошади мчались галопом по узким лесным тропинкам, увлекая охотников и амазонок, а по размякшей осенней дороге беззвучно катились экипажи, издали сопровождавшие охоту.

Г-жа д'Авансель лукаво удерживала барона возле себя и, замедляя путь, ехала шагом по бесконечно

длинной прямой аллее, над которой склонялись сводом четыре ряда дубов.

Трепеща от любви и тревоги, он одним ухом внимал насмешливой болтовне молодой женщины, а другим прислушивался к звуку рогов и лаю собак, отдалявшимся все более и более.

— Итак, вы меня больше не любите? — спрашивала она.

Он отвечал:

— Как вы можете говорить такие вещи?

Она продолжала:

— Охота, кажется, занимает вас все-таки больше, нежели я.

Он простонал:

— Вы же сами приказали мне собственноручно убить зверя.

Она сказала серьезно:

— Да, я рассчитываю на это. Вы должны убить его на моих глазах

Тогда, передернувшись в седле, он пришпорил лошадь, которая рванулась вперед, и, теряя терпение, воскликнул:

— Но, черт возьми! Ведь этого не случится, сударыня, если мы останемся здесь!

Она бросила ему, смеясь:

— А между тем надо, чтобы это случилось .. или... или тем хуже для вас

И она нежно заговорила с ним, касаясь рукой его руки или лаская, как бы в рассеянности, гриву его лошади.

Они свернули вправо, на узенькую, глухую тропинку, и внезапно, как бы стараясь отстраниться от ветки, преграждавшей дорогу, она наклонилась к нему так близко, что он почувствовал, как ее волосы щекочут ему шею. Тогда он порывисто обнял ее и, припав к ее виску, поцеловал ее бешеным поцелуем.

Сначала она замерла, отдавшись этой пылкой ласке, потом вдруг повернула голову, и, намеренно или случайно, ее маленький ротик встретил его губы под пышными белокурыми усами.

Затем, то ли смутившись, то ли охваченная раскаянием, она хлестнула лошадь, и та понеслась во весь

опор. Так ехали они долго, не обмениваясь даже взглядом

Шум охоты приближался; вся чаща, казалось, дрожала, и вдруг, ломая ветки, отряхиваясь от собак, вцепившихся в него, пронесся окровавленный кабан

Тогда барон с торжествующим смехом крикнул: «Кто любит меня, за мной!» И исчез в зарослях. Казалось, лес поглотил его

Когда несколько минут спустя г-жа д'Авансель примчалась на полянку, барон поднимался, испачканный, в разорванной куртке, с окровавленными руками, а зверь лежал на земле, и охотничий нож был всажен ему в плечо по самую рукоятку

Раздача собакам кабаньего мяса происходила при свете факелов тихой, меланхолической ночью Луна золотила красное пламя факелов, их смолистый дым стлался туманом в ночи. Собаки пожирали зловонные внутренности кабана, лаяли и дрались А доезжачие вместе с дворянами-охотниками толпились вокруг них и изо всех сил трубили в рога Звуки эти, повторяемые глухим эхом далеких долин, разносились в светлой ночи над лесом, будили беспокоиных оленей, визгливых лисиц и тревожили прыгавших по полянкам серых кроликов

Испуганные ночные птицы метались над обезумевшей собачьей сворой И женщины, взволнованные всей этой красотой и жестокостью, опираясь на руки мужчин, уходили в глубь аллей, не дожидаясь окончания собачьего пира

Истомленная этим днем усталости и любви, г-жа д'Авансель сказала барону

— Не хотите ли, друг мой, пройтись по парку?

Он увлек ее, ничего не ответив, дрожа, изнемогая.

И они тотчас же обнялись Они шли тихо, маленькими шагами, под ветвями деревьев, почти уже оголившихся и пропускавших лунный свет; их страсть, желание, жажда объятий достигли такой силы, что они готовы были упасть у подножия дерева

Рога умолкли. Усталые собаки уже спали на псарне.

— Вернемся,— сказала молодая женщина.

Они пошли обратно.

Очутившись перед замком, она прошептала умирающим голосом.

— Я так утомлена, друг мой, что тотчас же лягу.

Он собирался обнять ее и поцеловать в последний раз, но она убежала, бросив ему на прощанье

— Нет, нет Мне хочется спать Кто любит меня, за мной!

Час спустя, когда молчаливый замок казался совсем вымершим, барон, крадучись, вышел из своей комнаты и легонько постучал в дверь своей возлюбленной Она не ответила; он попробовал открыть. Дверь не была заперта.

Она мечтала, облокотясь на подоконник.

Барон бросился к ее ногам, осыпая ее колени страстными поцелуями сквозь почти неощутимую ткань пеньюара. Она не говорила ни слова и ласковым движением погружала тонкие пальцы в его пышные волосы

Вдруг, высвободившись, словно приняв какое-то чрезвычайно важное решение, она промолвила с обычной смелостью, но понизив голос:

— Я сейчас вернусь Подождите меня

И, вытянув руку в темноте, указала на смутно белевшее в глубине комнаты пятно постели

Взволнованный, он быстро разделся ощупью, дрожащими руками, и улегся на свежие простыни С наслаждением вытянулся, почти забыв о возлюбленной, до того сладостна была эта ласка белья, прикасавшегося к его телу, утомленному движением

Между тем она не возвращалась, по-видимому, забавляясь его томлением. Он закрыл глаза в блаженной истоме и тихо грезил в восхитительном предчувствии сколь долгожданной минуты. Но мало-помалу тело его отяжелело, мысль погрузилась в дремоту, стала неясной, расплывающейся Наконец безграничная усталость сразила его он уснул.

Он спал тяжелым, непробудным сном охотника, утомленного до изнеможения. Он проспал до самой зари

Но внезапно — окно оставалось полуоткрытым —

пропел петух, взлетевший на соседнее дерево. И сразу разбуженный этим звонким криком, барон открыл глаза.

Чувствуя возле себя тело женщины, оказавшись на кровати, которой он не узнавал, изумленный и ничего уже не помнящий, он прошептал спросонья:

— Что такое? Где я? Что это?

Тогда она, не спавшая всю ночь, взглянула на этого взлохмаченного мужчину с красными глазами и отвисшей губой и ответила высокомерно, как обычно говорила с мужем:

— Ничего особенного. Петух пропел. Спите, сударь, вас это не касается.

СЫН

Рене Мезруа

Два старых приятеля гуляли по расцветшему саду, где веселая весна пробуждала новую жизнь.

Один из них был сенатор, другой — член Французской академии, люди солидные, полные мудрых, но несколько торжественно излагаемых мыслей, люди заслуженные и известные

Сначала они поболтали о политике, обмениваясь мыслями не об идеях, а о людях; ведь в этом вопросе на первом месте всегда стоят личности, а не разум Затем они перебрали ряд воспоминаний и умолкли, продолжая идти рядом, размякнув от теплоты весеннего воздуха.

Большая клумба левкоев изливала сладкий и нежный запах; множество цветов всех видов и оттенков примешивали свое благоухание к легкому ветерку, а ракитник, покрытый желтыми гроздьями цветов, рассеивал по воздуху тонкую пыль — золотой дым, пахнущий медом и разносящий кругом, как ласкающую пудру парфюмера, свои благоуханные семена.

Сенатор остановился, вдохнул плодоносное летучее облако, взглянув на сиявшее, подобно солнцу, влюбленное дерево, чьи семена разлетались вокруг, и сказал:

— Подумать только, что эти еле приметные благоухающие пылинки послужат зачатками новой жизни на расстоянии сотен лье отсюда, пробудят трепет в во-

локнах и соках женских деревьев и произведут новые создания, рождающиеся из семени, подобно нам, смертным, которых, как и нас, всегда будут сменять другие, однородные существа!

Затем, остановившись перед сияющим ракитником, жизненосный аромат которого выделялся с каждым колебанием воздуха, г-н сенатор прибавил

— Ах, друг мой, если бы вам пришлось сосчитать своих детей, вы очутились бы в чертовском затруднении. А вот это существо рождает их легко, бросает без угрызений совести и нимало не заботится о них.

Академик заметил:

— Мы поступаем так же, мой друг.

Сенатор возразил:

— Да, не отрицаю, иногда мы бросаем их, но, по крайней мере, сознаем это, и в этом наше преимущество

Но собеседник покачал головой:

— Нет, я не то хочу сказать; видите ли, дорогой мой, не найдется мужчины, у которого не было бы неведомых ему детей, так называемых детей от неизвестного отца, созданных им, подобно тому, как создает это дерево,— почти бессознательно.

Если бы пришлось счесть всех женщин, которыми мы обладали, то мы очутились бы, не правда ли, в не меньшем затруднении, чем этот ракитник, случись ему перечислить свое потомство.

С восемнадцати и до сорока лет, если включить в счет все случайные встречи, все мимолетные связи, можно допустить, что у нас были . близкие отношения с двумя или тремястами женщин.

Ну, так уверены ли вы, друг мой, что вы не оплодотворили хотя бы одну из множества этих женщин и что у вас где-нибудь на улице или на каторге нет шалопая-сына, обкрадывающего и убивающего честных людей, то есть нас с вами, что у вас нет дочери, живущей в каком-либо притоне или — если ей повезло и она была покинута матерью — служащей кухаркой в какой-нибудь семье?

Подумайте также о том, что почти все женщины, именуемые нами *публичными,* имеют по одному, а то и по два ребенка, отца которых они не знают и ко-

торые были зачаты случайно, во время объятий, оплачиваемых десятью — двадцатью франками Во всяком ремесле ведется счет прибылей и убытков. Эти отпрыски составляют *убыток* в профессии их матерей. Кто их отцы? Вы, я, мы все, так называемые *порядочные люди!* Это результаты наших бесшабашных дружеских обедов, наших веселых вечеров, тех часов, когда сытая плоть влечет нас к случайным связям.

Воры, бродяги — словом, все отверженные люди, в конце концов,— наши дети. И еще наше счастье, что не они наши отцы, потому что ведь эти негодяи, в свою очередь, производят на свет детей!

Послушайте, лично у меня на совести очень скверная история, которую я вам расскажу Для меня это источник непрестанных угрызений совести и, больше того, источник вечных сомнений и постоянной неуверенности, которые порою жестоко терзают меня

Мне было двадцать пять лет, когда я с одним из моих приятелей, ныне видным чиновником, предпринял путешествие пешком по Бретани.

После двух — трех недель непрерывной ходьбы, посетив Кот дю Нор и часть Финистера, мы прибыли в Дуарнене, оттуда в один переход достигли пустынного мыса Раз, переправившись через бухту Трепассе, и ночевали в какой-то деревушке, название которой кончалось на *оф;* когда настало утро, странное утомление удержало моего товарища в постели. Я говорю о постели по привычке, потому что на этот раз ложе наше состояло всего из двух вязанок соломы.

Хворать в таком месте невозможно Поэтому я принудил его встать, и к четырем или пяти часам вечера мы пришли в Одиерн

На другой день ему стало немного лучше; мы снова пустились в путь; но дорогою он почувствовал сильное недомогание, и мы еле-еле добрались до Пон-Лаббе

Там, по крайней мере, мы отыскали трактир. Мой приятель слег, и доктор, вызванный из Кемпера, определил у него сильную лихорадку, хотя и не мог еще выяснить ее характер.

Знаете ли вы Пон-Лаббе? Нет? Ну, так это наиболее бретонский городок из всей этой бретоннейшей Бретани, которая тянется от мыса Раз до Морбигана, края, представляющего собою квинтэссенцию бретонских нравов, легенд и обычаев Этот уголок нашей страны еще и поныне почти не изменился Я говорю *еще и поныне,* так как езжу теперь туда, увы, ежегодно.

Старый замок купает подножия своих башен в волнах огромного печального-печального озера, над которым носятся дикие птицы Из него вытекает река, по которой небольшие суда могут подниматься до самого города По узким улицам со старинными домами расхаживают мужчины в широкополых шляпах, вышитых жилетах и четырех куртках, надетых одна на другую. первая из них, величиною с ладонь, едва прикрывает их лопатки, а последняя спускается до самых штанов.

У девушек, высоких, красивых, свежих, грудь стиснута суконным жилетом в виде кирасы, не позволяющим даже рассмотреть их сильные шеи, они убирают волосы особенным образом. на висках два пестро вышитых круга обрамляют лицо, стягивают волосы, которые падают волной назад, а затем подбираются на макушке головы под особый чепец, нередко затканный золотом или серебром

Служанке нашего трактира было не более восемнадцати лет; ее голубые, светло-голубые глаза были пронизаны двумя черными точками зрачков, а мелкие, частые зубы, которые она, смеясь, беспрестанно показывала, казалось, были созданы для того, чтобы дробить гранит.

Она не знала ни слова по французски и, как большинство ее земляков, говорила только по-бретонски.

Друг мой не поправлялся, и хотя у него не обнаружилось никакой болезни, врач пока запрещал ему продолжать путешествие, предписывая полный покой Итак, я проводил целые дни у его постели, а маленькая служанка ежеминутно входила в нашу комнату, принося то обед для меня, то питье для больного.

Я слегка поддразнивал ее, что, по-видимому, ей нравилось, но мы, конечно, не разговаривали, так как не понимали друг друга.

Но вот однажды ночью, поздно засидевшись у постели больного, пробираясь в свою комнату, я встретился с молодой девушкой, идущей к себе. Это было как раз против моей открытой двери, и вдруг, не думая о том, что я делаю, скорее в шутку, чем всерьез, я обхватил ее талию и, прежде чем она опомнилась от изумления, втолкнул ее к себе и запер дверь. Она глядела на меня в испуге, обезумев от ужаса, не смея кричать из боязни скандала, из страха, сначала, по-видимому, перед хозяевами, а затем, быть может, и перед своим отцом.

Я сделал это смеха ради, но когда она очутилась в моей комнате, меня охватило желание обладать ею. То была долгая и молчаливая борьба, борьба телом к телу, на манер атлетов, наши руки были вытянуты, судорожно сжаты, перекручены, по коже струился пот. О, она упорно защищалась; иногда мы натыкивались на перегородку, на стул или на какую-нибудь другую мебель; тогда, не разжимая объятий, мы замирали на несколько секунд, в страхе, как бы наш шум не разбудил кого-нибудь, а затем возобновляли свою ожесточенную борьбу: я нападал, она защищалась.

Наконец она упала в изнеможении; я овладел ею грубо, тут же на полу.

Едва встав, она кинулась к двери, отперла задвижку и убежала.

В следующие дни я едва видел ее. Она не позволяла мне приблизиться к себе. Когда мой товарищ выздоровел и мы могли продолжать свое путешествие, накануне моего отъезда, в полночь, она пришла, босая, в одной рубашке, в мою комнату, куда я только что удалился.

Она бросилась ко мне, страстно обняла и затем до рассвета целовала меня, ласкала, плача, рыдая, доказывая мне свою любовь и отчаяние всеми средствами, которыми располагает женщина, не знающая ни слова на нашем языке.

Через неделю я уже позабыл об этом приключении, столь обыкновенном и частом в путешествиях; обычно ведь трактирные служанки и обречены на то, чтобы так развлекать путешественников

Тридцать лет я не вспоминал об этом случае и не возвращался в Пон-Лаббе.

В 1876 году я вернулся туда случайно, во время прогулки по Бретани, когда я собирал материалы для своей книги и хотел хорошенько проникнуться пейзажами этой страны.

Ничто, казалось, не изменилось. Замок по-прежнему купал свои сероватые стены в водах озера при въезде в городок; и трактир был тот же, хотя и отделанный, подновленный, более отвечавший современным вкусам. При входе меня встретили две молодые бретонки лет по восемнадцати, свежие и миленькие, обтянутые в броню своих суконных жилетов, в чепцах, расшитых серебром, с большими вышитыми кругами, закрывающими уши

Было около шести часов вечера. Я сел за стол в ожидании обеда, и так как хозяин во что бы то ни стало захотел подавать мне самолично, какая то роковая случайность заставила меня спросить:

— Знавали ли вы прежних хозяев этого дома? Я провел здесь несколько дней лет тридцать тому назад. Я говорю вам о далеком прошлом.

Он отвечал:

— То были мои родители, сударь.

Тогда я рассказал, при каких обстоятельствах я останавливался тут и как был задержан болезнью товарища. Он не дал мне окончить:

— О, отлично помню. Мне в то время было лет пятнадцать или шестнадцать. Ваша спальня была в глубине, а ваш друг спал в той комнате, где живу теперь я; она выходит на улицу.

Только тогда живо вспомнилась мне молоденькая служанка. Я спросил:

— А не помните ли вы хорошенькую служаночку, жившую тогда у вашего отца; если память мне не изменила, у нее были чудесные голубые глаза и белые зубы?

Он сказал:

— Да, сударь, она умерла от родов вскоре после вашего отъезда

И, протягивая руку по направлению к двору, где убирал навоз какой-то худощавый и хромой человек, он прибавил:

— Вот ее сын.

Я засмеялся

— Ну, он неказист и совсем непохож на мать. Он, без сомнения, в отца.

Трактирщик сказал

— Возможно, но кто его отец, так и осталось неизвестным. Она умерла, не сказав этого, а здесь никто не знал ее любовника. Все были прямо-таки поражены, когда выяснилось, что она беременна. Никто не хотел верить этому

Меня охватила неприятная дрожь, и я испытал словно какое-то тягостное прикосновение к сердцу, как бывает в предчувствии большого горя Я взглянул на человека во дворе. Он только что зачерпнул воды для лошадей и нес, прихрамывая, два ведра, мучительно припадая на более короткую ногу. Он был в лохмотьях и отвратительно грязен, его длинные желтые волосы так сбились, что спадали ему на щеки наподобие веревок

Трактирщик прибавил:

— Он ни на что не годен, его оставили в доме из жалости Быть может, он вышел бы и лучше, если бы воспитывался, как все. Но что прикажете, сударь? Ни отца, ни матери, ни денег! Мои родители жалели ребенка, но, понятно, он был им не родной

Я промолчал

Я лег спать в своей прежней комнате и всю ночь думал об этом ужасном конюхе, повторяя: «А что, однако, если это мой сын? Неужели же я мог убить эту девушку и породить такое существо?» В конце концов ведь это было возможно!

Я решил поговорить с этим человеком и узнать точно день его рождения. Разница в двух месяцах рассеяла бы мои сомнения

На другой день я позвал его Но он также ни слова не говорил по-французски. Вдобавок, у него был

такой вид, как будто он вообще ничего не понимал. Он совершенно не знал, сколько ему лет, когда одна из служанок спросила его об этом по моей просьбе. Он стоял передо мной с идиотским видом, мял шляпу своими отвратительными узловатыми лапами и бессмысленно смеялся, но в уголках его глаз и губ было что-то от смеха матери.

Подоспевший хозяин отыскал метрику несчастного. Он родился восемь месяцев и двадцать шесть дней спустя после моего пребывания в Пон Лаббе, так как я хорошо помнил, что приехал в Лорпан пятнадцатого августа В бумаге была пометка «Отец неизвестен». Мать звали Жанной Керрадек

Сердце мое теперь учащенно билось Я не мог больше говорить, до того я задыхался, я смотрел на этого зверя, длинные желтые волосы которого казались грязнее подстилки для скота; смущенный моим взглядом оборванец перестал смеяться, отвернулся и поспешил уйти.

Весь день пробродил я вдоль речки, горестно размышляя Но к чему было размышлять? Я ничего не мог решить. В течение нескольких часов взвешивал я все доводы за и против моего отцовства, мучая себя бесплодными предположениями и снова возвращаясь к той же ужасной неуверенности или к еще более ужасному убеждению, что этот человек был моим сыном

Я не мог обедать и ушел в свою комнату Мне долго не удавалось заснуть; наконец сон пришел; это был сон, полный невыносимых видений. Я видел этого неряху, смеявшегося мне в лицо и называвшего меня «папа», затем он превратился в собаку, кусал меня за икры, и, куда бы я ни убегал, он всюду следовал за мной, но, вместо того, чтобы лаять, осыпал меня бранью; потом он появился перед моими коллегами по академии, собравшимися, чтобы решить вопрос, был ли я его отцом, один из них восклицал: «Это не подлежит сомнению! Взгляните же, как он похож на него» В самом деле, я замечал, что это чудовище было похоже на меня. Я проснулся с этой мыслью, плотно засевшей у меня в голове, с безумным желанием снова увидеть этого человека и ре-

шить, действительно ли мы похожи друг на друга.

Я догнал его, когда он шел к мессе (было воскресенье), и дал ему сто су, боязливо взглянув на него. Он снова противно засмеялся, взял деньги и, опять смущенный моим взглядом, убежал, пробурчав непонятное слово, которое, наверно, должно было означать «благодарю».

День прошел для меня в такой же тоске, как и накануне. К вечеру я позвал трактирщика и, прибегая к ловкости и хитрости, сказал ему, со множеством предосторожностей, что заинтересовался этим несчастным существом, столь заброшенным всеми и всего лишенным, и что мне хотелось бы что-нибудь для него сделать.

Но хозяин возразил:

— Ах, бросьте эту мысль, сударь, он ни к чему не годен, и вы не оберетесь с ним неприятностей. Я заставляю его чистить конюшню, и это единственное, на что он способен. За это я его кормлю, а спит он вместе с лошадьми. Больше ему ничего и не надо. Если у вас есть старые штаны, отдайте их ему, но уже через неделю они превратятся в лохмотья.

Я не настаивал, решив подумать.

Каналека вернулся к вечеру вдребезги пьяный, чуть не устроил пожар в доме, заступом покалечил лошадь и в довершение всего уснул в грязи под дождем, по милости моих щедрот.

На другой день меня попросили не давать ему больше денег. Водка делала его безумным, и едва только в кармане у него заводились два су, он их пропивал. Трактирщик прибавил: «Давать ему деньги — значит желать ему смерти». У конюха их никогда не было, совершенно никогда, если не считать нескольких сантимов, брошенных ему путешественниками, и он не знал иного назначения для этого металла, кроме кабака.

После этого разговора я стал проводить целые часы в своей комнате, с открытой книгой в руках, притворяясь, будто читаю, на самом же деле только и разглядывая это животное — моего сына! моего сына!— и стремясь отыскать в нем какое-нибудь сходство с собой. В конце концов мне почудилось что-то общее в линиях лба и в основании носа, и вскоре я был убежден в существовании сходства между нами, кото-

рое не бросалось в глаза только из-за костюма и отвратительной гривы этого человека.

Но я не мог оставаться более, не возбуждая подозрения, и уехал с сокрушенным сердцем, оставив трактирщику немного денег, чтобы несколько скрасить тяжелую жизнь его конюха

И вот уже шесть лет, как я живу с этой мыслью. в этой ужасной неуверенности, с этим отвратительным сомнением И ежегодно неодолимая сила влечет меня снова в Пон-Лаббе Каждый год я сам осуждаю себя на пытку — смотреть, как это животное шлепает по навозу, воображать, что он на меня похож, изыскивать — и постоянно бесплодно — способы быть ему полезным. И каждый год я возвращаюсь оттуда еще более измученный сомнениями и тревогой.

Я попробовал было его обучать. Он — безнадежный идиот.

Я пытался несколько облегчить ему жизнь Он неисправимый пьяница и пропивает все, что ему дают; кроме того, он очень хорошо умеет продавать свое новое платье, чтобы раздобыть себе водки.

Я попробовал разжалобить его хозяина с тем, чтобы он проявлял больше заботы о своем конюхе, и постоянно предлагал ему для этого денег. Трактирщик в конце концов весьма разумно ответил мне

— Все, что бы вы ни сделали для него, сударь, поведет лишь к его гибели. С ним нужно обращаться, как с арестантом Как только у него бывает свободное время или заведутся деньги, он становится опасным Если вы желаете делать добро, то поищите — в покинутых детях нет недостатка,— но выберите такого, который оправдал бы ваши заботы

Что было сказать на это?

Если бы я допустил, чтобы те сомнения, которые меня терзали, сделались подозрительными в глазах окружающих, этот кретин, разумеется, употребил бы всю свою хитрость, чтобы эксплуатировать меня, осрамить и погубить Он кричал бы мне «папа», как в моем кошмаре.

И я признался себе в том, что убил мать и погубил это чахлое существо, конюшенную личинку, выросшую и сформировавшуюся на навозе, этого человека,

который, будучи воспитан, как другие, стал бы не хуже их

Вы и представить себе не можете того странного, смутного и невыносимого чувства, которое я испытываю перед ним, думая о том, что он плоть от плоти моей, что он связан со мной тесными узами, соединяющими сына с отцом, что, в силу ужасных законов наследственности, он является мной по тысяче причин и что у него со мной те же зародыши болезней, те же ферменты страстей.

Меня непрестанно мучает болезненная, неутолимая потребность видеть его, а его вид заставляет меня невыразимо страдать; из своего окна в гостинице я целыми часами смотрю, как он переворачивает и возит конский навоз, и твержу себе:

— Это мой сын!

И порою я испытываю нестерпимое желание поцеловать его. Но я никогда даже не дотронулся до его грязной руки.

Академик умолк, а его собеседник, политический деятель, прошептал.

— Да, действительно, мы должны бы немного больше интересоваться детьми, у которых нет отцов.

Промчался порыв ветра, ракитник шевельнул своими желтыми гроздьями и окутал тонким и благоуханным облаком обоих стариков, вдохнувших его всей грудью

И сенатор добавил:

— А все-таки хорошо иметь двадцать пять лет и производить детей... даже таких.

«СВЯТОЙ АНТОНИЙ»

Ке Шарму

Его прозвали «Святым Антонием» потому, что его имя было Антоний, а может быть, также и за то, что он был затейник, весельчак, шутник, любитель поесть и здорово выпить и большой охотник задирать юбки служанкам, несмотря на свои шестьдесят с лишним лет

Это был высокий крестьянин, уроженец Ко, загорелый, с жирной грудью и толстым животом; длинные ноги Антония казались чересчур худыми для его полного тела

Он был вдов и жил один со служанкой и двумя работниками на ферме, которой управлял, как старый плут, радевший о своих выгодах, опытный в делах, в разведении скота и в обработке земли Оба его сына и три дочери, удачно женившиеся и вышедшие замуж, жили в окрестностях и раз в месяц приезжали к отцу обедать Во всей округе он славился силой; сложилась своего рода поговорка· «Силен, как святой Антоний»

Перед вторжением пруссаков Святой Антоний, сидя в кабаке, грозился проглотить целую армию, потому что он был хвастуном, как истинный нормандец, который всегда немножко трус и бахвал. Он колотил кулаком по деревянному столу — тот при этом подскакивал, и на нем прыгали чашки и рюмки — и в припадке притворного гнева кричал, побагровев и с

лукавым взглядом: «Черт побери, придется-таки мне их отведать!» Он рассчитывал, что пруссаки не дойдут до Танвиля, но когда узнал, что они уже в Рото, перестал выходить из дома и беспрестанно поглядывал на дорогу в кухонное окошечко, каждую минуту ожидая увидеть штыки.

Как-то утром, когда он завтракал со своими работниками, дверь отворилась и появился деревенский мэр, кум Шико, в сопровождении солдата в черной каске с медным острием. Святой Антоний вскочил с места. Все смотрели на него, ожидая, что он вот-вот растерзает пруссака, но он ограничился тем, что пожал руку мэру, который сказал ему:

— Вот один и на твою долю, Святой Антоний. Они пришли сегодня в ночь. Не делай никаких глупостей: они грозятся расстрелять всех и сжечь всю деревню, если хоть что-нибудь случится. Предупреждаю тебя. Накорми его, по виду он славный малый. Прощай, иду к другим. Их хватит на всех.

И он вышел.

Дядя Антоний, побледнев, взглянул на пруссака. Это был толстый парень, голубоглазый и светловолосый, заросший бородой до самых скул; он казался глуповатым, робким и добрым. Хитрый нормандец тотчас же раскусил его и, успокоившись, подал ему знак сесть. Затем спросил: «Не хотите ли супу?» Чужеземец не понял. Тогда Антоний расхрабрился и, поднеся к его носу полную тарелку, сказал.

— Ну, жри, толстая свинья.

Солдат сказал «ja»[1] и принялся жадно есть, а торжествующий фермер, чувствуя, что его репутация восстановлена, подмигнул работникам, которые делали страшные гримасы, испытывая в одно и то же время немалый страх и желание покатиться со смеху.

Когда пруссак поглотил все, что было в тарелке, Святой Антоний подал ему вторую; он очистил и ее, но отступил перед третьей, которую фермер заставлял его съесть насильно, повторяя

— Ну-ка, пихни и это в свое брюхо. То-то разжиреешь, свинья моя!

---

[1] Да *(нем.)*.

А солдат, понимая лишь, что его хотят накормить до отвала, смеялся довольным смехом, показывая жестом, что он сыт по горло.

Тогда Святой Антоний, настроившись совсем на приятельский лад, похлопал его по животу и воскликнул:

— Туго набито брюхо у моей свиньи!

Но вдруг он скорчился, побагровев, словно вот-вот его должен был хватить удар и не имея сил произнести больше ни слова. Мысль, пришедшая ему в голову, заставляла его задыхаться от смеха·

— Так, так, Святой Антоний и его свинья. Вот она, моя свинья.

Служанка и работники тоже расхохотались.

Старик был так доволен, что велел принести самой лучшей водки — старой настойки — и угостил ею всех. Все чокались с пруссаком, который льстиво щелкал языком, желая этим сказать, что находит водку превосходной. А Святой Антоний кричал ему в самое лицо:

— Ага? Вот это водка! Такой ты не выпьешь у себя, свинья моя.

С тех пор дядя Антоний никуда не ходил без пруссака. Это сделалось его главным занятием и его местью, местью хитрого толстяка. Вся деревня, боявшаяся пруссаков до смерти, смеялась до упаду за спиной победителей над проделками Святого Антония. Уж в шутке, право, никто не мог с ним сравняться Только он один умел такое придумать Ах, старый плут!

Каждый день после полудня он отправлялся к соседям под руку со своим немцем, которого он весело представлял, хлопая его по плечу.

— Вот вам моя свинья! Посмотрите-ка, до чего разжирела эта скотина.

И лица у крестьян расплывались·

— Уж и забавник же этот мерзавец Антоний!

— Могу продать его тебе, Сезэр, за три пистоли.

— По рукам, Антоний, и приглашаю тебя есть колбасу

— Ну, а я бы взял только его ножки

— Да ты живот-то пощупай и увидишь· одно сало.

И все перемигивались и посмеивались, но исподтишка, боясь, как бы пруссак в конце концов не догадался,

что над ним потешаются. Один Антоний становился с каждым днем все смелее, щипал его за ляжки и кричал «Одно сало!» — хлопал по заду и ревел: «Сплошь свиная кожа»,— поднимал его своими руками, руками старого великана, способного носить наковальню, и заявлял

— Шестьсот кило веса и никакой усушки!

Он усвоил привычку заставлять хозяев угощать его свинью всюду, куда бы он с ней ни являлся. Это было громадным удовольствием и ежедневным развлечением

— Давайте ему, что хотите, он все слопает

И немцу давали хлеб с маслом, картофель, холодную говядину; давали также колбасу, приговаривая

— Ваша собственная, и притом лучший сорт.

Глупый и кроткий солдат ел из вежливости, восхищенный этим вниманием, ел до боли, чтобы только не отказывать; и он действительно так разжирел, что ему становилось тесно в мундире, это приводило в восторг Святого Антония, и он твердил.

— Знаешь, свинья, придется для тебя сделать хлев попросторней.

Они стали, впрочем, лучшими друзьями в мире; и когда старик отправлялся в окрестности по своим делам, пруссак добровольно сопровождал его ради удовольствия быть вместе с ним.

Погода стояла суровая; сильно морозило; казалось, жестокая зима 1870 года насылала на Францию все бедствия.

Дядя Антоний, любивший делать запасы впрок и пользоваться разными удобными случаями, предвидел на этот раз, что для весенних работ у него не хватит навоза, и поэтому купил его у соседа, находившегося в нужде; было условлено, что каждый вечер он будет приезжать со своей телегой и забирать навоз

И вот с наступлением вечера он ежедневно отправлялся на ферму Оль, находившуюся в полульé от его дома, и всегда в сопровождении своей свиньи. И каждый раз происходило празднество кормления животного. Вся деревня сбегалась туда, как по воскресеньям сходятся к мессе.

Солдат между тем начинал не доверять окружающим, и когда смеялись чересчур громко, он беспокойно вращал глазами, в которых порою вспыхивали искры гнева.

Однажды вечером, съев сколько мог, он не захотел проглотить больше ни одного куска и попробовал встать, чтобы уйти Но Святой Антоний остановил его и, положив ему на плечи свои мощные руки, заставил его сесть с такой силой, что под солдатом сломался стул.

Разразилась буря смеха, а сияющий Антоний, поднимая с пола свою свинью, делал вид, что перевязывает ей раны, чтобы их исцелить; затем он заявил

— Если ты не хочешь больше есть, то будешь пить, черт побери!

Послали в кабак за водкой.

Солдат сердито выкатывал глаза, но, тем не менее, пил, он пил сколько требовали, а Святой Антоний не отставал от него, к великому удовольствию всех присутствующих.

Нормандец, красный, как помидор, с горящими глазами, наливал стаканы, чокался и ревел: «За твое здоровье!» А немец, не говоря ни слова, залпом вливал в себя раз за разом коньяк.

Это была борьба, битва, реванш! Кто кого перепьет, черт возьми? Когда литр был осушен, ни один не был уже в состоянии пить больше. Но никто из них не был и побежден. Они шли нога в ногу, вот и все. Придется начинать сначала в следующий раз.

Они вышли, пошатываясь, и отправились в путь, идя рядом с телегой навоза, которую медленно тащила пара лошадей

Падал снег, и безлунной ночью печально белела мертвая равнина. Холод пробирал их, и это лишь усиливало их опьянение; Святой Антоний, недовольный тем, что не одержал победы, забавлялся, толкая свою свинью плечом, чтобы свалить пруссака в канаву. Солдат, отступая, избегал толчков и всякий раз раздраженным тоном произносил несколько слов по-немецки, заставлявших крестьянина покатываться со смеху. Наконец пруссак рассердился и в ту минуту, когда Антоний собирался угостить его новым пинком, ответил ему

страшным ударом кулака, от которого великан зашатался.

Тогда Антоний, возбужденный водкой, схватил солдата в охапку, тряхнул его несколько раз, как ребенка, и швырнул изо всех сил на другую сторону дороги. Потом, довольный этим наказанием, скрестил руки и захохотал снова.

Но солдат быстро встал, с обнаженной головой — его каска скатилась на дорогу,— и, выхватив саблю, бросился на дядю Антония.

Увидев это, крестьянин перехватил посередине свой кнут, длинный кленовый кнут, прямой, крепкий и гибкий, как воловья жила.

Пруссак подошел, нагнув голову, вытянув саблю, готовый на убийство. Но старик схватил лезвие сабли, острый конец которого должен был распороть ему живот, отвел его в сторону и рукояткой кнута с размаху ударил в висок врага; тот повалился у его ног.

В испуге, отупев от изумления, взглянул он на тело, сначала судорожно вздрагивавшее, а затем неподвижно вытянувшееся на животе. Он нагнулся, перевернул его и пристально осматривал несколько минут. Пруссак лежал с закрытыми глазами; струйка крови сочилась из небольшой ранки в углу лба. Несмотря на то, что была ночь, дядя Антоний различил темное пятно крови на снегу.

Он застыл на месте, в полной растерянности, а медленно шагавшие лошади увозили телегу все дальше и дальше.

Что делать? Его расстреляют! Ферму сожгут, разорят всю округу! Что делать? Что делать? Куда спрятать тело, как скрыть убийство, обмануть пруссаков? Среди глубокого безмолвия снегов он услыхал вдали чьи-то голоса. Обезумев, он поднял каску, надел ее на свою жертву и, схватив пруссака поперек тела, поднял его, побежал, догнал телегу и бросил тело в навоз. Приехав домой, он что-нибудь придумает.

Крестьянин шел медленно, ломая себе голову, и не находил никакого выхода. Он уже видел, уже чувствовал себя погибшим. Он въехал к себе во двор. В слуховом окне блестел свет,— служанка еще не спала; он быстро подвинул телегу к краю навозной ямы. Сообра-

зив, что тело, лежавшее наверху, прежде всего свалится в яму, он опрокинул воз.

Как он и предвидел, тело оказалось похороненным под навозом Антоний сровнял кучу вилами, затем тут же воткнул их в землю. Он позвал конюха, приказал поставить лошадей в конюшню и пошел в свою комнату

Он лег, не переставая думать о том, что ему теперь делать, но ни одна мысль не приходила в голову, и его ужас рос в безмолвии ночи. Его расстреляют! Он вспотел от страха, зубы его стучали, он приподнялся, дрожа, как в лихорадке, не имея сил оставаться дольше в постели

Он спустился в кухню, достал из буфета бутылку водки и снова поднялся к себе. Выпив залпом два стакана, он подбавил к старому опьянению новое, но не успокоил своей душевной тревоги! И здорово же он его свистнул, черт побери!

Он ходил взад и вперед, придумывая разные хитрости, объяснения, увертки, и то и дело прополаскивал себе горло рюмочкой водки, чтобы подбодриться.

Но ничего не мог придумать, ровнехонько ничего.

В полночь его цепной пес, волкодав, прозванный Истребителем, принялся выть, как собаки воют по покойнику. Дядя Антоний почувствовал озноб до мозга костей, и всякий раз, когда собака возобновляла свой зловещий заунывный вой, мороз пробегал у старика по коже.

Он упал на стул, не имея сил двигаться, разбитый, ошалевший, ожидая в тоске, что Истребитель снова завоет, его потрясали приступы ужаса, от которых трепещут наши нервы

Часы внизу пробили пять Собака не умолкала Крестьянин начинал сходить с ума. Он встал и вышел, чтобы спустить ее с цепи и больше не слышать лая. Сойдя вниз, он отпер дверь и сделал несколько шагов в темноте ночи

Снег все падал. Кругом было бело Постройки фермы казались на фоне снега большими черными пятнами. Он подошел к конуре. Собака рвалась с цепи. Он спустил ее. Истребитель сделал прыжок, затем остановился, ощетинившись, упершись лапами в землю, оска-

лив зубы и вытянув морду по направлению к навозной яме.

Святой Антоний, дрожа с головы до ног, прошептал: «Что с тобою, поганая тварь?» — и сделал несколько шагов, впиваясь взглядом в неясный сумрак, в тусклый сумрак двора.

И вот он увидел фигуру, человеческую фигуру, сидящую на куче навоза!

Он смотрел на нее, пораженный ужасом, и еле дышал. Но вдруг, заметив возле себя рукоятку вил, воткнутых в землю, вырвал их в одном из тех приступов страха, которые делают смелым самого безнадежного труса, бросился вперед, чтобы хорошенько разглядеть, кто перед ним.

Это был он, его пруссак, вылезший из-под слоя нечистот, которые его согрели и оживили. Он кое-как сел, да так и остался под сыпавшимся на него снегом, весь в грязи и крови, еще отупелый от вина, оглушенный ударом, изнуренный потерей крови.

Увидев Антония, но слишком одурев, чтобы понять что-либо, он сделал попытку подняться. Но едва старик узнал солдата, как вскипел, словно бешеный зверь, и забормотал.

— Ах, свинья, свинья! Ты еще не околел! Ты сейчас меня выдашь . Погоди . Погоди!

И он рванулся к нему, выбросив изо всей силы вперед вилы, поднятые, словно копье, и глубоко всадил немцу в грудь все четыре железных острия.

Солдат упал навзничь, испуская долгий предсмертный вздох, между тем как старый крестьянин, выдернув свое оружие из раны, вонзал его, как одержимый, снова и снова в живот, в бока, в шею пруссака, протыкая по всем направлениям его трепещущее тело, из которого кровь струилась ручьями.

Затем он остановился, задыхаясь от своей исступленной работы, жадно глотая воздух, успокоенный совершенным убийством.

Но петухи запели в курятниках и начинало светать, поэтому он снова принялся за дело, чтобы схоронить убитого.

Вырыв в навозе яму до самой земли, он начал рыть

еще глубже, работая беспорядочно и с бешеной силой, яростно двигая руками и всем туловищем.

Когда яма была достаточно глубока, он вилами скатил в нее труп, засыпал его землей, долго утаптывал ее, сложил на прежнее место навоз и усмехнулся, видя, как густые хлопья снега довершали его работу, заметая оставшиеся следы своим белым покровом.

Затем он снова воткнул вилы в навозную кучу и вернулся в дом. Бутылка с водкой, выпитая до половины, стояла на столе. Он залпом осушил ее, бросился на постель и крепко заснул.

Проснулся он трезвый, спокойный и бодрый, способный отдать себе отчет в случившемся и предвидеть последствия.

Через час он бегал по деревне, расспрашивая повсюду о своем солдате. Он добрался до самих немецких офицеров, чтобы узнать, как он говорил, почему у него отобрали парня.

Их дружеские отношения были известны, никто не заподозрил его; он помогал даже разыскивать пруссака, утверждая, что тот каждый вечер отправлялся побегать за юбками.

Старый отставной жандарм, имевший красивую дочку и постоялый двор в соседней деревне, был арестован и расстрелян.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВАЛЬТЕРА ШНАФФСА

Роберу Пеншону

С той минуты как Вальтер Шнаффс вступил в пределы Франции в рядах армии завоевателей, он почитал себя несчастнейшим из смертных. Он был толст, ходил с трудом, страдал одышкой, и у него страшно болели ноги, плоские и очень жирные. Кроме того, по натуре он был миролюбив, приветлив, ни в какой мере не воинственен и не кровожаден, у него было четверо детей, которых он обожал, и молодая белокурая жена, ласки, заботы и поцелуи которой он отчаянно оплакивал каждый вечер. Он любил вставать поздно, а укладываться спозаранку, не спеша есть вкусные вещи и сидеть за кружкой пива в пивных. Кроме того, он был уверен в том, что все приятные стороны жизни исчезнут вместе с нею, и таил в сердце своем ужасную — инстинктивную и в то же время сознательную — ненависть к пушкам, ружьям, револьверам, саблям, а в особенности к штыкам, так как чувствовал себя неспособным с достаточным проворством действовать этим стремительным оружием, чтобы защищать свой толстый живот.

Ночью, завернувшись в шинель и лежа на земле рядом с храпевшими товарищами, он подолгу раздумывал о близких, оставшихся на родине, и об опасностях, которыми был усеян его путь. Если его убьют, что станется с малютками? Кто их будет кормить и воспитывать? Да и теперь-то они не богаты, несмотря на долги,

сделанные им перед отъездом, чтобы оставить родным хоть немного денег. И Вальтер Шнаффс плакал не раз.

В начале каждого сражения он чувствовал такую слабость в ногах, что готов был упасть, если бы только не помнил, что вся армия пройдет по его телу От свиста пуль поднимался дыбом каждый волосок на его голове.

Целые месяцы жил он так, в страхе и тоске

Армейский корпус, в котором он служил, продвигался к Нормандии, и вот однажды он был послан на рекогносцировку с небольшим отрядом, которому надлежало только обследовать часть местности и затем отступить. Все кругом, казалось, было спокойно; ничто не указывало на возможность подготовленного отпора.

Пруссаки не спеша спускались в маленькую долину, прорезанную глубокими оврагами, как вдруг жестокая пальба, свалив сразу человек двадцать, заставила их остановиться, и отряд вольных стрелков, внезапно выскочив из маленького, величиною чуть ли не с ладонь, леска, сомкнув штыки, бросился вперед.

Вальтер Шнаффс сначала не двинулся с места он был так поражен и растерян, что и не думал бежать. Затем им овладело безумное желание обратиться в бегство, но он тотчас же вспомнил, что бегает, как черепаха, в сравнении с сухопарыми французами, бежавшими вприпрыжку, словно стадо коз Тогда, увидев шагах в шести от себя широкий ров, заросший мелким кустарником с сухими листьями, он прыгнул туда, не подумав даже о его глубине, как прыгают с моста в реку.

Он пролетел, как стрела, сквозь толстый слой ползучих растений и острых колючек, исцарапавших ему лицо и руки, и тяжело плюхнулся задом на каменистое дно.

Подняв тотчас глаза, он увидел небо сквозь пробитое им отверстие. Это предательское отверстие могло его выдать, и он с предосторожностью пополз на четвереньках по дну ямы, под прикрытием сплетавшихся между собой ветвей, передвигаясь как можно быстрее и удаляясь от места сражения Затем он остановился и снова сел, притаясь, как заяц, в высокой сухой траве.

В течение некоторого времени он еще слышал выстрелы, крики и стоны Потом шум битвы стал сла-

беть и наконец совсем стих. Все снова погрузилось в молчание.

Вдруг возле него что-то зашевелилось. Он вскочил в ужасном испуге То была маленькая птичка, опустившись на ветку, она шевельнула сухие листья. Почти целый час после этого сердце Вальтера Шнаффса билось сильно и учащенно.

Наступила ночь, наполняя ров темнотою. Солдат принялся размышлять. Что ему делать? Что с ним будет? Догнать армию?.. Но как это сделать? По какой дороге? И ему придется начать сызнова эту безобразную жизнь, полную тоски, страха, усталости и страданий, которую он вел с начала войны! Нет! Он больше не чувствовал в себе мужества для этого! У него больше не хватило бы силы переносить мучительные переходы и ежеминутно становиться лицом к лицу с опасностью.

Но что же делать? Не может же он оставаться в этом овраге и прятаться тут до окончания войны? Конечно, нет. Если б можно было обойтись без пищи, эта перспектива не очень смутила бы его, но ведь есть было нужно, и притом ежедневно.

Таким образом, он очутился совершенно один, вооруженный и в мундире, на неприятельской территории, вдали от товарищей, которые могли бы его защитить. Озноб пробегал по его телу.

Вдруг он подумал «Хорошо бы попасть в плен!» И сердце его замерло от желания, сильного, беспредельного желания сделаться французским пленником. Сдаться в плен! Ведь это значило быть спасенным, сытым, иметь верный приют, защищенный от ядер и сабель, в отличной, хорошо охраняемой тюрьме. Стать пленником! Какая сладкая мечта!

И решение его сложилось немедленно:

«Пойду и сдамся в плен!»

Он поднялся, намереваясь осуществить свой план, не медля ни минуты. Но не мог двинуться с места, осажденный вдруг целым роем досадливых мыслей и новых ужасов

Где объявит он себя пленным? Как? При каких обстоятельствах? И страшные образы, образы смерти, быстро пробегали в его мозгу.

Ему грозят ужасные опасности, если он пустится в путь один, в своей остроконечной каске, по равнине.

Что, если он встретит крестьян? Увидев заблудившегося пруссака, беззащитного пруссака, крестьяне убьют его, как бродячую собаку. Своими вилами, заступами, косами, лопатами они искрошат его! С остервенением отчаявшихся побежденных они превратят его в кашу, в месиво

А если он встретит вольных стрелков? Эти вольные стрелки, эти бешеные, не признающие ни закона, ни дисциплины, расстреляют его просто ради забавы, чтобы весело провести часок и посмеяться, глядя на его физиономию. И он уже видел себя приставленным к стене, против двенадцати ружейных дул, как будто смотревших на него своими круглыми черными отверстиями.

А что, если ему встретится французская армия? Солдаты авангарда примут его за разведчика, за какого-нибудь смелого и ловкого служаку, который отправился на рекогносцировку один, и будут стрелять по нему И он уже слышал беспорядочные залпы солдат, лежавших в кустарниках, в то время как он, один посреди равнины, падает на землю, пробитый, наподобие шумовки, их пулями, которые уже ощущал в своем теле

В отчаянии он снова присел. Положение представлялось ему безвыходным

Наступила ночь, немая и черная ночь. Он не шевелился больше, дрожа от малейшего неведомого шума в темноте

Кролик, шлепавший своим задом у входа в норку, едва не обратил в бегство Вальтера Шнаффса Крики совы раздирали ему душу, пронизывая его внезапными страхами, болезненными, как рана Он широко раскрывал свои круглые глаза, стремясь увидеть что-нибудь в темноте, и ему поминутно казалось, что кто-то шагает неподалеку.

После бесконечно тянувшихся часов жестоких страданий он увидел небо, светлевшее в просвете прикрывавших его веток Тогда он почувствовал огромное облегчение; члены его расправились и словно разом отдохнули, сердце утихло, глаза закрылись. Он уснул.

Когда он проснулся, солнце почти достигло зенита; по всей вероятности, близился полдень Ни малейший шум не нарушал угрюмой тишины полей, и Вальтер Шнаффс ощутил вдруг приступ острого голода.

Он зевнул, и у него потекли слюнки при воспоминании о колбасе, о вкусной солдатской колбасе; желудок его заныл.

Он встал, сделал несколько шагов; увидел, что ноги его ослабли, и снова сел, чтобы собраться с мыслями. В течение двух или трех часов он взвешивал все за и против, ежеминутно меняя решения, чувствуя себя окончательно подавленным, несчастным, терзаемым самыми противоположными доводами

Наконец одна мысль показалась ему логичной и удобоисполнимой: это выждать какого-нибудь деревенского жителя, безоружного, не имеющего при себе опасных сельскохозяйственных орудий, побежать ему навстречу и отдаться ему в руки, предварительно хорошенько дав понять, что он сдается.

Тогда он снял каску, острие которой могло его выдать, и с бесконечными предосторожностями высунул голову над краем ямы.

Ни единого живого существа не было видно на горизонте. Вдали, направо, над крышами маленькой деревушки поднимался в небеса дым, кухонный дым! Налево, в конце обсаженной деревьями дороги, он заметил высокий замок с башнями по бокам.

Так он прождал до самого вечера, ужасно страдая, ничего не видя, кроме летающих ворон, ничего не слыша, кроме глухого урчания своих кишок.

И снова наступила ночь.

Он вытянулся на дне своего убежища и заснул лихорадочным сном, наполненным кошмарами, сном голодного человека.

Заря снова занялась над его головой. Он опять принялся за свои наблюдения. Но местность была пустынна, как и накануне, и новый страх овладел душой Вальтера Шнаффса — страх умереть с голоду! Он уже видел себя распростертым навзничь на дне ямы, с закрытыми глазами Множество хищников, мелких хищников, приближалось к его трупу и начинало его глодать, набрасываясь на него сразу со всех сторон, пробираясь

под одежду, чтобы вырвать клок его холодной кожи А огромный ворон выклевывал ему глаза своим длинным клювом

Тут им овладело безумие; он вообразил, что вот-вот потеряет сознание от слабости и не сможет ходить Он приготовился уже бежать в деревню, пренебрегая всеми опасностями, как вдруг увидел трех крестьян, шедших в поле с вилами на плечах, и снова нырнул в свой тайник

Но едва только вечер одел равнину тьмой, он медленно вылез из ямы и, согнувшись, дрожа от страха, с бьющимся сердцем пустился в путь по направлению к отдаленному замку, предпочитая идти туда, чем отправляться в деревню, которая казалась ему такой же страшной, как логовище тигров

Нижние окна были освещены. Одно из них было даже открыто, и сильный запах жареного мяса вырывался наружу; запах этот ударил в нос Вальтеру Шнаффсу, проник до самых недр его желудка, заставив солдата скорчиться, задохнуться, и неумолимо повлек его, пробудив в сердце мужество отчаяния

И быстро, не размышляя, он появился у окна с каской на голове.

Вокруг большого стола обедали восемь слуг. Но вдруг горничная разинула рот и уставилась в одну точку, уронив стакан Все глаза устремились за ее взором. Все увидели неприятеля!

Боже! Пруссаки напали на замок!

Сначала раздался крик, единый крик, в котором слились восклицания восьми голосов в восьми разных тонах — крик чудовищного ужаса; затем все поднялись с шумом, толкотней, давкой и обратились в паническое бегство через дверь в глубине комнаты Стулья валились, мужчины опрокидывали женщин и бежали через них В две секунды комната опустела, и стол, заставленный едой, был покинут на глазах у остолбеневшего Вальтера Шнаффса, продолжавшего стоять у окна.

Поколебавшись несколько мгновений, он перелез через подоконник и приблизился к столу с тарелками. Он дрожал, как в лихорадке, от жестокого голода, но страх все еще удерживал, парализовал его. Он прислушался. Весь дом, казалось, дрожал, запирали двери, над по-

толком раздавались быстрые шаги. Пруссак тревожно прислушивался к смутным звукам, а затем услыхал глухие удары, словно от падения тел на мягкую землю у основания стен, человеческих тел, прыгавших со второго этажа.

Вскоре всякое движение прекратилось, волнение улеглось, и большой замок сделался безмолвен, как могила.

Вальтер Шнаффс уселся перед нетронутой тарелкой и принялся есть. Он глотал большими кусками, словно боясь, что ему помешают и он не успеет проглотить достаточное количество пищи. Обеими руками отправлял он большие куски в рот, открытый, словно люк, и эти куски, раздувая горло, опускались один за другим в его желудок. Порою он останавливался, чуть не лопаясь, словно переполненная труба Тогда он брал кружку сидра и прочищал себе пищевод, как промывают засорившийся сток.

Он опустошил все тарелки, все блюда и все бутылки, а затем, опьянев от еды и питья, отупевший, красный, согрясаемый икотою, с помутившеюся головой и салным ртом, расстегнул мундир, чтобы передохнуть, и почувствовал, что уже не в силах ступить ни шагу. Его глаза смыкались, мысли цепенели, он опустил отяжелевшую голову на руки, сложенные на столе, и незаметно утратил представление обо всем окружающем.

Ущербный месяц стоял над деревьями парка, смутно освещая равнину. Был тот час холода, который предшествует рассвету.

Многочисленные и безмолвные тени скользили в кустарниках, и по временам луч лупы заставлял светиться во мраке стальные острия

Спокойный замок поднимался огромным черным силуэтом. Блестели только два окна нижнего этажа.

Вдруг громовой голос проревел:

— Вперед, черт подери! На приступ, ребята!

И в одно мгновение двери, ставни и окна загрещали под напором людского потока, который, вторгаясь, наводнял дом, бил и сокрушал все на своем пути. В одну минуту пятьдесят солдат, вооруженных до зубов, ворвались в кухню, где мирно спал Вальтер Шнаффс, и, приставив к его груди пятьдесят заряженных ружей,

повалили его на землю, схватили и связали с головы до ног

Ошеломленный, избитый, сброшенный на пол, обезумевший от страха, он задыхался, слишком отупев, чтобы понять, что случилось.

Вдруг толстый офицер, весь в золотых галунах, поставил ему на живот ногу и проревел:

— Вы мой пленник! Сдавайтесь!

Пруссак понял только одно слово — «пленник» и простонал:

— Ja, ja, ja!

Он был поднят, привязан к стулу и с неподдельным любопытством осмотрен своими победителями, пыхтевшими, как паровозы Многие из них сели, изнемогая от волнения и усталости.

Он улыбался теперь, он улыбался, уверившись наконец в том, что попал в плен!

Вошел другой офицер и возвестил:

— Полковник! Враг отступил; многие, как видно, были ранены Мы остаемся хозяевами замка.

Толстый офицер, вытирая лоб, закричал:

— Победа!

И, вынув из кармана маленькую записную книжку, какие в ходу у торговцев, записал:

«После ожесточенной битвы пруссаки принуждены были отступить, унося своих убитых и раненых, которых насчитывается до пятидесяти человек. Несколько человек остались в наших руках».

Молодой офицер продолжал:

— Какие будут распоряжения, полковник?

Полковник ответил:

— Мы должны отступить во избежание новой неприятельской контратаки с артиллерией и более значительными силами.

И он скомандовал отступление.

Колонна снова выстроилась в темноте, под прикрытием стен замка, и двинулась в путь, окружая со всех сторон Вальтера Шнаффса, охраняемого шестью солдатами с револьверами в руках

Для обследования дороги были посланы разведчики. Отряд подвигался осторожно, останавливаясь время от времени.

К восходу солнца прибыли к супрефектуре Ла Рош Уазеля, национальная гвардия которого одержала эту победу.

Напуганное и сильно возбужденное население ожидало их. Когда разглядели каску пленника, раздались грозные крики. Женщины махали руками, старухи плакали, а какой-то старец бросил в пруссака своим костылем и поранил пос одному из его конвоиров

Полковник ревел:

— Охраняйте пленного!

Наконец отряд достиг ратуши. Отперли тюрьму, и Вальтер Шпаффс, освобожденный от веревок, был ввергнут в нее

Двести вооруженных человек образовали караул вокруг здания.

Тогда, несмотря на признаки несварения желудка, уже мучившие его с некоторых пор, пруссак, не помня себя от радости, принялся плясать, неистово плясать, высоко подбрасывая руки и ноги, плясать, заливаясь безумным хохотом, пока не свалился наконец, обессилев, у стены.

Он в плену! Он спасен!

Вот как замок Шампинье был отбит у неприятеля, занимавшего его только в течение шести часов.

Полковник Ратье, торговец сукном, взявший его приступом во главе национальной гвардии Ла Рош Уазеля, был награжден орденом.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ К НОВЕЛЛЕ «САБО»

Помните ли вы, сударыня, нашу встречу в той южной гостинице? Я не видел вас уже более двух месяцев и, тем не менее . Но все это, впрочем, я вам уже сказал, несмотря на ваш отказ меня выслушать

Войдя в залу, я сразу увидел вас в глубине комнаты, вы сидели против мужа Я не питал любви к вашему мужу, и он, по видимому, об этом догадывается, что мне, впрочем, безразлично

Я подошел к вашему столику, подали еще прибор, и мы стали болтать, как чужие Вы обращались к нему на «ты» и говорили мне «вы», и от этого мое сердце вскипало гневом, но иногда я быстро перехватывал ваш взгляд, и тогда мне казалось, что это мне ваш взор говорит «ты», а ему «вы»

У меня было неистовое желание обнять вас в его присутствии и разбить ему графином голову, если бы он рассердился, на что имел полное право

После обеда мы долго гуляли по берегу уснувшего моря Вы шли под руку с ним, а я, идя рядом с вами с другой стороны, ловил вашу руку, наконец поймал ее и почувствовал ее пожатие Это лучшая радость любви Рукопожатие доставляет иногда ощущение более полного, более глубокого и более безусловного обладания, чем непрерывные объятия целой ночи

Настала ночь, вы вместе с мужем вернулись домой, а я долго еще просидел на берегу моря

Весь дом уже спал, когда я взял свечку, чтобы пройти в свою комнату Я тихонько шел по коридору, в который выходили двери комнат, и вдруг узнал ваши ботинки, ваши маленькие до-

рожные ботинки, пустые и словно усталые, между двух мужских башмаков, которые, казалось, их стерегли Один ботинок лежал даже на большом башмаке, словно отдыхая на нем Во мне поднялась целая буря У меня было желание выломать дверь и убить вас обоих в постели

То было одно из самых жестоких моих любовных страданий И я долго простоял со свечой в руке, глядя на эти башмаки, уместившиеся рядом у запертой двери

Если бы я увидел вас в его объятиях, я не мог бы страдать сильнее

Это жгучее воспоминание сжало мне сердце и сейчас, когда я рассказывал деревенскую историю, содержание которой имеет некоторое сходство — по башмакам по крайней мере — с этим случаем

Посвящаю же вам этот простой рассказ в знак памяти о моих страданиях.

ИСТОРИКО ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

Настоящий том объединяет книги Мопассана, изданные в 1882—1883 годах

Сборник «Мадмуазель Фифи» первоначально был выпущен бельгийским издателем Кистемакерсом в 1882 году в составе семи новелл «Мадмуазель Фифи», «Полено», «Кровать», «Сочельник», «Слова любви», «Парижское приключение», «Маррока». В следующем, 1883 году Мопассан переиздал этот сборник в Париже, у Авара, дополнив его одиннадцатью другими новеллами В последующих переизданиях состав сборника не изменялся; только в переиздании 1885 года дан несколько иной порядок расположения новелл, которого мы и придерживаемся, так как он сохранился и в последующих прижизненных изданиях

Кистемакерс был в 70-х годах издателем книг коммунаров-эмигрантов он опубликовал «Историю Коммуны 1871 года» Лиссагаре, «Народную и парламентскую историю Коммуны» Артюра Арну, книги Геда, Ранка, Шарля Белэ, а также ряда романистов Парижской коммуны Он симпатизировал и новаторским течениям в литературе, в частности, пробивавшей себе дорогу натуралистической школе, и выпустил некоторые произведения Гюисманса, Энника, Поля Алексиса, а также сборник Мопассана «Мадмуазель Фифи», поскольку французская критика начала 80-х годов упорно причисляла автора «Пышки» к натуралистам Кистемакерс издал в 1881 году также книгу «Сатирический Парнас XIX века», в которой имеется несколько эротических стихотворений Мопассана

Другой сборник новелл, входящий в настоящий том, «Рассказы вальдшнепа», первоначально был выпущен парижской издательской фирмой Рувейр и Блон в 1883 году, а в 1887 году переиздан Аваром и в 1893 году — Оллендорфом Состав новелл сборника не изменялся

Ко времени издания «Рассказов вальдшнепа» у Мопассана накопилось значительное число уже напечатанных коротких новелл (его новеллистическая продуктивность была особенно сильна в 1882—1885 годах), и, составляя этот сборник, писатель за-

хотел придать ему некое внутреннее единообразие По его замыслу, «Рассказы вальдшнепа» должны были быть собранием забавных, серьезных и сентиментальных охотничьих историй, немножко в старинном духе

Предпринимая в 1887 году переиздание сборника, Авар пытался вступить в спор с Мопассаном «Для продажи это неподходящее заглавие,— писал он,— оно напоминает второстепенных рассказчиков XVII века, и от него веет чем-то старомодным» Авар предлагал дать тому заглавие «Эта свинья Морен», хотя признавал, что оно будет несколько крикливым Мопассан не согласился Мениаль комментирует «На сей раз вкус изменил издателю, потому что этот легкий аромат XVII века был как раз почувствован и создал успех книге, некоторые критики сравнивали Мопассана по этому поводу со старинными рассказчиками, и было упомянуто имя Лесажа» (Ed Maynial La vie et l'oeuvre de Guy de Maupassant P 1907, p 152)

Мир охотников и их психология были хорошо известны Мопассану Он чрезвычайно любил охоту и ежегодно в сентябре бывал на шести последовательных открытиях охотничьего сезона в Нормандии Мотивы охоты неоднократно встречаются в его творчестве Мениаль указывает «Не один рассказ написал Мопассан, пользуясь своими охотничьими воспоминаниями, и излюбленным типом, которым он чаще всего выводит, является тип завзятого охотника, для которого охота превратилась в тираническую и нередко роковую страсть Для многих из этих рассказов рамкой служили обеды в день св Губерта, те долгие нормандские обеды, когда просиживают по три часа за столом, рассказывая всевозможные охотничьи истории каждый из приглашенных вспоминает различные случившиеся с ним приключения и происшествия, представляющие собою кровавые, но иногда неправдоподобные подвиги, внезапные и ужасные драмы, при воспоминании о которых содрогаются женщины» (Ed Maynial, p 169—170)

Первый роман Мопассана, «Жизнь», появился в газете «Жиль Блас» фельетонами, печатавшимися с 27 февраля по 6 апреля 1883 года В том же году роман был издан Аваром отдельной книгой (несколько ранее «Рассказов вальдшнепа») Оллендорф выпустил новые издания этого романа в 1891 и 1893 годах

В первоначальном издании роман имел эпиграф «Скромная истина» и посвящение г-же Брэнн, по неизвестным причинам и эпиграф и посвящение исчезли в последующих переизданиях; мы считаем полезным восстановить их Г жа Брэнн (умершая в 1883 году), вдова видного руанского журналиста Шарля Брэнна, принадлежала к кругу друзей Флобера, Мопассан был завсегдатаем ее парижского салона, где хозяйка и ее друзья без конца рассказывали ему всякие жизненные истории и происшествия — в качестве сюжетов для его новелл, Шарль Лапьерр называет салон г-жи Брэнн «главным источником питания» Мопассана темами (A Lumbroso Souvenirs sur Guy de Maupassant Rome 1905, p 612)

Творческая история первого романа Мопассана долго была неясной для его биографов

В письме к Флоберу от 10 декабря 1877 года Мопассан сообщал. «Я составил также план романа, который начну, как только развяжусь с драмой» (речь идет об «Измене графини де Рюн») Упоминания о работе над романом нередки в письмах Мопассана к матери Он писал ей 21 января 1878 года «Флобер . пришел в настоящий энтузиазм от проекта романа, который я ему прочитал Он сказал мне «Да, это великолепно, вот настоящий роман, вот настоящая идея!» Прежде чем окончательно взяться за него, мне придется еще посидеть месяц или полтора над планом» Далее в письме от 15 февраля Мопассан сообщает «Я основательно работаю над романом и надеюсь, что напишу к лету значительную его часть» Тем не менее работа шла, по-видимому, негладко или с перерывами, и Флобер спрашивал Мопассана в письме от 15 августа 1878 года «А как роман, от плана которого я пришел в восторг?»

Исследователи Мопассана долго не могли понять, о каком романе шла речь «Очевидно, Мопассан писал не о «Пышке», так как это рассказ и создан он был за несколько месяцев на рубеже 1879—1880 годов,— писал Мениаль — Маловероятно также, что речь идет о «Жизни» напечатанной пять лет спустя Вернее всего, что этот роман был им оставлен для других работ» (Ed Maynial, p 152) А Рене Дюмениль еще в 1933 году заявлял, что «Жизнь», «вероятно, не является тем произведением, план которого Мопассан сделал и к работе над которым приступил в 1877 году» (René Dumesnil Guy de Maupassant P 1933, p 187)

Трудно поверить, чтобы Мопассан отказался от воплощения того замысла, план которого так понравился его учителю Оспаривая утверждения Мениаля и Дюмениля, мы писали в 1938 году « если «Жизнь», может быть, и не представляет собою точной реализации плана, восхитившего Флобера и остающегося нам неизвестным, то, во всяком случае, в нем наличествует многое как от этого плана, так и от тех художественных требований учителя, которым Мопассан на первых порах своего зрелого творчества хранил особенную верность Над этим романом Мопассан работал много лет, начиная, может быть, с самого 1877 года» (см Полное собр соч Мопассана Гослитиздат, т III, 1938, стр 358)

Анализ ряда новелл, разрабатывавших отдельные эпизоды и сюжетные положения «Жизни» («В весенний вечер», «Прыжок пастуха», «Ночное бдение», «Старые вещи», «Кровать» и др), напечатанных в прессе 1881—1882 годов, а также анализ еще более широкого круга новелл, так или иначе затрагивавших характерные для «Жизни» темы и мотивы («Советы бабушки», «Парижское приключение», «Исповедь женщины», «Верхом», «Вдова», «Переписка» и др), напечатанных в прессе 1880—1882 годов, позволяет прийти к твердому убеждению, что Мопассан написал «Жизнь» не в 1882 году, непосредственно перед публикацией романа, но жил в кругу его идейных и сюжетных положений по крайней мере с 1880 года Наконец, и анализ композиционных особенностей романа убеждает, что, работая над «Жизнью», Мопассан находился под сильным влия-

нием художественных принципов Флобера, от которых он впоследствии во многом отошел

Приведем высказывание Поля Бурже, ценное для понимания особенностей творческой деятельности Мопассана и объясняющее, каким образом появились в печати вышеупомянутые новеллы, разрабатывавшие отдельные эпизоды и сюжетные положения будущего романа

«Мопассан дал «Жиль Бласу» под псевдонимом Мофриньёз один из тех коротких и трагических рассказов, которые он так хорошо умел писать На мой комплимент он ответил «Вам это понравилось? А ведь это лишь набросок Да,— продолжал он,— такова уж моя привычка, что, работая над большим романом, я стараюсь дать для хроники (Мопассан говорит о своих газетных «хрониках» — очерках, статьях, фельетонах и т п — *Ю. Д.*) первый эскиз, еще в общих чертах, того или другого эпизода Я переделываю их по два, по три, а то и по четыре раза Только после этого я снова берусь за эту вещь для большой книги» Такой метод работы, применяемый постоянно и неизменно, позволял Мопассану отточить свое перо на этих набросках, где многие, наоборот, пригупляют свои перья И так же как в работе над каждой хроникой он видел возможность лучше познать свое ремесло романиста, так и каждый новый роман был для него поводом к дальнейшему обогащению своего знания литературной техники» (Paul Bourget Sociologie et littérature P 1906, p 312—313)

Новейшие французские исследователи Мопассана считают «Жизнь» воплощением замысла 1877 года Так, Андре Виаль, проделавший кропотливейшую работу по изучению недавно найденных первоначальных вариантов романа, удостоверяет, что Мопассан «вынашивал свой роман почти шесть лет» (André Vial La Genèse d'«Une Vie» P 1954, p 26) Виалю удалось установить, что осенью 1877 года первый вариант романа насчитывал уже написанную седьмую главу, а может быть, продвинулся и дальше и что основные сюжетные положения рассказа «В весенний вечер» намечены уже в первых вариантах 1878 года

Проделанный Андре Виалем текстологический анализ первых вариантов романа позволяет видеть, что последующая работа Мопассана над ними вовсе не ограничивалась одними стилистическими требованиями — уничтожением повторений, всевозможных длиннот, вялых фраз, отягеляющих придаточных предложении и всякого рода лишних слов Можно видеть и то, что Мопассан резко менял первоначальную открыто оценочную манеру со множеством авторских высказываний, придавая окончательному тексту романа характер безоценочного, объективного повествования По мнению Виаля, черновик романа был закончен в мае 1882 года, но доработка романа все же продолжалась и позднее Так, Виаль высказывает предположение, что финальная фраза Розали была написача год спустя, после того как в феврале 1883 года у Мопассана родился внебрачный сын Люсьен

В воспоминаниях Франсуа Тассара приведены следующие слова Мопассана (запись от июля или августа 1887 года) «Когда

появилась в печати «Жизнь», критика, эта болтливая особа, столь часто готовая развенчивать шедевр потому только, что не поняла его, не находила достаточно сильных слов, чтобы кричать, что мой роман нежизнен, что сообщенные в нем факты невозможны И что же? Изложенные в этой книге факты имели место в Фонтенебло, и печатный отчет о них лежит у меня на письменном столе Если я и могу о чем либо пожалеть, так единственно о том, что слишком рано написал свою книгу, потому что в действительности все произошло гораздо определеннее и гораздо полнее, чем в моем романе» (Souvenirs sur Guy de Maupassant par François, son valet de chambre. P. 1911, p 94)

Эти слова Мопассана остаются пока единственным авторским указанием об источниках романа Виаль почему то вовсе не упоминает об этом высказывании (хотя должен был бы основательно опровергнуть его, если оно неверно), но явно не согласен с ним, так как стремится доказать, что в основе романа лежит семейная драма родителей Мопассана Этот тезис Виаля нельзя, однако, считать обоснованным, потому что доводы автора далеко не убедительны Добавим, напоминая о свидетельстве Тассара, что родители Мопассана никогда не жили в Фонтенебло и что, когда они разошлись, об этом не упоминалось ни в каком «печатном отчете» Таким образом, вопрос об источниках первого романа Мопассана продолжает оставаться открытым

Успех «Жизни» был велик и упрочил положение Мопассана в литературе Несмотря на период торгового кризиса, в начале 1884 года было продано уже 25 000 экземпляров романа — цифра, солидная для того времени

Французская критика увидела в «Жизни» попытку писателя порвать с принципами натурализма 21 апреля 1883 года в «Синем обозрении» появилась статья Максима Гоше, писавшего «Г н Ги де Мопассан поместил в начале своего последнего романа «Жизнь» эпиграф «скромная истина» Скромная — это уже прогресс Истина — не правда ли? — куда менее скромна в «Заведении Телье»

Были другие рецензии о «Жизни», в частности, написанные друзьями Мопассана, например, Полем Алексисом Это не были примеры «приятельской критики» Это были выступления людей, понимавших Мопассана и противостоявших его принципиальным недоброжелателям из лагеря буржуазной реакции вроде Альбера Вольфа или Франсиса Сарсэ

Впрочем, некоторые критики буржуазной реакции при всей их неприязненной подозрительности к Мопассану тоже начинали отличать его от натуралистов Брюнетьер писал 1 августа 1884 года в «Ревю де Де Монд» «Г н де Мопассан обладает всеми недостатками, которые предписываются натуралистической эстетикой, но у него имеются также многие качества, редкие для этой школы Так — я едва осмеливаюсь поздравить его с этим — у него встречаются кое какие следы чувствительности, симпатии, волнения в «Папе Симона» в «Жизни» Как и Флоберу, ему постоянно не хватает вкуса и чувства меры Не будь этого, не будь нескольких страниц, написанных словно на пари, «Жизнь»

была бы почти что замечательным произведением» Само собой разумеется, что «вкус и чувство меры» у Брюнетьера, апологета буржуазного строя, и у Флобера, ненавистника этого строя, были весьма противоположными

И С Тургенев чрезвычайно высоко оценил роман Мопассана Он писал Стасюлевичу 24 ноября 1882 года «Известный Вам молодой романист, Гюи де Мопассан, бесспорно самый талантливый из всех современных французских писателей, написал роман, который с 15 февраля будет напечатан в «Жиль Блазе» — рядом фельетонов Содержание этого романа мне известно — оно нисколько не скабрезно, как некоторые другие его вещи Он мне на днях прочел несколько больших отрывков — и я положительно пришел в восторг со времени появления «Г-жи Бовари» ничего подобного не появлялось Это не то, что Золя и пр Я знаю, что за мной устанавливается репутация слишком снисходительного судьи и критика,— но либо я ничего не смыслю, либо роман Мопассана из ряда вон выходящее явление, *капитальнейшая вещь* Он бы не прочь продать его в рукописи с тем, чтобы перевод явился не ранее 15/3 февраля будущего года, т е его первая часть, вторая может явиться месяцем позже — т е в мартовской книжке «Вестника Европы» (предполагая, что первая явится в февральской),— «В Е», кажется, до сих пор таких дел не делал, но, повторяю Вам, это вещь необыкновенная и произведет сильное впечатление Мопассан уступил бы его за 600 руб с Переводчика хорошего я нашел бы здесь — и сам наблюдал бы за переводом

« Заглавие романа «Une Vie» Это целая жизнь честной, хорошей женщины, целая интимная драма, изображенная первоклассным художником»

В хлопотах Тургенева о русском переводе романа проявилась его большая любовь к Мопассану, стремление всячески поддержать его и открыть ему путь к сердцам русских читателей Получив согласие Стасюлевича, Тургенев пишет ему 12 декабря (нового стиля) 1882 года « Дело с Мопассаном улажено Он не может дать разом всю рукопись, он будет давать отдельные главы по мере их списывания Первая уже находится в руках переводчика Я не мог поступить иначе, так как посылать рукопись в Петербург оказалось невозможным, но будьте спокойны — перевод будет хорошо сделан, под моим наблюденнем, и получите Вы его в назначенный Вами срок к 25 му нашего Декабря Соблюдая Ваши интересы, я установил цену с Мопассаном в 500 руб сер Переводчик за лист получит 70 франков (менее 30 руб сер) Мопассан сам хорошо знает, что «Gil Blas» подлая газета Но что прикажете делать? Auri sacra fames [1], а в его случае — просто — fames [2] Очень уж хорошо платит «Gil Blas» (он же поместит и новый роман Золя)»

По старому стилю это письмо было послано 30 ноября, перевести в течение месяца половину такого романа, как «Жизнь», было трудной задачей для самого талантливого переводчика.

---

[1] Проклятый голод по золоту (лат, из Вергилия)
[2] Голод (лат)

Кому поручил переводить его Тургенев, установить пока не удается

Тем временем оказалось, что Тургенев напутал в денежных делах Стасюлевич соглашался заплатить Мопассану всего 600 франков, а Тургенев сговорился с Мопассаном о гораздо большей сумме — о 500 рублях серебром В письме от 20 декабря нового стиля Тургенев пишет Стасюлевичу об этом «казусе»: «Мопассан полагает, что он за свой роман получит 500 руб Но он бы удовлетворился и меньшей суммой Я ему растолкую, что тут вышло недоразумение и что ему заплатят 1 000 *франков* — и он будет доволен Я охотно готов взять 400 франков на себя надо чем-нибудь наказать себя за легкомысленность Но роман — прелесть и чистоты чуть-чуть не Шиллеровской А «Жиль Блаз» ему платит дороже, чем Вы думаете, а именно 40 сант за строчку (Золя получает 50)»

Так как Стасюлевич не спешил с высылкой денег, а материальные дела Мопассана были еще не блестящи, Тургенев выплатил ему 1 000 франков из собственного кармана Извещая об этом Стасюлевича в письме от 5 января нового стиля 1883 года, он писал ему заодно и о том, что перевод первой части закончен Однако на следующий день к Стасюлевичу летит новое письмо Тургенев просмотрел перевод и убедился, что его нельзя печатать без значительных исправлений «принялся за переделку но раньше недели выслать рукопись невозможно» Тут же Тургенев сообщает, что перевод второй части рукописи поручил другому переводчику (им была А Луканина, см ее очерк «Мое знакомство с И С Тургеневым» «Северный вестник» 1887 № 3, стр 83) Обещая выслать перевод через неделю, чтобы он все-таки поспел для февральской книжки «Вестника Европы», Тургенев писал «А поправлю я перевод хорошо, ибо моя амбиция будет затронута, да и времени у меня довольно »

Тем не менее четыре дня спустя Стасюлевичу послана телеграмма, чтобы он не ждал «Жизни» для февральской книжки Вдогонку письмо «Перевод оказался невозможным Я начал было переделывать и поправлять, но убедился, что доставить его, как я полагал, через неделю или даже через две — дело немыслимое Я объяснился с Мопассаном, и он возвратил мне те тысячу франков, т е продал мне за эти деньги две свои большие повести, которые он окончит нынешней весной (каждая от 4 до 5 наших печатных листов) Он мне вручит рукописи, если Вы пожелаете взять их (обе или только одну), я отправлю к Вам для совершения перевода на месте» («М М Стасюлевич и его современники в их переписке», т III, СПб, 1912, стр 218—219, 221—223, 225)

Письма Тургенева к Стасюлевичу по поводу «Жизни» на этом заканчиваются Попытка напечатать русский перевод «Жизни» одновременно с появлением оригинала не увенчалась успехом, продолжать же работу над переводом для «Вестника Европы» Тургенев, видимо, не мог в конце января ему была сделана операция, после которой он больше не вставал

Не знаем, о каких двух повестях Мопассана писал Тургенев в восьмой книжке «Вестника Европы» за 1884 год была напе-

чатана «Иветта» в переводе А Н Энгельгардт, одновременно с появлением во французской печати (в «Фигаро» эта повесть печаталась с 29 августа по 9 сентября 1884 года), а в следующем году журнал Стасюлевича напечатал «Милого друга», тоже одновременно с появлением его во Франции и в переводе той же А Н Энгельгардт

В высокой оценке мопассановского романа Тургенев был не одинок Эту оценку разделял и Лев Толстой, считавший «Жизнь» «превосходным романом, не только несравненно лучшим романом Мопассана, но едва ли не лучшим французским романом после «Misérables» («Отверженные» — *Ю Д*) Гюго» (Л Н Толстой Полное собр соч, т 30, М, 1951, стр 7)

ПРИМЕЧАНИЯ

МАДМУАЗЕЛЬ ФИФИ

Мадмуазель Фифи

Новейшие библиографы указывают, что новелла впервые напечатана в «Жиль Блас» 23 марта 1882 года

Стр 6 *Война с Австрией* — Речь идет о прусско-австрийской войне 1866 года, завершившейся победой Пруссии при Садова

Стр 11 *Бельфор и Страсбург* — намек на героическое сопротивление, которое оказали прусскому нашествию в 1870—1871 годах французская крепость Бельфор и столица Эльзаса — город Страсбург

Госпожа Батист

Напечатано в «Жиль Блас» 28 ноября 1882 года под псевдонимом Мофриньез

Стр 22 *Символический померанцевый цветок* — принадлежность свадебного убора невесты, символ чистоты и непорочности

Ржавчина

Напечатано в «Жиль Блас» 14 сентября 1882 года под заглавием «Господин де Кутелье» («M de Coutelier») и за подписью Мофриньез

Стр 26 *с хорьками...* — С помощью хорьков французские охотники выгоняют кроликов из нор.

Маррока

Напечатано в «Жиль Блас» 2 марта 1882 года под псевдонимом Мофриньез Перепечатывая новеллу в сборнике, Мопассан несколько расширил ее

Стр 36 *...в костюме Гасана* — в одной нижней рубашке, намек на одного из персонажей «1001 ночи» и его свадебные приключения

Полено

Напечатано в «Жиль Блас» 26 февраля 1882 года под псевдонимом Мофриньез

Стр 49 *Уподобиться Иосифу* — намек на библейский рас-

сказ об Иосифе Прекрасном, отвергнувшем любовь Пентефрии, жены его господина

Мощи

Напечатано в «Жиль Блас» 17 октября 1882 года под псевдонимом Мофриньез

Кровать

Напечатано в «Жиль Блас» 16 марта 1882 года под псевдонимом Мофриньез

Стр 58 *Кребильон* — Имеется в виду французский романист Кребильон-сын (1707—1777), автор ряда эротических произведений, в том числе романа «Софа»

Стр 59 *«Если ляжем на кровать »* — отрывок из стихотворения французского поэта Ронсара (1524—1585) «Стансы»

Стр 60 *Пирам и Тисба.*— Овидии рассказывает («Метаморфозы», кн VI) о трагической судьбе молодых вавилонян Пирама и Тисбы, полюбивших друг друга и решивших бежать из Вавилона, так как родители воспротивились их браку По дороге к условленному месту встречи, к тутовому дереву с белыми плодами, Тисба встретила львицу с окровавленной пастью и в испуге спряталась в пещеру, бросив свое покрывало, которое львица изорвала Пирам, спеша на свидание и увидев окровавленные обрывки покрывала, решил, что Тисба погибла, и в отчаянии пронзил себе грудь мечом Этим же мечом покончила с собою и Тисба у трупа жениха Безутешные родители хоронят прах влюбленных в одной урне, а белые плоды тутового дерева, свидетеля этой драмы, становятся, по завету Тисбы, кроваво красными

Сумасшедший?

Напечатано в «Жиль Блас» 23 августа 1882 года под псевдонимом Мофриньез

Пробуждение

Напечатано в «Жиль Блас» 20 февраля 1883 года под псевдонимом Мофриньез

Стр 68 *«Капитан Фракас»* — имя воинственного героя актера из одноименного авантюрного романа (1863) Теофиля Готье

Хитрость

Напечатано в «Жиль Блас» 25 сентября 1882 года под псевдонимом Мофриньез

Верхом

Напечатано в «Голуа» 14 января 1883 года

Стр 80 *Разъезд из Леса* — Речь идет о Булонском лесе, месте прогулок парижской аристократии

Сочельник

По новейшим данным, напечатано в «Жиль Блас» 5 января 1882 года, под псевдонимом или нет, библиографы не указывают

Слова любви

Напечатано в «Жиль Блас» 2 февраля 1882 года под псевдонимом Мофриньёз

Стр 93 *«Ты в лучшие часы, снося смычок мой ярый »* — четверостишие принадлежит поэту-парнасцу Луи Буйле

Стр 95 *Дидона* — героиня античной мифологии, легендарная основательница Карфагена В «Энеиде» Вергилия говорится о том, что герой поэмы Эней полюбил Дидону, но вынужден был уехать, и Дидона в отчаянии покончила с собой Мопассан нередко упоминает о Дидоне, как об образе страстно любящей зрелой женщины

Стр 96 *Мюссе* — французский поэт-романтик Альфред де Мюссе (1810—1857) Цитируемые стихи — из его драматической поэмы «Уста и чаша» (акт IV)

Стр 97 *...слово Камброна* . — Имеется в виду французский генерал Пьер Камброн (1770—1842), командовавший при Ватерлоо старой наполеоновской гвардией На предложение сдаться Камброн ответил непечатной бранью

Парижское приключение

Напечатано в «Жиль Блас» 22 декабря 1881 года под заглавием «Испытание» («Une epreuve»)

Стр. 99 *«Отголоски»* — отдел особой хроники, насыщенной скандальными сплетнями, в буржуазной прессе

Стр 100 *Переписка в «Фигаро»* — Имеется в виду отдел объявлений газеты, в частности объявления и переписка лиц, желающих вступить в брак

Пещера Тысячи и одной ночи — намек на ту сказочную пещеру, которая разверзлась по призыву «Сезам, откроися!»

Бюснах (1832—1907) — французский драматург, инсценировавший многие романы Золя

Стр 101 *Александр Дюма* (1824—1895) — Речь идет о Дюма-сыне, французском драматурге, принадлежавшем к числу друзей Мопассана

Стр 103 *В Лес!* — см примечание к новелле «Верхом»

Два приятеля

Напечатано в «Голуа» 24 марта 1883 года

Стр 106 *Париж был осажден.*— Осада Парижа пруссаками началась 16 сентября 1870 года В январе 1871 года, когда происходит действие новеллы, пруссаки начали артиллерийский обстрел Парижа

Вор

Напечатано в «Жиль Блас» 21 января 1882 года под псевдонимом Мофриньёз

Стр 114 *Эпоху безумных шаржей.*— Говорится о времени Июльской монархии (1830— 1848), ознаменованном исключительным расцветом французской карикатуры

Эжен Ле Пуатвен (1806—1870) — французский художник

Пейзажист — художник Луи Ле Пуатвен (1847—1909), сын поэта Альфреда Ле Пуатвена, кузен Мопассана

Ночь под Рождество

Напечатано в «Жиль Блас» 26 декабря 1882 года под псевдонимом Мофриньез

Стр 123—124 *Пьерро, турки, мушкетеры, капуцин, грузчики, молочница* — персонажи маскарада, происходящего в сочельник

Заместитель

Напечатано в «Жиль Блас» 2 января 1883 года под псевдонимом Мофриньез Новейшие библиографы указывают, что заглавие новеллы — «Заместители» («Les Remplaçants»)

ЖИЗНЬ

Стр 131 *Память о друге умершем* — память о Флобере

Стр 141 *Злоключения Пирама и Тисбы* (см примечание к стр 60) — На гобеленах, рассматриваемых Жанной, Пирам и Гисба, по традиции искусства Возрождения, одеты в костюмы позднейшего времени, а многие детали (мельница, шпага, кролик и т д) также далеки от текста Овидия

Стр 151 *Коринна* — известный роман французской романтической писательницы г-жи де Сталь (1766—1817) «Коринна, или Италия» (1807) В лице героини романа изображена мечтательная, утонченная женщина, умирающая оттого, что ее любовь не поняли и не оценили

Песенки Беранже — намек на некоторые песни Беранже, где разрабатывается тема сожалений о прошедшей молодости («Моя бабушка», «Пятьдесят лет» и др)

Стр 163 *Совсем новые страны, как Корсика* — Корсика вошла в состав французского государства с 1768 года

Стр 179 *Свадьба Ганаша.*— Речь идет о свадьбе одного из персонажей «Дон-Кихота» Сервантеса, богатого крестьянина Камачо (во французских переводах — Ганаш) (см «Дон-Кихот», ч II, гл XX)

Свадьба в Кане — эпизод из евангельских легенд о пребывании Христа на одной свадьбе Во французском оригинале — игра слов на созвучиях Ganache и Cana

Стр 189 *Тот, что на острове св. Елены* — намек на Наполеона I, который в описываемое время (осень 1819 года) еще был жив

Стр 256 *Она казалась настоящей Дамой с озера.*— Подразумевается поэма Вальтер Скотта «Леди с озера» (1810), героиня которой, дочь владельца средневекового замка, спасает короля, заблудившегося на охоте

Стр 266 *Настоящий рассказ Лафонтена* — Помимо своих знаменитых басен, Лафонтен писал и рассказы в стихах — нередко фривольные, в духе старинных фабльо

Стр 268 *«Размышления»* — Имеется в виду первая книга стихов французского поэта-романтика Ламартина (1790—1869) — «Поэтические размышления» 1820)

Стр 272 *Dominus vobiscum* — обращение католического священника к молящимся *(лат.)*

Стр 288 *«Богоматерь брюхатых»* — Notre Dame du Gros Ventre — ироническое выражение, встречающееся и в рассказе «Нормандец»

Стр 297 *Окрестил его Массакром* — Слово «Массакр» значит «бойня», «избиение», намек на побоище, учиненное аббатом.

Стр 321 *Делямар* — Пускаясь в коммерческие предприятия, Поль решает обуржуазить свое имя, слив с фамилией дворянскую приставку «де»

РАССКАЗЫ ВАЛЬДШНЕПА

Вальдшнеп

Новелла напечатана в «Голуа» 5 декабря 1882 года первоначально в виде одного целого с новеллой «Помешанная»

Эта свинья Морен

Напечатано в «Жиль Блас» 21 ноября 1882 года под псевдонимом Мофриньез Сюжет новеллы был получен Мопассаном от Шарля Лапьерра (1828—1893), близкого друга Флобера, по сообщению Робера Пеншона, Лапьерр, «кажется, был и героем этой новеллы, в лице того молодого человека, который улаживает дело» (см A Lumbroso, pp 358, 611)

М Удино — лицо, неизвестное биографам Мопассана

Помешанная

Напечатано в «Голуа» 5 декабря 1882 года

Робер де Боньер (1850—1905) — французский романист и литературный критик, один из друзей Мопассана

Пьеро

Напечатано в «Голуа» 9 октября 1882 года

Анри Ружон (1853—1914) — французский литератор и сослуживец Мопассана по министерству народного образования Оставил воспоминания о Мопассане (H Roujon La Galerie des bustes P 1909)

Менуэт

Напечатано в «Голуа» 20 ноября 1882 года

Поль Бурже (1852—1935) — французский писатель, автор психологических романов и драматург Посвятил Мопассану несколько критических статей Его воспоминания о Мопассане см в книге Paul Bourget Sociologie et littérature P 1906

Страх

Напечатано в «Голуа» 23 октября 1882 года

Гюисманс, Жорис-Карл (1848—1907) — французский романист, участник «Вечеров в Медане» в творчестве которого натурализм эволюционировал к религиозному мракобесию и декадансу

Нормандская шутка

Напечатано в «Жиль Блас» 8 августа 1882 года под псевдонимом Мофриньез

А де Жуэнвиль — один из друзей молодости Мопассана, разделявший его увлечение гребным спортом

Сабо

Напечатано в «Жиль Блас» 21 января 1883 года под псевдонимом Мофриньёз, новелла имела введение, снятое автором при переиздании ее в книге (см Приложение)

Леон Фонтэн — Друг молодости Мопассана, увлекавшийся, как и он, гребным спортом, помог Мопассану напечатать в 1875 году в журнале «Almanach de Pont a-Mousson» его первую новеллу — «Рука трупа» Оставил воспоминания о Мопассане, записанные с его слов П Борелем (P B o r e l Le Destin tragique de Guy de Maupassant P 1927).

Плетельщица стульев

Напечатано в «Голуа» 17 сентября 1882 года

Леон Энник (1852—1935) — французский писатель, ученик Золя и участник сборника «Вечера в Медане». Энник дал Мопассану тему повести «Орля».

На море

Напечатано в «Жиль Блас» 12 февраля 1883 года под псевдонимом Мофриньез

Анри Сеар (1851—1924) — французский писатель, участник «Вечеров в Медане», автор ряда натуралистических романов Оставил о Мопассане несколько статей критического и мемуарного характера

Нормандец

Напечатано в «Жиль Блас» 10 октября 1882 года под псевдонимом Мофриньез

Поль Алексис (1847—1901) — французский писатель, романист и драматург натуралистической школы, один из преданнейших друзей Золя Оставил рассказ (как впоследствии и Энник) об истории создания сборника «Вечера в Медане»

Завещание

Напечатано в «Жиль Блас» 7 ноября 1882 года под псевдонимом Мофриньез

Поль Эрвье (1857—1915) — французский драматург и романист Мопассан напечатал в 1882 году в «Жиль Блас» рецензию о первой книге Эрвье

Стр 434 *Общественный договор. Новая Элоиза* — произведения Ж -Ж Руссо

В полях

Напечатано в «Голуа» 31 октября 1882 года

Октав Мирбо (1848—1917) французский писатель романист и драматург, участник кружка молодых последователей Зо-

ля Много работал в журналистике К концу жизни Мопассана его отношения с Мирбо испортились, и некоторые высказывания Мирбо о нем носят недоброжелательный характер

Петух пропел

Напечатано в «Жиль Блас» 5 июля 1882 года под псевдонимом Мофриньез

Рене Бильот (1846—1914) — французский художник-пейзажист

Сын

Напечатано в «Жиль Блас» 19 апреля 1882 года под заглавием «Неизвестный отец» («Père inconnu») и за псевдонимом Мофриньез Для книги Мопассан несколько сократил эту новеллу

Рене Мезруа (1856—1918) — псевдоним французского литератора, барона Туссена, автора ряда салонно-эротических романов Мопассан написал несколько предисловий к книгам Мезруа

«Святой Антоний»

Напечатано в «Жиль Блас» 3 апреля 1883 года под псевдонимом Мофриньез

Ксавье Шарм (1849—1919) — один из молодых друзей Флобера, видный чиновник министерства народного образования, в период своей службы в этом министерстве Мопассан был секретарем Шарма.

Стр 465 *Так, так святой Антоний и его свинья* — намек на так называемого «святого» Антония, фиваидского отшельника, жизнь которого церковные легенды относят к III—IV векам нашей эры, постоянным спутником Антония была свинья

Приключение Вальтера Шнаффса

Напечатано в «Голуа» 11 апреля 1883 года

Робер Пеншон (1846—1925) — французский литератор, один из самых близких и преданных друзей Мопассана, вместе с ним учившийся в руанском лицее, разделявший его увлечение гребным спортом и соавтор фарса «Турецкий дом» С 1880 года Пеншон поселился в Руане, где до конца жизни проработал в городской библиотеке Ревностно собирал различные материалы о Мопассане, его иконографию и оказал большую помощь Альберту Лумброзо в уточнении данных его книги В 1892 году Пеншон написал воспоминания о Мопассане, перепечатанные в книге Лумброзо

По свидетельству Шарля Лапьерра, тема настоящей новеллы была сообщена Мопассану именно Пеншоном, нередко снабжавшим его и другими сюжетами (A Lumbroso, p 612)

Ю ДАНИЛИН

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Стр. 128. «Маррока». Худ. Л. Валле. 1902.
Стр. 129. «Парижское приключение». Худ. Л. Валле. 1902.
Стр. 160. «Жизнь». Худ. К. Рудаков. 1936.
Стр. 161. «Жизнь». Худ А. Леру 1903.
Стр. 352. «Жизнь». Худ. А. Леру. 1903.
Стр. 353. «Жизнь». Худ. А. Леру. 1903.
Стр. 384 «Менуэт» Худ. Люсьен Барбю. 1906
Стр. 385. «Плетельщица стульев». Худ. Люсьен Барбю. 1906.

СОДЕРЖАНИЕ

МАДМУАЗЕЛЬ ФИФИ

Перевод А. Н. Чеботаревской

Мадмуазель Фифи 5
Госпожа Батист 19
Ржавчина 26
Маррока 34
Полено 45
Мощи 51
Кровать 57
Сумасшедший? 61
Пробуждение 66
Хитрость 72
Верхом 78
Сочельник 86
Слова любви 93
Парижское приключение 98
Два приятеля 106
Вор 114
Ночь под Рождество 120
Заместитель 126

ЖИЗНЬ

Перевод А. Н. Чеботаревской

Жизнь 133

РАССКАЗЫ ВАЛЬДШНЕПА

Перевод А. Н. Чеботаревской

Вальдшнеп 361
Эта свинья Морен 364
Помешанная 377

Пьеро 381
Менуэт 387
Страх 393
Нормандская шутка 400
Сабо 405
Плетельщица стульев 412
На море 420
Нормандец 426
Завещание 433
В полях 439
Петух пропел 446
Сын 452
«Святой Антоний» 463
Приключение Вальтера Шнаффса 472

ПРИЛОЖЕНИЕ

Введение к новелле «Сабо». *Перевод А. Н. Чеботаревской* 481

КОММЕНТАРИИ

Историко-литературная справка 483
Примечания 491
Перечень иллюстраций 498

ГИ ДЕ МОПАССАН.
Полное собрание сочинений
в 12 томах. Том 2.

Редактор Д. Е. Михальчи.
Оформление художника
Ю. Красного.
Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печати 28/VII 1958 г. Тираж 310 000 экз.
Изд. № 881. Зак. № 1224. Ф. бум. 84×108¹/₃₂.
Бум. л. 7,8. Печ. л. 25,62 + 4 вкл. (0,4 п. л.). Уч.-изд. л. 25,01.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.